This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

V 8(Е) С-836 | 77140 ~~53889~~
Страхов, Н.
Борьба с западом в нашей литерат. Кн. I. 473 сл. 25 р.
ПРОВЕРЕНО 19 г. 19

1. Текущая проработ
2. Домашние задания и
3. Курсовое и дипломное

РАБОТА ПОД РУКОВОДСТВОМ П ПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТА

1. Лекции

Лекции являются одним из важнейших ебного процесса.

Лекции должны строиться на основе марксисто нинской методологии.

На лекциях дается систематическое изложение новного содержания курса: отдельные вопросы, не едставляющие принципиальной важности или являю- ися дополнением уже изложенного, следует предо-

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Н. Страховъ.

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ

ВЪ

НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ

ИСТОРИЧЕСКІЕ И КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

КНИЖКА ПЕРВАЯ

Герценъ. Милль. Парижская коммуна. Ренанъ. Историки безъ принциповъ. Штраусъ. Поминки по И. С. Аксаковѣ.

Изданіе второе

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія брат. Пантелеевыхъ. Казанская, № 33.
1887.

Проверено
1957 г.

Strakhov, N

Н. СТРАХОВЪ

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ

ВЪ

НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ

86
С-836
проф.
Е. К. Тарасова.

ИСТОРИЧЕСКІЕ И КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

57789.
77140

КНИЖКА ПЕРВАЯ

Герценъ. Милль.
Парижская коммуна. Ренанъ. Историки
безъ принциповъ. Штраусъ. Поминки
по И. С. Аксаковѣ.

БИБЛИОТЕКА
Инв. № .....
ЛГПИУ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія брат. Пантелеевыхъ. Казанская, 33.
1887.

Проверено
1940 г. 14

Инв. 307.

Того-же автора.

О вѣчныхъ истинахъ (Мой споръ о спиритизмѣ). Спб. 1887.

Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физіологіи. Спб. 1886.

Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ (1862—1885). Спб. 1885.

Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка вторая. (Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова.—Фейербахъ.—Дарвинъ.—Целлеръ. — Спиритизмъ. — Нигилизмъ). Спб. 1883.

Міръ какъ цѣлое. Черты изъ науки о природѣ. Спб. 1872.

О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ общемъ образованіи. Спб. 1865.

Бѣдность нашей литературы. Историческій и критическій очеркъ. Спб. 1868.

PG 2975
S75
1887
v. 1

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

По содержанію этой книги, читатель легко увидитъ, почему мнѣ пришла мысль вновь издать эти разсужденія. Они ратуютъ противъ зла, которое давно было ясно, противъ того самаго зла, которое теперь своимъ развитіемъ приводитъ насъ въ содроганіе. Больше всего приходится просить извиненія у читателей за тѣ надежды, за тѣ виды на лучшее будущее, которые встрѣчаются кое-гдѣ въ этой книгѣ. Эти надежды плохо исполняются, тогда какъ, напротивъ, опасенія осуществляются скорѣе и полнѣе, чѣмъ можно было ожидать, и дѣйствительность, кажется, готова превзойти самыя зловѣщія предсказанія.

Книга эта касается самаго главнаго, самаго существеннаго изъ нашихъ вопросовъ, вопроса о нашей духовной самобытности. Безъ сомнѣнія, коренное наше зло состоитъ въ томъ, что мы не умѣемъ жить своимъ умомъ, что вся духовная работа, какая у насъ совершается, лишена главнаго качества: прямой связи съ нашей жизнью, съ нашими собственными духовными инстинктами. Наша мысль витаетъ въ призрачномъ мірѣ; она не есть настоящая живая мысль, а только подобіе мысли. Мы—подражатели,

то-есть думаемъ и дѣлаемъ не то, что̀ намъ хочется, а то, что̀ думаютъ и дѣлаютъ другіе. Вліяніе Европы постоянно отрываетъ насъ отъ нашей почвы. По этому, все наше историческое движеніе получило какой-то фантастическій видъ. Наши разсужденія не соотвѣтствуютъ нашей дѣйствительности; наши желанія не вытекаютъ изъ нашихъ потребностей; наша злоба и любовь устремлены на призраки; наши жертвы и подвиги совершаются ради мнимыхъ цѣлей. Понятно, почему такая дѣятельность безплодна, почему она только пожираетъ силы и разшатываетъ связи, а ничего добраго произвести не можетъ.

Эта фантастическая бѣда хуже всевозможныхъ дѣйствительныхъ бѣдъ и несчастій. Вообразимъ, въ самомъ дѣлѣ, что Россію постигли какія-нибудь реальныя бѣдствія и одолѣваютъ реальные недостатки: голодъ и пожары, война и внутренніе безпорядки, жестокость и безразсудство правителей, невѣжество, пьянство, преступленія, дикіе нравы; развѣ все это еще могло бы быть поводомъ къ отчаянію? Не ясна-ли сущность каждаго изъ этихъ золъ? Эти бѣдствія и недостатки въ той или другой мѣрѣ неизбѣжны, и могутъ приводить насъ въ скорбь, но не въ недоумѣніе; мы тутъ хорошо знаемъ, противъ чего и какъ намъ слѣдуетъ бороться; все зависитъ только отъ нашей стойкости, отъ нашей доброй воли.

Но что сказать, когда болѣзнь чисто умственнаго свойства, когда люди постоянно поражаются острою мечтательностію, когда они слѣпнутъ для дѣйствительности и тратятъ свои силы и дѣятельность на погоню за воображаемыми благами и на борьбу противъ воображаемыхъ золъ? Мысли такихъ людей питаются сами собою, независимо отъ

всего окружающаго; стремленія ихъ возникаютъ и разгораются безъ настоящихъ нуждъ, и потому ничѣмъ удовлетворены быть не могутъ; жажда жизни, которая ихъ мучитъ, не находитъ себѣ никакого утоленія въ дѣйствительномъ мірѣ и обращается въ ненависть къ этому міру, заставляетъ ихъ губить себя и другихъ.

Мечтательность нашего времени грозитъ превзойти всѣ увлеченія былыхъ временъ. При нынѣшней легкой жизни, при уничтоженіи и облегченіи всякихъ узъ, нѣкогда связывавшихъ человѣка, люди начинаютъ забывать свое прошлое, теряютъ пониманіе неизбѣжныхъ трудностей и условій жизни и на свободѣ предаются самодовольнымъ мечтамъ о неслыханномъ еще совершенствѣ и обновленіи человѣчества. Эти мечтанія, отрѣшенныя отъ дѣйствительной жизни, зародились и развились тамъ, на Западѣ; какъ же имъ было не приняться у насъ, въ томъ народѣ, котораго образованные классы постоянно и неизбѣжно отрываются отъ родной дѣйствительности!

Нелѣпое, невѣжественное убѣжденіе, что мы, теперешніе люди, лучше, выше людей прошлыхъ временъ; нелѣпая увѣренность, что здѣсь, на землѣ, возможно какое-то благополучіе, мирящееся со всѣми противорѣчіями нашей судьбы и природы,—эти мысли, свидѣтельствующія о крайней дикости нашихъ умовъ и сердецъ, о томъ, что въ насъ заглохло истинное пониманіе и чутье вещей,—господствуютъ повсюду въ наше просвѣщенное время. Самодовольный вѣкъ все больше и больше отрывается отъ прошлаго, все меньше и меньше понимаетъ истинный смыслъ жизни.

Что же дѣлать противъ такого зла? Чѣмъ предупредить ужасныя разочарованія, къ которымъ приведетъ та-

кое самообольщеніе? Очевидно только однимъ: нужно открыть ослѣпленнымъ глаза, указать заблуждающимся правильный путь. Задача безмѣрная! Требуется, собственно, измѣнить характеръ нашего просвѣщенія, внести въ него другія основы, другой духъ. Эта задача въ особенности настойчиво является передъ нами, русскими, такъ-какъ только въ насъ однихъ можно еще предполагать духовные инстинкты не похожіе на европейскіе; сама же Европа едва ли можетъ измѣнить тому пути, по которому такъ далеко ушла въ своемъ развитіи. Намъ предстоитъ совершить критику началъ, господствующихъ въ европейской жизни, и привести къ сознанію другія, лучшія начала. Задача эта уже давно поставлена. Мы до сихъ поръ подсмѣивались надъ нею, какъ надъ чѣмъ-то несбыточнымъ, излишнимъ и вздорнымъ; но, если мы и теперь не станемъ для нея работать, не станемъ напрягать нашихъ силъ для ея рѣшенія, то, по всей вѣроятности, сами неумолимыя событія вынудятъ насъ взяться за нее, какъ за единственный исходъ изъ нашихъ умственныхъ и нравственныхъ затрудненій. Можетъ быть, намъ суждено представить свѣту самые яркіе примѣры безумія, до котораго способенъ доводить людей духъ нынѣшняго просвѣщенія; но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцію этому духу; отъ насъ нужно ожидать приведенія къ сознанію другихъ началъ, спасительныхъ и животворныхъ.

Намъ не нужно искать какихъ-нибудь новыхъ, еще небывалыхъ на свѣтѣ началъ; намъ слѣдуетъ только проникнуться тѣмъ духомъ, который искони живетъ въ нашемъ народѣ, и содержитъ въ себѣ всю тайну роста, силы и развитія нашей земли. Народъ, какъ огромный

балластъ, лежащій въ глубинѣ нашего государственнаго корабля, одинъ даетъ этому кораблю его прямое и могучее движеніе, не смотря ни на какія внѣшніе вѣтры и бури, не смотря ни на какую вѣтренность кормчихъ и капитановъ. Эту безсознательную жизнь, эту духовную силу, исполненную такого смиренія и такого могущества, намъ слѣдуетъ привести себѣ къ сознанію, и ею одушевить наше просвѣщеніе. Обнаруживъ еще неслыханную въ мірѣ стойкость, живучесть и силу распространенія, русскій народъ, однако-же, никогда не отдавался исключительно матеріальнымъ и государственнымъ интересамъ, а, напротивъ, постоянно жилъ и живетъ въ нѣкоторой духовной области, въ которой видитъ свою истинную родину, свой высшій интересъ. Вотъ изъ какаго строя жизни намъ нужно почерпать и уяснять себѣ начала для пониманія человѣческой жизни и отношеній между людьми, начала, которыми долженъ быть внесенъ лучшій смыслъ въ науки нравственнаго міра, въ исторію, въ науку права, въ политическую экономію. Европейское просвѣщеніе, этотъ могущественный раціонализмъ, это великое развитіе отвлеченной мысли, должно быть для насъ побужденіемъ и средствомъ къ такому сознательному уясненію нашихъ собственныхъ духовныхъ инстинктовъ; все наше рабство передъ Западомъ, всѣ наши обезьянничанья и всѣ бѣды, которыя мы отъ этого терпимъ и будемъ еще терпѣть, получатъ себѣ даже нѣкоторое историческое оправданіе, если цѣною ихъ мы достигнемъ, наконецъ, сознательной самобытности, если пробудится въ насъ настоящая умственная жизнь, и то непонятное для себя и для другихъ чудище міра, которое называется Россіею, придетъ къ сознанію самого себя.

Умственная борьба съ Западомъ при этомъ необходима. Не для того, чтобы порочить ту страну, которую Хомяковъ называлъ „страной святыхъ чудесъ“ и объ лучшихъ умахъ которой онъ восклицалъ:

О, никогда земля, отъ первыхъ дней творенья,
Не зрѣла надъ собой столь пламенныхъ свѣтилъ!

Мы должны уважать Западъ, и даже благоговѣть передъ величіемъ его духовныхъ подвиговъ. Но, чтобы самое уваженіе имѣло какую нибудь цѣну, нужно вѣдь стоять сколько нибудь въ уровень съ предметами уваженія. Не велика честь для Запада отъ слѣпыхъ поклонниковъ, тѣмъ ниже преклоняющихъ, чѣмъ менѣе они способны сами судить о дѣлѣ. Западъ не долженъ ослѣплять насъ своимъ блескомъ, подавлять могуществомъ своего вліянія. Между тѣмъ, гонясь за европейскимъ просвѣщеніемъ большею частію изъ легкомыслія и тщеславія, мы забываемъ обязанность всякаго разумнаго человѣка,—быть самостоятельнымъ въ своихъ сужденіяхъ; мы дошли до того, что стали, наконецъ, смѣяться надъ такою обязанностію, какъ надъ дикою претензіею, и, какъ Молчалинъ, повторяемъ:

Какъ можно смѣть
Свое сужденіе имѣть!

Понятно, почему намъ неясны, невразумительны самыя рѣзкія и кричащія черты того зрѣлища, которое передъ нами происходитъ въ Европѣ, почему всѣ уроки ея исторіи пропадаютъ для насъ даромъ.

Въ настоящей книгѣ читатель найдетъ попытку указать на нѣкоторые изъ очевиднѣйшихъ фактовъ духов-

наго состоянія Запада, на прямой и явный смыслъ нѣкоторыхъ событій и идей изъ современной жизни Франціи, Англіи, Германіи. Кромѣ того, книга касается той реакціи, которую исторія и духъ Запада уже вызывали въ нашей литературѣ, и которая, напримѣръ, сказалась въ Карамзинѣ, въ славянофилахъ, въ Герценѣ. Этой реакціи суждено все больше и больше развиваться и уясняться, если только мы не окажемся болѣе мертвенными и малосмыслеными, чѣмъ намъ хотѣлось бы о себѣ думать.

13 янв. 1882.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Здѣсь прибавлены двѣ статьи, написанныя послѣ перваго изданія: *Историки безъ принциповъ* и *Поминки по И. С. Аксаковѣ*. Первая статья почти вся посвящена Ренану и потому помѣщена вслѣдъ за прежнею статьею о Ренанѣ. О другомъ историкѣ безъ принциповъ, Тэнѣ, тутъ сдѣлано только нѣсколько общихъ замѣчаній; мнѣ не удалось выполнить задуманный планъ— разсмотрѣть рядомъ съ Ренаномъ книгу Тэна Les origines de la France contemporaine, въ которой описана революція 1789 года, и показать, что авторъ, самъ объявляющій, что у него нѣтъ принциповъ, не могъ, поэтому самому, понять исторіи, которую разсказываетъ.

Недоумѣніе, съ которымъ онъ приступилъ къ дѣлу, не прошло, а развѣ только усилилось отъ яркаго изображенія множества фактовъ. Безъ твердыхъ началъ, безъ опредѣленныхъ понятій о человѣкѣ и о человѣческихъ отношеніяхъ, мы, конечно, въ исторіи всегда придемъ лишь къ одному — къ невѣрію въ исторію, къ представленію, что она есть безсмысленная путаница.

Статья объ И. С. Аксаковѣ, помѣщенная въ концѣ книги, написана по случаю его смерти, и многое въ ней отзывается чувствомъ этого неожиданнаго удара. Но, такъ какъ она, говоря объ этомъ *истинномъ русскомъ гражданинѣ*, останавливается на общихъ чертахъ его гражданскаго исповѣданія, то мнѣ казалось, мѣсто этой статьѣ — именно въ настоящей книгѣ, посвященной больше всего вопросамъ, которые въ обширномъ смыслѣ можно назвать общественными, или политическими.

22 сент. 1887.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

I. Герценъ 1

Глава I. **Литературныя произведенія Герцена** 1

I. Писатель и агитаторъ 1

II. Пессимизмъ. «Записки одного молодаго человѣка». Гёте 3

III. «Кто виноватъ». Страданія безъ вины 14

IV. «По поводу одной драмы». Три выхода: стоицизмъ, религія, общіе интересы. Платонъ Каратаевъ. Безполезные люди 27

V. «Докторъ Круповъ». «Левіаѳанскій» 42

VI. Главное открытіе Герцена 51

Глава II. **Потеря вѣры въ Западъ** 54

I. Измѣна самому себѣ 54

II. Западничество 58

III. Гегелизмъ 63

IV. Фейербахизмъ. «Дилеттантизмъ въ наукѣ» 73

V. Ученіе о прогрессѣ. Христіанство 83

VI. «Съ того берега» 93

VII. Первый отчаявшійся западникъ. Безнадежность . . 97

Глава III. **Борьба съ идеями Запада. Вѣра въ Россію** 106

I. Самый существенный изъ нашихъ вопросовъ 106

II. Актъ возмущенія. Вѣра въ Россію 110

III. Отвага знанія. Демократическое православіе 120

IV. Источникъ нигилизма 131

V. Чистый нигилизмъ 142

VI. Отрицаніе европейскихъ началъ. Независимая личность. Прогрессъ. Республика. Соціализмъ. Человѣчество. Братство. Свобода 145

VII. Неудовольствіе западниковъ 158

Прибавленіе. **Предсказаніе франко-прусской войны, сдѣланное Герценомъ** 161

стр.

II. Милль. (Женскій вопросъ). 169

Глава I. **Современная философія.** Время вопросовъ. — Вѣра въ разумъ. — Сущность современной популярной философіи.—*Отрицательный* смыслъ этого умственнаго движенія.—Чистый скептицизмъ. 169

Глава II. **Причины различія между мужчиною и женщиною.**— Милль—скептикъ.—Его постановка вопроса.—Его тайная мысль.—Право сильнаго. — Природа женщины неизвѣстна.—Ея сердце испорчено.—Женщины опоздали и не успѣли.—Наука объ образованіи характера. 184

Глава III. **Уравненіе правъ.** Экспериментъ, предлагаемый Миллемъ.—Юридическое рѣшеніе.—Русское и англійское понятіе о правахъ.—Властолюбіе.—Русскіе законы.—Заносный и сочиненный характеръ нашихъ «вопросовъ». . 202

Глава IV. **Женскій идеалъ.** Для чего нужна свобода.—Фальшивый видъ дѣла.—Семейство.—Отсутствіе расположенія къ замужеству. — Экономическая борьба. — Политическое властолюбіе.—Отношенія между полами. 218

III. Парижская Коммуна. 234

Глава I. **Теорія прогресса и факты ей противорѣчащіе** 234

I. Катихизисъ западниковъ. Разочарованія послѣ 1848 . 235

II. Революціи 1789, 1830, 1848, 1871 241

III. Разочарованіе Карамзина 247

Глава II. **Оскуденіе идеала. Коммуна** 255

I. «Кровь и желѣзо». 255

II. Потеря ясныхъ цѣлей 259

III. Цѣли коммуны. Клубы. Четвертое сословіе. 263

Глава III. **Соціальная революція. Разрушеніе** 272

I. Борьба сословій. Рабочій. Международное общество. Жажда мщенія 272

II. Взгляды французовъ. Счастливая жизнь. 280

III. Предсказаніе Герцена. 285

IV. Ренанъ. 290

Глава I. **Общій взглядъ на значеніе и дѣятельность Ренана.** Книги о началѣ христіанства.—Усвоеніе Германскаго просвѣщенія. — Недостатокъ положительныхъ убѣжденій. — Уныніе.—*Политиканы.*—Скорбь о враждѣ Франціи и Германіи.—Зловѣщія предсказанія 290

Глава. II. **Сужденіе Ренана о революціи 1789 г.** — Поклоненіе Революціи.—Разочарованіе.—Критика Революціи. — *Неудавшійся опытъ.* — Страхъ за будущее.—Искупленіе за Революцію.—*Ложное понятіе о человѣческомъ обществѣ.* — Понятіе о справедливости.—Зависть.—Всѣ не исполнили своихъ обязанностей.—Опасенія и надежды . . . . . стр. 305

Глава. III. **Сужденія Ренана о современномъ состояніи Франціи.** — Нравственное паденіе.—Племена кельтическое и германское.—Французскій славянофилъ.—Упадокъ патріотизма.—Матеріальное благосостояніе.—Собственность.—Выборы.—Всеобщая подача голосовъ.—Отсутствіе нравственнаго взгляда на вопросы. 334

Глава. IV. **Средства, предлагаемыя Ренаномъ для спасенія Франціи.**—Старый порядокъ и республика. — Невозможность республики.—Выгоды стараго порядка. — Историческое право и современная философія. 357

Глава. V. **Сужденія Ренана о внутреннемъ состояніи Европы.**—Контрастъ между Франціею и Германіею. — Вопросъ о будущей судьбѣ Германіи. — Наиболѣе вѣроятное будущее Франціи.—Отчаяніе.—Взглядъ на Россію. 368

Глава. VI. **Значеніе франко-прусской войны и ея будущія послѣдствія.**—Междоусобная война.—Опасность со стороны Россіи.—Принципъ народностей.—*Настанетъ день славянскаго завоеванія.*—Односторонность Ренана 378

V. Историки безъ принциповъ (замѣтки объ Ренанѣ и Тэнѣ) 392

I. Превосходство французовъ въ литературѣ. 392
II. Англичане и нѣмцы. 394
III. Ренанъ и Тэнъ 397
IV. Прелесть Ренана. 398
V. Исторія христіанства. 400
VI. Два элемента 403
VII. Реторика 406
VIII. Требованія исторіи. 408
IX. Сентъ-Бёвъ. 410
X. Истина въ исторіи. 412
XI. Философія Ренана 415
XII. Пониманіе христіанства и буддизма 418
XIII. Коренной недостатокъ 421

стр.

VI. Штраусъ 425

Глава I. Оправданіе существующаго. — Катихизисъ новой вѣры.—Монархія.—Превосходство монархіи надъ республикою.—Выгоды наслѣдственной монархіи. 425

Глава II. Противъ космополитизма.—Четвертое сословіе.—Религія.—Счастливая жизнь. — Утѣшеніе въ не-безсмертіи души. 434

Глава III. Отрицаніе Провидѣнія. — Ужасное чувство. — Поклоненіе вселенной.—Христосъ.—Матеріальность души. —Происхожденіе организмовъ 447

VII. Поминки по И. С. Аксаковѣ 459

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ
ВЪ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ

I.
ГЕРЦЕНЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Литературныя произведенія Герцена.

Я — зритель; только это и не роль и не натура моя, это—мое положеніе.
Съ того берега, стр. 95.
Mir gab ein Gott zu sagen, was ich leide.
Göthe, *Torquato Tasso*.

I.
Писатель и агитаторъ.

Когда умеръ Герценъ (9 (21) января 1870 г.), въ нашихъ журналахъ и газетахъ поднялись толки объ этомъ крупномъ человѣкѣ, и большею частію всѣ говорили о его такъ-называемой *политической* дѣятельности. Его преступныя увлеченія, его измѣна дѣлу русскаго народа, пагубное вліяніе, которое онъ произвелъ на нашу молодежъ — вотъ о чемъ шли эти толки. Въ политической роли, которую игралъ Герценъ, журналы видѣли его главную роль, его главную дѣятельность, и разсуждали о томъ, можно-ли теперь простить ему эту дѣятельность и говорить о немъ спокойно, какъ о явленіи, отошедшемъ въ исторію. Одни указывали на то, что онъ

былъ виновенъ менѣе другихъ, что въ послѣднее время онъ далеко разошелся съ нашими заграничными красными, которые даже собирались его убить. Другіе начали полемику о томъ, кто первый разрушилъ политическое вліяніе Герцена? „Современныя Извѣстія“ утверждали, что г. Катковъ, „Вѣсть“, что г. Чичеринъ.

Между тѣмъ, у Герцена есть другая сторона, была другая дѣятельность. При имени Герцена, невольно должна-бы вспоминаться и та грустная дума, которая постоянно томила этого человѣка, та черная мысль, которая неотступно преслѣдовала его отъ колыбели до могилы, которая составляетъ главное содержаніе его литературныхъ произведеній и только отчасти связана съ его политическою дѣятельностію. Герценъ былъ не простой агитаторъ; прежде всего онъ былъ литераторъ, то есть носитель извѣстныхъ мыслей и взглядовъ, которые высказать было для него главною и существенною потребностію. Роль агитатора только отчасти совпала съ его взглядами, большею частію она имъ рѣзко противорѣчила; это была неудачная и несчастная роль, принесшая не мало вреда намъ, не мало горя и раскаянія самому Герцену. Какъ писатель, Герценъ несравненно счастливѣе; это одно изъ самыхъ крупныхъ именъ нашей литературы, и было-бы великимъ ея украшеніемъ, еслибы онъ могъ удовольствоваться этого рода дѣятельностію.

Его агитаторское вліяніе упало еще при его жизни. Начиная съ 1865, листокъ *Колокола* былъ величайшею рѣдкостію въ самомъ Петербургѣ, потому что никто имъ не интересовался, никто не находилъ не только важнымъ, а даже любопытнымъ взглянуть, что́ думаетъ и пишетъ Герценъ. Трудно найти примѣръ болѣе быстраго и глубокаго паденія. Если-бы въ 1866, 1867 годахъ

Колоколъ свободно продавался въ Россіи, то его навѣрное покупали-бы очень немногіе, и то какъ куріозъ, какъ явленіе, не имѣющее никакого смысла, никакого отношенія къ дѣйствительности.

И такъ, поговоримъ о томъ, что́ прочнѣе и живучѣе его публицистики,—именно, о его литературной дѣятельности и томъ душевномъ настроеніи, которое въ ней отразилось. Онъ оставилъ послѣ себя цѣлый рядъ произведеній, которыя пережили его эфермерную славу политическаго вождя, и смыслъ которыхъ еще долго будетъ жить въ воображеніи читателей, когда изгладится всякая память о содержаніи его агитаторскихъ выходокъ.

Не дѣятельность была прямымъ назначеніемъ Герцена; онъ былъ рожденъ болѣе всего мыслителемъ, въ значительной степени художникомъ, и мы увидимъ, какъ мало согласовалась роль агитатора съ тѣмъ направленіемъ, которое лежало въ основѣ его образа мыслей и творчества.

II.

Пессимизмъ. „Записки одного молодаго человѣка". Гёте.

По всему своему душевному строю, по своимъ чувствамъ и взгляду на вещи, Герценъ былъ, отъ начала до конца своего поприща, *пессимистомъ*, т. е. темная сторона міра открывалась ему яснѣе, чѣмъ свѣтлая; болѣзненныя и печальныя явленія жизни онъ воспринималъ съ несравненно большей живостію и чуткостію, чѣмъ всякія другія. Вотъ гдѣ ключъ къ разгадкѣ литературной дѣятельности Герцена, вотъ гдѣ нужно искать ея главныхъ достоинствъ и недостатковъ. Мысль Гер-

цена постоянно работала въ этомъ направленіи, и, при его значительномъ философскомъ и художническомъ талантѣ, при томъ *мужествѣ* передъ истиной, которымъ онъ хвалился и которое въ немъ дѣйствительно было,— эта умственная работа привела его къ нѣкоторымъ очень важнымъ открытіямъ, къ такимъ взглядамъ, которые не останутся безъ слѣда въ русской литературѣ. Все, что́ есть глубокомысленнаго у Герцена, глубокомысленно только въ этомъ отношеніи, то есть, какъ глубокое развитіе пессимизма,—безотраднаго, мрачнаго воззрѣнія на міръ. Въ этомъ заключается весь интересъ его философскихъ разсужденій и главный нервъ его художественныхъ произведеній.

Для ясности, перейдемъ поскорѣе отъ общихъ положеній къ фактамъ, то есть разберемъ главнѣйшія произведенія Герцена. Тогда наша мысль уяснится сама собою.

Первымъ замѣчательнымъ литературнымъ произведеніемъ Герцена были два отрывка изъ нѣкотораго рода автобіографіи, явившіеся подъ заглавіемъ: *Записки одного молодаго чѣловѣка* (Отеч. Зап. 1840, Декабрь) и *Еще изъ записокъ одного молодаго человѣка* (Отеч. Зап. 1841, Августъ). Второй отрывокъ уже представляетъ нѣчто весьма характеристическое для Герцена, уже проявляетъ его силу и оригинальность. Тутъ выведенъ на сцену нѣкто *Трензинскій*, лицо, къ которому авторъ относится съ величайшимъ сочувствіемъ и въ которомъ изображенъ одинъ изъ дѣйствительныхъ людей, дядя автора, имѣвшій очевидно большое вліянія на его образъ мыслей. Этотъ Трензинскій выставленъ человѣкомъ воспитаннымъ на идеяхъ прошлаго столѣтія, и потому находящимся въ противорѣчіи съ идеями новыми, съ направленіемъ,

имѣвшимъ силу тогда, въ 1840 году. Тогда — господствовало поклоненіе Гёте, то есть проповѣдывался величавый и спокойный пантеизмъ, нѣкотораго рода обоготвореніе земной жизни людей, вѣра въ ея разумность и красоту. Станкевичъ, Бѣлинскій были, какъ извѣстно, этой вѣры въ ту эпоху. Этой же вѣры былъ и Герценъ, еще не смѣвшій возстать открыто противъ духа времени, противъ такихъ авторитетовъ, какъ Гегель и Гёте. Но въ Герценѣ сильно говорило противорѣчіе этому господствующему духу, и онъ съ удивительною энергіею и ясностію воплотилъ свои новыя, свои собственныя мысли въ фигурѣ Трензинскаго.

Во-первыхъ, что̀ такое самъ Трензинскій? Это *познанскій полякъ*, который впрочемъ вовсе не имѣетъ качествъ представителя польской народности. Напротивъ, Герценъ хотѣлъ вывести лицо такъ сказать *между-народное*, лишенное всякой опредѣленной почвы. Трензинскій уже старикъ, имѣющій болѣе пятидесяти лѣтъ, слѣдовательно человѣкъ уже прожившій главную часть своей жизни, и самъ онъ опредѣляетъ свою судьбу такъ:

„Для того, чтобы быть брошену такъ безцѣльно, такъ „нелѣпо въ мірѣ, какъ я, надобенъ цѣлый рядъ исклю„чительныхъ обстоятельствъ. Я никогда не зналъ ни се„мейной жизни, ни родины, ни обязанностей, которыя „вростаютъ въ сердце съ колыбели. Но замѣтьте, я ни„сколько не былъ виноватъ, я не навлекъ на себя это„го отчужденія отъ всего человѣческаго; обстоятельства „устроили такъ“. (Стр. 179).

Такимъ образомъ, въ Трензинскомъ выступаетъ передъ нами одно изъ тѣхъ лицъ, которыя такъ любилъ Герценъ,—человѣкъ *несчастный безъ всякой вины*, жертва случая, неоправдываемая никакою системою опти-

мизма, осужденная на страданія, не имѣющія смысла. Въ заключеніе разсказа, Герценъ самъ пытается произнести сужденіе о своемъ героѣ, и говоритъ такъ:

„Въ Трензинскомъ преобладаетъ скептицизмъ d'une „existence manquée; это равно ни скептицизмъ древнихъ, „ни скептицизмъ Юма, а скептицизмъ жизни, убитой „обстоятельствами, безпредѣльно грустный взглядъ на „вещи человѣка, котораго грудь покрыта ранами неза„служенными, человѣка, оскорбленнаго въ благороднѣй„шихъ чувствахъ, и между тѣмъ человѣка полнаго силы". (Стр. 187).

Такой человѣкъ не могъ, конечно, держаться свѣтлаго созерцанія пантеизма, видящаго всюду разумность и красоту. Поэтому, пантеистъ-Герценъ называетъ взгляды Трензинскаго „странными мнѣніями и парадоксами", но, тѣмъ не менѣе, говоритъ, что этому человѣку „удалось нанести глухой ударъ нѣкоторымъ изъ его теплыхъ вѣрованій". (Стр. 174).

Какъ примѣръ, Герценъ приводитъ свои разговоры о предметѣ величайшей важности, объ олимпійцѣ Гёте, котораго такъ величала и славила тогдашняя философія. Трензинскій разсказываетъ, что онъ два раза встрѣчался съ Гёте. Эти встрѣчи оставили въ немъ неблагопріятное впечатлѣніе отъ личности великаго поэта; разсказъ такъ мастерски выставляетъ нѣкоторыя черты Гёте и имѣетъ такое важное значеніе для характеристики взглядовъ Герцена, что мы приведемъ его вполнѣ.

„Первый разъ", разсказываетъ Трензинскій, „я ви„дѣлъ Гёте мальчикомъ, лѣтъ шестнадцати. При началѣ „революціи, отецъ мой былъ въ Парижѣ, и я съ нимъ. „Régime de terreur какъ-то проглядывалъ сквозь сладко„глаголивую жиронду... Иностранцамъ было опасно ѣхать

„и еще опаснѣе оставаться. Отецъ мой рѣшился на „первое, и мы тайкомъ выбрались изъ Парижа“.

Послѣ разныхъ приключеній и опасностей, они добрались наконецъ до союзной нѣмецкой арміи, которая шла тогда на Францію для подавленія революціи.

„Насъ повели къ генералу и послѣ разныхъ допро„совъ и распросовъ позволили ѣхать далѣе; но возмож„ности никакой не было достать лошадей; всѣ были взя„ты подъ армію, для которой тогда наступило самое кри„тическое время. Армія гибла отъ голода и грязи. На „другой день, пригласилъ насъ одинъ владѣтельный князь „на вечеръ. Въ маленькой залѣ, принадлежавшей сель„скому священнику, мы застали нѣсколько полковниковъ, „какъ всѣ нѣмецкіе полковники—съ сѣдыми усами, съ „видомъ честности и не слишкомъ большой дальновид„ности. Они грустно курили свои сигары. Два-три адъю„танта весело говорили по-французски, коверкая гер„манизмами каждое слово; казалось, они еще не со„мнѣвались, что имъ прійдется попировать въ Palais Royal „и тамъ оставить свой здоровый цвѣтъ лица, завѣтный „локонъ, подаренный при разлукѣ, и нѣмецкую способ„ность краснѣть отъ двусмысленнаго слова. Вообще, было „скучно. Довольно поздно явился еще гость, во фракѣ, „мущина хорошаго роста, довольно плотный, съ гор„дымъ, важнымъ видомъ. Всѣ привѣтствовали его съ „величайшимъ почтеніемъ; но его взоръ не былъ при„вѣтливъ, не вызывалъ дружбы, а благосклонно прини„малъ привычную дань вассальства. Каждый могъ чув„ствовать, что онъ не товарищъ ему. Князь предложилъ „кресло возлѣ себя; онъ сѣлъ, сохраняя ту особенную „Steifheit, которая въ крови у нѣмецкихъ аристократовъ. „„Нынче утромъ“, сказалъ онъ послѣ обыкновенныхъ при-

„вѣтствій, „я имѣлъ необыкновенную встрѣчу. Я ѣхалъ въ „каретѣ герцога, какъ всегда; вдругъ подъѣзжаетъ верхомъ „какой-то военный, закутанный шинелью отъ дождя. „Увидѣвъ веймарскій гербъ и герцогскую ливрею, онъ „подъѣхалъ къ каретѣ и—представте взаимное наше „удивленіе—когда я узналъ въ военномъ его величество „короля, а его величество нашелъ вмѣсто герцога—меня. „Этотъ случай останется у меня долго въ памяти“ “.

„Разговоръ обратился отъ разсказа чрезвычайной „встрѣчи къ королю, и естественно перешли къ тѣмъ „вопросамъ, которые тогда занимали всѣхъ, бывшихъ „въ залѣ, т. е. къ войнѣ и политикѣ. Князь подвелъ „моего отца къ дипломату (новому гостю) и сказалъ, „что отъ него можно узнать самыя новыя новости. „„Что дѣлаетъ генералъ Лафайетъ и всѣ эти антропо„фаги?“ спросилъ дипломатъ.—Лафайетъ, отвѣчалъ мой „отецъ—неустрашимо защищаетъ короля и въ открытой „борьбѣ съ якобинцами.—Дипломатъ покачалъ головою „и выразительно замѣтилъ: „Это одна маска: Лафайетъ, „я почти увѣренъ, за-одно съ якобинцами“.—Помилуй„те! возразилъ мой отецъ,—да съ самаго начала у нихъ „непримиримая вражда.—„Дипломатъ иронически улыб„нулся и, промолчавъ, сказалъ: „Я собирался ѣхать въ „Парижъ года два тому назадъ; но я хотѣлъ видѣть „Парижъ Лудовика Великаго и великаго Аруэта, а не „орду Гунновъ, неистовствующихъ на обломкахъ его славы. „Можно ли было ожидать, чтобъ буйная шайка демаго„говъ имѣла такой успѣхъ? О, еслибъ Неккеръ въ свое „время принялъ иныя мѣры, еслибъ Лудовикъ XVI по„слушался не ангельскаго своего сердца, а преданныхъ „ему людей, которыхъ предки столѣтія процвѣтали подъ „лиліями, намъ не нужно бы было теперь подниматься

„въ крестовый походъ! Но нашъ Готфредъ скоро обра-„зумитъ ихъ, въ этомъ я не сомнѣваюсь; да и сами „французы ему помогутъ; Франція не заключена въ „Парижѣ"".

„Князь былъ ужасно доволенъ его словами".

„Но кто не знаетъ откровенности германскихъ во-„иновъ, да и воиновъ вообще? Ихъ разрубленныя лица, „ихъ простреленныя груди даютъ имъ право говорить „то, о чемъ мы имѣемъ право молчать. По несчастію, „за княземъ стоялъ, опершись на саблю, одинъ изъ „сѣдыхъ полковниковъ; въ наружности было видно, что „онъ жизнь провелъ съ 10 лѣтъ на бивуакахъ и въ „лагеряхъ, что онъ хорошо помнитъ стараго Фрица; „черты его выражали гордое мужество и безусловную „честность. Онъ внимательно слушалъ слова дипломата „и наконецъ сказалъ":

„„Да неужели вы нешутя вѣрите до сихъ поръ, что „французы насъ примутъ съ распростертыми объятіями, „когда всякій день показываетъ намъ, какой свирѣпо-„народный характеръ принимаетъ эта война, когда по-„селяне жгутъ свой хлѣбъ и свои дома для того, чтобы „затруднить насъ? Признаюсь, я не думаю, чтобы намъ „скоро пришлось обращать Парижъ на путь истинный, „особенно ежели будемъ стоять на одномъ мѣстѣ"".

„„Полковникъ не въ духѣ",—возразилъ дипломатъ и „взглянулъ на него такъ, что мнѣ показалось, что онъ „придавилъ его ногой. „Но я полагаю, вы знаете луч-„ше меня, что осенью, въ грязь, невозможно идти впе-„редъ. Въ полководцѣ не благородная запальчивость, а „благоразуміе дорого; вспомните Фабія-Кунктатора"".

„Полковникъ не струсилъ ни отъ взора, ни отъ „словъ дипломата. „Разумѣется, теперь нельзя идти впе-

„редъ, да и назадъ трудно. Впрочемъ, вѣдь осень въ „нынѣшнемъ году не въ первый разъ во Франціи, грязь „можно было предвидѣть. Я молю Бога, чтобъ дали „генеральное сраженіе; лучше умереть передъ своимъ „полкомъ съ оружіемъ въ рукѣ отъ пули, нежели си„дѣть въ этой грязи...“ И онъ жалъ рукою эфесъ сабли. „Началось шептанье и издали слышалось: ja, ja, der „Obrist hat Recht.. Wäre der grosse Fritz, oh! der grosse „Fritz! Дипломатъ улыбаясь обернулся къ князю и ска„залъ: „Въ какой бы формѣ ни выражалась эта жаж„да побѣдъ воиновъ тевтонскихъ, нельзя ее видѣть безъ „умиленія. Конечно наше настоящее положеніе не изъ „самыхъ блестящихъ; но вспомнимъ, чѣмъ утѣшался „Жуанвиль, когда былъ въ плѣну съ Святымъ Лудовикомъ: „Nous en parlerons devant les dames““.

„„Покорно благодарю за совѣтъ!“ возразилъ неумо„лимый полковникъ. „Я своей женѣ, матери, сестрѣ „(если бы они у меня были) не сказалъ бы ни слова „объ этой компаніи, изъ которой мы принесемъ грязь „на ногахъ и раны на спинѣ. Да объ этомъ даже на„шимъ дамамъ прежде насъ разскажутъ эти черниль„ные якобинцы, о которыхъ насъ увѣряли, что они ис„чезнутъ какъ дымъ при первомъ выстрѣлѣ““.

„Дипломатъ понялъ, что ему не совладать съ такимъ „соперникомъ, и онъ, какъ Ксенофонтъ, почетно от„ступилъ съ слѣдующими 10,000 словами: „Міръ по„литики мнѣ совершенно чуждъ; мнѣ скучно, когда я „слушаю о маршахъ и эволюціяхъ, о преніяхъ и мѣ„рахъ государственныхъ. Я не могъ никогда безъ ску„ки читать газетъ; все это что-то такое преходящее, „временное, да и вовсе чуждое по самой сущности намъ. „Есть другія области, въ которыхъ я себя понимаю ца-

„ремъ: зачѣмъ же я пойду безъ призыва, дюжиннымъ „резонеромъ, вмѣшиваться въ дѣла, возложенныя Про„видѣніемъ на избранныхъ имъ нести тяжкое бремя „управленія? И что мнѣ за дѣло до того, что̀ дѣлается „въ этой сферѣ!""

„Слово *дюжинный резонеръ* попало въ цѣль: пол„ковникъ сжалъ сигару такъ, что дымъ у нея пошелъ „изъ двадцати мѣстъ, и, впрочемъ довольно спокойно, но „съ огненными глазами, сказалъ: „Вотъ я простой „человѣкъ, нигдѣ себя чувствую ни царемъ, ни геніемъ, „а вседа остаюсь *человѣкомъ*, и помню, какъ еще бу„дучи мальчикомъ затвердилъ пословицу: Homo sum et „nihil humani a me alienum puto. Двѣ пули, пролетѣвшія „черезъ мое тѣло, подтвердили мое право вмѣшиваться „въ тѣ дѣла, за которыя я плачу своею кровью""".

„Дипломатъ сдѣлалъ видъ, что не слышитъ словъ „полковника; къ тому же, тотъ сказалъ это, обращаясь „къ своимъ сосѣдямъ. — „И здѣсь," продолжалъ дипло„матъ, среди военнаго стана, я также далекъ отъ поли„тики, какъ въ веймарскомъ кабинетѣ.""

— „А чѣмъ вы теперь занимаетесь? — спросилъ „князь, едва скрывая радость, что разговоръ перемѣ„нился".

„„Теоріею цвѣтовъ; я имѣлъ счастіе третьяго дня чи„тать отрывки свѣтлѣйшему дядюшкѣ вашей свѣтлости""

„Стало, это не дипломатъ. „Кто это?" спросилъ я „эмигранта, который сидѣлъ возлѣ меня и, не смотря „на бивуачную жизнь, нашелъ средство претщательно „нарядиться, хотя въ короткое платье. „Ah, bah! c'est „un célèbre poete allemand M-r Koethè, qui a écrit, qui a „écrit... Ah, bah! la Messiade!" Такъ это авторъ романа „сводившаго меня съ ума: Werthers Leiden! подумалъ

„я, улыбаясь филологическимъ знаніямъ эмигранта. Во „Франціи, кромѣ „Вертера", не было ни одного изъ его „сочиненій.—Вотъ моя первая встрѣча".

„Прошло нѣсколько лѣтъ. Мрачный терроръ скрылся „за блескомъ побѣдъ. Дюмурье, Гошъ и наконецъ Бо„напарте поразили міръ удивленіемъ. То было время „первой итальянской кампаніи, этой юношеской поэмы „Наполеона. Я былъ въ Веймарѣ и пошелъ въ театръ. „Давали какую-то политическую фарсу Гётева сочине„нія. Публика не смѣялась, да и по правдѣ, насмѣшка „была натянута и плосковата. Гёте сидѣлъ въ ложѣ „съ герцогомъ. Я издали смотрѣлъ на него и отъ всей „души жалѣлъ его; онъ понялъ очень хорошо равно„душіе, кашель, разговоры въ партерѣ, и испытывалъ „участь журналиста не попавшаго въ тонъ. Между „прочимъ, въ партерѣ былъ тотъ же полковникъ. Я „подошелъ къ нему; онъ узналъ меня. Лицо его исху„дало, какъ будто лѣтъ десять мы не видались, рука „была на перевязкѣ. „Что же Гёте тогда толковалъ, „что политика ниже его, а теперь пустился въ пам„флеты? Я дюжинный резонеръ и не понимаю тѣхъ „людей, которые хохочутъ тамъ, гдѣ народы обливаются „кровью, и, открывши глаза, не видятъ, что̀ совершается „передъ ними. А можетъ быть, это право генія..."

„Я молча пожалъ его руку, и мы разстались. При „выходѣ изъ театра, какіе-то три, вѣроятно пьяные, бурша „съ растрепанными волосами въ честь Арминія и Тацитова „сказанія о Германцахъ, съ портретомъ Фихте на труб„кахъ,—принялись свистать, когда Гёте садился въ ка„рету. Буршей повели въ полицію, я пошелъ домой, и „съ тѣхъ поръ не видалъ Гёте". (Стр. 182—185).

Вотъ мастерской разсказъ, въ которомъ съ удиви-

тельною краткостію и силою выставлена извѣстная черта Гёте—его равнодушіе къ современнымъ практическимъ вопросамъ. Смыслъ разсказа весьма многозначителенъ, соотвѣтствуетъ многимъ задушевнымъ стремленіямъ Герцена. Во первыхъ, тутъ слышно отрицаніе авторитетовъ, та мысль, что только мечтатели и идеалисты „строятъ себѣ въ головѣ фантастическихъ великихъ людей, односторонних и слѣдовательно невѣрныхъ оригиналамъ". (Такъ выражается въ заключеніе Трензинскій). Во вторыхъ, слышно горячее сочувствіе къ практическимъ интересамъ, къ *людямъ жизни*, въ противоположность съ поэтами и мыслителями. Но главный центръ разсказа заключается въ противоположности между Гёте и Трензинскимъ, между поэтомъ, примирявшимся съ жизнью, и человѣкомъ, который ничѣмъ съ жизнью не примиряется. Главная мысль заключается въ сочувствіи къ лицу, которое отвергло всякую идею примиренія. „Философы, говоритъ Трензинскій, примиряются *съ несчастіями, слѣпо и грубо поражающими ежедневно индивидуальность*, мыслью о ничтожности индивидуума". (Стр. 186). Трензинскій не признаетъ этого выхода изъ противорѣчія; онъ упорно держится того взгляда, что человѣку не въ чемъ искать утѣшенія и успокоенія, если онъ страдаетъ нелѣпо, безцѣльно, безъ всякой вины, единственно въ силу случайностей и обстоятельствъ. Идея такого страданія есть главная идея Герцена. Въ заключеніе этого отрывка изъ *Записокъ молодаго человѣка*, Герценъ дѣлаетъ разныя оговорки, выражаетъ опасеніе, чтобы разсказъ его какъ-нибудь не сочли *мелкимъ камнемъ, брошеннымъ въ великаго поэта*, увѣряетъ, что самъ онъ *благоговѣетъ* передъ Гёте, и объясняетъ все дѣло слѣдующимъ образомъ:

„Трензинскій — человѣкъ по преимуществу практи-„ческій, всего менѣе художникъ. *Онъ могъ* смотрѣть на „Гёте съ такой бѣдной точки; да и долженъ-ли былъ „вселить Гёте уваженіе къ себѣ, подавить авторитетомъ— „*человѣка, который рядомъ бѣдствій дошелъ до неуваженія лучшихъ упованій своей жизни?*“ (Стр. 187).

И такъ, есть случаи, въ которыхъ невластны и безсильны всякая поэзія, всякая философія; есть несчастія, передъ которыми не можетъ устоять никакой авторитетъ, разлетается всякій ореолъ, которыя *даютъ право* на самого олимпійца Гёте смотрѣть такъ, какъ смотритъ Трензинскій.

По тому времени, это были мысли чрезвычайно дерзкія и вольнодумныя, такъ-какъ поклоненіе Гёте господствовало у насъ съ великою силою и было подкрѣпляемо авторитетомъ гегелизма, видѣвшаго въ Гёте поэта наиболѣе глубокаго, всего ближе подходящаго къ духу этой философіи. Источникомъ же этихъ дерзкихъ мыслей было признаніе въ мірѣ горя, неисцѣлимаго никакой философіей.

III.

„Кто виноватъ“. Страданія безъ вины.

Наиболѣе извѣстное русскимъ читателемъ произведеніе Герцена есть его романъ *Кто виноватъ*, появившійся въ первый разъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1845 года, въ декабрской книжкѣ, и потомъ дважды изданный отдѣльно, въ 1847 г. (Спб., тип. Праца) и въ 1866 г. (Спб., изд. Ковалевскаго). Мы остановимся

на немъ дольше и подробнѣе, какъ на вещи не только извѣстной болѣе другихъ, но и вполнѣ законченной, вполнѣ обработанной, и вмѣстѣ чрезвычайно поучительной съ той точки зрѣнія, которой мы держимся. По порядку времени, намъ слѣдовало бы говорить сперва о философскихъ статьяхъ Герцена; но, для ясности, мы отложимъ эту рѣчь до другаго мѣста и сперва разберемъ романъ; мысль Герцена здѣсь выражена въ образахъ, слѣдовательно въ самой общедоступной и живой формѣ.

Исторія, которая разсказывается въ этомъ романѣ, чрезвычайно проста по основнымъ своимъ чертамъ. Благородный и умный молодой человѣкъ встрѣчаетъ на своемъ жизненномъ пути молодую дѣвушку, точно также умную и чистую. Они влюбляются другъ въ друга, преодолѣваютъ нѣкоторыя препятствія, мѣшавшія ихъ браку, и женятся. Наступаетъ семейное счастіе, ясное, простое, которое тянется цѣлые годы; у молодыхъ супруговъ есть сынъ, слѣдовательно есть и то звено, которое необходимо для полноты супружества, безъ котораго супружество теряетъ свой главный смыслъ. Вдругъ на эту семью обрушивается несчастіе. Случайно въ тотъ городъ, гдѣ она живетъ, пріѣзжаетъ Бельтовъ, молодой холостякъ, блистательный, умный, энергическій. Онъ знакомится съ счастливою семьею, начинаетъ часто бывать въ ней; и вотъ между нимъ и молодою женщиною съ неудержимою силою и быстротою возникаетъ страсть.

Такова завязка романа.

Очевидно, случай, взятый Герценомъ, относится къ такъ называемому *женскому вопросу*, къ вопросу о свободѣ сердечныхъ нашихъ чувствъ, о стѣсненіи, представляемомъ неразрывностью брака, о неразумности такого чувства, какъ ревность, и т. д. На эти и подоб-

ныя темы было у насъ написано не мало всякихъ разсужденій и безчисленное множество повѣстей и романовъ. Существуетъ цѣлая литература, весьма любопытная, трактующая о разныхъ затрудненіяхъ и случаяхъ, встрѣчающихся въ дѣлахъ любви и брака. Общее рѣшеніе, къ которому приходитъ эта литература, состоитъ въ томъ, что все можно уладить, что всѣ бѣды, претерпѣваемыя людьми въ этомъ отношеніи происходятъ или отъ дурныхъ законовъ, или отъ грубыхъ и непросвѣщенныхъ чувствъ и нравовъ; измѣнивъ законы и внушивъ людямъ просвѣщенные и истинно-гуманные взгляды на дѣло, мы могли бы, по мнѣнію многихъ нашихъ писателей, водворить на землѣ совершенное благополучіе по крайней мѣрѣ въ любовныхъ и семейныхъ дѣлахъ. Если-бы пригласить для рѣшенія вопроса, напримѣръ, г. Авдѣева, самаго знаменитаго изъ нашихъ проповѣдниковъ о правахъ любви, то, мы вполнѣ увѣрены, онъ ни мало не затруднился-бы рѣшеніемъ. Жена должна свободно слѣдовать влеченію страсти, а мужъ не долженъ мѣшать ея счастью, и не имѣетъ права быть несчастнымъ только отъ того, что другіе счастливы,—вотъ какъ слѣдуетъ рѣшить на основаніи уроковъ, заключающихся въ произведеніяхъ г. Авдѣева и многихъ другихъ.

Герценъ рѣшилъ иначе. Онъ вывелъ на сцену самыхъ добрыхъ, умныхъ, гуманныхъ людей, которые чужды всякихъ предразсудковъ и вполнѣ готовы были бы пожертвовать собою для того, чтобы какъ-нибудь выйти самимъ и вывести другихъ изъ роковаго столкновенія; но выхода нѣтъ, и потому эти люди неизбѣжно должны страдать. Первый начинаетъ страдать мужъ, который тотчасъ догадался, что потерялъ нераздѣльную нѣжность жены, потерялъ то, чѣмъ прежде жилъ и

дышалъ. Затѣмъ страдаетъ жена, замѣчающая мученія мужа и чувствующая, что она ни за что не можетъ покинуть его и ребенка, что она для нихъ должна отказаться отъ новой своей любви. Наконецъ Бельтовъ, видя, что его страсть приноситъ только горе другимъ, уѣзжаетъ, отрываясь отъ женщины, которую полюбилъ такъ, какъ уже не полюбитъ, вѣроятно, никакую другую. Спокойствіе и счастіе всѣхъ дѣйствующихъ лицъ нарушено и едва-ли когда-нибудь къ нимъ возвратится.

Трагизмъ этого столкновенія взятъ Герценомъ во всей чистотѣ и силѣ. Если бы бракъ Круциферскихъ совершился не по любви, а подъ давленіемъ тѣхъ или другихъ обстоятельствъ, если бы мужъ былъ дуренъ, старъ, боленъ, или опостылѣлъ бы своей женѣ съ нравственной стороны, тогда любовь жены къ другому мужчинѣ имѣла бы нѣкоторое оправданіе. Если бы Бельтовъ или Круциферская были люди легкомысленные и порочные, которые только слишкомъ поздно одумались и спохватились,—тогда бѣда, въ которую они себя втянули, была бы нѣкотораго рода наказаніемъ за легкомысліе. Но ничего подобнаго здѣсь нѣтъ. Супруги искренно, нѣжно любятъ другъ друга. Страсть Круциферской и Бельтова возникаетъ изъ самыхъ чистыхъ отношеній, изъ безпорочнаго душевнаго сочувствія. Всѣ наказаны и никто не виноватъ.

Таковъ дѣйствительно смыслъ этого романа. Попробуйте отвѣчать на вопросъ, которымъ онъ озаглавленъ: *Кто виноватъ*?—и вы увидите, что нельзя найти никакого опредѣленнаго отвѣта, нельзя приписать вину ни кому-нибудь изъ дѣйствующихъ лицъ, ни той средѣ, тѣмъ нравамъ и законамъ, среди которыхъ они живутъ. Счастіе нарушено не тѣмъ, что герои разсказа свя-

БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОТЕКА Инв. № ЛВАИУ

заны въ своихъ дѣйствіяхъ государственными или религіозными постановленіями, и не тѣмъ, что они подвергаются преслѣдованію и угнетенію со стороны грубаго и невѣжественнаго общества. Нѣтъ—бѣда заключается единственно во взаимныхъ отношеніяхъ, въ которыхъ стоятъ лица романа и въ которыя они пришли безъ всякой своей вины, безъ всякаго дурнаго поползновенія. Вотъ истинная мысль романа.

Эта мысль ясно выражается въ словахъ доктора Крупова, играющаго роль нѣкотораго *Стародума* въ этой драмѣ. „Не даромъ я всегда говорилъ", проповѣдуетъ онъ въ заключеніе, „что *семейная жизнь—вещь преопасная*". (Стр. 366). А въ чемъ заключается опасность семейной жизни, видно изъ словъ Круциферской, сидящей надъ больнымъ ребенкомъ и чувствующей, что она любитъ другаго, не мужа, не отца этого ребенка. „Что за непрочность всего, что̀ намъ дорого,—страшно „подумать! Такъ, какой-то вихрь несетъ, кружитъ вся„кую всячину, хорошее и дурное; и человѣкъ туда по„падаетъ, и броситъ его на верхъ блаженства, а по„томъ внизъ. Человѣкъ воображаетъ, что онъ самъ рас„поряжается всѣмъ этимъ, а онъ, точно щепка въ рѣкѣ, „повертывается въ маленькомъ кружечкѣ и плыветъ „вмѣстѣ съ волной, куда случится—прибьетъ къ бе„регу, унесетъ въ море, или увязнетъ въ тинѣ... Скучно „и обидно!" (стр. 324).

Неизбѣжная непрочность счастья, ничѣмъ непредотвратимая возможность потерь и бѣдъ, независящихъ отъ нашей воли,—вотъ та обидная и страшная сторона жизни, которую изображаетъ романъ.

Если мы ближе всмотримся, то найдемъ тутъ и другую мысль, которая впрочемъ только яснѣе оттѣняетъ

первую. Попробуемъ разобрать симпатію автора къ его лицамъ. Нравственно или, пожалуй, юридически виноватымъ онъ не считаетъ никого; но все-таки есть точка зрѣнія, въ которой онъ однимъ лицамъ сочувствуетъ болѣе, а другимъ менѣе, есть какой-то высшій судъ, который однихъ осуждаетъ, а другихъ оправдываетъ.

Приговоръ этихъ симпатій и этого суда у Герцена выходитъ прямо обратный обыкновенному пониманію. Герценъ наименѣе сочувствуетъ Круциферскому, то есть тому человѣку, который, по обыкновеннымъ понятіямъ, всего менѣе виноватъ, который не подалъ никакого повода къ несчастію, его поразившему. А болѣе всѣхъ оправдываетъ Герценъ Бельтова — того человѣка, отъ котораго произошла вся бѣда, который своимъ появленіемъ и вмѣшательствомъ въ чужую семью разрушилъ ея счастіе.

Круциферскій виноватъ именно потому, что онъ слишкомъ исключительно преданъ любви къ своей женѣ. Это не значитъ, что онъ любитъ эту женщину больше и страдаетъ изъ-за нея сильнѣе, чѣмъ Бельтовъ, но значитъ только, что въ его сердцѣ не осталось силы и мѣста ни для чего другаго. Любовь Круциферскаго Герценъ описываетъ такъ:

„Кроткій отъ природы, онъ и не думалъ вступать „въ борьбу съ дѣйствительностію, онъ отступалъ отъ „ея напора, онъ просилъ только оставить его въ по„коѣ; но явилась любовь, такъ, какъ она является въ „этихъ организаціяхъ: не бѣшено, не безумно, но *на „вѣки вѣковъ*, но *съ такимъ отданіемъ себя, что уже въ „груди не остаётся ничего не отданнаго*“.

„Во всѣхъ его дѣйствіяхъ была таже кротость, что „и на лицѣ, тоже спокойствіе, таже искренность и

„таже робкая задумчивость. Нужно-ли говорить, какъ „такой человѣкъ долженъ былъ любить свою жену? Любовь его росла безпрерывно, *тѣмъ болѣе, что ничто „не развлекало его*; онъ не могъ двухъ часовъ провести, „не видавши темноголубыхъ глазъ своей жены; онъ трепеталъ, когда она выходила со двора и не возвращалась въ назначенный часъ; словомъ, *ясно было видно, „что всѣ корни его бытія были въ ней*".

„Круциферскій далеко не принадлежалъ къ тѣмъ „сильнымъ и настойчивымъ людямъ, которые создаютъ „около себя то, чего нѣтъ; отсутствіе всякаго человѣческаго интереса около него дѣйствовало на него болѣе отрицательно, нежели положительно, между прочимъ потому, что это было въ лучшую эпоху его „жизни, т. е. тотчасъ послѣ брака. А потомъ онъ привыкъ, остался при своихъ мечтахъ, при нѣсколькихъ „широкихъ мысляхъ, которымъ уже прошло нѣсколько „лѣтъ, при общей любви къ наукѣ, при вопросахъ давно „рѣшенныхъ. Удовлетворенія болѣе дѣйствительнымъ потребностямъ души онъ искалъ въ любви, и *въ сильной „натурѣ своей жены онъ находилъ все*" (стр. 278—280).

Вотъ вина Круциферскаго; онъ любилъ слишкомъ беззавѣтно, слишкомъ много. На бѣду и жена попалась слишкомъ хорошая, то есть такая, что могла поглотить весь запасъ душевныхъ потребностей, какой былъ у ея мужа. Чѣмъ исключительнѣе была любовь Круциферскаго, чѣмъ меньше у него оставалось жизни помимо этой любви, тѣмъ опаснѣе было его положеніе, тѣмъ большая бѣда грозила ему въ томъ случаѣ, если бы пошатнулась эта единственная опора его существованія. Вотъ почему, когда катастрофа разразилась, Бельтовъ произноситъ надъ Круциферскимъ такой приговоръ:

„Дмитрій Яковлевичъ хорошій человѣкъ, онъ ее безумно любитъ, *но у него любовь—манія*; онъ себя погубитъ этой любовью, — чтожъ съ этимъ дѣлать?.. „*Хуже всего, что онъ и ее погубитъ*". (Стр. 364).

Любовь есть чувство личное по самому существу дѣла, то есть чувство, удовлетворяемое только отношеніями другаго человѣка къ нашей личности, а не къ чему-либо другому. Поэтому, хотя любовь имѣетъ источникъ совершенно отличный отъ эгоизма, она носитъ на себѣ всѣ признаки, всѣ существенныя принадлежности эгоизма. Этотъ эгоизмъ любви—дѣло давно извѣстное, и черты его конечно всего яснѣе выступаютъ при такой исключительности въ любви, какою страдаетъ Круциферскій. Нужно отдать полную справедливость Герцену, что эту больную сторону своего героя онъ описалъ превосходно. Вотъ нѣсколько подробностей.

„*Да, она его любитъ*. Сознавшись въ этомъ, онъ съ „ужасомъ сталъ отталкивать эту мысль, но она была „упорна, она всплыла; мрачное, безумное отчаяніе овладѣло имъ. „Вотъ они, мои предчувствія! Что мнѣ дѣлать? и ты, и ты не любишь меня!" И онъ рвалъ волосы на головѣ, кусалъ губы, и вдругъ въ его душѣ, „мягкой и нѣжной, открылась *страшная возможность* „*злобы, ненависти, зависти* и потребность отомстить; и „въ дополненіе—онъ нашелъ силу все это скрыть. Настала ночь"...

„Онъ заплакалъ. Слезы, молитва и покойный видъ „спящаго Яши нѣсколько облегчили страдальца; толпа „совсѣмъ иныхъ мыслей явилась въ размягченной душѣ „его. „Да правъ ли я, что обвиняю ее? Развѣ она хотѣла его любить? И притомъ онъ... я чуть ли самъ „не влюбленъ въ него"... И нашъ восторженный меч-

„татель, сейчасъ безумный ревнивецъ, карающій мужъ, „вдругъ рѣшился самоотверженно. „Пусть она будетъ „счастлива, пусть она узнаетъ мою самоотверженную „любовь, *лишь бы мнѣ ее видѣть, лишь бы знать, что „она существуетъ;* я буду ея братомъ, ея другомъ!“ И „онъ плакалъ отъ умиленія, и ему стало легче, когда „онъ рѣшился на гигантскій подвигъ—на безпредѣльное „пожертвованіе собою, и онъ *тѣшился мыслью, что она „будетъ тронута его жертвою;* но это были минуты „душевной натянутости; онъ менѣе, нежели въ двѣ не„дѣли, изнемогъ, палъ подъ бременемъ такой ноши“.

„Не станемъ винить его: — подобныя противуесте„ственныя добродѣтели, преднамѣренныя самозакланія „вовсе не по натурѣ человѣка и бываютъ большею ча„стію только въ воображеніи, а не на дѣлѣ. На нѣс„колько дней его стало; но первая мысль, ослабившая „его героизмъ, *была холодная и узкая:*—„она думаетъ, „я ничего не вижу, она хитритъ, она притворяется“. О „комъ думалъ онъ это? О женщинѣ, которую такъ лю„билъ, которую долженъ бы былъ знать, да не зналъ“. (Стр. 340—342).

Таковы эти мучительныя волненія. Ни желаніе добра, ни желаніе зла не могутъ оторваться отъ эгоистической подкладки; центромъ остается все-таки личность любящаго, которую онъ никакими усиліями не можетъ выбросить изъ вопроса. Вотъ почему Круциферская, хорошо понимая душевное состояніе своего мужа, пришла къ такимъ мыслямъ:

„Какъ *все странно и перепутано въ людскихъ поня„тіяхъ!* Подумаешь иногда и не знаешь, сердиться, или „хохотать. Мнѣ сегодня пришло въ голову, что *само„отверженнѣйшая любовь—высочайшій эгоизмъ, что вы-*

„*сочайшее смиреніе, что кротость—страшная гордость,* „*скрытая жестокость*; мнѣ самой дѣлается страшно „отъ этихъ мыслей, такъ, какъ бывало маленькой дѣ„вочкой я считала себя уродомъ, преступницей, за то, „что не могла любить Глафиры Львовны и Алексѣя „Абрамовича; что же мнѣ дѣлать, какъ обороннться отъ „своихъ мыслей и зачѣмъ? Я не ребенокъ. Дмитрій не „обвиняетъ меня, не упрекаетъ, ничего не требуетъ; „онъ сдѣлался еще нѣжнѣе. *Еще!* вотъ въ этомъ-то *еще* „и видно, что *все это неестественно*, нетакъ; въ „этомъ столько гордости и униженія для меня и такая „даль отъ пониманія". (Стр. 335).

Очевидно, Круциферскій лишился возможности относиться къ женѣ свободно, безъ всякой примѣси эгоистическихъ волненій. Въ его душѣ не осталось, такъ сказать, ни одного здороваго мѣста, никакой точки опоры для объективнаго пониманія дѣла. Онъ мучится *ревностію*, то-есть эгоистическимъ требованіемъ отъ любимой женщины такой-же исключительной любви, какую самъ къ ней питаетъ. Человѣкъ всегда судитъ о другихъ по себѣ, и тотъ, кто живетъ и дышетъ одною страстью, предполагаетъ и въ другомъ или такую же страсть, или полное ея отсутствіе. Отсюда—всѣ подозрѣнія ревности, ея слѣпота, ея извращеніе правильнаго пониманія лицъ и отношеній.

Не такъ малодушна, хотя, по словамъ автора, не менѣе, сильна любовь Бельтова и Круциферской. Этимъ двумъ лицамъ всего болѣе симпатизируетъ авторъ, особенно Бельтову. Круциферская еще колеблется, еще готова признать себя виноватою и только понемногу убѣждается въ своей невинности. Бельтовъ же отъ начала до конца считаетъ себя не подлежащимъ ника-

кому упреку и наставляетъ въ этомъ смыслѣ Круциферскую.

Когда онъ начинаетъ объясненіе въ любви, Круциферская говоритъ, что она любитъ мужа.

„Позвольте“, возражаетъ онъ, „развѣ непремѣнно вы „должны отвернуться отъ *одного сочувствія* другому, „какъ будто любви у человѣка дается извѣстная мѣра?“

Круциферская недоумѣваетъ и говоритъ: „Я не понимаю любви къ двоимъ“.

Бельтовъ въ отвѣтъ выражается еще опредѣленнѣе. „Если любовь вашего мужа“, говоритъ онъ, „дала ему „права на вашу любовь, отчего же любовь другаго, ис„кренняя, глубокая, не имѣетъ никакихъ правъ? Это „странно!.. Вы говорите, что не понимаете возможности „любить вашего мужа и еще любить. Не понимаете? „Сойдите поглубже въ душу вашу и посмотрите, что въ „ней дѣлается теперь, сейчасъ“. (Стр. 311).

Круциферская принуждена наконецъ сознаться, что Бельтовъ правъ, что она любитъ и его, и сохраняетъ прежнюю любовь къ мужу. Однакоже, когда Бельтовъ вырвалъ у нея признаніе и поцѣловалъ ее, она не рѣшается сказать о томъ мужу, и потомъ сама раскаивается въ этой скрытности. „Бѣдный Дмитрій!“ пишетъ она въ своемъ дневникѣ, „ты страдаешь за безпредѣль„ную любовь твою; я люблю тебя, мой Дмитрій! *Еслибы „я съ самаго начала была откровенна съ нимъ*, этого бы „никогда не было; что за нечистая сила остановила меня?“.

„Господи! Какъ мнѣ объяснить это ему? я не дру„гаго люблю, а люблю его и люблю Вольдемара; сим„патія моя съ Вольдемаромъ совсѣмъ иная“...

„Какъ только онъ успокоится, я поговорю съ нимъ, „и все, все разскажу ему“... (Стр. 331, 332).

Оказывается однакоже, что всѣ попытки тщетны, что Круциферскій не въ состояніи понять чувствъ своей жены; онъ не вѣритъ словамъ любви, которыя она ему расточаетъ, и долженъ погибнуть жертвою этого непониманія и невѣрія. Убѣдившись въ этомъ, жена его слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ свое душевное состояніе и всю мѣру ихъ общаго несчастія.

„Хуже всего, непонятнѣе всего, что *у меня совѣсть „покойна;* я нанесла страшный ударъ человѣку, котораго „вся жизнь посвящена мнѣ, котораго я люблю, и *я со„знаю себя только несчастной;* мнѣ кажется, *было бы „легче, если бы я поняла себя преступной;* о, тогда бы „я бросилась къ его ногамъ, я обвила бы моими ру„ками его колѣни, я раскаяніемъ своимъ загладила бы „все: раскаяніе выводитъ всѣ пятна на душѣ; онъ такъ „нѣженъ, онъ не могъ бы противиться, онъ меня бы „простилъ, и мы, выстрадавши другъ друга, были бы „еще счастливѣе. Что же это за проклятая гордость, „которая не допускаетъ раскаянія въ душу?“ (Стр. 336).

И такъ, есть случаи, есть положенія, которыя хуже всего, что̀ обыкновенно считается самымъ худымъ на свѣтѣ,—хуже грѣха и преступленія. Въ грѣхѣ можно раскаяться, преступленіе искупается самымъ сознаніемъ виновности; но мучиться самому и мучить другихъ, не чувствуя себя ни въ чемъ виноватымъ,—вотъ горе самое тяжкое. Въ изображеніи такого горя и состояла настоящая цѣль Герцена; вотъ его любимая, задушевная мысль.

Бельтову авторъ симпатизируетъ всего больше, и легко догадаться, что въ этомъ лицѣ онъ изобразилъ самого себя, свое душевное настроеніе, свои взгляды. Бельтовъ ни минуты ни въ чемъ не кается, ни минуты

ни въ чемъ не колеблется, хотя послѣ всей исторіи глубоко страдаетъ и говоритъ даже, что онъ, можетъ быть *вдвое несчастнѣе другихъ*. Бельтову, какъ мы видѣли, не мѣшаетъ любовь Круциферской къ мужу; Бельтовъ не ревнивъ и не требуетъ отъ любимой женщины пожертвованія ея другими привязанностями; его любовь такъ широка, такъ чужда всякой исключительности, что не ослѣпляетъ его, не возбуждаетъ въ немъ никакой злобы, никакихъ несправедливыхъ укоровъ и жалобъ. Онъ ясно видитъ свое и чужое положеніе, тотчасъ догадывается, что самъ попалъ и привелъ другихъ въ неотвратимую бѣду и, мучась прямо этимъ настоящимъ горемъ, не мучится никакими напрасными мыслями и сомнѣніями. Онъ уѣзжаетъ, увѣренный въ любви Круциферской, въ своемъ несчастіи и несчастіи другихъ.

Когда докторъ Круповъ упрекаетъ Бельтова въ необдуманности, въ томъ, зачѣмъ онъ не предупредилъ несчастія, зачѣмъ не оставилъ заранѣе домъ Круциферскихъ, Бельтовъ отвѣчаетъ:

„Вы проще спросите, *зачѣмъ я живу вообще?* Дѣй„ствительно, не знаю! Можетъ для того, чтобы сгубить „эту семью, чтобъ погубить лучшую женщину, которую „я встрѣчалъ. Вамъ все это легко спрашивать и осуж„дать. Видно у васъ сердце-то смолоду билось тихо, а „то бы осталось хоть что-нибудь въ воспоминаніи“.

„Первый разъ человѣкъ узналъ, что такое любовь, „что такое счастье, и зачѣмъ онъ не остановился? Это „наконецъ становится смѣшно, столько благоразумія у „меня нѣтъ. Да и потомъ, это вовсе было не нужно. „Когда я отдалъ отчетъ, когда я самъ понялъ,—было „поздно“. (Стр. 362, 364).

И такъ, смѣшны и нелѣпы всѣ укоризны, основы-

вающіяся на томъ, что бѣду можно было предотвратить и предвидѣть. Если бы Круциферскій не женился на женщинѣ, которая ему не подъ пару, еслибы Бельтовъ не пріѣзжалъ въ городъ, гдѣ жили Круциферскіе, еслибы онъ сторонился отъ всякой любви и заранѣе зналъ мѣру своихъ чувствъ, то конечно все было бы благополучно и не о чемъ было бы разсказывать. Но это значитъ, что люди для спасенія себя отъ бѣдъ должны *отказаться отъ жизни* и всего больше беречься именно тѣхъ опасныхъ случаевъ, когда имъ предстоитъ любовь и счастье. Что-нибудь одно изъ двухъ; или не жить, или жить и страдать,—такова дилемма, которую поставилъ романъ. На вопросъ: кто виноватъ?—романъ отвѣчаетъ: сама жизнь, самое свойство человѣческихъ душъ, не могущихъ отказаться отъ счастья и предвидѣть, какъ далеко заведутъ ихъ собственныя чувства, и влѣдствіе того страдающихъ отъ всякаго рода встрѣчъ и случайностей, которыя наносятъ удары этимъ чувствамъ и разрушаютъ это счастье.

IV.

„По поводу одной драмы". Три выхода: стоицизмъ, религія общіе интересы. Платонъ Каратаевъ. Безполезные люди.

Нужно сказать правду—любовь Бельтова и Круциферской описана у Герцена слабо, безъ той художественной живости и ясности, которая позволяла бы намъ видѣть ея внутреннія движенія. Особенно неопредѣленно разсказаны ощущенія Бельтова. Между тѣмъ, въ этой любви все дѣло. Романъ собственно изображаетъ противоположность двухъ родовъ любви. Одна любовь —

Круциферскаго,—старый, извѣстный родъ любви,—приводитъ къ гибели того, кто ей подтвергся. Другая любовь — новая, болѣе нормальная; Бельтовъ, какъ ни сильно онъ влюбленъ, не погибнетъ, не пропадетъ въ своемъ несчастіи; у Бельтова есть выходъ въ другую сферу, есть другіе интересы, которыми онъ можетъ жить. Таково поученіе, заключающееся въ романѣ.

Если взять дѣло съ этой точки зрѣнія, то романъ *Кто виноватъ* представляетъ очевидно воплощеніе мысли, постоянно занимавшей Герцена и выраженной имъ гораздо раньше романа въ статьѣ: *По поводу одной драмы.* (Отеч. Зап. 1843, іюль).

Въ этой статьѣ тотъ же самый вопросъ трактуется въ отвлеченной формѣ и поставленъ превосходно, съ истинно-философской глубиною. Статья написана по поводу какой-то французской театральной пьесы, которой Герценъ не называетъ и которая теперь забыта вмѣстѣ съ двумя ея авторами, Arnaud et Fournier. Пьеса содержитъ цѣлый рядъ несчастій, происходящихъ отъ столкновеній любви. Сужденія Герцена, относящіяся къ этой пьесѣ, такъ же хорошо относятся и къ его роману *Кто виноватъ.*

„Жизнь лицъ", говоритъ онъ, „печально прошедшихъ „передъ нашими глазами, была жизнь односторонняго „сердца, жизнь личныхъ преданностей, исключительной „нѣжности".

„При такомъ направленіи духа, начала кроткаго, „тихаго семейнаго счастія лежали въ нихъ; они могли-„бы быть счастливы, даже нѣкоторое время были — и „ихъ счастье было-бы дѣломъ *случая*, такъ же, какъ „и ихъ несчастіе. Міръ, въ которомъ они жили—міръ „случайности".

„Такимъ хрупкимъ счастіемъ человѣкъ не можетъ „быть счастливъ“.

„Судьба всего исключительно-личнаго, не выступаю„щаго изъ себя,—незавидна; отрицать личныя несчастія „нелѣпо; *вся индивидуальная сторона человѣка погру„жена въ темный лабиринтъ случайностей, переплетающихся, вплетающихся другъ въ друга*; дикія физическія „силы, непросвѣтленныя влеченія, встрѣчи—имѣютъ го„лосъ, и изъ нихъ можетъ составиться согласный хоръ, „но могутъ произойти раздирающіе душу диссонансы“. (Стр. 105).

„Лица нашей драмы отравили другъ другу жизнь, „потому что они слишкомъ близко подошли другъ къ „другу и, занятыя единственно и исключительно своими „личностями, они собственными руками разрыли про„пасть, въ которую низверглись; страстность ихъ, не „имѣя другаго выхода, сожгла ихъ самихъ. Человѣкъ, „строющій свой домъ на одномъ сердцѣ, строитъ его на „огнедышащей горѣ. Люди, основывающіе все благо своей „жизни на семейной жизни, ставятъ домъ на пескѣ. „Быть можетъ, онъ простоитъ до ихъ смерти; но обез„печенія нѣтъ, и домъ этотъ, какъ домы на дачахъ, пре„красенъ только во время хорошей погоды. Какое семей„ное счастье не раздробится смертью одного изъ лицъ?“

„Тамъ, гдѣ жизнь подчинена чувствамъ, подчинена „частному и личному, *тамъ ждите бѣдъ и горестей*“... (Стр. 107).

Вотъ мысли, которыя съ большою силою занимали Герцена. Его глубоко поражала невозможность счастія въ той области, которую слѣдуетъ назвать по преимуществу областью счастія, въ сферѣ личныхъ привязанностей. Онъ не думалъ, подобно многимъ утопистамъ,

что можно устранить эти страданія—инымъ устройствомъ общества, облегченіемъ разводовъ, узаконеніемъ болѣе легкихъ связей между мужчинами и женщинами и т. п. Онъ прямо признавалъ, что здѣсь бѣды и горести пропорціональны счастію и радостямъ, что допуская одни, нужно допустить и другія, что никакой прочности, никакого спокойствія здѣсь быть не можетъ, и слѣдовательно не можетъ быть и истиннаго счастія. Нельзя быть благополучнымъ, когда все зависитъ отъ случая, отъ обстоятельствъ, которыхъ невозможно предотвратить и предвидѣть. Эта *страшная изнанка жизни человѣческой* была очень ясна Герцену, и надъ нею-то онъ задумывался.

„Случайность", продолжаетъ онъ, „имѣетъ въ себѣ нѣ„что невыносимо-противное для свободнаго духа; ему такъ „оскорбительно признать неразумную власть ея, онъ такъ „стремится подавить ее, что, не зная выхода, выдумы„ваетъ лучше грозную судьбу и покоряется ей; хочетъ, „чтобы бѣдствія, его постигающія, были предопредѣлены, „т. е., состояли-бы въ связи съ всемірнымъ порядкомъ; „онъ хочетъ принимать несчастія за преслѣдованія, за „наказанія: тогда ему есть утѣха въ повиновеніи или „въ ропотѣ; одна случайность для него невыносима, тя„гостна, обидна; гордость его не можетъ вынести без„различной власти случая. Эта ненависть и стремленіе „выйти изъ-подъ ярма указываютъ довольно ясно на „необходимость другой области, *инаго міра*, въ которомъ „врагъ попранъ, духъ свободенъ и дома". (Стр. 105).

И такъ, требуется выходъ изъ царства случайности, требуется нѣкоторый иной міръ, въ которомъ бы человѣкъ могъ жить болѣе прочно и спокойно. Герценъ разбираетъ слѣдующіе три выхода:

1. *Стоическій формализмъ.*

2. *Религія.*

3. *Общіе интересы.*

„Формализмъ", по словамъ Герцена, „стремится раб„ски подчинить страсти сердца, всю естественную сто„рону, всѣ личныя требованія — разуму, какъ бы чув„ствуя, что онъ не совладаетъ съ ними, пока они на„волѣ". (Стр. 103). Формализмъ хотѣлъ бы, чтобы сердце подчинялось отвлеченному понятію долга, чтобы люди постоянно жертвовали собою ради осуществленія нѣкоторыхъ идей, напримѣръ идеи брака, исполненія принятыхъ обязательствъ и т. п. Этотъ выходъ Герценъ называетъ мертвящимъ и насильственнымъ.

Другое дѣло *религія.* „Религія", говоритъ Герценъ, „*устремляется* въ другой міръ, въ которомъ также уле„тучиваются страсти земныя; но этотъ другой міръ не „чуждъ сердцу; напротивъ въ немъ сердце находитъ по„кой и удовлетвореніе; сердце не отвергается имъ, а „распускается въ него; во имя его, религія могла тре„бовать жертвованія естественными влеченіями; въ выс„шемъ мірѣ религіи личность признана, всеобщее нис„ходитъ къ лицу, лицо поднимается во всеобщее, не „переставая быть лицомъ; религія имѣетъ собственно двѣ „категоріи: всемірная личность Божественная и единич„ная личность человѣческая... Религія снимаетъ (*т. е.* „*отрицаетъ*, aufhebt) семейную жизнь, какъ и частную, „во имя высшей, и громко призываетъ къ ней: „кто лю„битъ отца своего и мать болѣе меня — тотъ недостоинъ „меня". Эта высшая жизнь не состоитъ изъ одного отри„цанія естественныхъ влеченій и сухаго исполненія долга: „*она имѣетъ свою положительную сферу въ всеобщихъ*

„*интересахъ своихъ;* поднимаясь въ нее, личныя страсти „сами-собою теряютъ важность и силу, — и это един- „ственный путь обузданія страстей—свободный и достой- „ный человѣка". (Стр. 104).

Вотъ прекрасное указаніе на значеніе религіи. Герценъ признаетъ, что единственное рѣшеніе, достойное человѣка, должно быть подобно тому рѣшенію, которое даетъ религія. Нужно найти какую-нибудь *высшую жизнь*, подобную той, къ которой *устремляется* религія, такую жизнь, гдѣ бы сердце человѣка могло обрѣсти обильную пищу. Только такою жизнью могутъ быть заглажены и исцѣлены несчастія личныхъ привязанностей, неизбѣжныя горести индивидуальной жизни. И вотъ настоящій выходъ, настоящее рѣшеніе:

„Не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ „своей индивидуальности и всего частнаго, не предать „семейство—всеобщему, но *раскрыть свою душу всему* „*человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями* „*и наслажденіями современности*, работать столько же „для рода, сколько для себя, словомъ *развить эгоисти-* „*ческое сердце въ сердце всѣхъ-скорбящее*, обобщить его „разумомъ, и въ свою очередь оживить имъ разумъ... „Человѣкъ безъ сердца — какая-то безстрастная машина „мышленія, не имѣющая ни семьи, ни друга, ни ро- „дины; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую „основу духовнаго развитія; изъ него пробѣгаетъ по жи- „ламъ струя огня всесогрѣвающаго и живительнаго; имъ „живое сотрясается въ наслажденіи, радо себѣ. Подни- „маясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачи- „вается, но преображается, теряя свою дикую, судорож- „ную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ рас- „ширенія интересовъ, *уменьшается сосредоточенность*

„*около своей личности*, а съ нею и ядовитая жгучесть „страстей“. (Стр. 106).

Вотъ тотъ *иной міръ*, въ который долженъ уходить человѣкъ изъ области своей личной жизни; это міръ всеобщихъ интересовъ, жизнь общественная, художественная, научная. Рѣшеніе, повидимому, самое полное, самое ясное и удовлетворительное.

Одно только дурно—рѣшеніе это принадлежитъ не самому автору. Герцену принадлежитъ только вопросъ, а рѣшеніе онъ заимствовалъ изъ нѣмецкой книги, изъ той знаменитой философіи, которая тогда царила въ Европѣ. Эта философія породила безчисленные ряды формулъ, разрѣшающихъ всевозможные вопросы, опредѣляющихъ отношенія между всевозможными понятіями. Но эти формулы большею частію оказались впослѣдствіи или тавтологіями или двусмысленностями, оказались столь широкими и неопредѣленными, что какъ-будто не имѣли своего содержанія, а могли вмѣстить въ себя самыя противоположныя ученія.

Такъ и здѣсь. Герценъ хочетъ сказать, что, для спасенія себя отъ личныхъ бѣдъ и превратностей, человѣкъ долженъ слѣдить за современностію, принимать участіе въ общественной, научной, художественной жизни. Онъ хвалитъ Бельтова за то, что тотъ постоянно слѣдитъ за прогрессомъ человѣческой мысли, и осуждаетъ Круциферскаго за то, что онъ отсталъ отъ идей вѣка и пересталъ о нихъ заботиться. Но въ формулѣ, данной Герценомъ, не заключается именно этого опредѣленнаго смысла. *Не сосредоточивайся около своей личности, раскрой свою душу всему человѣческому*—этотъ совѣтъ одинаково годится и для революціонера, пытающагося измѣнить ходъ всемірной исторіи, и для монаха, удалившагося отъ

всякихъ дѣлъ и всякой современности,—и даже для втораго годится гораздо больше, чѣмъ для перваго. И въ томъ и въ другомъ случаѣ можно сказать: „кто погубитъ свою душу, тотъ спасетъ ее"—эпиграфъ одной изъ статей Герцена (*Буддизмъ въ наукѣ*. Отеч. Зап. 1843, Декабрь). Гдѣ бы ни жилъ человѣкъ, онъ живетъ среди людей, среди нѣкоторыхъ интересовъ, нѣкоторой жизни, и весь вопросъ въ томъ, какъ поставить себя къ этой жизни, какъ относиться къ ней своею душою.

Для ясности укажемъ на тотъ удивительный образъ, который созданъ гр. Л. Н. Толстымъ, на Платона Каратаева. Вотъ человѣкъ, въ которомъ прочно и ясно установились всѣ жизненныя отношенія, который въ силу этого спокоенъ и простъ среди всякихъ бѣдъ и въ самую минуту смерти. Онъ представляетъ живое, воплощенное рѣшеніе той задачи, которая мучила Герцена. Сюда относятся слѣдующія черты духовной жизни Каратаева:

„Онъ любилъ говорить и говорилъ хорошо; главная „прелесть его разсказовъ состояла въ томъ, что въ его „рѣчи *событія самыя простыя*, иногда тѣ самыя, кото„рыя, не замѣчая ихъ, видѣлъ Пьеръ, *получали харак„теръ торжественнаго благообразія*. Онъ любилъ слу„шать сказки, но больше всего онъ любилъ слушать „разсказы о настоящей жизни. Онъ радостно улыбался, „слушая такіе разсказы, вставляя слова и дѣлая во„просы, клонившіеся къ тому, чтобы уяснить себѣ бла„гообразіе того, что ему разсказывали. *Привязанностей „дружбы, любви*, какъ понималъ ихъ Пьеръ, *Каратаевъ „не имѣлъ никакихъ*; но онъ любилъ и любовно жилъ со „всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности „съ человѣкомъ,—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь че-

„ловѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ „его глазами. Онъ любилъ свою шавку, любилъ то„варищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ „его сосѣдомъ; но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, „не смотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему, „*ни на минуту не огорчился бы разлукой съ нимъ*".

„Жизнь Каратаева, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, „*не имѣла смысла какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла* „*смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ посто*„*янно чувствовалъ*". (Война и Миръ. Т. V, стр. 235, 236).

Вотъ разрѣшеніе, которое представляетъ не только выходъ изъ бѣдствій случайности, но и положительное благополучіе, не только побѣду надъ личнымъ страданіемъ, но и совершенную свободу отъ такихъ страданій. Вмѣсто науки и искусства для Каратаева существуютъ только разсказы, пѣсни и сказки; вмѣсто современной жизни человѣчества—жизнь тѣхъ простыхъ людей, съ которыми столкнулъ его случай. А между тѣмъ формула Герцена исполнена совершенно; *эгоистическое, естественное сердце* превратилось во *всѣхъ-скорбящее* и даже во *всѣхъ-радующееся*.

И такъ, формула Герцена имѣетъ слишкомъ широкій смыслъ и нимало не характеризуетъ его собственныхъ мыслей. Въ этомъ отношеніи, вообще можно замѣтить, что въ каждомъ писателѣ слѣдуетъ различать, что̀ въ немъ свое и что̀ наносное. Такъ, поклоненіе Гёте не могло составлять особенности Герцена; это было общее явленіе тогдашней умственной жизни; для Герцена же характеристично именно противоположное явленіе—сомнѣніе въ справедливости этого поклоненія. Такъ точно и здѣсь: оригинальной мысли Герцена слѣдуетъ искать въ томъ углубленіи, которое онъ придаетъ во-

просу, а не въ отвлеченныхъ формулахъ, которыя онъ беретъ изъ чужихъ рукъ и которыми, слѣдуя духу времени, думаетъ разрѣшить вопросъ. Неудовлетворенность рѣшеніемъ невольно проглядываетъ у самого Герцена: ее не трудно замѣтить и выдѣлить изъ общихъ разсужденій. Настоящая мысль Герцена яснѣе всего выражена въ началѣ статьи; это не мысль примиренія, а напротивъ, мысль тревоги и разлада.

„Все окружающее", говоритъ онъ, „подверглось пы„тующему взгляду критики. Это болѣзнь промежуточныхъ „эпохъ. Встарь было не такъ: всѣ отношенія, близкія „и дальнія, семейныя и общественныя, были опредѣ„лены—справедливо или нѣтъ, но опредѣлены. Оттого „много думать было нечего: стоило сообразоваться съ „положительнымъ закономъ, и совѣсть удовлетворялась".

„На всѣхъ перепутіяхъ жизни стояли тогда разныя „неподвижныя тѣни, грозныя привидѣнія для указанія „дороги, и люди покорно шли по ихъ указанію".

„Ко всему привязывающійся, сварливый вѣкъ нашъ, „шатая и раскачивая все, что̀ попадалось подъ руку, „добрался наконецъ до этихъ призраковъ, подточилъ „ихъ основаніе, сжегъ огнемъ критики, и они улетучи„лись, исчезли. Стало просторно; но просторъ даромъ „не достается; люди увидѣли, что вся отвѣтственность, „падавшая внѣ ихъ, падаетъ на нихъ; *упреки стали „злѣе грызть совѣсть. Сдѣлалось тоскливо и страшно*— „пришлось проводить сквозь горнило сознанія статью „за статьею прежняго кодекса... Ясное, какъ дважды „два четыре, нашимъ дѣдамъ—исполнилось *мучительной „трудности* для насъ. *Въ событіяхъ жизни, въ наукѣ, „въ искусствѣ, насъ преслѣдуютъ неразрѣшимые вопросы, „и, вмѣсто того, чтобы наслаждаться жизнью, мы*

„*мучимся*. Подъ часъ, подобно Фаусту, мы готовы отка-„заться отъ духа, вызваннаго нами, чувствуя, что онъ „не по груди и не по головѣ намъ. Но бѣда въ томъ, „что духъ этотъ вызванъ не изъ ада, не съ пламенемъ, „а изъ собственной груди человѣка, и ему некуда исчез-„нуть". (Стр. 96 и 97).

Вотъ правдивое изложеніе душевнаго и умственнаго настроенія Герцена. Вопросы являются ему *неразрѣшимыми;* они его мучатъ, не даютъ ему жить, наводятъ на него тоску и страхъ.

Какъ хорошо въ этомъ видѣнъ дѣйствительный скептикъ, дѣйствительный мыслитель! Какая разница между нимъ и тѣми самодовольными тупицами, для которыхъ скептицизмъ составляетъ какое-то наслажденіе, которые безъ малѣйшей боли касаются завѣтнѣйшихъ струнъ человѣческаго существованія и точно радуются тому, что сердце ихъ пусто и глухо, что для нихъ нѣтъ ничего дорогаго на свѣтѣ! Герценъ не былъ болтуномъ, услаждающимся своею болтовнею; подъ его рѣчами и умствованіями всегда была живая подкладка; теоретическіе вопросы превращались у него въ жизненные вопросы; они его мучили, какъ нравственныя задачи, безъ разрѣшенія которыхъ невозможно спокойно и увѣренно жить и дѣйствовать.

Рѣшеніе того вопроса, о которомъ говорится въ статьѣ: *По поводу одной драмы*, Герценъ заимствовалъ изъ тогдашней нѣмецкой мудрости. Но легко замѣтить, какъ мало оно его удовлетворяло. Уже поставивши чужую формулу для разрѣшенія вопроса, онъ тотчасъ проговаривается и высказываетъ свою собственную мысль:

„Человѣческая жизнь — *трудная статическая за-„дача*". (Статика—наука о равновѣсіи).

„Человѣкъ развившійся—равно не можетъ ни исклю-„чительно жить семейной жизнью, ни отказаться отъ „нея въ пользу всеобщихъ интересовъ“.

Отсюда вытекаетъ, какъ неизбѣжное слѣдствіе—то обиліе человѣческихъ бѣдствій, которое занимаетъ Герцена, именно постоянная „*возможность скорбныхъ ката-„строфъ*, поражающихъ нѣжныя одухотворенныя суще-„ствованія развитыхъ странъ„. (Стр. 106).

Очевидно, прибавленіе общихъ интересовъ къ интересамъ личнымъ только увеличиваетъ трудность задачи, только умножаетъ число тѣхъ случаевъ, когда сердцу человѣческому необходимо приходится страдать. Романъ *Кто виноватъ* есть развитіе въ образахъ и лицахъ той самой темы, на которую написана статья *По поводу одной драмы*. Въ романѣ мы находимъ туже самую мысль въ болѣе зрѣлой и ясной формѣ. Что̀ же мы видимъ? Бельтовъ есть человѣкъ вдвойнѣ несчастный, вдвойнѣ страдающій. Преданность общимъ интересамъ не только не дала ему твердой точки опоры, а привела къ *мыслямъ горькимъ и страннымъ* (стр. 312), къ *безотрадному и грустному* взгляду на міръ (стр. 234). Новая бѣда, которую онъ сдѣлалъ и которой онъ самъ подвергся въ романѣ, есть только слѣдствіе прежнихъ его страданій. Когда докторъ Круповъ упрекаетъ Бельтова за его любовную исторію, тотъ объясняетъ свое поведеніе слѣдующимъ образомъ:

„Я пріѣхалъ сюда *въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ „эпохъ моей жизни*. Въ послѣднее время я разстался съ „заграничными друзьями; здѣсь не было ни одного чело-„вѣка близкаго мнѣ; я толкнулся къ нѣкоторымъ въ „Москвѣ — ничего общаго! Это укрѣпило меня еще „болѣе въ намѣреніи ѣхать въ NN. Вы знаете, что̀

„здѣсь было и *весело ли я жилъ*. Вдругъ я встрѣчаю „эту женщину...“

„Какія мгновенія истиннаго блаженства я испыталъ „въ эти вечера, когда мы долго бесѣдовали!—Я отдох„нулъ *за весь холодъ, испытанный мною въ жизни*. Первый „разъ человѣкъ узналъ, что̀ такое любовь, что̀ такое „счастье, и зачѣмъ онъ не остановился? Это, наконецъ, „становится смѣшно...“ (Стр. 362—364).

И такъ, Бельтовъ влюбился въ Круциферскую, спасаясь отъ того холода и тяжести, которые онъ испытывалъ въ служеніи общимъ интересамъ. Выходитъ такъ, что сфера этихъ интересовъ иногда не отвлекаетъ отъ катастрофъ личной жизни, а наталкиваетъ на нихъ. Въ другомъ мѣстѣ, Бельтовъ причисляетъ самаго себя къ людямъ, одареннымъ *такими силами и стремленіями, которыхъ некуда употребить*, для которыхъ *исторія*, т. е. вся совокупность общихъ интересовъ, не представляетъ выхода, поприща, запроса.

„Всего рѣже“, говоритъ онъ о такихъ людяхъ, „вы„ходятъ изъ нихъ тихіе, добрые люди; ихъ *безпокоятъ „у домашняго очага ѣдкія мысли*. Дѣйствительно, стран„ныя вещи приходятъ въ голову человѣку, когда у него „нѣтъ выхода, когда жажда дѣятельности бродитъ болѣз„неннымъ началомъ въ мозгу, въ сердцѣ, и надобно „сидѣть сложа руки, а мышцы такъ здоровы, а крови „въ жилахъ такая бездна... Одно можетъ спасти тогда „человѣка и поглотить его... это встрѣча... встрѣча съ...“ (Стр. 298 300).

Бельтовъ разумѣетъ встрѣчу съ такой женщиной, какъ Круциферская. И такъ, онъ потому особенно расположенъ влюбляться, и даже въ чужихъ женъ, что въ общей сферѣ ему некуда дѣвать свои силы. Это поло-

женіе внушаетъ ему даже отчаянную жадность ко всякаго рода минутнымъ отрадамъ. Разсуждая съ докторомъ Круповымъ о своемъ здоровьи, онъ выражается такъ:

„Что будетъ пользы, если я проживу еще не десять, „а пятьдесятъ лѣтъ? Кому нужна моя жизнь, кромѣ „моей матери, которая сама очень ненадежна? *Я без-„полезный человѣкъ* и, убѣдившись въ этомъ, я полагаю, „что я одинъ хозяинъ надъ моею жизнью; я еще не на „столько разлюбилъ жизнь, чтобы застрѣлиться, и ужъ „не люблю ее настолько, чтобы жить на діэтѣ, водить „себя на помочахъ, *устранять сильныя ощущенія и „вкусныя блюда*, для того, чтобы продлить на долгое „время эту жизнь больничнаго паціента". (Стр. 273).

И такъ, это человѣкъ страшно голодный сердцемъ, и съ этого голоду неудержимо бросающійся на ту пищу личнаго чувства, которая пришлась ему по вкусу. Вотъ почему онъ полюбилъ Круциферскую и ни за что не хотѣлъ остановиться въ этой любви. Печальное состояніе, которое, разумѣется, ни къ чему доброму привести не можетъ!

Очевидно, слѣдовательно, Герцену хотѣлось изобразить въ Бельтовѣ человѣка, для котораго *трудная статическая задача* жизни неразрѣшима, который одинаково подвергся страданію и въ области общихъ интересовъ, и въ области индивидуальныхъ радостей. Такимъ образомъ, вмѣсто яснаго философскаго рѣшенія, представляемаго статьею, романъ представляетъ смыслъ болѣе запутанный, болѣе мрачный, болѣе соотвѣтствующій истинному міросозерцанію Герцена. Не одна область личныхъ интересовъ подвержена неразумной, грубой случайности, дѣлающей невозможнымъ счастіе,—какъ то

доказываетъ судьба Круциферскаго; область общихъ интересовъ, исторія—столько-же неразумно и жестоко можетъ погубить человѣка, не давая выхода его силамъ, не представляя запроса на живущія въ немъ стремленія, какъ то доказываетъ своею судьбою Бельтовъ. Счастье для Бельтовыхъ еще менѣе возможно, чѣмъ для Круциферскихъ: для первыхъ возможны только счастливыя минуты, вторымъ могутъ выпасть на долю цѣлые годы радости. Общій выводъ—человѣкъ не можетъ быть счастливъ.

„Надо быть погрубѣе", говоритъ въ одномъ мѣстѣ Круциферскій, „для того, чтобы быть посчастливѣе; по„смотрите, какъ невозмущаемо счастливы, напр. птицы, „звѣри, отъ того, что они меньше насъ понимаютъ" (стр. 230).

Въ другомъ мѣстѣ, онъ выражаетъ туже мысль съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ.

„Всякій звѣрь ловко приспособленъ природой къ „извѣстной формѣ жизни. А человѣкъ... не ошибка-ли „тутъ какая-нибудь? Просто, сердцу и уму противно „согласиться съ возможностью того, чтобы прекрасныя „силы и стремленія давались людямъ для того, чтобы „они разъѣдали ихъ собственную грудь. На что-же это?"

Но Бельтовъ отвѣчаетъ на это безъ колебаній и раздумья.

„Вы совершенно правы, съ жаромъ возразилъ онъ „Круциферскому:—и *съ этой точки зрѣнія вы не вы„путаетесь изъ вопроса*" (стр. 298).

Таковъ смыслъ романа. Онъ содержитъ въ себѣ вопросъ, изъ котораго выпутаться невозможно; онъ устанавливаетъ точку зрѣнія, съ которой жизнь человѣческая является съ ея темной, безотрадной стороны.

Всякая поэзія, всякая философія есть нѣкотораго рода теодицея. Поэты и философы обыкновенно дѣлаютъ тоже дѣло, какое составляло главную черту умственной жизни Платона Каратаева: они придаютъ жизни и міру „характеръ торжественнаго благообразія", они умѣютъ сами видѣть и уяснять другимъ лицевую сторону предметовъ и событій. Герцена же неудержимо привлекала другая сторона, то, что̀ онъ самъ называлъ „страшною изнанкою жизни человѣческой". Во всемъ, чего онъ ни касался своею мыслію, онъ видѣлъ этотъ исподъ: вещи самыя простыя, которыя мы видимъ, не замѣчая ихъ, получали у него характеръ самаго грустнаго безобразія, самой жестокой безотрадности.

V.

„Докторъ Круповъ". „Левіаѳанскій".

Уже не задолго передъ отъѣздомъ за границу, съ котораго начинается новый періодъ дѣятельности Герцена, была написана имъ шутка, которая до сихъ поръ, наравнѣ съ романомъ *Кто виноватъ*, живетъ въ памяти русскихъ читателей. Это небольшой отрывокъ, подъ заглавіемъ: *Изъ сочиненія доктора Крупова „о душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности"*. (Современникъ 1847. Т. V).

Кто помнитъ доктора Крупова, тотъ помнитъ конечно и его теорію. Она состоитъ въ томъ, что люди, вообще говоря, повреждены въ умѣ, что человѣчество поражено повальнымъ сумасшествіемъ. Упорныя заблужденія людей, ихъ слѣпое подчиненіе страстямъ, ихъ дѣйствія, явно

противорѣчащія ихъ собственной пользѣ,—все это докторъ Круповъ считаетъ слѣдствіемъ давнишняго эпидемическаго помѣшательства.

Для того, чтобы подобная шутка была остра и занимательна, нужно было одно условіе — нужно было, чтобы она какъ можно ближе походила на правду, чтобы почти вполнѣ представляла выраженіе искренняго убѣжденія. Истинно-остроуменъ можетъ быть только тотъ, кто истинно-глубокомысленъ. Шутка у Герцена вышла страшная: изъ простой насмѣшки надъ людскими слабостями и предразсудками она переходитъ въ скорбную, въ отчаянную думу о бѣдствіяхъ и страданіяхъ людей, и подъ конецъ кажется, что мысль о хроническомъ и повальномъ умопомѣшательствѣ гораздо легче и отраднѣе, чѣмъ представленіе, что люди всѣ свои безумства и злодѣйства дѣлаютъ въ полномъ разумѣ и съ неповрежденнымъ сердцемъ.

Фигура дурачка Лёвки—едвали не лучшее лицо, созданное Герценомъ. Въ описаніи этого лица онъ наглядно и превосходно сопоставляетъ человѣка *дикаго* съ людьми *грубыми*; на сторонѣ грубыхъ людей оказывается больше непониманія, больше безчеловѣчія, чѣмъ у несчастнаго юродиваго. Тонко и ясно схвачены нѣжныя, дѣтскія черты ума и сердца Лёвки; выпукло и рѣзко выставлена нелѣпая затвердѣлость понятій людей, считающихъ только себя разумными, только свою жизнь нормальною. Невозможно лучше показать все *неразуміе* неподвижныхъ формъ жизни, о которыя разбивается всякая отступающая отъ нихъ индивидуальность.

„Меня поразила", пишетъ докторъ Круповъ, „мысль, „которая потомъ преслѣдовала всю жизнь: „Счего люди, „окружающіе его (Лёвку), воображаютъ, что они лучше

„его? Счего считаютъ себя въ правѣ презирать, гнать „это существо, тихое, доброе, никогда никому не сдѣ- „лавшее вреда?“ — и какой-то таинственный голосъ „шепталъ мнѣ: оттого, что и всѣ остальные—юродивые, „только на свой ладъ, и сердятся, что Лёвка глупъ по „своему... Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, чѣмъ Лёвка „хуже другихъ? Тѣмъ, что онъ не приноситъ никакой „пользы? Ну, а пятьдесятъ поколѣній, которыя жили „только для того на этомъ клочкѣ земли, чтобы ихъ „дѣти не умерли съ голоду сегодня, и чтобы никто не „зналъ, зачѣмъ они жили и для чего они жили — *гдѣ „же польза ихъ существованія*? Наслажденіе жизнію? „Да они ею никогда не наслаждались, *по крайней мѣрѣ „гораздо меньше Лёвки*. Для нихъ жизнь была тяжелая „ноша и скучный обрядъ. Дѣти? Дѣти могутъ быть и у „Лёвки: это дѣло не хитрое. Зачѣмъ Лёвка не рабо- „таетъ? Да что же за бѣда; онъ ни у кого ничего не „проситъ, кой-какъ сытъ. Чѣмъ же онъ хуже умни- „ковъ, которые *не смотря на то, что работаютъ денно „и нощно, не богаче его? Работа не наслажденіе какое „нибудь*; кто можетъ обойтись безъ работы, тотъ не „работаетъ... Лёвка никогда дома не живетъ, не испол- „няетъ обязанностей сына, брата? Ну, а тѣ, которые „дома, развѣ исполняютъ? У него есть еще семь братьевъ „и сестеръ, *живущихъ въ постоянной ссорѣ между „собою*, которая длится въ родѣ тридцатилѣтней войны... „И я постоянно возвращался къ основной мысли, что „причина всѣхъ гоненій на Лёвку состоитъ въ томъ, „что Лёвка глупъ на свой собственный салтыкъ, а „другіе *повально глупы*; и, такъ, какъ картежники не- „любятъ неиграющихъ и пьяницы непьющихъ, такъ и „они ненавидятъ бѣднаго Лёвку“. (Стр. 11 и 12).

Читатель видитъ, что это вовсе не шутки, а совершенно серьезныя мысли, что здѣсь берутся тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ открывается пустота, слѣдовательно неразумность и ничтожество жизни. Люди похожи на безумныхъ потому, что чѣмъ-то довольны и изъ-за чего-то бьются, тогда какъ въ сущности они достойны только жалости, и жизнь ихъ часто не имѣетъ никакой цѣли.

Затѣмъ Герценъ еще болѣе сглаживаетъ тонкую черту, раздѣляющую умъ отъ безумія. Мысли обыкновенныхъ людей часто бываютъ также нелѣпы, какъ и мысли сумасшедшихъ, и разница только въ томъ, что чувство дѣйствительности однихъ останавливаетъ, а другихъ нѣтъ.

„Странные поступки безумныхъ", разсказываетъ докторъ Круповъ, „ихъ раздражительную злобу объяснилъ „я себѣ тѣмъ, что все окружающее нарочно сердитъ „ихъ и ожесточаетъ безпрерывнымъ противорѣчіемъ, „жесткимъ отрицаніемъ ихъ idée fixe. Замѣчательно, что „люди дѣлаютъ все это только въ домахъ умалишен„ныхъ; внѣ ихъ *существуетъ между больными какое-то „тайное соглашеніе, какая-то патологическая деликат„ность, по которой безумные взаимно признаютъ пункты „помѣшательства другъ въ другѣ*... Объясню примѣ„рами. Главный докторъ въ заведеніи былъ добрѣйшій „нѣмецъ въ мірѣ, безъ сомнѣнія болѣе поврежденный, „чѣмъ половина больныхъ его".

„Больные не любили его оттого, что онъ, самъ стоя „на одной почвѣ съ ними, вступалъ всегда въ соревно„ваніе".

„Я китайскій богдыханъ! кричалъ ему одинъ боль„ной, привязанный на толстой веревкѣ, которая по не„обходимости ограничивала богдыханскую власть его.—

„Ну когда-же китайскій императоръ сидитъ на веревкѣ? „отвѣчалъ добрѣйшій нѣмецъ съ пресерьезнымъ видомъ, „какъ будто онъ самъ сомнѣвался, не дѣйствительно-ли „китайскій богдыханъ передъ нимъ.—Больной выходилъ „изъ себя, слыша возраженіе, скрежеталъ зубами, кри„чалъ, что это Вольтеръ и іезуиты посадили его на „цѣпь, и долго не могъ потомъ успокоиться. Я, совсѣмъ „напротивъ, подходилъ къ нему съ видомъ величайшаго „подобострастія. „Лазурь неба, прозрачнѣйшій братъ „солнца", говорилъ я ему:—„позволь мнѣ, презрѣн„ному червю, грязи отставшей отъ безсравненныхъ по„дошвъ твоихъ, покапать холодной воды на свѣтлое „чело твое, да возрадуется океанъ, что вода имѣетъ „счастіе освѣжать почтенную шкуру, покрывающую бѣ„лую кость твоего черепа"... и больной улыбался и „позволялъ съ собою все, что̀ я желалъ. Обращаю „особенное вниманіе на то, что я для этого больнаго „не дѣлалъ ничего особеннаго, а поступалъ съ нимъ „такъ, какъ всѣ добрые люди поступаютъ другъ съ „другомъ вездѣ, на улицѣ, въ гостинной и пр. — На„добно замѣтить, что въ заведеніе ѣздилъ одинъ тупо„рожденный старикъ,—воображавшій, что онъ гораздо „лучше докторовъ и смотрителей знаетъ, какъ надобно „за больными ходить,—и всякій разъ приказывалъ та„кой вздоръ, что за него дѣлалось стыдно; однако глав„ный докторъ слушалъ его до конца и не говорилъ „ему, что все это вздоръ, не дразнилъ его—а китай„скаго богдыхана дразнилъ. Гдѣ-же тутъ справедли„вость?" (Стр. 17 и 18).

Наконецъ Герценъ переходитъ къ главному доказательству. Онъ указываетъ на тотъ явный, постоянный вредъ, который наносятъ люди себѣ самимъ въ силу

своихъ предразсудковъ, на ихъ *явное и постоянное стремленіе къ цѣлямъ несущественнымъ и упущеніе цѣлей дѣйствительныхъ.* Это уже черта настоящаго безумія, то есть такого состоянія, въ которомъ дѣйствительность не имѣетъ силы надъ человѣкомъ. Если человѣкъ подвергается бѣдамъ и мученіямъ дѣйствуя по извѣстнымъ понятіямъ, и однако-же не можетъ образумиться и продолжаетъ прежній образъ дѣйствій, то онъ всего ближе къ безумному. Намъ привелось бы выписать весь отрывокъ, если-бы мы стали приводить превосходные образы и сцены, которыми докторъ Круповъ подтверждаетъ свою мысль.

Эта мысль выражена такъ ярко и поразительно, что наконецъ, вмѣсто смѣха, наводитъ на читателя ужасъ. Невозможно читать безъ нѣкотораго содроганія заключеніе доктора Крупова:

„Успокоившись на счетъ жителей нашего города „(т. е. убѣдившись, что они безумные), я пошелъ да„лѣе. Выписалъ себѣ знаменитѣйшія путешествія, древ„нія и новыя историческія творенія, и подписался на „„Гамбургскій Безпристрастный Корреспондентъ“.—Ото„всюду текли доказательства очевидныя, неподлежащія „сомнѣнію, моей основной мысли; слезы умиленія не разъ „наполняли глаза мои при чтеніи. Я не говорю уже о „Гамбургской газетѣ; на нее я съ самаго начала смо„трѣлъ, не какъ на суетный дневникъ всякой всячины, „а какъ на всеобщій бюллетень разныхъ богоугодныхъ „заведеній для несчастныхъ страждущихъ душевными бо„лѣзнями. Все равно, что бы историческое я ни начи„налъ читать, вездѣ, во всѣ времена открывалъ я раз„ныя безумія, которыя соединялись въ одно всемірное „помѣшательство. Тита Ливія или Муратори я бралъ,

„Тацита или Гиббона—никакой разницы: всѣ они до-„казываютъ одно, что *исторія—ни что иное, какъ связ-„ный разсказъ родоваго хроническаго безумія* и его мед-„леннаго излеченія (этотъ разсказъ даетъ намъ, по на-„веденію, полное право надѣяться, что черезъ тысячу „лѣтъ двумя-тремя безуміями будетъ меньше). Истинно „не считаю нужнымъ приводить примѣры: ихъ милліоны. „Разверните какую хотите исторію; вездѣ васъ поразитъ, „что вмѣсто дѣйствительныхъ интересовъ всѣмъ заправ-„ляютъ мнимые, фантастическіе интересы; вглядитесь, „изъ-за чего льется кровь, изъ-за чего несутъ край-„ность, что̀ восхваляютъ, что̀ порицаютъ, — и вы ясно „убѣдитесь въ несчастной на первый взглядъ истинѣ, и „истинѣ полной утѣшенія на второй взглядъ, что все „это—слѣдствіе разстройства умственныхъ способностей". (Стр. 26, 27).

Такова шутка Герцена. Нужно-ли говорить, какъ сильно въ ней отражается мрачный взглядъ Герцена на человѣческую природу, его чуткость ко всѣмъ темнымъ сторонамъ жизни!

Опять замѣтимъ ту великую разницу, которая обнаружилась и въ этомъ случаѣ между Герценомъ и другими изъ нашихъ писателей, трактовавшими о всемірной исторіи. Есть у насъ мыслители (читатель найдетъ ихъ не мало, напримѣръ, въ любопытномъ журналѣ „Дѣло"), которые смотрятъ на всемірную исторію повидимому весьма мрачно, а въ сущности очень весело. Для нихъ, вся исторія представляетъ сплошной рядъ сумасбродствъ и безумствъ, и родъ человѣческій отъ начала и до сихъ поръ состоитъ большею частію изъ людей пораженныхъ душевными болѣзнями. Эти мыслители принимаютъ за правду то, что̀ Герценъ говорилъ какъ

шутку. Но за то они имѣютъ утѣшеніе, которое почему-то не имѣло силы надъ Герценомъ. Именно, они полагаютъ, что съ тѣхъ поръ, какъ они сами явились на свѣтъ,—на свѣтѣ уже существуютъ люди вполнѣ здоровые умственно и нравственно, что съ тѣхъ поръ, какъ издается журналъ „Дѣло“ и другіе подобные органы, уже засіялъ свѣтъ ума среди всеобщаго безумія. Такая пріятная мысль совершенно примиряетъ этихъ мыслителей съ мрачнымъ взглядомъ на исторію. Имъ кажется, что чѣмъ безумнѣе окажутся другіе люди, тѣмъ больше разумности выпадаетъ на ихъ собственную долю.

Болѣе логически и менѣе весело думалъ Герценъ. „Человѣкъ, считающій исторію — хроническимъ безуміемъ,—самъ помѣшанный“, говоритъ онъ въ предисловіи (стр. 5). И дѣйствительно, развѣ мы не имѣемъ полнаго права распространить на мыслителей „Дѣла“ тотъ самый взглядъ, подъ который они подводятъ весь родъ человѣческій и всю его исторію?

Въ свое время, шутка Герцена имѣла большой успѣхъ. Это была одна изъ самыхъ удачныхъ формъ, въ которыхъ выразилось его недовольство и отчаяніе. Черезъ двадцать лѣтъ, въ 1867 г., онъ написалъ еще небольшую вещь на туже тему. Въ *Полярной Звѣздѣ на 1869*, вышедшей въ 1868 г., находится статья подъ заглавіемъ: Aphorismata *по поводу психіатрической теоріи д-ра Крупова. Сочиненіе прозектора и адъюнктъ-профессора Тита Левіаѳанскаго.*

Здѣсь тонъ шутки поднятъ еще на одну ноту. Левіаѳанскій считаетъ ошибкою Крупова—надежду на постепенное излеченіе рода человѣческаго. „Какъ же“, спрашиваетъ онъ, „*постоянное состояніе* какого-нибудь животнаго рода или вида можетъ излечиться?.. Это не

болѣзнь, а *особенность, признакъ*". „Человѣкъ", говоритъ онъ далѣе, „съ безконечнымъ творчествомъ мѣ„няетъ idées fixes и пункты помѣшательства и постоянно „пребываетъ вѣрнымъ безумію. Если у людей являлась „рѣдкая манія жить по чистому разуму и по разуму „устроиться, то она количественно всегда такъ была не„значительна, что ее можно отнести къ личнымъ умопо„мѣшательствамъ, а не къ тѣмъ, которыми зиждутся цар„ства и имперіи, народы и цѣлыя эпохи".

Этого мало. Левіаѳанскій не только считаетъ безуміе постоянной принадлежностію человѣка, но и видитъ въ безуміи—благо, необходимое условіе исторіи и прогресса.

„Безъ хроническаго, родоваго помѣшательства", говоритъ онъ, „прекратилась бы всякая государственная „дѣятельность; съ излеченіемъ отъ него остановилась бы „исторія. Не было бы ей занятія, не было бы въ ней „интереса. Не въ умѣ сила и слава исторіи, да и не „въ счастіи, какъ поетъ старинная пѣсня, а *въ безуміи*".

„Безъ него мы были бы сведены на логику и математику".

„Умомъ и словомъ человѣкъ отличается отъ всѣхъ „животныхъ. И, какъ безуміе есть творчество ума, такъ „вымыселъ—творчество слова".

„Одно животное пребываетъ въ бѣдной правдивости „своей и въ жалкомъ здравомъ смыслѣ. Природа мол„читъ или звучитъ безсвязно, ибо она-то и находится „подъ безвыходнымъ самовластіемъ разума, въ то время „какъ человѣкъ городитъ цѣлыя Магабараты и Урвазіи. „Все сковано въ природѣ желѣзною необходимостію, она „не усовершается, не домогается, не ждетъ обновленія „и искупленія; она только переработывается, „не вѣдая

„что̀ творитъ“, — и въ эту-то кабалу, въ этотъ домъ „безъ хозяина, безъ добродѣтелей и пороковъ, толкаютъ „человѣка подъ предлогомъ излеченія?“ (Стр. 137).

Умъ Левіаѳанскій называетъ „началомъ антисоціальнымъ и разъѣдающимъ“, тогда какъ безуміе есть начало зиждительное, которымъ все живетъ и движется.

VI.

Главное открытіе Герцена.

Да не подумаетъ кто-нибудь, что, указывая на постоянную односторонность мыслей Герцена, на глубокое субъективное настроеніе, которымъ проникнуто все, что̀ онъ писалъ, мы желаемъ какъ-бы заранѣе отнять у него всякія права на истину, на правильное пониманіе вещей. Наша цѣль совершенно другая. Мы хотѣли бы напротивъ показать, что Герценъ обладалъ необыкновенною чуткостію для извѣстныхъ сторонъ жизни, что ему могло быть ясно и понятно то, что̀ совершенно закрыто для обыкновенныхъ глазъ. Обыкновенно, люди довольны и самими собою и тѣми, часто ничтожными, благами, которыхъ они добиваются. Слѣдовательно, бо̀льшею частію люди слѣпы, такъ какъ не замѣчаютъ ни собственнаго ничтожества, ни пустоты тѣхъ цѣлей и желаній, которыми наполнена ихъ жизнь. Герценъ принадлежалъ къ другой, далеко не столь многочисленной породѣ людей, къ тѣмъ натурамъ, которыхъ настроеніе можно назвать по преимуществу религіознымъ, которыхъ этотъ міръ, эта жизнь — неудовлетворяютъ. Идеалъ, живущій въ душахъ такихъ людей, можетъ повидимому вовсе не со-

впадать съ идеаломъ церкви, но результаты выходятъ тѣ же. Настойчиво, неотразимо открывается этимъ душамъ темная сторона каждаго явленія; міръ обнаруживаетъ имъ все, что въ немъ достойно смѣха, плача, негодованія. Таковъ былъ Гоголь, таковъ былъ и Герценъ.

Такіе люди, если не видятъ всей истины, за то могутъ совершать великія открытія въ той области, которая доступна ихъ проницательности.

Мы разбирали до сихъ поръ преимущественно художественныя произведенія Герцена, слѣдовательно такія, въ которыхъ выражался его общій взглядъ на жизнь, общее его настроеніе. Намъ кажется, мы ясно доказали, что пессимизмъ есть главная черта этого настроенія. Несчастія, не имѣющія смысла и цѣли, безвыходные вопросы и столкновенія, игра случайности, какъ постоянная изнанка человѣческой жизни, наконецъ вѣчное противорѣчіе между счастіемъ и собственными усиліями людей, ихъ безумное упорство въ дѣйствіяхъ, ведущихъ къ ихъ собственному вреду и гибели—таковы общія темы разобранныхъ нами произведеній Герцена.

Теперь намъ слѣдуетъ обратиться къ его философскимъ и историческимъ статьямъ, разобрать, какого взгляда онъ держался въ философіи и какъ смотрѣлъ на современную исторію, на русскую и на западную. Легко понять, что со своимъ глубокимъ пессимизмомъ онъ сразу схватилъ то, что было всего безотраднѣе, всего болѣзненнѣе въ современномъ ему строѣ европейской мысли и европейской исторіи. Фейербахизмъ, философское воззрѣніе, съ которымъ такъ благодушно и спокойно уживаются нѣмцы, былъ понятъ Герценомъ въ смыслѣ самомъ суровомъ и безнадежномъ. Скажемъ заранѣе—это пониманіе мы считаемъ вполнѣ правильнымъ, вполнѣ соотвѣтствующимъ дѣлу.

Западъ тянулъ къ себѣ Герцена. Онъ уѣхалъ изъ Россіи и не только сталъ внимательно и зорко всматриваться въ строй и движеніе Запада, но и самъ пытался вмѣшаться въ это движеніе. Къ какому же выводу пришелъ Герценъ? Съ неотразимою силою въ немъ вкоренилось убѣжденіе, что Западъ страдаетъ смертельными болѣзнями, что его цивилизаціи грозитъ неминуемая гибель, что нѣтъ въ немъ живыхъ началъ, которыя могли бы спасти его.

Вотъ главное открытіе Герцена. Россіи онъ не понималъ; какъ Чаадаевъ, онъ ничего не умѣлъ видѣть ни въ ея настоящемъ, ни въ ея прошедшемъ. Но Западъ онъ зналъ хорошо; онъ былъ воспитанъ на всѣхъ ухищреніяхъ его мудрости, онъ умѣлъ сочувствовать всѣмъ движеніямъ тамошней общественной жизни, былъ зоркимъ и чуткимъ зрителемъ нѣсколькихъ революцій. И онъ пришелъ къ тому убѣжденію, что нѣтъ живаго духа на Западѣ, что всѣ его мечты обновленія не имѣютъ внутренней силы, что одно вѣрно и несомнѣнно — смерть, духовное вымираніе, гибель всѣхъ формъ тамошней жизни, всей западной цивилизаціи.

Эту мысль Герценъ проповѣдывалъ упорно и постоянно до конца своей жизни. На эту тему написаны лучшія, остроумнѣйшія и глубокомысленнѣйшія его статьи. И наибольшее поученіе, которое можно извлечь изъ Герцена, конечно заключается въ томъ анализѣ явленій западной жизни, которымъ онъ подтверждаетъ свою мысль о паденіи Запада.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Потеря вѣры въ Западъ.

I.

Измѣна самому себѣ.

Цѣль этого очерка — возстановить *литературное* значеніе Герцена. Мы желали бы способствовать тому дѣлу, которое рано или поздно совершитъ время. Время загладитъ и исцѣлитъ зло, которое нанесъ Герценъ и намъ и самому себѣ; добрыя же стороны его дѣятельности понемногу выступятъ и пріобрѣтутъ свою силу, если только мы будемъ внимательны къ своему прошлому и настоящему, если будемъ вдумываться въ исторію нашего развитія, если не будемъ презрительно отворачиваться отъ нашихъ дѣятелей и хоть немного исправимся отъ того безмѣрнаго легкомыслія, отъ той поразительной вѣтренности, при которой на насъ не дѣйствуютъ никакіе уроки жизни и наставленія исторіи, при которой мы сегодня забываемъ то, что̀ дѣлали и думали вчера, и вѣчно остаемся подъ одними и тѣми же дурными вліяніями, вѣчно обезъянничаемъ, вѣчно умѣемъ только одно—плыть куда насъ потянетъ вѣтеръ минуты.

Возстановить значеніе литературной дѣятельности Герцена необходимо. Послѣ его смерти возможно и необходимо стать наконецъ въ правильныя отношенія къ нему, какъ къ писателю. Можно смѣло сказать, что до сихъ поръ мысли Герцена, его философскіе и историческіе взгляды—совершенно неизвѣстны нашимъ читателямъ, и въ этомъ виноваты не правительственныя запрещенія, не малое распространеніе его сочиненій, а виноватъ самъ Герценъ, виновато странное настроеніе нашей публики. До отъѣзда заграницу, немногіе могли цѣнить и понимать Герцена; когда же началась его заграничная дѣятельность (въ самомъ концѣ царствованія Николая), тогда онъ вдругъ пріобрѣлъ огромную популярность. Но его читали и любили только вслѣдствіе того, что все, что̀ онъ ни писалъ, было густо приправлено, такъ сказать, революціоннымъ перцемъ. По причинѣ этого перца всѣ его писанія поглощались съ жадностію, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, никто и вниманія не обращалъ на настоящій вкусъ взглядовъ и мыслей Герцена. Чудеса остроумія и глубокомыслія, проблески необычайной зоркости и мѣткости пропадали даромъ, никого не поражая, не оставляя никакого плодотворнаго впечатлѣнія, потому что вся жадность была обращена на приправу, а не на самое кушанье. Такимъ образомъ Герценъ имѣлъ величайшій успѣхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ никто не раздѣлялъ его мнѣній, никто не обдумывалъ его взглядовъ. Лучшая его книга, „Съ того берега“, прошла безслѣдно для умовъ, хотя была затаскана и истрепана руками безчисленныхъ почитателей.

Впослѣдствіи, таже исторія повторилась въ обратномъ смыслѣ. Когда миновала наша *воздушная револю-*

ція *), когда польское дѣло пробудило наше народное чувство, и всѣ метеоры, наполнявшіе нашу умственную атмосферу, исчезли передъ вѣяніемъ этого чувства, тогда Герценъ вдругъ потерялъ всякое значеніе. Съ тѣхъ поръ, революціонный перецъ его статей точно въ той же степени отталкивалъ читателей, въ какой прежде ихъ привлекалъ. Его перестали вовсе читать, но результатъ былъ тотъ же самый, какъ и прежде, когда его такъ усердно читали. Что̀ бы онъ ни говорилъ,— никто не слушалъ и не вникалъ въ смыслъ его рѣчей, а всѣ принимались только выказывать отвращеніе къ революціонной приправѣ этихъ рѣчей. И опять—чудеса остроумія и глубокомыслія стали пропадать даромъ, никого не занимая, никому не принося новыхъ откровеній и поученій.

Тяжелая судьба для писателя, и конечно Герценъ хорошо чувствовалъ эту тяжесть, и ту свою *вину*, которая привела его къ такой судьбѣ. Подъ конецъ жизни онъ долженъ былъ ясно сознавать, какъ мало шумъ, который онъ надѣлалъ, походилъ на настоящую славу, на дѣйствительное сочувствіе его думамъ и мыслямъ. Съ грустью онъ долженъ былъ видѣть, какъ онъ испортилъ свою дѣятельность, вмѣшавшись въ дѣла и событія, въ которыя никогда не долженъ бы былъ вмѣшиваться, если бы твердо держался своихъ принциповъ, своего ясно сознаннаго положенія. „Я зритель, а не дѣятель“, говорилъ онъ самъ себѣ въ 1847 г. (смотри эпиграфъ къ нашей первой главѣ). Но онъ не остался въ этой роли и былъ за то жестоко наказанъ. Два раза онъ увлекался дѣйствовать,—въ французскую революцію

*) Такъ я называлъ время 1858—1863 годовъ, время миражнаго переворота въ нашей литературѣ и обществѣ.

1848 года, и въ нашу воздушную революцію 1857—1863 годовъ,—и оба раза потерпѣлъ жестокую неудачу, пришелъ къ глубочайшему разочарованію.

Въ послѣдній день 1867 года, 31 декабря, Герценъ написалъ слѣдующее:

„Двадцать лѣтъ тому назадъ, въ концѣ декабря, я „въ Римѣ оканчивалъ первую статью „Съ того берега“, „и *измѣнилъ ей*, увлеченный сорокъ восьмымъ годомъ. „Я былъ тогда въ полной силѣ развитія и съ жадностію „слѣдилъ за развертывающимися событіями. Въ моей „жизни не было еще ни одного несчастія, которое оста„вило бы сильный, ноющій рубецъ, *ни одного упрека „совѣсти внутри*, ни одного оскорбительнаго слова „снаружи. Я несся, слегка ударяя въ волны, *съ безум„нымъ легкомысліемъ, съ безграничной самонадѣянностью*, „на всѣхъ парусахъ. И всѣ ихъ одни за одними при„шлось подвязать!..“ (Полярн. Зв. на 1869 г. стр. 96).

Вотъ искреннее слово, которымъ Герценъ прямо признаетъ, что есть на его душѣ упреки совѣсти, что онъ провинился въ безумномъ легкомысліи, въ безграничной самонадѣянности. Вина же его существеннымъ образомъ состояла въ томъ, что онъ *измѣнилъ* своимъ первоначальнымъ взглядамъ, что онъ *увлекся* сперва переворотомъ сорокъ восьмаго года, а потомъ, еще въ большей и непростительнѣйшей степени, увлекся нашею воздушною революціею.

Въ чемъ же состояли первоначальные взгляды Герцена? Попробуемъ отдѣлить ихъ отъ его увлеченій, отъ всѣхъ тѣхъ выходокъ, когда онъ *измѣнялъ самому себѣ*. Тогда мы увидимъ, что этотъ человѣкъ былъ глубоко проникнутъ извѣстными мыслями, что онъ постоянно носилъ ихъ въ себѣ, въ теченіе двадцати и болѣе лѣтъ

укрѣплялъ и развивалъ ихъ новыми наблюденіями, облекалъ все въ новыя и новыя формы. Получается фигура мыслителя, который завѣщалъ намъ нѣкоторое долговѣчное наслѣдство, котораго глубокія, выстраданныя и провѣренныя долгою жизнью убѣжденія могутъ служить намъ поученіемъ, составляютъ характеристическое и многознаменательное явленіе нашего умственнаго развитія.

II.

Западничество.

Эпоха, когда сложились взгляды Герцена, была самою цвѣтущею эпохою *западничества* въ русской литературѣ. Это былъ конецъ тридцатыхъ и начало сороковыхъ годовъ, время Станкевича, Грановскаго, Бѣлинскаго и т. д. Если судить по внутреннимъ силамъ, по глубинѣ и послѣдовательности, съ которою умы проникаются извѣстными настроеніями мысли, то мы должны будемъ признать Герцена самою крупною звѣздою въ этой первоначальной плеядѣ западниковъ. Въ извѣстномъ смыслѣ Герценъ былъ не просто западникъ, то-есть не просто поклонникъ и подражатель Запада; это былъ *западный человѣкъ*, который слился всею душою съ западною жизнью, вполнѣ и до конца жилъ идеями этой жизни. Кто хочетъ изучать вліяніе на насъ Запада, для того Герценъ можетъ служить самымъ живымъ, рѣзкимъ образцомъ. Грановскій занимался скромнымъ дѣломъ преподаванія исторіи; Бѣлинскій прилагалъ западные взгляды къ произведеніямъ русской литературы;

одинъ Герценъ прямо примкнулъ къ самымъ живымъ струямъ тогдашней жизни Европы, къ ея философскому и общественному движенію; онъ сталъ философомъ и соціалистомъ. Не останавливаясь на полдорогѣ, онъ прямо добрался до существеннаго содержанія тогдашняго движенія умовъ, и, какъ извѣстно, старался подвинуть на этотъ путь и Бѣлинскаго и Грановскаго. Бѣлинскій подался, Грановскій же остался на степени неопредѣленнаго, общаго западническаго направленія.

И Герценъ не только ближе всѣхъ раздѣлялъ тогдашнее настроеніе Европы; отчасти онъ даже имѣетъ право на имя европейскаго, западнаго писателя. Его книга „Съ того берега", появившаяся сперва по-нѣмецки, тѣсно примыкаетъ къ тогдашней западной литературѣ и произвела въ ней значительное впечатлѣніе. Это книга почти совершенно для насъ чужая, построенная на понятіяхъ, которыя тогда имѣли мало хода въ нашей умственной жизни. Она могла быть вполнѣ понятна только для европейцевъ, она для нихъ была писана, и, по нашему мнѣнію, ея мѣсто какъ разъ возлѣ произведеній Фейербаха и Прудона. Наравнѣ съ этими произведеніями, книга Герцена принадлежитъ къ самымъ характеристическимъ памятникамъ тогдашняго настроенія умовъ, выражаетъ существенныя черты тогдашняго развитія.

Таковъ былъ этотъ западникъ. Подобное явленіе объясняется тѣмъ, что Западъ проходилъ въ это время одну изъ самыхъ блестящихъ и интересныхъ эпохъ своего развитія и дѣйствовалъ на насъ необыкновенно сильно. Тридцатые и сороковые годы представляютъ въ Европѣ періодъ такого сильнаго умственнаго возбужденія, такой могучей дѣятельности мысли, которымъ ни-

чего подобнаго послѣ уже не было. И въ нашей умственной жизни это былъ періодъ такого преклоненія передъ Западомъ, которое потомъ не повторялось и уже не можетъ повториться. Старовѣры-западники, до сихъ поръ живущіе преданіями этихъ временъ, должны бы помнить, что блескъ, которымъ тогда сіялъ Западъ, давно потухъ, и что невозвратно прошло то безусловное благоговѣніе, которое мы питали къ Западу въ эти *лучшія* времена.

Впослѣдствіи, Герценъ, со свойственнымъ ему остроуміемъ и мѣткостію, осмѣялъ крайности нашего тогдашняго настроенія. Въ 1867 г. онъ такъ писалъ про сороковые годы:

„Нужно было видѣть почтеніе, благоговѣніе, низко-„поклонство, изумленіе молодыхъ русскихъ, пріѣзжав-„шихъ въ Парижъ!.. На другой же день, неприступные „бояре, наглецы, грубіяны, совершали свое поклоненіе „волхвовъ, ухаживали за всѣми знаменитостями, — все „равно, какого рода и какого пола, начиная отъ Де-„зирабода, зубнаго врача, до Ма-па, пророка“.

„Самые ничтожные лаццарони литературной Кьяйа, „всякій фельетонный ветошникъ, всякій журнальный „кропатель внушалъ имъ уваженіе, и они спѣшили „предложить ему даже въ десять часовъ утра—редерера „или вдовы Клико, и были счастливы, если онъ прини-„малъ приглашеніе“.

„Бѣдняги, они были жалки въ своей маніи удивле-„нія. Дома имъ было нечего уважать, кромѣ грубой „силы и ея внѣшнихъ знаковъ, чиновъ и орденовъ. „Поэтому, молодой русскій, какъ только переходилъ гра-„ницу, былъ поражаемъ острымъ идолопоклонствомъ. „Онъ впадалъ въ экстазъ передъ всѣми людьми и всѣми

„вещами, передъ швейцарами и философіею Гегеля, пе-„редъ картинами берлинскаго музея, передъ Штраусомъ-„богословомъ и Штраусомъ-музыкантомъ. Шишка по-„чтенія росла все больше и больше до самаго Парижа. „Поиски за знаменитостями составляли муку нашихъ „Анахарсисовъ; человѣкъ, говорившій съ Пьеромъ Леру „или съ Бальзакомъ, съ Викторомъ Гюго или съ Ев-„геніемъ Сю, чувствовалъ, что онъ уже неравенъ себѣ „равнымъ. Я зналъ одного достойнаго профессора, ко-„торый провелъ разъ вечеръ у Жоржа-Занда; этотъ „вечеръ, подобно нѣкоторому геологическому перево-„роту, раздѣлилъ его существованіе на двѣ части; это „была кульминаціонная точка его жизни, неприкосно-„венный капиталъ его воспоминаній, которымъ завер-„шалась вся его прошлая жизнь и отъ котораго исхо-„дила настоящая".

„Счастливыя времена наивной вѣры!" (См. Paris-Guide, 1867. Статья Colonie Russe).

Точно также насмѣшливо изобразилъ Герценъ тѣ занятія нѣмецкою философіею, которыя происходили внутри Россіи, въ кружкахъ юношей, жаждавшихъ западнаго просвѣщенія; дѣло идетъ о 1839 годѣ:

„Толковали о феномонологіи и логикѣ Гегеля без-„престанно; нѣтъ параграфа, который бы не былъ взятъ „отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, лю-„бившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, „несогласившись въ опредѣленіи *перехватывающаго духа*, „принимали за обиды мнѣнія объ *абсолютной личности „и ея по-себѣ бытіи*. Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, „выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и „уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только „упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до

„дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, въ нѣсколько „дней. Такъ, какъ Франкёръ въ Парижѣ плакалъ отъ „умиленія, услышавъ, что въ Россіи его принимаютъ „за великаго математика и что все юное поколѣніе „разрѣшаетъ у насъ уравненія разныхъ степеней, упо„требляя тѣже буквы, какъ онъ; такъ заплакали-бы „всѣ эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Мишелеты, „Отто, Вадке, Шаллеры, Розенкранцы и самъ Ар„нольдъ Руге, котораго Гейне такъ удивительно хорошо „назвалъ *привратникомъ Гегелевской философіи*,—еслибъ „они знали, какія побоища и ратованія возбудили они „въ Москвѣ между Моросейкой и Моховой, какъ ихъ „читали и какъ ихъ *покупали*“ (Былое и Думы, т. II, гл. XXV).

Вотъ въ какое время, подъ какими вліяніями складывались воззрѣнія Герцена. При такомъ положеніи дѣлъ, Герценъ сдѣлалъ все, что̀ требуется отъ сильнаго, дѣятельнаго ума. Во-первыхъ, онъ усвоилъ себѣ всю мудрость Европы, проникъ до самыхъ глубокихъ и тайныхъ ея поползновеній. Во-вторыхъ, онъ не остался, подобно многимъ другимъ, въ положеніи вѣчнаго ученика, вѣчнаго подражателя и поклонника: онъ возвысился до самостоятельности, сталъ наравнѣ съ своими учителями. Изъ всей безконечной толпы людей, преклонявшихся и благоговѣвшихъ передъ Западомъ, онъ одинъ оказался настоящимъ зрѣлымъ человѣкомъ и произнесъ о Западѣ свое независимое сужденіе. Для Грановскаго и Бѣлинскаго, Западъ былъ чужимъ міромъ, издали ослѣплявшимъ ихъ своимъ сіяніемъ; для одного Герцена Западъ былъ своею страной, о которой онъ судилъ и въ которой дѣйствовалъ вполнѣ увѣренно, безъ подобострастія и робости.

И такъ, если насъ интересуетъ наше отношеніе къ Западу, если мы желаемъ добиться правильныхъ и самостоятельныхъ точекъ зрѣнія на явленія западной жизни, то Герценъ можетъ быть для насъ чрезвычайно поучителенъ. Его сужденія, какъ сужденія русскаго человѣка совершенно освоившагося съ Западомъ, должны имѣть для насъ вѣсъ гораздо большій, чѣмъ сужденія многихъ людей, никогда не приходившихъ въ живое соприкосновеніе съ западною жизнью.

III.

Гегелизмъ.

Прежде всего намъ слѣдуетъ показать, что Герценъ дѣйствительно былъ проникнутъ самыми существенными стремленіями тогдашней жизни Европы. Въ такомъ проникновеніи не можетъ быть сомнѣнія. Невозможно не удивляться, съ какою силою этотъ умъ схватилъ и усвоилъ себѣ самую суть тогдашняго развитія.

Европа не была тогда похожа на нынѣшнюю, усталую, хаотическую и лишенную ясныхъ надеждъ и цѣлей—въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Европа представляла тогда рѣдкое зрѣлище въ цѣлой исторіи міра; она обладала философіею, которая имѣла всѣ права на царственное значеніе, подобающее этой наукѣ. Существовала и господствовала нѣкоторая *наука наукъ*, которая готова была подчинить себѣ всѣ другія частныя области знанія и поставила себя въ твердыя и почетныя отношенія къ другимъ сферамъ человѣческой жизни, къ искусству, религіи, государству. Какая

радость, какія надежды были возбуждаемы этою философіей! Казалось, всѣмъ блужданіямъ человѣчества былъ навсегда положенъ конецъ, всѣ разногласія и уклоненія были заранѣе предусмотрѣны и подведены подъ высшія точки зрѣнія; казалось, новая, стройная и осмысленная жизнь должна была охватить всѣ направленія человѣческой дѣятельности, и человѣчеству предстояло раскрыть свои силы въ еще невиданномъ блескѣ.

Это была минута такой самоувѣренности разума, которую можно сравнить только съ состояніемъ умовъ передъ французскою революціей прошлаго столѣтія, когда такъ твердо вѣровали въ свое просвѣщеніе и такъ несомнѣнно надѣялись на скорое прекращеніе всѣхъ людскихъ бѣдствій. Разница была только въ томъ, что философія нынѣшняго столѣтія, возбудившая къ себѣ такую вѣру, имѣла повидимому гораздо больше правъ на свой авторитетъ. Это была связная, стройная система необычайной глубины и высоты. Она царила не въ массѣ, не въ видѣ ходячихъ мнѣній, а величественно скрывалась на тѣхъ вершинахъ человѣческой мысли, которыя недоступны обыкновеннымъ людямъ. Она тѣмъ больше возбуждала уваженія, тѣмъ сильнѣе дѣйствовала, что ея святилище не открывалось для профановъ.

Таково было положеніе Гегелевской философіи. Герценъ тотчасъ понялъ, что ему необходимо овладѣть тайнами этой мудрости, и, послѣ упорнаго труда, ему это вполнѣ удалось. Тогда всѣ были гегельянцами, но едва-ли не одного Герцена можно считать вполнѣ обладавшимъ пріемами гегелевской философіи. Грановскій, Бѣлинскій, Бакунинъ смиренно признавали его превосходство въ этомъ дѣлѣ. Наконецъ, Герценъ одинъ

оставилъ намъ превосходные образчики философскихъ статей, вполнѣ доказывающіе его талантъ. Сюда относятся: 1) четыре статьи, изъ которыхъ три первыя носятъ заглавіе *Дилеттантизмъ въ наукѣ* (Отеч. Зап. 1843, №№ 1, 3, 5), а послѣдняя, составляющая ихъ продолженіе — *Буддизмъ въ наукѣ* (тамъ-же № 11); 2) восемь статей подъ названіемъ *Письма объ изученіи природы* (Отеч. Зап. 1845 и 1846 г.).

Судить о Гегелевской философіи до сихъ поръ вовсе не такъ легко, какъ думаютъ многіе, напримѣръ профессоръ С . . . . . Вліяніе и сила ея продолжаются до сихъ поръ. Мы не говоримъ о томъ, что до сихъ поръ большая часть нѣмецкихъ профессоровъ философіи—гегельянцы, что въ Италіи, Швеціи, Бельгіи и т. д., гегельянство именно въ послѣднее время неожиданно нашло себѣ сторонниковъ. Все это еще ничегобы не значило, такъ какъ, по слабости человѣческой, не только умныя вещи, но и великія глупости могутъ долго держаться и находить себѣ множество послѣдователей. Есть другіе факты, имѣющіе гораздо большее значеніе; именно, по нашему мнѣнію, все движеніе наукъ, совершающееся въ Европѣ, до сихъ поръ находится подъ вліяніемъ гегелевской системы; всѣ дѣйствительные результаты, какіе только добываются въ наукахъ нравственнаго міра, въ исторіи, этнографіи и пр., добываются помощію пріемовъ и формулъ, завѣщанныхъ Гегелемъ. Новой философіи, новой логики до сихъ поръ не имѣетъ Европа, и если она уже не видитъ въ гегелевской системѣ разрѣшенія всѣхъ вопросовъ, то все таки высшіе научные пріемы, высшія методы изслѣдованія остались тѣ же самые, какіе были предложены этою философіею.

Попробуемъ сдѣлать нѣкоторыя поясненія. Въ каждой философіи можно различать двѣ стороны, умственную или теоретическую, и нравственную или практическую. У Канта это раздѣленіе всего яснѣе; двѣ главныя его книги называются *Критика чистаго разума* и *Критика практическаго разума*. Главная сила гегелевской философіи заключается именно въ теоретической области, въ наукѣ познанія; сюда было устремлено вообще все то движеніе нѣмецкой философіи, которое завершилось въ Гегелѣ. Поэтому, главное сочиненіе Гегеля есть *Логика*, подобно тому, какъ главное сочиненіе Фихте есть *Наукословіе*. Исходной точкой и главной цѣлью всей школы философовъ, послѣдовавшихъ за Кантомъ, было то познаніе, которое можно назвать чисто теоретическимъ, чисто логическимъ.

Вотъ въ какой области нужно искать заслугъ и силы Гегеля. Эти заслуги и эта сила безмѣрно велики. Теоретическій разумъ (будемъ употреблять выраженія Канта) не можетъ обнять собою всей дѣйствительности вещей, но его дѣятельность имѣетъ свою законную сферу,—которую Гегель и разработалъ до удивительнаго совершенства. Въ подтвержденіе такого мнѣнія, приведемъ сужденіе о Гегелѣ человѣка, котораго изо всѣхъ философствовавшихъ русскихъ конечно нужно считать первымъ по силѣ, понимавшимъ философскіе вопросы всего глубже и яснѣе. Хомяковъ даетъ гегелевской философіи слѣдующее опредѣленіе;

„Она *не есть философія всецѣлаго разума*; ее должно „признать наукою діалектическаго разсудка (*аналити-„ческаго разума*), и въ этомъ смыслѣ она есть *великій „и безсмертный памятникъ человѣческаго генія*. Она въ „этомъ отношеніи сближается по преимуществу съ ал-

„геброю и съ *чистою математикою* вообще, въ кото-„рой законъ количественности исключаетъ всякую дѣй-„ствительность вещественную“. (Соч. А. С. Хомякова, т. I, стр. 275).

И такъ эта философія есть нѣкоторая формальная наука, подобная чистой математикѣ. Это наука всевозможныхъ формъ и пріемовъ мышленія, логика въ томъ новомъ видѣ, который далъ ей Гегель. Такое понятіе объ этой философіи подтверждается нѣкоторыми ходячими мнѣніями объ ней, установившимися въ теченіе долгаго ея господства и имѣвшими основаніе въ ея дѣйствительныхъ свойствахъ. Для гегелевской системы самымъ характеристическимъ признакомъ считалось не столько какое-нибудь опредѣленное ученіе о вещахъ, сколько ея метода, та знаменитая *діалектика*, которую одинаково признавали всѣ послѣдователи Гегеля, часто расходившіеся въ самыхъ существенныхъ пунктахъ относительно результатовъ, то есть, относительно дѣйствительнаго познанія вещей.

Вотъ въ какомъ отношеніи слѣдуетъ признать эту философію *безсмертнымъ памятникомъ человѣческаго генія*, дѣломъ на вѣки поучительнымъ для ума, однимъ изъ величайшихъ образцовъ философской способности человѣчества, системою, не уступающею по своему внутреннему значенію никакой другой философской системѣ.

Намъ, русскимъ, нельзя не питать большаго уваженія къ этой философіи, такъ какъ она подѣйствовала на наше умственное движеніе самымъ плодотворнымъ образомъ. Никакое другое философское ученіе не имѣло у насъ такого множества, такихъ даровитыхъ и такъ много сдѣлавшихъ послѣдователей. Притомъ, весьма замѣчательно и весьма характерно для этой философіи

то, что ея вліяніе было одинаково живительно для самыхъ противоположныхъ направленій. Если взять дѣло въ грубой и общей формѣ, то можно сказать, что и западники и славянофилы у насъ порождены гегельянствомъ. Родоначальники и представители западничества, Грановскій, Бѣлинскій, Герценъ были гегельянцы. Это фактъ общеизвѣстный, но мало оцѣненный, въ томъ смыслѣ, что гегельянство не было при этомъ случайностію, постороннимъ, временнымъ обстоятельствомъ. Эти даровитые и чистосердечные люди потому именно и стали ревностными поклонниками Запада, что Западъ имѣлъ тогда такую прекрасную, увлекательную и многообѣщающую философію. Ихъ покорило не общее неопредѣленное сознаніе авторитета и превосходства Европы, которое до сихъ поръ покоряетъ большинство такъ называемыхъ образованныхъ русскихъ; первыхъ нашихъ западниковъ увлекло самое движеніе тогдашней европейской мысли, съ которымъ они болѣе или менѣе освоились. Они знали, за что и почему они любятъ Западъ, да и было тогда за что его любить.

Пріемы и взгляды Грановскаго въ исторіи были въ сущности гегельянскіе.

Формы и воззрѣнія, подъ которыя Бѣлинскій подводилъ явленія русской литературы, были тоже гегельянскія.

Герценъ до конца сохранилъ гегелевскую терминологію, пріемы діалетики, въ которой былъ великій мастеръ.

Это—всѣмъ извѣстно, или, по крайней мѣрѣ, всѣмъ должно быть извѣстно. Но менѣе извѣстно значеніе Гегеля въ славянофильствѣ. Хотя всѣ знаютъ, что первоначальное развитіе славянофильства совершилось подъ

вліяніемъ, вообще говоря,—нѣмецкой философіи, но обыкновенно любимымъ философомъ славянофиловъ считается Шеллингъ. И Кирѣевскій, даже въ гораздо позднѣйшее время, въ знаменитой статьѣ *О недбходимости и возможности новыхъ началъ для философіи*, ждалъ возрожденія философіи отъ того новаго фазиса, въ которомъ Шеллингъ явился во время своей Берлинской профессуры.

Тѣмъ не менѣе, есть прямыя указанія на то, что именно гегельянство играло главную роль при первомъ происхожденіи славянофильства. Герценъ, разсказывая о томъ, какъ въ Бѣлинскомъ совершился извѣстный крутой поворотъ отъ примиренія съ дѣйствительностію (по Гегелю) къ недовольству и отрицанію (тоже по Гегелю), утверждаетъ, что „славянофилы начали офиціально существовать съ войны противъ Бѣлинскаго", и что „въ началѣ (т. е. до этой войны, до поворота въ Бѣлинскомъ) были только оттѣнки, а не мнѣнія, не партіи". Образованіе же партій онъ разсказываетъ такъ:

„Всѣ люди дѣльные и живые перешли на сторону „Бѣлинскаго, только упорные формалисты и педанты „отдалились. Одни изъ нихъ дошли до того нѣмецкаго самоубійства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякій жизненный интересъ и сами потерялись „безъ вѣсти; *другіе сдѣлались православными славянофилами*. Какъ сочетаніе Гегеля съ Стефаномъ Яворскимъ ни кажется страннымъ, но оно *возможнѣе, нежели думаютъ*; византійское богословіе точно такъ же „внѣшняя казуистика, игра логическими формулами, какъ „*формально принимаемая* діалектика Гегеля". (Былое и Думы, т. II, стр. 150).

Упоминая о Стефанѣ Яворскомъ, Герценъ, очевид-

но, намекаетъ на дессертацію Ю. Ѳ. Самарина; сближеніе съ византійскими богословами, можетъ быть, будетъ еще вѣрнѣе, если не понимать ихъ такъ *формально*, какъ не совѣтуетъ Герценъ понимать самого Гегеля. Мы остановимся здѣсь лишь на фактѣ, что изъ гегельянцевъ вышли, не отказываясь отъ Гегеля, славянофилы.

Приведемъ на этотъ фактъ еще другое указаніе, болѣе ясное и опредѣленное. Въ *Русскомъ Вѣстникѣ* (1862, № 11) было напечатано французское письмо Чаадаева къ Шеллингу, писанное изъ Москвы, 20 мая 1842 года. Вотъ самыя важныя мѣста изъ этого письма:

„Безъ сомнѣнія вамъ извѣстно", пишетъ Чаадаевъ, „что *спекулятивная философія уже давно проникла къ „намъ*, что значительная часть нашего юношества, жаднаго къ новымъ понятіямъ, усердно предалась этой готовой мудрости... Но вы вѣроятно не знаете того, что „мы въ настоящую минуту находимся среди нѣкотораго „рода *умственнаго кризиса, который долженъ имѣть необыкновенное вліяніе на будущность нашей цивилизаціи*, „что мы охвачены національною реакціей, страстной, „фанатической, ученой, которая естественно вытекаетъ „изъ слишкомъ долгаго господства въ нашей жизни чужеземныхъ тенденцій, но которая, однакоже, въ своей „узкой исключительности стремится ни чуть не менѣе, „какъ къ радикальной перестройкѣ идеи страны... И „вотъ, философія, для развѣнчанія которой вы явились „въ Берлинъ *(т. е. гегелевская философія)*, проникая къ „намъ, сочетаясь съ ходячими у насъ идеями, угрожала „намъ совершенно извратить наше національное чувство... *Изумительная гибкость этой философіи, допускающей всевозможныя приложенія*, создала у насъ „самыя странныя мечты о нашей роли въ мірѣ, о на-

„шихъ будущихъ судьбахъ. Ея фаталистическая логика... „готова была превратить всю нашу исторію въ ретро„спективную утопію, въ надменную апоѳеозу русскаго „народа; ея система всеобщаго примиренія... повела „насъ къ мысли, что, предъупреждая ходъ человѣчества, „мы уже осуществили среди самихъ себя ея заносчи„выя теоріи... Судите послѣ этого, какъ радостно всѣ „тѣ изъ насъ, кто истинно любитъ свою страну, должны „были привѣтствовать ваше появленіе въ средоточіи „этой философіи, вліяніе которой могло быть для насъ „такъ гибельно. И не думайте, чтобы я преувеличивалъ „это вліяніе. Есть минуты въ жизни народовъ, когда „всякое новое ученіе, каково бы оно ни было, полу„чаетъ необыкновенное могущество вслѣдствіе необыкно„веннаго движенія умовъ, которое характеризуетъ эти „эпохи. А нужно признаться, жаръ, съ которымъ у насъ „на поверхности общества бьются, чтобы найти какую„то потерянную національность, доходитъ до невѣроят„ной степени. Роются во всѣхъ уголкахъ нашей исторіи, „передѣлываютъ исторію всѣхъ народовъ міра, приписываютъ имъ общее происхожденіе съ племенемъ сла„вянскимъ, смотря по большей или меньшей ихъ за„слугѣ; перерываютъ весь земной шаръ, чтобы открыть „свидѣтельства новаго народа Божія... Если бы ученіе „о непосредственномъ обнаруженіи абсолютнаго духа „въ человѣчествѣ вообще и въ каждомъ изъ его чле„новъ въ частности продолжало царствовать въ вашей „ученой метрополіи, то я увѣренъ, въ скоромъ времени „весь нашъ литературный міръ сталъ бы приверженцемъ этой системы, раболѣпствующей передъ человѣ„ческимъ разумомъ и услужливо льстящей всѣмъ его „притязаніямъ“.

Это письмо какъ нельзя лучше свидѣтельствуетъ о томъ необыкновенномъ возбужденіи, которое было у насъ въ концѣ тридцатыхъ и началѣ сороковыхъ годовъ. Чаадаевъ не ошибся, называя эту эпоху умственнымъ кризисомъ, и пророча ей большое вліяніе на будущность нашей цивилизаціи. Въ то же время изъ письма несомнѣнно слѣдуетъ, что гегелевская философія играла первую роль въ этомъ кризисѣ, и что возникающее славянофильство нашло въ ней могущественную опору, было ею оживлено и оплодотворено.

Таковы были судьбы гегельянства въ Россіи. Для знакомыхъ съ исторіею философіи, ничего не можетъ быть страннаго въ томъ, что одна и таже философская система примыкаетъ впослѣдствіи къ различнымъ мнѣніямъ и даже порождаетъ изъ себя ученія прямо противоположныя, хотя и носящія на себѣ печать общаго происхожденія. Систему Гегеля, вслѣдствіе ея преимущественно логическаго, формальнаго свойства,—характеризуетъ только чрезвычайная легкость, съ которою ея широкія формулы прилаживались къ разнообразнымъ воззрѣніямъ. При этомъ нужно помнить, что частные взгляды, на которые разбивается общее ученіе извѣстной философіи, не исчерпываютъ ея сущности, въ силу чего и обособляются отъ нея, и что родство ихъ съ общимъ ученіемъ имѣетъ, такъ сказать, различныя степени законности. Духъ системы въ однихъ ея порожденіяхъ выражается больше, въ другихъ меньше. Сходя съ своей эфирной высоты, примѣшиваясь къ временнымъ и мѣстнымъ стремленіямъ умовъ, философія въ однихъ случаяхъ воплощается характернѣе, явственнѣе, въ другихъ теряетъ даже свои существеннѣйшія черты.

Оттѣнки, которые принимаетъ извѣстная философія

у своихъ послѣдователей, характеризуютъ и самую философію и, еще болѣе, умственныя силы этихъ послѣдователей. Умы помельче—подвергаются незначительнымъ и несущественнымъ вліяніямъ, умы поглубже и поживѣе хватаются за самыя важныя черты, бываютъ поражены и увлечены ими и доводятъ ихъ до наиболѣе яркаго выраженія. Въ этомъ отношеніи, Герценъ явился наиболѣе чуткимъ и послѣдовательнымъ въ своемъ гегельянствѣ; онъ примкнулъ къ той формѣ гегельянства, которую конечно слѣдуетъ считать самымъ характеристическимъ порожденіемъ этой философіи, къ такъ называемой лѣвой гегелевской школѣ, лучшимъ представителемъ которой былъ Фейербахъ.

IV.

Фейербахизмъ. „Дилеттантизмъ въ наукѣ".

Не даромъ гегельянцы такъ прославляли *великаго язычника* Гёте; не даромъ система Гегеля всегда слыла пантеизмомъ, хотя сама себя называла *абсолютнымъ идеализмомъ;* не даромъ впослѣдствіи гегельянцы стали горячо раздѣлять революціонныя и главнымъ образомъ соціалистическія стремленія Европы. Былъ въ этой системѣ зародышъ, который долженъ былъ породить Штрауса, Фейербаха, Макса Штирнера и пр. и пр.

Мы признаемъ, слѣдовательно, что эта школа была законнымъ, хотя и въ высшей степени одностороннимъ порожденіемъ гегельянства, и потому считаемъ со стороны Герцена признакомъ ума и чуткости, что онъ примкнулъ къ ней. За пониманіе нужно похвалить Гер-

цена; за зловредность же и противоразумность этихъ ученій бранить слѣдуетъ не его лично, а самую школу, самое подчиненіе западнымъ идеямъ вообще. Чѣмъ виноватъ человѣкъ, что тонко и вѣрно понималъ своихъ учителей и поравнялся съ ними въ мудрости? Заблужденія Герцена суть заблужденія тогдашняго Запада; его вина есть вмѣстѣ и его заслуга; она заключается въ томъ, что онъ послѣдовательно держался указаннаго ему пути. Въ этомъ отношеніи онъ выше Грановскаго, котораго не успѣлъ увлечь за собою, выше Бѣлинскаго, неполно и неясно усвоившаго себѣ тѣ же мысли, выше многихъ другихъ, и русскихъ, и западныхъ писателей, похвалявшихся исповѣданіемъ того же ученія, а въ сущности носившихъ въ головѣ весьма пестрый сумбуръ.

Герценъ—одинъ изъ поразительнѣйшихъ примѣровъ русской понятливости и дурнаго вліянія Запада.

Попробуемъ нѣсколько характеризовать фейербахизмъ, то ученіе, которое такъ дурно подѣйствовало на умъ и дѣятельность Герцена.

Въ гегелевской философіи, сверхъ разработки теоретическаго разума, оказались и нѣкоторыя положительныя ученія, нѣкоторыя понятія о сущности вещей, сужденія, относящіяся къ области практическаго разума. Пантеистическое пониманіе міра и человѣка, нѣкоторое обоготвореніе жизни и исторіи—вотъ та черта, которая въ своемъ естественномъ развитіи породила потомъ Фейербаховъ и Максовъ Штирнеровъ.

Есть очень интересная, и прекрасно написанная книга, которая, какъ намъ кажется, мѣтко указываетъ на духъ этого философскаго движенія. Это книга Гейне *о Германіи*, вышедшая въ 1835 году. Первыя три главы содержатъ коротенькій, но живой очеркъ исторіи фило-

софіи въ Германіи. Этотъ очеркъ отличается крайнею односторонностію, но тѣмъ поучительнѣе. Для Гейне, очевидно, не существуетъ никакихъ теоретическихъ вопросовъ, никакого интереса къ работѣ мысли. Съ свойственнымъ ему чрезвычайнымъ легкомысліемъ, онъ коверкаетъ и искажаетъ все то, что составляетъ дѣйствительную заслугу нѣмецкихъ философовъ, смѣется надъ ихъ усиліями и совершенно упускаетъ изъ виду существенный смыслъ и глубокую связь ихъ ученій. За то тѣмъ съ большею ясностію выступаетъ у Гейне практическая, нравственная сторона дѣла, хотя и ее онъ высказываетъ съ неизбѣжными у него шалостями.

Въ самомъ началѣ, Гейне прямо заявляетъ, что *нѣмецкая мысль*, проявившаяся въ романтической поэзіи и идеалистической философіи, есть нѣчто прямо противоположное *идеѣ христіанства*. „Мы, нѣмцы", пишетъ онъ (1835 г.), „находимся въ положеніи, въ которомъ „Франція находилась передъ своею революціей, когда „христіанство было нераздѣльно связано со старымъ „порядкомъ. Для того, чтобы Самсонъ могъ опустить „свою сѣкиру, нужно было, чтобы сперва раздался рѣз„кій смѣхъ Вольтера. Но смѣхъ Вольтера ничего не „доказалъ; онъ произвелъ такое же грубое дѣйствіе, „какъ и неблагородная сѣкира Самсона. Вольтеръ пора„нилъ только тѣло христіанства: всѣ его сарказмы, по„черпнутые изъ исторіи церкви, всѣ его эпиграммы на „догматы и богослуженіе, на Библію, священную книгу „человѣчества, на Дѣву Марію, прекраснѣйшій цвѣтокъ „поэзіи, весь этотъ колчанъ философскихъ стрѣлъ, пу„щенныхъ имъ въ духовенство, поразилъ только смерт„ную оболочку христіанства, а не его внутреннюю сущ„ность; онъ не могъ проникнуть въ глубину его генія,

„въ его безсмертную душу“. (De l'Allemagne, изд. 1855, стр. 9).

И вотъ, Германія призвана будто бы совершить то, чего не могла совершить Франція. Нѣмецкіе философы посягали будто бы уже не на тѣло, а на самую душу христіанства, на его внутреннюю, глубочайшую сущность. При этомъ, идею христіанства, Гейне толкуетъ совершенно на католическій ладъ; главное ея содержаніе онъ видитъ въ презрѣніи къ плоти, въ преувеличенномъ спиритуализмѣ, въ признаніи за зло всей природы, всѣхъ естественныхъ влеченій и радостей, въ аскетическомъ отреченіи отъ міра.

Нѣмцы, по словамъ Гейне, враждебны этой идеѣ по самой своей натурѣ; они искони были пантеистами. „Національная вѣра Европы“, говоритъ онъ, „въ особенности на сѣверѣ, была пантеистическая. Ея таинства и символы основывались на нѣкоторомъ культѣ „природы; въ каждой стихіи было обожаемо нѣкоторое „чудесное существо; въ каждомъ деревѣ дышало нѣкоторое божество; всѣ явленія чувственнаго міра были „обоготворены“. (стр. 19).

Такимъ образомъ, Гейне опредѣлилъ пантеизмъ и христіанство, какъ два существенно противоположные взгляда на міръ, и на этой противоположности построилъ всю исторію развитія Германіи. Вся эта исторія состоитъ будто-бы въ борьбѣ между духомъ христіанства и древнимъ пантеистическимъ настроеніемъ нѣмцевъ, которое въ Гёте и Гегелѣ достигло наконецъ своего высшаго поэтическаго и философскаго выраженія. „Германія“, пишетъ Гейне, „въ настоящее время есть плодотворная земля пантеизма; пантеизмъ есть религія „самыхъ великихъ нашихъ мыслителей, самыхъ лучшихъ

„художниковъ, и деизмъ у насъ разрушенъ въ теоріи. „Объ этомъ не говорятъ, но всѣ это знаютъ: пантеизмъ „есть публичная тайна Германіи. Въ самомъ дѣлѣ, „мы слишкомъ выросли, чтобы оставаться деистами". (Стр. 85).

Въ этомъ духѣ Гейне характеризуетъ философскія системы нѣмцевъ. Такъ, напримѣръ, первоначальную философію Шеллинга онъ истолковываетъ такъ: „Шеллингъ возвратилъ природѣ ея законныя права; онъ „стремился къ примиренію духа и природы, старался „соединить ихъ въ вѣчной душѣ міра. Онъ возстановилъ „ту великую философію природы, которую мы находимъ уже у древнихъ греческихъ философовъ, до Сократа. Онъ возстановилъ ту великую философію природы, которая, глухо коренясь въ древней пантеистической религіи нѣмцевъ, произвела уже во времена „Парацельса прекраснѣйшіе цвѣты, но была заглушена „распространеніемъ картезіанства". (Стр. 176).

Революціонное броженіе, господствовавшее тогда въ Германіи, Гейне прямо приписываетъ пантеистическому стремленію къ благамъ міра. Въ этомъ стремленіи онъ видитъ новый духъ, оживляющій собою всю современную исторію. „Непосредственная цѣль, говоритъ онъ, всѣхъ „нашихъ новѣйшихъ учрежденій есть регабилитація вещества, возстановленіе его достоинства, его религіозное признаніе, его нравственное освященіе, его примиреніе съ духомъ. Пуруша снова соединился съ Пракрити; отъ ихъ насильственнаго разлученія, какъ „глубокомысленно доказываетъ индійскій миѳъ, происходило великое страданіе міра—зло". (Стр. 82).

Какъ ни односторонне и ни преувеличено такое толкованіе всего философскаго движенія Германіи,

однако же въ немъ очевидно есть правда. Это доказывается, какъ мы уже замѣтили, тѣсною связью между лѣвыми гегельянцами и революціонерами 1848 и 1849 годовъ.

Не система самого Гегеля дѣйствовала въ этомъ случаѣ, но появилось ученіе, которое производило себя отъ этой системы, и необыкновенно воспламеняло и тревожило умы (Гегель, какъ извѣстно, ихъ успокоивалъ). Это ученіе—не пантеизмъ, который въ своей общей и отвлеченной формѣ не содержитъ ничего страшнаго, а совершенно другая теорія, болѣе дерзкая и глубокая, чѣмъ самый матеріализмъ. Пантеизмъ предполагаетъ только болѣе тѣсную связь между Богомъ и міромъ, но затѣмъ существенно не измѣняетъ отношеній между ними. Все въ мірѣ зависитъ отъ Бога, все имъ держится, судьба народовъ и всемірной исторіи управляется Божественною волею, событія имѣютъ таинственный, часто недоступный намъ смыслъ, Богъ ведетъ человѣчество къ извѣстнымъ ему цѣлямъ — вотъ понятія, которыя одинаково свойственны и обыкновенному христіанскому благочестію и пантеизму.

Но на этомъ пути умъ человѣческій пришелъ къ отожествленію Бога и міра, къ отожествленію своихъ понятій съ понятіями божественными, и тогда получился взглядъ, глубоко извращающій истину. Матеріализмъ, какъ мы сказали, гораздо невиннѣе фейербахизма; матеріализмъ предполагаетъ въ мірѣ нѣчто постоянное, неизмѣнное, которое, хотя не создано Богомъ, но имѣетъ божественныя свойства вѣчнаго, безначальнаго и безконечнаго существованія и порядка. Фейербахизмъ, сдѣлавъ мѣркою міра самого человѣка, приписавъ міру измѣнчивость человѣческихъ чувствъ и по-

нятій, откинулъ всякую мысль о неизмѣнномъ бытіи. Сущность и божественность міра заключается въ человѣкѣ, и міръ есть нѣчто столь-же волнующееся, зыбкое и движущееся, какъ исторія человѣческихъ мыслей и человѣческихъ обществъ. Я старался въ другомъ мѣстѣ характеризовать ученіе фейербахизма, и позволю себѣ привести здѣсь свои слова. Главныя положенія фейербахизма слѣдующія:

„Нѣтъ никакого различія между явленіемъ и сущ„ностію. Сущность вся, цѣликомъ и безъ остатка, пе„реходитъ въ явленіе; *она имманентна явленію.* Такимъ „образомъ можно сказать даже наоборотъ: существен„ное въ явленіи есть именно то, что оно явленіе; су„щественное въ каждой вещи не то, что̀ въ ней об„щее, а то, что̀ въ ней частное; существенно именно „то, что̀ обыкновенно считается несущественнымъ,— „случайное, индивидуальное, единичное“.

„Явленія представляютъ разнообразіе и множество; „такова и сущность; она состоитъ въ разнообразіи и „множествѣ. *Нѣтъ въ мірѣ ничего единаго и цѣлаго*; „существуетъ только множество и части. Нѣтъ въ мірѣ „никакого средоточія и никакой связи; средоточіе каж„дой вещи въ ней самой; каждая вещь потому и су„ществуетъ, что она отдѣльна, не связана съ другими. „Каждая точка въ пространствѣ, каждый атомъ суще„ствуетъ отдѣльно, самъ по себѣ, и это-то и есть на„стоящее существованіе“.

„Въ отношеніи къ времени, существуетъ только то, „что̀ совершается теперь, сейчасъ, въ настоящее мгно„веніе. Это мгновеніе исчерпываетъ собою все, что̀ „дѣйствительно существуетъ въ вещахъ. Каждая слѣ„дующая минута пожираетъ безъ остатка предъидущую

„и въ свою очередь пожирается слѣдующею. Пребы-„вающаго и постояннаго ничего нѣтъ. Пока явленіе „совершается, до тѣхъ поръ только существуетъ его „сущность; какъ скоро явленіе прекращается, исче-„заетъ и его сущность". (Борьба съ Западомъ. Кн. 2, стр. 91, 92).

Вотъ ученіе, которое можно назвать обожествленіемъ минуты и прогресса. Частное, ограниченное признается божественнымъ. Слѣдовательно нѣтъ той руки, которая бы держала цѣлое и руководила имъ; нѣтъ ничего *трансцендентнаго*, какъ выражались лѣвые гегельянцы.

Но частное, индивидуальное вѣдь есть нѣчто подверженное случайностямъ, легко гибнущее; слѣдовательно, и все божественное, все, что ни есть хорошаго на землѣ въ какомъ бы то ни было смыслѣ,—есть постоянное игралище всякихъ столкновеній и случаевъ; завтра все можетъ погибнуть, не только мы,—но вся Европа можетъ покрыться моремъ, весь земной шаръ можетъ сойти съ орбиты, или окружиться атмосферою, въ которой невозможно дышать. Слѣпая природа можетъ погубить насъ и человѣчество въ силу одной изъ безчисленныхъ случайностей, и, если въ ней нѣтъ ничего болѣе божественнаго, чѣмъ мы сами, то она останется вовсе безъ божества. Для матеріалиста, просто ставившаго человѣка въ одинъ разрядъ съ вещественными предметами, эта мысль не могла быть такъ страшна, какъ для фейербахиста, полагавшаго, что въ человѣкѣ природа сознаетъ сама себя, что вся цѣль, весь смыслъ природы заключается въ человѣческой дѣятельности.

Поэтому, эта мысль глубоко поразила Герцена; онъ

взялъ фейербахизмъ съ самой мрачной стороны, и, постоянно хвалясь трезвостью взгляда и мужествомъ предъ истиною, постоянно держалъ въ себѣ эти тяжелыя мысли, какъ бы питаясь ихъ горечью.

Нѣмцы очень весело встрѣтили фейербахизмъ, находя въ немъ освобожденіе отъ разнаго рода авторитетовъ. Максъ Штирнеръ нашелъ весьма приличнымъ посвятить свое сочиненіе своей любовницѣ; онъ надписалъ надъ своею книгою: meinem Liebchen Marie; но Герцена переходъ къ новымъ убѣжденіямъ привелъ только къ большей грусти, хотя онъ и повторяетъ чужія радостныя рѣчи о совершеннолѣтіи, о томъ, что разумъ достигъ наконецъ самообладанія, и т. д.

Статьи о *Дилеттантизмѣ* и *Письма объ изученіи природы* составляютъ главнѣйшія произведенія, въ которыхъ Герценъ проповѣдывалъ гегельянство и старался уяснить себѣ и другимъ тотъ новый путь, который, по его мнѣнію, прямо ведетъ отъ Гегеля къ Фейербаху. Въ нихъ часто слышится и тотъ грустный тонъ, который мы видѣли въ статьѣ *По поводу одной драмы*; Герценъ готовъ повторить, что нынче стало жить страшно и тоскливо. Приведемъ нѣсколько отрывковъ изъ статей о дилеттантизмѣ, которыя написаны раньше.

„Наука не имѣетъ такихъ торжественныхъ пропи„лей, какъ религія. Путь достиженія къ наукѣ идетъ „повидимому безплодной степью; это отталкиваетъ нѣ„которыхъ. Потери видны,—пріобрѣтеній нѣтъ; подни„маемся въ какую-то изрѣженную среду, въ какой-то „міръ безплотныхъ абстракцій; важная торжественность „кажется суровой холодностью. Съ каждымъ шагомъ „уносишься болѣе и болѣе въ это воздушное море; ста„новится *страшно просторно*, тяжело дышать и безот-

„радно; берега отдаляются, исчезаютъ—съ ними исче-„заютъ всѣ образы, навѣянные мечтами, съ которыми „сжилось сердце; *ужасъ объемлетъ душу*: Lasciate ogni „speranza voi ch'entrate! Гдѣ бросить якорь? Все разру-„шается, теряетъ твердость, улетучивается". (Дилетт. ст. 1, стр. 47).

Такимъ образомъ, Герценъ сравниваетъ путь къ своей философіи съ входомъ въ Дантовъ адъ. Въ другомъ мѣстѣ выраженія еще сильнѣе.

„Науку надобно прожить, чтобы не формально „усвоить ее себѣ. Прострадать феномонологію духа, „исходить горячею кровью сердца, горькими слезами „очей, худѣть отъ скептицизма, жалѣть, любить многое, „*много любить и все отдать истинѣ*,—такова лиричес-„кая поэма воспитанія въ науку. Наука дѣлается „страшнымъ вампиромъ, духомъ, котораго нельзя про-„гнать никакимъ заклинаніемъ, потому что человѣкъ „вызвалъ его изъ собственной груди, и ему *некуда* „скрыться. Тутъ надобно оставить пріятную мысль бла-„горазумно заниматься въ извѣстный часъ дня бесѣдой „съ философами для образованія ума и украшенія па-„мяти. *Вопросы страшные безъотходны*: куда ни от-„вернется несчастный, они передъ нимъ, писанные „огненными буквами Даніила, и тянутъ куда-то въ „глубь, и *нѣтъ силъ противустоять чарующей силѣ* „*пропасти*, которая влечетъ за собой человѣка зага-„дочной опасностію своей. Змѣя мечетъ банкъ; игра, „холодно начинающаяся съ логическихъ общихъ мѣстъ, „быстро развертывается въ отчаянное состязаніе; всѣ „заповѣдныя мечты, святыя, нѣжныя упованія, Олимпъ „и Аидъ, надежда на будущее, довѣріе къ настоящему, „благословеніе прошедшему, все послѣдовательно является

„на картѣ, и она, медленно вскрывая, безъ улыбки, безъ „ироніи и участія, повторяетъ холодными устами — „убита“. (Будд. стр. 60).

Вотъ слова, въ которыхъ ясно выражается и неодолимая привлекательность ученій, принятыхъ Герценомъ, и глубокое страданіе, которое онъ испытывалъ при ломкѣ своихъ убѣжденій. По всему видно, что Герценъ отнесся къ дѣлу самымъ серьезнымъ, самымъ искреннимъ образомъ. И по всему видно, что новыя убѣжденія наполнили его безотрадностію, хотя онъ и хвалитъ ихъ *трезвость*, *просторъ*, *свѣтъ* и тому подобныя *холодныя* качества. Безъ сомнѣнія, Герценъ одинъ изъ поучительнѣйшихъ примѣровъ, показывающихъ, что фейербахизмъ, принятый серьезно, не даетъ ни покоя, ни радости. Мысль о томъ, что исторія можетъ прерваться, что земной шаръ дастъ трещину, или будетъ задѣтъ кометою, эта мысль, столь наглядно изображающая отсутствіе промысла въ дѣлахъ человѣчества, сдѣлалась однимъ изъ любимыхъ образовъ Герцена; въ этомъ образѣ онъ часто выражалъ свое печальное настроеніе.

V.

Ученіе о прогрессѣ. Христіанство.

Одно изъ самыхъ интересныхъ и характеристическихъ понятій для гегелевской философіи есть понятіе *прогресса*. О прогрессѣ очень много толковали въ прошломъ столѣтіи; но то ученіе, которое проповѣдывали объ успѣхахъ человѣчества Вольтеръ, Кондорсе и пр. и пр., и которое нынѣ съ такимъ шумомъ возобновлено Бок-

лемъ, есть дѣло очень невинное и простое въ сравненіи съ прогрессомъ, придуманнымъ нѣмецкою философіею. Французскій прогрессъ (будемъ такъ называть) предполагаетъ нѣчто постоянное и неизмѣнное—знанія, правила нравственности и человѣколюбія, удобства и радости жизни. Всѣ эти вещи имѣли у французскихъ прогрессистовъ совершенно опредѣленное и ясное значеніе, и прогрессъ предполагался въ томъ, что знанія будутъ наростать, человѣколюбіе распространяться, удобства жизни накопляться. Изъ этой теоріи слѣдовало-бы, что чѣмъ больше живетъ человѣчество, тѣмъ больше оно должно пользоваться благополучіемъ.

Совершенно не то нѣмецкій прогрессъ, теорія котораго была выработана у Гегеля. Тутъ предполагается тоже, что человѣчество идетъ непремѣнно впередъ, но такъ, что всѣ имъ достигнутые результаты могутъ оказаться требующими *совершенной замѣны другими*. Знанія, правила нравственности, понятія о счастіи могутъ оказаться низшею ступенью, несовершенною формою, на мѣсто которой должна стать новая цѣльная форма. Поэтому могутъ происходить перевороты, переломы, превращенія, въ которыхъ поглощается все старое. Такимъ образомъ, исторія получаетъ болѣе остроумное и глубокое истолкованіе. Исторія, какъ извѣстно, не представляетъ непрерывнаго прогресса, какъ слѣдовало-бы по французской теоріи накопленія; Гегель съ великою тонкостію показалъ, что случаи видимаго паденія и бѣдствій человѣчества все-таки составляютъ шагъ впередъ, что является *новый духъ*, который, стремясь проявиться, разрушаетъ древнія формы, но созрѣваніе котораго составляетъ все-таки благо въ общемъ ходѣ человѣчества. Такъ—знаменитый примѣръ—разрушеніе Римской Импе-

ріи необходимо было, чтобы дать мѣсто христіанству. Матеріалисты, поклонники простаго прогресса, не могутъ понять законности этого явленія и прибѣгаютъ къ весьма грубой мысли, что паденіе Рима не имѣло внутреннихъ причинъ, а произошло только отъ наплыва варваровъ.

Нѣмецкое понятіе о прогрессѣ до сихъ поръ, какъ извѣстно, господствуетъ. Но никогда оно не имѣло такой силы и такого видимаго оправданія, какъ во время наибольшей силы гегельянства, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ. Развитіе мысли совершалось съ лихорадочною поспѣшностію; взгляды и ученія обновлялись чуть не каждый годъ, и все это кончилось 1848 годомъ, послѣ котораго мы напрасно стали-бы искать сколько-нибудь правильнаго прогрессивнаго движенія.

Въ эту блестящую эпоху прогресса, Герценъ не могъ не стать самымъ тонкимъ его цѣнителемъ и самымъ сочувственнымъ зрителемъ. Дѣло доходило до смѣшнаго. Въ „Кто виноватъ", сравнивая Бельтова съ Круциферскимъ, Герценъ, какъ мы видѣли, упрекаетъ Круциферскаго въ отсталости; упрекъ сдѣланъ въ слѣдующемъ выраженіи: „онъ остался при нѣсколькихъ широкихъ мысляхъ, которымъ уже прошло нѣсколько лѣтъ" (стр. 280).

Нѣсколько лѣтъ! Это была страшная давность для того времени. Мысли, состарившіяся на *нѣсколько лѣтъ*, были уже никуда негодныя мысли. Такъ торопились въ то время!

Бѣдный Герценъ! И вообще бѣдные люди—всѣ эти поклонники безостановочнаго прогресса! Какую цѣну мы можемъ давать ихъ мыслямъ и словамъ, если они заранѣе исповѣдуютъ, что черезъ нѣсколько лѣтъ все

это станетъ ветошью, что человѣку уже позорно будетъ держаться этихъ мыслей? Какой смыслъ можетъ имѣть дѣятельность человѣка, если онъ не стремится къ чему нибудь долговѣчному и неизмѣнному, если не вѣритъ въ вѣчность того, что̀ признаетъ за истину?

Но таково было увлеченіе тогдашними германскими идеями, что никто не замѣчалъ этого противорѣчія, никто не видѣлъ, что, исповѣдуя прогрессъ безъ конца и перерыва, каждый самъ заранѣе произноситъ надъ своею дѣятельностію приговоръ ничтожества и забвенія. Все старое отбрасывалось какъ простые подмостки, послужившіе для достиженія новаго. Невозможно себѣ представить, съ какимъ пристальнымъ, жаднымъ вниманіемъ мы тогда слѣдили за Западомъ. Новая книга, послѣднее мнѣніе—считалось великимъ событіемъ, такъ какъ существовало предположеніе, что эта книга можетъ превзойти и сдѣлать ненужными всѣ старыя книги и старыя мнѣнія.

Вотъ одно изъ мѣстъ, гдѣ излагается знаменитая теорія прогресса, къ которой привело ученіе Гегеля:

„Формалисты", говоритъ Герценъ, „не могутъ привыкнуть къ вѣчному движенію истины, не могутъ разъ „навсегда признать, что *всякое положеніе отрицается „въ пользу высшаго*, и что только въ преемственной по„слѣдовательности этихъ положеній, бореній и снятій „проторгается живая истина, что это ея змѣиныя шку„ры, изъ которыхъ она выходитъ свободнѣе и сво„боднѣе. Они (не смотря на то, что толкуютъ „о чемъ-то подобномъ) не могутъ привыкнуть, что *въ „развитіи науки не на что опереться*, что *одно спасе„ніе въ быстромъ, стремительномъ движеніи*. Они цѣ„пляются за каждый моментъ, какъ за истину; имъ

„надобны сентенціи, готовыя правила; пробравшись до „станціи, они—смѣшно довѣрчивые—полагаютъ всякій „разъ, что достигли цѣли и располагаются отдыхать. „Они строго держатся текста — и оттого не могутъ „усвоить себѣ его. Мало понимать то, что̀ сказано, что̀ „написано; надобно понимать то, что̀ свѣтится въ гла„захъ, что̀ вѣетъ между строкъ; *надобно такъ усвоить „себѣ книгу, чтобы выйти изъ нея*". (*Буддизмъ въ нау„кѣ*, стр. 67).

Вотъ какъ слѣдовало читать книги. Прочитавши книгу, нужно было тотчасъ *выйти изъ нея*, то есть постараться идти дальше и оставить книгу позади себя. Мы не шутимъ. Фейербахъ увѣряетъ по крайней мѣрѣ, что онъ именно такимъ образомъ *писалъ* свои книги. „Съ каждымъ своимъ готовымъ сочиненіемъ, говоритъ „онъ, *я прощался навсегда;* каждое изъ нихъ только „приводило меня къ сознанію моихъ ошибокъ и недо„статковъ, и потому не оставляло во мнѣ ничего инаго, „кромѣ настоятельнаго желанія—*изгладить его память „новымъ сочиненіемъ*" (Feuerbach's Werke, 1 Bd. Vorr).

Въ статьяхъ о *Дилеттантизмѣ* Герценъ старается дать нѣкоторое общее понятіе о своихъ новыхъ воззрѣніяхъ. „Мы живемъ на рубежѣ двухъ міровъ"—начинаетъ онъ первую статью, и затѣмъ отличаетъ свою новую точку зрѣнія отъ всякихъ отсталыхъ взглядовъ, осмѣиваетъ и хоронитъ всякихъ любителей и противниковъ науки, подводя ихъ подъ разряды мухамеданъ, формалистовъ, романтиковъ, буддистовъ и т. д.

Письма объ изученіи природы представляютъ собственно очерки главнѣйшихъ эпохъ исторіи философіи (до Локка и энциклопедистовъ включительно) и составлены по знаменитымъ лекціямъ Гегеля. Тутъ излагается

тотъ послѣдовательный рядъ переворотовъ мысли, другъ за другомъ слѣдующихъ и другъ друга вызывающихъ, изъ которыхъ, по ученію Гегеля, состоитъ вся исторія философіи.

Много мыслей, много образовъ, встрѣчающихся въ этихъ статьяхъ, были потомъ покинуты Герценомъ, признаны ненужными и невѣрными; онъ смѣялся впослѣдствіи и надъ языкомъ, которымъ тогда писалъ, надъ обиліемъ всякаго рода терминовъ. Между тѣмъ, такъ какъ это были самыя спокойныя, наиболѣе объективныя изъ всѣхъ произведеній Герцена, то въ нихъ онъ всего дальше отъ крайностей,— менѣе оригиналенъ, но за то и не отступаетъ такъ рѣзко и часто отъ истины. Тутъ дышетъ еще то великое уваженіе къ философіи, отъ котораго онъ впослѣдствіи отказался; тутъ онъ выразилъ все свое благоговѣніе къ тому, что̀ онъ называлъ *наукой Запада;* если впослѣдствіи подъ этимъ именемъ онъ разумѣлъ чуть-ли не простой матеріализмъ, то до конца жизни онъ все-таки произносилъ это слово: *наука* съ тѣмъ значеніемъ великаго авторитета, съ которымъ она явилась ему въ это первое время посвященія въ тайны нѣмецкой мудрости.

Въ этихъ статьяхъ вообще есть не мало и такихъ мыслей, образовъ, даже выраженій, которыя остались навсегда его убѣжденіями и любимыми формами ихъ высказыванія. Таковъ, напримѣръ, его взглядъ на исторію вообще.

„Каждый дѣйствительный шагъ въ развитіи окру„женъ частными отклоненіями; богатство силъ, броженіе „ихъ, индивидуальности, многообразіе стремленій про„ростаютъ такъ-сказать во всѣ стороны; одинъ избран„ный стебель влечетъ соки далѣе и выше,— но совре-

„менное сосуществованіе другихъ бросается въ глаза. „Искать въ исторіи и въ природѣ того внѣшняго и „внутренняго порядка, который вырабатываетъ себѣ „чистое мышленіе въ своемъ собственномъ элементѣ, „гдѣ внѣшность не препятствуетъ, куда случайность не „восходитъ, куда самая личность не принята, гдѣ не„чему возмутить стройнаго развитія,—значитъ вовсе не „знать характера исторіи и природы. Съ такой точки „зрѣнія, разные возрасты одного лица могутъ быть при„няты за разныхъ людей. Посмотрите, съ какимъ раз„нообразіемъ, съ какою разметанностію во всѣ стороны „животное царство восходитъ по единому первообразу, „въ которомъ исчезаетъ его многообразіе; посмотрите, „какъ каждый разъ, едва достигнувъ какой-нибудь фор„мы, родъ разсыпается во всѣ стороны едва исчисли„мыми варіяціями на основную тему; иные виды забѣ„гаютъ, другіе отстаютъ, третьи составляютъ переходы „и промежуточныя звѣнья, и весь этотъ безпорядокъ „не скрываетъ внутренняго своего единства для Гёте, „для Жоффруа Сентъ-Илера: онъ непонятенъ только „для неопытнаго и поверхностнаго взгляда". (*Письмо второе*, стр. 114).

Особенно живо, съ особенною силою и глубиною, Герценъ изображаетъ въ исторіи человѣческаго духа ту эпоху, которую слѣдуетъ признать величайшимъ изъ переворотовъ, и которая всегда была для него предметомъ размышленія, точкой исхода для сравненія и измѣренія событій другихъ эпохъ,—время паденія древняго міра и наступленія христіанства. Вотъ описаніе положенія, въ которомъ чувствовалъ себя древній міръ:

„Послѣднее время передъ вступленіемъ въ новую „фазу жизни тягостно, невыносимо для всякаго мысля-

„щаго; всѣ вопросы становятся скорбные, люди готовы „принять самыя нелѣпыя разрѣшенія, лишь бы успо„коиться; фанатическія вѣрованія идутъ рядомъ съ хо„лоднымъ невѣріемъ, безумныя надежды объ руку съ „отчаяніемъ, предчувствіе томитъ, хочется событій, а „повидимому ничто не совершается... Посмотрите, ка„кія страшныя слова вырываются иногда у Плинія, у „Лукана, у Сенеки. Вы въ нихъ найдете и апотеозу „самоубійству, и горячіе упреки жизни, и желаніе смер„ти, да какой смерти—„смерти съ упованіемъ уничто„женія!"—„Смерть — единственное вознагражденіе за „несчастіе рожденія, и что̀ намъ въ ней, если она ве„детъ къ безсмертію? Лишенные счастія не родиться, „неужели мы лишены счастья уничтожиться?" (Hist. „Nat.). Это говоритъ Плиній. Какая усталь пала на „душу людей этихъ, какое отчаяніе придавило ихъ!"

„Это—глухая, подземная работа, пробивающаяся на „свѣтъ, мучительная беременность, время тягости и „страданій; оно похоже на переходъ по степи, безо„традный, изнуряющій—ни тѣни для отдыха, ни источ„ника для оживленія; плоды взятые съ собою гнилы, „плоды встрѣчающіеся—кислы. Бѣдныя промежуточныя „поколѣнія — они погибаютъ на полу-дорогѣ, обыкно„венно изнуряясь лихорадочнымъ состояніемъ; поколѣнія „выморочныя, не принадлежащія ни къ тому, ни къ „другому міру—они несутъ всю тягость зла прошедшаго „и отлучены отъ всѣхъ благъ будущаго. Новый міръ „забудетъ ихъ, какъ забываетъ радостный путникъ, „пріѣхавшій въ свою семью, верблюда, который несъ „достояніе его и палъ на пути. Счастливы тѣ, которые „закрыли глаза, видя хоть издали деревья обѣтованнаго „края; большая часть умираетъ или въ безумномъ бреду,

„или устремляя глаза на давящее небо и лежа на жест-„комъ каленомъ пескѣ... Древній міръ, въ послѣдніе „вѣка своей жизни, испыталъ всю горечь этой чаши; „круче и сильнѣе переворота въ исторіи не было; спасти „могло только христіанство; а оно такъ рѣзко стано-„вилось въ противоположность съ міромъ языческимъ, „ниспровергая всѣ прежнія вѣрованія, убѣжденія его, „что трудно было людямъ разомъ оторваться отъ про-„шедшаго. Надобно было переродиться, по словамъ „Евангелія, отказаться отъ всей суммы нажитыхъ истинъ „и правилъ,—это чрезвычайно трудно". *(Письмо четвертое*, стр. 89).

Какъ не узнать въ картинѣ *промежуточныхъ поколѣній* того положенія, въ которое сталъ самъ Герценъ со своими отрицаніями и надеждами! Это тотъ самый смыслъ, въ которомъ онъ впослѣдствіи истолковывалъ свои собственныя страданія.

Различіе двухъ міровъ, погибающаго и нараждающагося, выставляется Герценомъ со всею рѣзкостью.

„Христіанство", говоритъ онъ, „является совер-„шенно-противоположнымъ древнему порядку вещей; это „не то половинное и безсильное отрицаніе (языческое), „о которомъ мы говорили, а отрицаніе полное мощи, „надежды, откровенное, безпощадное и увѣренное въ „себѣ. Возьмите De Civitate Dei Августина и полемиче-„скія сочиненія первыхъ христіанскихъ писателей—*вотъ „какъ надобно отрекаться отъ стараго и ветхаго;* но „такъ можно отрекаться имѣя новое, имѣя святую вѣ-„ру. Добродѣтели языческаго міра — блестящіе пороки „въ глазахъ христіанина; въ статуѣ, передъ красотою „которой склонялся Грекъ, онъ видитъ чувственную „наготу; онъ отказывается отъ прекраснаго греческаго

„храма и помѣщаетъ алтарь свой въ базиликѣ, лишь „бы не служить Богу истинному въ тѣхъ стѣнахъ, въ „которыхъ служили богамъ ложнымъ. Вмѣсто гордости— „христіанинъ смиряется; вмѣсто стяжанія онъ обре- „каетъ себя добровольной нищетѣ; вмѣсто упоеній чув- „ственностію—онъ „наслаждается лишеніями". (Выра- „женіе, принадлежащее Григорію-Назіанзину въ письмѣ „къ Василію Великому: „Помнишь-ли", говоритъ онъ, „какъ мы наслаждались лишеніями и постомъ?"). Хри- „стіанство было прямымъ, рѣзкимъ антитезисомъ тезису „древняго міра". (*Письмо пятое*, стр. 3).

Таковъ былъ этотъ древній переворотъ. И вотъ съ этимъ-то переворотомъ долженъ былъ поравняться и даже превзойти его глубиною и силою тотъ переворотъ, которому, по мнѣнію Герцена, суждено совершиться въ наши времена. Герценъ сперва проповѣдывалъ этотъ новый переворотъ подъ именемъ *примиренія*, достигнутаго наукой (т. е. философіей), *совершеннолѣтія* рода человѣческаго, *нравственной независимости* и т. д.

Не было мѣры и границъ тѣмъ мечтамъ обновленія и прогресса, которыя были возбуждены въ Герценѣ его философскими взглядами, то есть, въ сущности, фейербахизмомъ. Предполагался прогрессъ самый радикальный, которому во всей исторіи могло найтись только одно подобіе,—обновленіе міра, совершонное христіанствомъ.

„Вся прошедшая жизнь человѣчества", пишетъ Герценъ, „имѣла идеаломъ стремленіе достигнуть разумнаго „самосознанія... человѣчество стремилось къ нравственно- „благому, свободному дѣянію. *Такого дѣянія въ исторіи „не было и не могло быть*: ему должна была предше- „ствовать наука... *Полнаго сознанія въ прошедшей жиз- „ни человѣчества не было;* наука, приводя къ нему,

„оправдываетъ исторію и, съ тѣмъ вмѣстѣ, *отрекается „отъ нея*... Все предшествующее необходимо въ генетическомъ смыслѣ, но самобытность и самозаконіе грядущее столько же будетъ имѣть въ себѣ, какъ въ „исторіи. Грядущее отнесется къ былому, какъ совершеннолѣтній сынъ къ отцу“...

„Вопросомъ (о смыслѣ своей исторіи) человѣчество „указало, что воспитаніе оканчивается. Наука взялась „отвѣчать на вопросъ; едва она высказала отвѣтъ, *явилась у людей потребность выхода изъ науки*,—второй „признакъ совершеннолѣтія... Изъ вратъ храма науки „человѣчество выйдетъ съ гордымъ поднятымъ челомъ... „на творческое созданіе веси Божіей“.

„Но *какъ* будетъ это? *Какъ* именно принадлежитъ „будущему... Когда настанетъ время, молнія событій „раздеретъ тучи, сожжетъ препятствія, и будущее, какъ „Паллада, родится въ полномъ вооруженіи“. (*Будд. въ наукѣ*, стр. 71—74. 1843 г.).

VI.

„Съ того берега“.

Таковы были философскіе и историческіе взгляды, которые усвоилъ себѣ Герценъ отъ тогдашней Европы и которыми глубоко проникся. Ученіе объ имманентности, о полной независимости человѣка отъ всякихъ внѣшнихъ для него авторитетовъ, и ученіе о непрерывномъ обновленіи человѣчества, о глубокомъ прогрессѣ, который въ немъ совершается, были повидимому радостными ученіями, располагавшими людей къ надеждѣ

и бодрости. Дѣйствительно, время передъ 1848 было временемъ радостнаго возбужденія, подобно всѣмъ временамъ предшествующимъ революціямъ, подобно напримѣръ тому времени надеждъ и вѣры, за которымъ послѣдовала французская революція прошлаго столѣтія. Такъ это должно быть, потому что, если бы люди не были въ такія эпохи исполнены вѣры и упованій, кто бы могъ ихъ заставить идти на встрѣчу величайшимъ бѣдствіямъ и кровопролитіямъ?

Но радостныя ученія отразились на Герценѣ вовсе не радостнымъ образомъ. Онъ всю жизнь упорно ихъ держался, не сдаваясь ни на малѣйшія уступки, но скоро довелъ ихъ до ихъ крайнихъ результатовъ и, вмѣсто вѣры и упованій, вывелъ изъ нихъ самые мрачные и безотрадные взгляды. Въ силу своей натуры, чуткой къ страданію, онъ тотчасъ усмотрѣлъ печальную сторону этихъ ученій и на нее направилъ всѣ силы своего ума. *Онъ дошелъ до полной безнадежности еще раньше, чѣмъ совершилась революція 1848 года.*

Изъ имманентности онъ вывелъ то прямое заключеніе, что не только человѣкъ, но и все человѣчество есть игралище случая, что нужно пользоваться минутой, что человѣкъ на каждомъ шагу подвергается невозвратимымъ утратамъ, попадаетъ въ бѣды, изъ которыхъ нѣтъ выхода, для которыхъ не въ чѣмъ искать утѣшенія.

Теорія прогресса дала въ рукахъ Герцена тоже весьма плачевные выводы. Если ужь прогрессировать, то нужно прогрессировать какъ можно глубже и радикальнѣе. Зачѣмъ останавливаться на посредствующихъ степеняхъ, зачѣмъ ставить себѣ близкія цѣли, когда такъ ясна самая дальняя и главная цѣль? Въ обще-

ственномъ движеніи Европы Герценъ устремилъ все свое вниманіе на тѣ элементы, которые имѣли, такъ сказать, самый дальній полетъ; изъ всѣхъ преобразованій и улучшеній общества онъ выбралъ тѣ, которыя обѣщали самыя существенныя и глубокія перемѣны. Герценъ примкнулъ къ соціалистамъ; онъ нашелъ въ нихъ людей, которые не останавливались на полдорогѣ, а шли до крайнихъ выводовъ, заявляли самыя прогрессивныя требованія.

Но, наблюдая Европу, Герценъ еще ранѣе 1848 года, обличившаго несостоятельность соціализма, пришелъ къ убѣжденію, что соціализмъ безсиленъ и держится однимъ противорѣчіемъ существующему, что онъ есть *болѣзнь* Европы, а не начало новой жизни. Изъ всѣхъ соціалистовъ Герценъ больше всего сочувствовалъ Прудону, такъ какъ у Прудона всего меньше было мечтаній о новомъ устройствѣ общества, и всего больше *критики* существующаго порядка, безпощаднаго обнаженія его недостатковъ. Прудонъ, какъ извѣстно, есть бичь соціалистовъ, и одинаково рѣзко доказывалъ, какъ несостоятельность политической экономіи, такъ и несостоятельность разныхъ соціальныхъ системъ.

И такъ, соціалисты стали для Герцена только *признакомъ* разложенія Европы, обнаруженіемъ сознанія ея недовольства самой собою. Тогда прогрессъ Европы онъ сталъ представлять себѣ въ краскахъ все болѣе и болѣе мрачныхъ; онъ сталъ доказывать, что Европа одряхлѣла, что она изжила всѣ свои силы, и что весь этотъ міръ неспособенъ къ дальнѣйшему развитію, и долженъ разрушиться, какъ все отживающее. Неизвѣстно, говорилъ онъ, ожидаетъ ли Европу новый фазисъ развитія, подобный христіанству, но навѣрное ей грозитъ разру-

шеніе, подобное тому, которымъ былъ пораженъ древній міръ.

Такимъ образомъ, развитіе Европы Герценъ подвелъ подъ самую страшную форму, какая только извѣстна въ исторіи. Вмѣсто прежнихъ радостныхъ мыслей объ обновленіи, онъ все больше и больше сосредоточивался на одной мысли о гибели. До конца жизни онъ проводилъ эту мысль во всѣхъ своихъ наблюденіяхъ и замѣткахъ, относящихся къ Европѣ; онъ постоянно обличалъ старость Европы, ея близость къ смерти.

Первое произведеніе, въ которомъ Герценъ выразилъ свою мысль о паденіи Европы, была небольшая книжка *Съ того берега*,—конечно лучшее изъ всего, что̀ имъ писано. Въ первой главѣ, написанной еще въ 1847 году, до февральской революціи, онъ прямо говоритъ:

„Міръ, въ которомъ мы живемъ, умираетъ, то есть „тѣ формы, въ которыхъ проявляется жизнь: *никакія „лекарства* не дѣйствуютъ больше на обветшалое тѣло „его“ (стр. 7).

„Мы живемъ въ мірѣ, выжившемъ изъ ума, дряхломъ, истощенномъ, у котораго явнымъ образомъ не „достаетъ силы и поведенія, чтобы подняться на высоту „собственной мысли“ (стр. 11).

Послѣ февральской революціи прибавился только новый аргументъ для этой мысли. Въ *седьмой* главѣ (1850 г.) Герценъ говоритъ:

„Мы довольно долго изучали хилый организмъ Европы—во всѣхъ слояхъ—и вездѣ находили вблизи перстъ „смерти, и только изрѣдка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надѣялись, вѣрили, старались „вѣрить. Предсмертная борьба такъ быстро искажала „одну черту за другой, что нельзя было обманываться.

„Жизнь потухала, какъ послѣднія свѣчи въ окнахъ, „прежде разсвѣта. Мы были поражены, испуганы. Сложа „руки, мы смотрѣли на страшные успѣхи смерти. Что „мы видѣли въ февральской революціи?... Довольно сказать, мы были молоды два года тому назадъ, а стары „теперь“ (стр. 155).

VII.

Первый отчаявшійся Западникъ. Безнадежность.

Итакъ, Герценъ пришелъ къ полному отчаянію. Это первый нашъ западникъ, *отчаявшійся въ Западѣ*, и слѣдовательно потерявшій всякую руководящую нить, человѣкъ, обратившійся къ Западу за мудростію, за нравственнымъ идеаломъ и, послѣ долгихъ и усердныхъ исканій, убѣдившійся, что Западъ ничего прочнаго дать ему не можетъ.

Отсюда прямое и неминуемое слѣдствіе — Герценъ *никогда не имѣлъ никакой программы дѣйствій*, такъ-какъ не имѣлъ никакихъ ясныхъ цѣлей, никакихъ твердыхъ принциповъ, которыми могла-бы опредѣляться его дѣятельность. При его взглядахъ, при безнадежномъ отрицаніи всѣхъ началъ, онъ не могъ имѣть даже никакого побужденія къ дѣятельности, не могъ найти въ своей душѣ никакихъ положительныхъ стремленій.

Вотъ чѣмъ объясняется та неудачная, неясная и въ сущности вредная роль, которую онъ игралъ по отношенію къ нашей *воздушной революціи*. Герценъ собственно не руководилъ этой революціей; онъ только *сочувствовалъ* ей, только радовался успѣхамъ и горевалъ объ неудачахъ, а чего онъ самъ желалъ, этого разобрать было

невозможно. Онъ оставался въ полномъ смыслѣ *зрителемъ*, и, къ сожалѣнію, кажется не понималъ того, какъ много онъ *дѣлаетъ*, не смотря на то, что повидимому воздерживается отъ всякаго дѣйствія.

Человѣку отчаявшемуся остается одинъ выходъ — созерцаніе. Когда нѣтъ бодрости и силы, чтобы жить, то все еще можно мыслить. Отчаяніе Герцена было такъ глубоко, что онъ естественно пришелъ къ этому выходу. Къ этому рѣшенію онъ приходитъ въ книжкѣ *Съ того берега; „я—зритель“*, говоритъ онъ, опредѣляя то положеніе, которое онъ долженъ занимать въ мірѣ; къ сожалѣнію, онъ потомъ измѣнилъ этому опредѣленію, и, какъ мы видѣли, самъ въ этомъ покаялся.

Мысль—уйти отъ міра, отрѣшиться отъ всякихъ его интересовъ,—проникаетъ собою всю эту книжку Герцена и особенно сильно и спокойно выражается въ первой статьѣ. Тутъ слышно большое усиліе избавиться отъ страданія и ясное сознаніе, что путь избавленія найденъ.

„Кто вамъ сказалъ“, спрашиваетъ Герценъ, „что нѣтъ „другаго выхода, другаго спасенія изъ этого міра стар„чества и агоніи, какъ смерть?.. *Оставьте міръ, къ ко„тороми вы не принадлежите*, если вы дѣйствительно „чувствуете, что онъ вамъ чуждъ. Его не спасете — „спасите себя отъ угрожающихъ развалинъ“ (стр. 15).

Такъ точно „Христіане въ Римѣ перестали быть Римлянами“; это былъ нѣкоторый „внутренній отъѣздъ“ изъ устарѣвшаго міра, полный разрывъ съ современностію (стр. 16).

Средство, которое можетъ насъ успокоить—одно: понять неизбѣжность, неотвратимость нашего положенія и потому перестать требовать отъ природы и исторіи невозможнаго. „Нельзя-же“, говоритъ Герценъ, „только

„негодовать, проводить всю жизнь въ оплакиваніи не-„удачъ, въ борьбѣ и досадѣ“ (стр. 6). „Я искалъ только „истины, посильнаго пониманія; много-ли уразумѣлъ, „много-ли понялъ, не знаю. Не скажу, чтобы мой взглядъ „былъ особенно утѣшителенъ, но *я сталъ спокойнѣе*, „пересталъ сердиться на жизнь за то, что она не даетъ „того, чего дать не можетъ“ (стр. 4).

Итакъ, все счастіе, все довольство свое Герценъ полагалъ въ познаніи, въ безпристрастномъ изслѣдованіи истины, и отрекался отъ дѣятельности.

„Для того, чтобы дѣятельно участвовать въ мірѣ, „насъ окружающемъ“, говорилъ онъ, „мало желанія и „любви къ человѣчеству... Хотите вы политической дѣя-„тельности въ существующемъ порядкѣ? Сдѣлайтесь Ма-„растомъ, сдѣлайтесь Одилономъ Барро,—и она вамъ „будетъ. Вы этого не хотите, вы чувствуете, что *всякій „порядочный человѣкъ совершенно посторонній во всѣхъ „политическихъ вопросахъ*, что онъ не можетъ серьезно „думать,—нуженъ или не нуженъ президентъ респуб-„ликѣ? можетъ или нѣтъ собраніе посылать людей на „каторгу безъ суда? или еще лучше: должно-ли пода-„вать голосъ за Кавеньяка, или за Луи Бонапарте?.. „Думайте мѣсяцъ, думайте годъ, кто изъ нихъ лучше,— „вы не рѣшите, оттого что они, какъ говорятъ дѣти, „„оба хуже“. *Все, что остается дѣлать человѣку, уважающему себя—вовсе не вотировать*“ (стр. 101).

Общее заключеніе одно: „я—зритель... Это и не роль „и не натура моя: это мое положеніе. Я понялъ его,— „*это мое счастіе*“ (стр. 95).

Сравнивая современное положеніе Европы съ эпохою паденія древняго міра, Герценъ и для самого себя находилъ подобіе въ положеніи мудрецовъ той эпохи.

„Помните-ли вы“, говорилъ онъ, „римскихъ философовъ въ первые вѣка христіанства? *Ихъ положеніе „имѣетъ много сходнаго съ нашимъ.* У нихъ ускользнуло „настоящее и будущее; съ прошедшимъ они были во „враждѣ. Увѣренные въ томъ, что они ясно и лучше „понимаютъ истину, они скорбно смотрѣли на разру„шающійся міръ и на міръ водворяемый; они чувство„вали себя правѣе обоихъ и слабѣе обоихъ. Кружокъ „ихъ становился тѣснѣе и тѣснѣе; съ язычествомъ они „ничего не имѣли общаго, кромѣ привычки, образа жизни. „Натяжки Юліана Отступника и его реставрація были „также смѣшны, какъ реставрація Людовика XVIII и „Карла X; съ другой стороны, христіанская теодицея „оскорбляла ихъ свѣтскую мудрость; они не могли при„нять ея языкъ, земля исчезала подъ ногами, участіе „къ нимъ стыло; но они умѣли величаво и гордо до„жидаться, пока разгромъ захватитъ кого-нибудь изъ „нихъ,—умѣли умирать, не накупаясь на смерть и безъ „притязанія спасти себя или міръ; они гибли хладно„кровно, безъучастно къ себѣ; они умѣли, пощаженные „смертью, завертываться въ свою тогу и молча досма„тривать, что̀ станется съ Римомъ, съ людьми. Одно „благо, оставшееся этимъ иностранцамъ своего времени, „была спокойная совѣсть, утѣшительное сознаніе, что „они не испугались истины, что они, понявъ ее, нашли „довольно силы, чтобы вынести ее, чтобы остаться вѣр„ными ей„ (стр. 135).

Таковъ былъ образъ чувствъ и мыслей, котораго всегда слѣдовало-бы держаться Герцену, если онъ хотѣлъ оставаться вѣрнымъ самому себѣ. Къ этому отреченію отъ міра, къ положенію зрителя его привело противорѣчіе его крайнихъ понятій со всею жизнью окру-

жающаго міра. Все ему являлось неразумнымъ, дикимъ; ни въ чемъ онъ не находилъ надежды на новую жизнь, ни во что не могъ повѣрить.

При такомъ настроеніи, возможно было только одному сочувствовать и даже содѣйствовать, именно тому, что имѣло характеръ разрушительный. Если современному міру суждено умереть, то, по теоріи прогресса, чѣмъ скорѣе это совершится, тѣмъ лучше. „Міръ, въ кото-„ромъ мы живемъ", говоритъ Герценъ, „умираетъ; чтобы „легко вздохнуть наслѣдникамъ, *надобно его похоронить*, „а люди хотятъ непремѣнно вылечить и *задерживаютъ* „*смерть*. Вамъ вѣрно случалось видѣть удручающую „грусть, томительную, тревожную неизвѣстность, кото-„рая распространяется въ домѣ, гдѣ есть умирающій... „Смерть больнаго облегчаетъ душу оставшихся" (стр. 7). „Что выйдетъ изъ этой крови?" спрашиваетъ Герценъ, разсуждая о февральской революціи. „Кто знаетъ? Но „что бы ни вышло, довольно, что въ этомъ разгарѣ бѣ-„шенства, мести, раздора, возмездія — погибнетъ міръ, „тѣснящій новаго человѣка, мѣшающій ему жить, мѣ-„шающій водвориться будущему; — и это прекрасно, а „потому — да здравствуетъ хаосъ и разрушеніе! Vive la „mort! и да водрузится будущее!" (стр. 45).

Итакъ, Герцену оставалось одно—радоваться и даже помогать всякому разрушенію,—не изъ вѣры въ то дѣло, которое влечетъ за собою разрушеніе, а изъ сочувствія къ самому разрушенію, изъ отвлеченнаго понятія, что всякое разрушеніе способствуетъ прогрессу. Какъ ни страненъ такой взглядъ, какъ ни отвратительно на первый взглядъ быть другомъ и пособникомъ смерти, но это настроеніе было очень сильно въ Герценѣ. Не такъ ли, впрочемъ, и вообще, люди, исповѣдующіе прогрессъ,

часто признаютъ за благо свободное развитіе всякаго зла, думаютъ, что чѣмъ большихъ крайностей достигаютъ дурныя страсти и мнѣнія, тѣмъ скорѣе они сами себя обличаютъ?

Какъ бы то ни было, у Герцена это былъ единственный исходъ для дѣятельнаго сочувствія. Отсюда объясняется его постоянная приверженность къ соціализму, котораго плановъ и теорій онъ однако же никогда не проповѣдывалъ; отсюда—сочувствіе всевозможнымъ революціоннымъ попыткамъ, всему, что шло противъ существующаго порядка.

Желать смерти и разрушенія, еще не зная, какая жизнь замѣнитъ собою умершее и разрушенное, жертвовать всѣмъ извѣстнымъ ради чего-то невѣдомаго, не имѣть никакихъ надеждъ, никакихъ вѣрованій, никакихъ упованій и питаться одною мыслью, однимъ желаніемъ,— чтобы сгибъ и умеръ ненавистный существующій міръ,— какое страшное состояніе!

И вотъ къ чему былъ приведенъ человѣкъ вліяніемъ Запада! И притомъ когда? — въ блистательный періодъ западной жизни, въ одну изъ эпохъ, когда умственный и нравственный пульсъ этой жизни бился съ наибольшею силою. Правда, чѣмъ сильнѣе было первоначальное очарованіе, тѣмъ ужаснѣе было разочароваться, тѣмъ больнѣе и глубже было паденіе.

Герценъ, по нашему мнѣнію, одинъ изъ поразительнѣйшихъ примѣровъ того, какъ глубоко человѣкъ можетъ проникаться идеями. Эта преданность разъ принятымъ началамъ составляетъ всегда привлекательную черту въ человѣкѣ, это всегда указываетъ натуру, которая жива не о единомъ хлѣбѣ. Сославшись на судьбу Герцена, можно бы сказать: отрицайте послѣ этого влія-

ніе философіи! Смѣйтесь надъ ея мудренными терминами и надъ отвлеченностію ея вопросовъ! Г. Тургеневъ какъ-то объявилъ, что главное вліяніе гегельянства на нашихъ писателей заключалось въ порчѣ ихъ слога. Но вотъ человѣкъ, на котораго извѣстные философскіе взгляды подѣйствовали нѣсколько глубже. Они опредѣлили весь складъ его мыслей и чувствъ, они лишили его всякой воли, убили въ немъ всѣ начала дѣятельности и наполнили его однимъ отчаяніемъ. Вотъ человѣкъ, для котораго всякое умозрѣніе открывало свою нравственную подкладку, который вносилъ все свое сердце въ то, что̀ занимало его умъ. Посмотрите же, что̀ здѣсь вышло: у него пострадалъ не одинъ слогъ, а вся жизнь обратилась въ страданіе.

Что̀ касается до Запада, то понятно, что въ его нравственномъ паденіи не могъ сомнѣваться Герценъ. Онъ чувствовалъ это по тѣмъ мученіямъ, которыя его самого терзали. Не Западъ ли напоилъ его грудь этимъ ядомъ? Не Западъ ли, въ который онъ такъ вѣрилъ, у котораго такъ прилежно учился,—довелъ его до глубочайшей безотрадности? „Вы удивляетесь", писалъ гдѣ-то Гейне, „что я пою все грустныя и болѣзненныя пѣсни; но какъ же вы хотите, чтобы я былъ радостенъ, когда *міръ боленъ*, когда сердце человѣчества поражено смертельной скорьбью?" Такъ долженъ чувствовать всякій, кто не отдѣляетъ себя отъ общаго дѣла. По собственной боли Герценъ имѣлъ немалое право судить о состояніи Запада.

Какіе страшные стоны отчаянія, какіе вопли слышатся часто у Герцена! Это человѣкъ раздавленный, изнемогающій отъ горя.

„Что-жь наконецъ?" спрашиваетъ онъ, — „все это

„шутка—все завѣтное, что̀ мы любили, къ чему стре-„мились, чему жертвовали? *Жизнь обманула, исторія „обманула*“...

„*Люди вѣры, люди любви*, какъ они называютъ себя „въ противоположность намъ, *людямъ сомнѣнія и отри-„цанія*, не знаютъ, что̀ такое полоть съ кровью упова-„нія, взлелѣянныя цѣлою жизнью; они не знаютъ бо-„лѣзни истины, они не отдавали никакого сокровища съ „тѣмъ громкимъ воплемъ, о которомъ говоритъ поэтъ:

Ich riss sie blutend aus dem wundem Herzen
Und weinte laut und gab sie hin“.

„Статьями *Съ того берега* я преслѣдовалъ въ себѣ „послѣдніе идолы, я ироніей мстилъ имъ за боль и за „обманъ... Утративъ вѣру въ слова и знамена, *въ кано-„низированное человѣчество и единую спасающую церковь „западной цивилизаціи*, я вѣрилъ въ нѣсколько человѣкъ, „вѣрилъ въ себя“.

„Видя, что все рушится, я хотѣлъ спастись, начать „новую жизнь, отойти съ двумя, съ тремя въ сторону, „бѣжать, скрыться“...

„Я уцѣлѣлъ, но *безъ всего*“... (Былое и Думы, ч. IV, гл. III).

Повторимъ опять,—нельзя тутъ видѣть одно̀ субъективное настроеніе; необходимо признать только усиленную чуткость къ злу, дѣйствительно существовавшему.

„Врядъ-ли“, замѣчаетъ самъ Герценъ, „нѣтъ чего-„либо истиннаго, особенно принадлежащаго нашему вре-„мени на днѣ этихъ страшныхъ психическихъ болей... „Разочарованіе Байрона больше чѣмъ капризъ, больше „чѣмъ личное настроеніе... Разочарованія, въ нашемъ „смыслѣ слова, до революціи не знали; XVIII столѣтіе „было одно изъ самыхъ религіозныхъ временъ исторіи...

„Реалистъ Гёте, такъ же какъ романтикъ Шиллеръ, не „знали разорванности... Оттого я теперь и цѣню такъ „высоко мужественную мысль Байрона. Онъ видѣлъ, что „*выхода нѣтъ*, и гордо высказалъ это“.

„Я стучался, какъ путникъ, потерявшій дорогу, какъ „нищій, во всѣ двери, останавливалъ встрѣчныхъ и раз„спрашивалъ о дорогѣ, но каждая встрѣча и каждое „событіе вели къ одному результату“... (Тамъ же, гл. VI).

По порядку предмета, намъ слѣдовало бы теперь излагать взгляды Герцена на Европу и на Россію. Мы попытаемся сдѣлать это въ слѣдующей главѣ. До сихъ поръ мы разсматривали какъ-бы самую личность Герцена и главныя черты его развитія; попытаемся теперь разобрать тѣ результаты, тѣ приложенія, которыя получилъ этотъ необыкновенный *зритель*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Борьба съ идеями Запада. Вѣра въ Россію.

I.

Самый существенный изъ нашихъ вопросовъ.

Жизнь и дѣятельность Герцена имѣютъ величайшую важность для вопроса, который нужно считать самымъ главнымъ, самымъ существеннымъ изъ всѣхъ нашихъ вопросовъ: для вопроса о нашей духовной самобытности. Что̀ такое мы, Русскіе? Составляемъ ли мы племя самостоятельное въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, обнаружившее въ своей исторіи особыя начала и предназначенное произвести особую культуру,—или же мы должны оставить подобныя притязанія, во всемъ подчиниться Европѣ и стать въ такое отношеніе къ ней, какъ напримѣръ Бельгія къ Франціи?

Давно и много у насъ писалось на эту тему. Послѣднее разсужденіе этого рода, „Россія и Европа", Н. Я. Данилевскаго, установило наконецъ вопросъ со всею опредѣленностію, указало и выяснило тѣ общія основанія, которыя требуются для его рѣшенія, именно *теорію культурно-историческихъ типовъ*, и такимъ обра-

зомъ придало мысли о нашей самобытности строгую научную форму.

Главное и довольно обыкновенное возраженіе противъ всѣхъ подобныхъ разсужденій заключается въ томъ, что это мысли *праздныя, излишнія.* Нужно, говорятъ, просто стремиться къ истинѣ въ наукѣ, къ благу и правдѣ въ жизни, къ красотѣ въ искусствѣ, не заботясь и не раздумывая о томъ, какъ бы сохранить народность, или какъ бы достигнуть общечеловѣческаго. Свое и чужое нужно одинаково разсматривать съ высшихъ, съ общихъ точекъ зрѣнія; это непремѣнно требуется, и больше ничего не требуется, для того, чтобы свое и чужое стали въ самыя правильныя отношенія. Народное, если оно сильно, если способно къ жизни, проявится *само собою* въ нашихъ стремленіяхъ. Чужое, точно также, само собою выдѣлитъ изъ себя *общечеловѣческое,* элементы годные для всякаго человѣка и всякаго народа, и само собою очистится отъ примѣси частнаго, случайнаго. Кто любитъ истину, добро и красоту, тотъ, говорятъ, найдетъ и отличитъ ихъ вездѣ, тому незачѣмъ ставить разграниченія между своимъ и чужимъ, между народнымъ и общечеловѣческимъ.

Противъ такого взгляда на дѣло можно бы сказать многое. Но мы не будемъ вдаваться въ отвлеченныя и общія соображенія; мы желаемъ только замѣтить, что вопросъ о нашей самобытности есть совершившійся фактъ, явленіе уже исполнившееся, уже вошедшее въ исторію и о которомъ слѣдовательно поздно спрашивать, но есть ли оно нѣчто праздное и лишнее. Не можетъ быть празднымъ вопросъ, который задавали себѣ умы высокіе и сильные; не можетъ быть лишнимъ дѣло, имѣвшее глубокій, живой интересъ для душъ, полныхъ любви и жизни.

Не имѣя въ виду вопроса о русской самобытности, мы ничего не поймемъ, или поймемъ очень мало, во всей исторіи нашей литературы. Борьба между славянофилами и западниками, продолжающаяся двадцать пять лѣтъ*) и явно имѣющая широкую будущность, не есть случайный, побочный эпизодъ этой исторіи; она есть плодъ органическаго развитія нашей литературы и появлялась въ зачаточныхъ формахъ (или въ *допотопныхъ*, какъ выражался Аполлонъ Григорьевъ) съ самаго начала нашей новой литературы, съ Петровскаго преобразованія. Славянофилы только сознательно выразили внутренній процессъ, безсознательно совершавшійся и созрѣвавшій въ русскихъ душахъ.

Факты показываютъ вовсе не то, что слѣдовало бы по теоріи западниковъ. Еслибы европейское просвѣщеніе было просвѣщеніе общечеловѣческое, то со временъ Петра и Ломоносова оно должно бы только распространяться и укрѣпляться въ Россіи, не встрѣчая себѣ противодѣйствія; ибо противиться общечеловѣческому значило бы все равно, что отвергать астрономію, математику, не соглашаться на дважды два четыре. Но такъ не вышло. Астрономія и математика у насъ принялись; но Западное просвѣщеніе въ цѣломъ не только не доказало своей общегодности, а напротивъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше возбуждаетъ противъ себя—реакцію. Теперь уже всякій мыслящій и пишущій человѣкъ въ Россіи *обязанъ* стать въ извѣстное отношеніе къ этой реакціи, обязанъ объявить себѣ западникомъ или славянофиломъ,—то есть, признать законность вопроса о самобытности, и слѣдовательно въ сущности объявить себя

*) Писано въ 1870 году.

за самобытность. Настоящіе, умные западники до сихъ поръ пытаются уйти отъ этой обязанности, ибо понимаютъ, что̀ она значитъ. Но скоро уйти будетъ невозможно. Ревностные поклонники Европы должны согласиться, что теперь ихъ дѣло стоитъ гораздо хуже, чѣмъ, напримѣръ, при Ломоносовѣ. Тогда вопроса повидимому вовсе не было; теперь онъ существуетъ явно и несомнѣнно. Тогда не нужно было ни спорить, ни опровергать; нужно было только прямо идти по открытой дорогѣ. Теперь западникамъ нужно себя оправдывать и имѣть въ виду множество возраженій. Такимъ образомъ, наши европейцы должны признать (да они часто и признаютъ), что наша литература не только не сдѣлала хорошаго прогресса, не улучшилась и не укрѣпилась, а даже явно идетъ назадъ, испортилась и исказилась, если взять ее въ цѣломъ. Таковы факты.

Уже съ давняго времени, — очень ясно со временъ Карамзина, — каждый замѣчательный русскій писатель претерпѣваетъ въ своей умственной жизни перемѣны, въ общихъ чертахъ довольно схожія. Каждый начинаетъ съ увлеченія европейскими идеями, съ жаднаго усвоенія западнаго просвѣщенія. Затѣмъ слѣдуетъ, въ той или другой формѣ и по тѣмъ или другимъ поводамъ, разочарованіе въ Европѣ, сомнѣніе въ ней, враждебное отношеніе къ ея началамъ. Наконецъ, наступаетъ *возвращеніе къ своему*, болѣе или менѣе просвѣтленная любовь къ Россіи и исканіе въ ней якоря спасенія, твердыхъ опоръ для мысли и жизни.

Этотъ процессъ, столь естественный, столь легко объяснимый, какъ скоро мы признаемъ самобытность русскаго культурнаго типа, составляетъ характерное явленіе русской литературы. Онъ очевидно зависитъ отъ

нашего историческаго положенія, отъ того возраста, въ которомъ находится нашъ культурный типъ и отъ его отношенія къ Европѣ. Европа такъ сильна и зрѣла, что непремѣнно производитъ на насъ огромное вліяніе; но покорить до конца она насъ никогда не можетъ, такъ какъ мы составляемъ, хотя молодой, но самобытный типъ. Поэтому обнаруживается реакція, и дѣло оканчивается болѣе или менѣе сознательнымъ признаніемъ нашей самобытности.

Фонвизинъ, Карамзинъ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Гоголь, и на нашихъ глазахъ Достоевскій, Толстой—прошли по этому пути, подверглись этимъ внутреннимъ переворотамъ. Фактъ этотъ до такой степени ясенъ, что внушаетъ ярымъ западникамъ забавную и дерзкую мысль—отвергать всякую важность нашей литературы, не признавать за нею никакого серьезнаго значенія. У насъ нѣтъ литературы! отчаянно восклицаютъ они, не соображая, что отъ подобныхъ восклицаній существованіе ея ни мало ни уничтожится.

II.

Актъ возмущенія. Вѣра въ Россію.

У различныхъ писателей, особенно у второстепенныхъ, процессъ, о которомъ мы говоримъ, имѣетъ различныя формы. Есть такіе, у которыхъ онъ останавливается, колеблется, поворачиваетъ назадъ, повторяется съизнова. Если же онъ и совершается правильно, то все-таки, одни фазисы его могутъ быть сильнѣе у одного, другіе у другаго. Такъ, напримѣръ, Герценъ есть выра-

зитель преимущественно средняго фазиса—сомнѣнія въ Европѣ; его можно назвать *отчаявшимся западникомъ*, такъ какъ эта струна звучала въ немъ всего сильнѣе и составляетъ главное содержаніе его сочиненій. Какая судьба! Этотъ человѣкъ страстно любилъ западныя начала и онъ вырвался на Западъ въ ту минуту, когда европейскій прогрессъ сдѣлалъ свой послѣдній шагъ—переворотъ 1848 года. Такимъ образомъ, Герцену досталось пережить и перенести на себѣ самую тяжкую минуту европейской исторіи. Разочарованіе его было ужасно — и стало его главною мыслью, содержаніемъ его жизни. Весь свой духовный процессъ Герценъ изображаетъ слѣдующимъ образомъ:

„Когда послѣдняя надежда исчезла *(послѣ 2 декабря „1851 года)*, когда оставалось самоотверженно склонить „голову и молча принимать довершающіе удары, какъ „послѣдствія страшныхъ событій, вмѣсто отчаянія — въ „груди моей возвратилась *юная вѣра тридцатыхъ годовъ*, „и я съ упованіемъ и любовью обернулся назадъ“.

„Начавши съ крика радости при переѣздѣ черезъ „границу, я *окончилъ моимъ духовнымъ возвращеніемъ на „родину*“.

„*Вѣра въ Россію—спасла меня* на краю нравствен„ной гибели“.

„Въ самый темный часъ холодной и непривѣтной „ночи, стоя среди падшаго и разваливающагося міра и „вслушиваясь въ ужасы, которые дѣлались у насъ,— „внутренній голосъ говорилъ все громче и громче, что „не все еще для насъ погибло,—и я снова повторилъ „Гётевскій стихъ, который мы такъ часто повторяли „юношами“:

„Nein, es sind keine leere Traeume!“

„За эту вѣру въ нее, за это исцѣленіе ею—благо-„дарю я мою родину. Увидимся ли, нѣтъ ли,—но чув-„ство любви къ ней проводитъ меня до могилы“.

(Писано 1-го февраля 1858 года. „Письма изъ Франціи и Италіи“, изд. 2-е, стр. V).

Вотъ въ короткихъ словахъ вся внутренняя жизнь Герцена, весь ходъ переворотовъ, которымъ подверглись его взгляды. Первоначальнымъ его идеаломъ, жаркимъ стремленіемъ, мыслью, долгіе годы питавшею его душу, была Европа въ тѣхъ прекрасныхъ формахъ, въ которыхъ она ему явилась издали. Главнымъ событіемъ его жизни было разочарованіе въ этомъ идеалѣ, жестокое, потрясающее разоблаченіе всѣхъ темныхъ сторонъ любимаго предмета. Никто изъ русскихъ такъ не любилъ Европу, никто такъ не обманывался въ ней и съ такою силою не отрекался отъ нея, когда увидѣлъ свой обманъ. Въ первой книгѣ, изданной имъ за границею (на нѣмецкомъ языкѣ) и заключавшей множество рѣзкихъ нападеній на Европу, онъ такъ объясняетъ европейцамъ причину этихъ нападеній:

„Было время, когда въ ссылкѣ, вблизи Уральскаго „хребта, я облекалъ Европу фантастическими красками; „*я тогда вѣрилъ въ Европу, и особенно во Францію.* Я „воспользовался первою минутой свободы, чтобы летѣть „въ Парижъ. Это было *еще до февральской революціи.* „Я ближе познакомился съ положеніемъ дѣлъ и *по-„краснѣлъ за свой предразсудокъ*“.

(Vom anderen Ufer, 1850, s. 179).

Вотъ та минута, съ которой начинаются самостоятельные взгляды Герцена, когда его умъ выходитъ изъ подъ вліяній чтенія и воспитанія, и онъ пытается изслѣдовать истину независимо отъ всякихъ авторитетовъ

и предразсудковъ. Впослѣдствіи, особенно послѣ февральской революціи и событій за нею послѣдовавшихъ, взглядъ Герцена на Европу дошелъ до полнаго отчаянія. Сочиненія Герцена, относящіяся къ этой эпохѣ, представляютъ, какъ онъ самъ говоритъ, „лиризмъ отчаянія и злобы, вырывающійся изъ груди человѣка, „увидѣвшаго, *что онъ часть жизни шелъ по ложной до„рогѣ* и не знаетъ, успѣетъ ли своротить на ту, кото„рая его приведетъ къ цѣли". (*Письма изъ Франціи и Италіи*, стр. 298).

Важность этого поворота своихъ мыслей Герценъ сознавалъ очень хорошо; боль, которую онъ при этомъ чувствовалъ, была несравненно больше, чѣмъ даже та боль, съ которою онъ прежде отрекся отъ первоначальныхъ вѣрованій и принялъ передовыя европейскія мнѣнія. Теперь пришлось, какъ онъ говоритъ, совершить новый „теоретическій разрывъ", отречься отъ той литературно-ученой и политической среды, которую онъ считалъ цвѣтомъ европейскаго просвѣщенія и къ которой примкнулъ съ горячею ревностію. Для такого человѣка, какъ Герценъ, это было шагомъ, опредѣлявшимъ смыслъ всей жизни. „*Наше дѣяніе*", говоритъ онъ, „это именно этотъ разрывъ, и мы остановились на немъ; онъ намъ стоилъ много труда и усилій". „Въ сущности", прибавляетъ онъ, „*актъ нашего возмущенія* „и есть наше дѣяніе; на него мы потратили лучшія „силы, *о немъ раздалось наше лучшее слово*". (Тамъ же, стр. 279).

Это было писано въ 1851 году; но и въ 1855, издавая на русскомъ языкѣ книгу „Съ того берега" и посвящая ее своему сыну, Герценъ говоритъ: „Посвя„щаю тебѣ эту книгу, потому что *я ничего не писалъ*

„*лучшаго* и вѣроятно ничего лучшаго не напишу; по-„тому что люблю эту книгу какъ *памятникъ борьбы*, въ „которой я пожертвовалъ многимъ, но не отвагой зна-„нія". Нельзя не признать, что этотъ отзывъ совершенно справедливъ, и что въ жизни Герцена не было событія болѣе важнаго, чѣмъ эта борьба, а въ его сочиненіяхъ нѣтъ ни одного, равняющагося книгѣ „Съ того берега".

Чрезвычайно интересно, что Герценъ старался поставить себя въ связь съ прошлою русскою литературой и, относительно мрачнаго взгляда на Европу, видѣлъ своего предшественника въ Карамзинѣ. Замѣтимъ вообще, что, сколько мы ни подражаемъ Европѣ и сколько ни подчиняемся ея нравственному авторитету, рѣдко случается, чтобы ея дѣла и судьбы дѣйствовали на насъ съ такою же силою, какъ наши собственныя. Про Герцена можно сказать, что Франція была для него вторымъ отечествомъ; до конца жизни онъ слѣдилъ за ея жизнью съ страстной любовью, съ страстнымъ негодованіемъ. Была минута столь же страстнаго вниманія и у Карамзина. Когда разразились всѣ ужасы террора первой французской революціи, Карамзинъ, питавшій мечты о счастіи и братствѣ людей, былъ потрясенъ до глубины души. 17 августа 1793 г. онъ писалъ къ И. И. Дмитріеву.

„Я живу, любезный другъ, въ деревнѣ, съ людьми „милыми, съ книгами, съ природою; но часто бываю „очень, очень безпокоенъ въ моемъ сердцѣ. Повѣришь-ли, „что *ужасныя происшествія Европы волнуютъ всю душу „мою?* Бѣгу въ густую мрачность лѣсовъ, но мысль о „разрушаемыхъ городахъ и погибели людей вездѣ тѣснитъ „мое сердце. Назови меня Донъ-Кишотомъ; но сей слав-

„ный рыцарь не могъ любить Дульцинею свою такъ „страстно, какъ я люблю человѣчество“.

Плодомъ этого настроенія было знаменитое произведеніе: *Переписка Мелодора и Филалета*, появившаяся въ „Аглаѣ“ 1794 г. Отчаяніе, выражающееся въ письмѣ Мелодора такъ глубоко, такъ искренно, а главное такъ соотвѣтствуетъ дѣлу, что Герценъ видѣлъ въ немъ предчувствіе и предсказаніе своего мнѣнія о паденіи Европы. „Странная судьба русскихъ“, говоритъ онъ о Карамзинѣ и о себѣ самомъ — „видѣть дальше сосѣдей, „видѣть мрачнѣе, и смѣло высказывать свое мнѣніе — „русскихъ, этихъ „нѣмыхъ“ какъ говорилъ Мишле“ (Съ того бер., стр. VIII).

И такъ, существеннымъ содержаніемъ литературной дѣятельности Герцена мы должны считать разочарованіе въ Европѣ. Въ разрывѣ съ ея понятіями, въ освобожденіи отъ ея авторитета состояло то, что̀ онъ называлъ своимъ *дѣяніемъ*, что̀ считалъ своею судьбою и назначеніемъ.

Вѣра въ Россію была естественнымъ слѣдствіемъ этого разрыва. Она была возбуждаема враждою и несправедливостію иностранцевъ къ Россіи, составляла отраду и утѣшеніе Герцена посреди зрѣлища умирающей Европы и имѣла корень и источникъ въ той *юной вѣрѣ тридцатыхъ годовъ*, о которой мелькомъ упоминаетъ Герценъ.

Въ первой своей заграничной книгѣ, упомянувъ о томъ, что онъ покраснѣлъ отъ стыда, увидѣвъ, какъ мало Европа достойна его благоговѣнія, Герценъ продолжаетъ:

„Теперь я бѣшусь отъ несправедливости узкосердыхъ „публицистовъ, которые умѣютъ видѣть деспотизмъ только „подъ 59 градусомъ сѣверной широты. Откуда и почему

„двѣ разныя мѣрки? Осмѣивайте и позорьте какъ хотите „петербургскій абсолютизмъ и наше терпѣливое послу„шаніе; но позорьте же и указывайте деспотизмъ по„всюду, во всѣхъ его формахъ, является-ли онъ въ „видѣ президента республики, временнаго правительства, „или національнаго собранія".

Непониманіе и враждебность иностранцевъ были постоянно жаломъ, возбуждавшимъ Герцена защищать Россію. Въ той же книгѣ онъ уже изложилъ очеркъ своихъ, нѣсколько славянофильскихъ, взглядовъ на русскій народъ. Онъ указываетъ на превосходство православія надъ католицизмомъ, на отсутствіе феодализма, на сохраненіе сельской общины и т. д. Общую свою мысль онъ выражаетъ такъ:

„Мнѣ кажется, что есть нѣчто въ русской жизни, „что̀ выше общины и сильнѣе государственнаго могу„щества; это *нѣчто* трудно уловить словами, а еще труд„нѣе указать пальцемъ. Я говорю о той внутренней, не „вполнѣ сознательной силѣ, которая столь чудесно со„хранила русскій народъ подъ игомъ монгольскихъ ордъ „и нѣмецкой бюрократіи, подъ *восточнымъ* татарскимъ „кнутомъ и подъ *западными* капральскими палками; о „той внутренней силѣ, которая сохранила прекрасныя „и открытыя черты и живой умъ русскаго̀ крестьянина „подъ унизительнымъ гнетомъ крѣпостнаго состоянія, „которая на царскій приказъ образоваться отвѣтила че„резъ сто лѣтъ колоссальнымъ явленіемъ Пушкина; о той „наконецъ силѣ и вѣрѣ въ себя, *которая жива въ на„шей груди*. Эта сила ненарушимо сберегла русскій на„родъ, его непоколебимую вѣру въ себя, сберегла внѣ „всякихъ формъ и противъ всякихъ формъ; для чего?... „покажетъ время" (Vom anderen Ufer, 1850. S. 155).

„Всѣ серьезные люди убѣдились, что недостаточно „идти на буксирѣ за Европою, что въ Россіи есть нѣчто „свое, особенное, что необходимо понять и изучить въ „исторіи и въ настоящемъ положеніи дѣлъ“ (S. 175).

„Россія является послѣднимъ народомъ полнымъ юно„шескихъ стремленій къ жизни въ то время, когда дру„гіе народы ищутъ покоя; она является въ избыткѣ сво„ихъ дикихъ силъ въ то время, когда другіе чувствуютъ „себя усталыми и отжившими“ (S. 177). „Многіе на„роды сошли съ поприща исторіи не живши всею пол„нотою жизни; но они не имѣли такихъ колоссальныхъ „притязаній на будущее, какъ Россія“ (S. 178).

Совершенно ясно, что эта вѣра въ Россію носитъ на себѣ отпечатокъ славянофильства. По своему литературному воспитанію Герценъ былъ превосходно знакомъ съ славянофильскимъ ученіемъ. Онъ принадлежалъ въ сороковыхъ годахъ къ тѣмъ кружкамъ, гдѣ зародилось это ученіе, гдѣ произошла первая серьезная распря между русскимъ и западнымъ направленіемъ. Въ началѣ, онъ былъ однимъ изъ самыхъ ярыхъ противниковъ славянофильства, но потомъ все больше и больше сталъ раздѣлять его мнѣнія. Долгое время спустя, среди полнаго разгара своей политической дѣятельности, Герценъ такъ опредѣлялъ свои отношенія къ славянофиламъ:

„Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ (Константинъ) „*сдѣлали свое дѣло*“.

„Съ нихъ начинается *переломъ русской мысли*. И „когда *мы* это говоримъ, кажется насъ нельзя заподо„зрить въ пристрастіи“.

„У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно „сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чув„ство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за

„пророчество — *чувство безграничной, обхватывающей все „существованіе, любви къ русскому народу, къ русскому „быту, къ русскому складу ума*“.

Но была великая разница въ направленіи этого чувства у отчаявшагося западника и у родоначальниковъ славянофильства. Герценъ объясняетъ ее такъ:

„Они всю любовь, всю нѣжность перенесли на угне„тенную мать. У насъ, *воспитанныхъ внѣ дома, эта „связь ослабла*. Мы были на рукахъ французской гувер„нантки, поздно узнали, что мать наша не она, а за„гнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сход„ству въ чертахъ, да потому, что ея пѣсни были намъ „роднѣе водевилей; мы сильно ее полюбили, но..... Мы „знали, что ея счастье впереди, что подъ ея сердцемъ „бьется зародышъ,—это нашъ меньшій братъ, которому „мы безъ чечевицы уступимъ старшинство“.

„Такова была наша семейная разладица лѣтъ пят„надцать тому назадъ. Много воды утекло съ тѣхъ „поръ; *время, исторія, опытъ сблизили насъ*, не потому, „чтобы они насъ перетянули къ себѣ, или мы ихъ, а „потому, что и *они и мы ближе къ истинному воззрѣ„нію теперь*“. (Колоколъ, 15 Янв. 1861).

Такимъ образомъ, вѣра въ Россію, пробудившаяся въ минуту отчаянія, становилась у Герцена все живѣе и опредѣленнѣе. Съ каждымъ годомъ, до самой смерти, ему яснѣе и яснѣе становились своеобразныя начала нашей жизни.

Но все-таки, а особенно сначала, этотъ горячій патріотизмъ имѣлъ особенную окраску. Во что бы мы ни вѣрили, мы всегда облекаемъ предметъ нашей вѣры въ тѣ черты, которыя всего больше любимъ, которыхъ всего больше желаемъ. Любя страстно Россію, Герценъ при-

давалъ ей лучшія свойства, лучшія стремленія, какія только ему были извѣстны. Онъ видѣлъ въ ней поприще для осуществленія своихъ завѣтнѣйшихъ думъ, именно, съ одной стороны, свободнаго мышленія, того фейербахизма, котораго онъ самъ держался до конца, и, съ другой стороны, того соціалистическаго отрицанія существующихъ формъ жизни, которое въ его мысли сливалось съ этимъ фейербахизмомъ.

Это была глубокая, хотя и совершенно невольная ошибка; это было примѣненіе къ Россіи идей совершенно ей чуждыхъ, совершенно постороннихъ. И каждый разъ, когда Герценъ уклоняется на этотъ путь, онъ впадаетъ въ самыя странныя и дѣтскія заблужденія, онъ какъ бы вдругъ покидаетъ ясную дорогу и вдается въ область мрака и фантазіи.

Не смотря на это, мысли Герцена о Россіи, если взять ихъ въ цѣломъ, представляютъ образецъ глубокой проницательности и заслуживаютъ серьезнаго изученія. Мѣткость его взглядовъ зависѣла, во-первыхъ, отъ страстнаго и пристальнаго вниманія, которое никогда не остается безплоднымъ, отъ живыхъ русскихъ инстинктовъ, которые громко говорили въ Герценѣ. Такъ напримѣръ, онъ отлично понималъ вражду къ намъ Европы, положеніе въ ней Россіи, какъ особаго, чуждаго міра; онъ ясно видѣлъ и предсказалъ нашу дружбу съ Америкой; онъ вполнѣ раздѣлялъ и отлично выражалъ тѣ различныя чувства, съ которыми мы относимся къ французамъ, нѣмцамъ, англичанамъ и т. д.

Но, кромѣ русскаго сердца, намъ кажется, Герцену помогалъ и его умъ, его теоретическіе взгляды. Фейербахизмъ и соціализмъ въ той строгой, глубокой формѣ, въ какой ихъ держался Герценъ, составляютъ непра-

вильную, но все-таки чрезвычайно высокую точку зрѣнія. Н. Я. Данилевскій справедливо замѣчаетъ, что это была послѣдняя страстная попытка Европейскаго міра отрѣшиться отъ національной ограниченности и войти въ область общечеловѣческаго. Попытка не удалась, но смѣлости и высоты за нею не признать невозможно. Во всякомъ случаѣ, это была точка зрѣнія, съ которой дѣло открывается яснѣе, чѣмъ со многихъ другихъ точекъ, обыкновенно опредѣляемыхъ грубыми, слѣпыми предразсудками. По пословицѣ — крайности сходятся; Герценъ въ своемъ вольнодумствѣ зашелъ такъ далеко, что, наконецъ, его мнѣнія стали ближе къ вѣрованіямъ людей простыхъ и скромныхъ, чѣмъ къ убѣжденіямъ высокоумныхъ и гордыхъ мудрецовъ.

III.

Отвага знанія. Демократическое православіе.

Мы видимъ теперь, въ чемъ состояла бы наша полная задача. Если мы желаемъ вполнѣ изложить взгляды Герцена на Россію и на Европу, то должны сперва изложить его идеальное пониманіе Европы и соотвѣтственное этому пониманію мрачное воззрѣніе на Россію; потомъ его знакомство съ Европою, уже не по Шиллеру и соціалистамъ, а на дѣлѣ, на собственномъ опытѣ, и послѣдовавшее за этимъ знакомствомъ разочарованіе; наконецъ нужно было бы сдѣлать очеркъ его окончательныхъ, постепенно уяснявшихся взглядовъ на свѣтлое будущее Россіи и на паденіе, грозящее Европѣ.

На основаніи предъидущаго — важнѣйшій пунктъ

этой исторіи есть разочарованіе въ Западѣ. Съ него мы и начнемъ, для ясности и удобства, такъ какъ тутъ, по нашему мнѣнію, заключается ключь къ разгадкѣ всей дѣятельности Герцена. Увлеченіе Западомъ и печальный взглядъ на Россію есть дѣло обыкновенное, давно знакомое, которые мы видѣли и еще увидимъ несчетное число разъ. Но съ Герценомъ случилось то, чего еще никогда не бывало — произошелъ глубокій, страшный, отчаянный разрывъ съ Европою; пламенная вѣра обратилась въ глубочайшее невѣріе.

Сперва скажемъ нѣсколько словъ о причинахъ такого событія. Необходимымъ условіемъ для такого поворота въ мысляхъ была натура Герцена, его страстное отношеніе къ дѣлу и его жажда правды, дѣйствительная, нелицемѣрная любовь къ истинѣ. Вотъ рѣдкія качества, принесшія ему много мученій, но и давшія ему важное мѣсто въ нашемъ умственномъ развитіи.

Любовь къ истинѣ встрѣчается гораздо рѣже, чѣмъ обыкновенно думаютъ, и чуть ли не всего рѣже она встрѣчается у писателей, то есть именно у тѣхъ людей, которые ежедневно увѣряютъ, что они объ одной только истинѣ и заботятся, ее одну желаютъ предложить своимъ читателямъ. Дѣло въ томъ, что практическіе интересы почти всегда занимаютъ у человѣка первое мѣсто сравнительно съ теоретическими. Послѣ того, какъ минуютъ недолгіе и рѣдкіе порывы юности къ безкорыстному разумѣнію, каждый обыкновенно попадаетъ въ густую сѣть практическихъ интересовъ, изъ которой не можетъ вырваться, а большею частію даже и обязанъ не вырываться. Писатель точно также бываетъ связанъ этими интересами, какъ и всякій другой человѣкъ. Между тѣмъ, писатель долженъ давать себѣ пе-

редъ читателями видъ полной свободы и безпристрастія (иначе ему не станутъ вѣрить), — и вотъ причина, почему писателей можно назвать лжецами по преимуществу. Если не многіе изъ нихъ умышленно пишутъ ложь, то огромное большинство умалчиваетъ, скрываетъ, не договариваетъ и факты, и свои мысли, и слѣдовательно все-таки искажаетъ истину. Мы говоримъ здѣсь не о стѣсненіяхъ цензуры, хотя и они вносятъ сюда свою долю. Но и безъ цензуры, какой разумный человѣкъ рѣшится возбудить соблазнъ, произвести недоумѣніе, крикнуть подъ руку людямъ, занятымъ дѣломъ? Кому пріятно, сказавши правду, угодить не тѣмъ, кого любишь, а тѣмъ, кого признаешь своими врагами, людямъ презрѣннымъ и вреднымъ?

Писатели съ маленькою душою обыкновенно не тяготятся своею ролью; притворство и искаженіе имъ кажется дѣломъ естественнымъ, и они готовы думать, что въ немъ-то и состоитъ вся мудрость литературнаго ремесла; угодить своей партіи, поддержать авторитетъ какой-нибудь идеи, иногда чистой и благородной, — вотъ обыкновенная цѣль, ради которой уклоненія отъ голой правды считаются простымъ и даже благимъ дѣломъ. Немногіе настолько любятъ искренность, что терпятъ эти уклоненія лишь какъ неизбѣжное зло, что по крайней мѣрѣ чувствуютъ свое положеніе и не мирятся съ нимъ вполнѣ, а только терпѣливо его переносятъ. Но всего рѣже тѣ писатели, которые рѣшаются поставить свою мысль выше всякихъ практическихъ разсчетовъ, которые въ истинѣ видятъ самое дорогое благо и потому высказываютъ ее даже тогда, когда она можетъ произвести вредъ, распространить уныніе, подорвать силы. Такъ ревнивецъ старается убѣдиться въ достовѣрности

своихъ подозрѣній, хотя знаетъ, что эта достовѣрность будетъ для него смертнымъ приговоромъ. Къ числу такихъ людей, страстныхъ къ истинѣ, принадлежалъ Герценъ. Ему были дороги и благо Россіи, и прогрессъ Европы; но всего больше ему хотѣлось—уразумѣть, что̀ скрывается на самомъ днѣ той мудрости, тѣхъ высшихъ идеаловъ, передъ которыми онъ сначала преклонился какъ передъ святынею.

Свою любовь къ истинѣ Герценъ выражалъ часто и съ большою энергіею. *Отвага знанія*, искренность, послѣдовательность, — вотъ его обыкновенная похвальба, его всегдашнее оправданіе.

Книга *Съ того берега* начинается превосходнымъ разсужденіемъ о правахъ мысли, истины, и о томъ, что̀ побуждаетъ людей отказываться отъ логики, въ чемъ обыкновенное препятствіе для познанія.

„Человѣкъ", говоритъ Герценъ, „любитъ эффектъ, „роль, особенно трагическую; страдать хорошо, благо„родно, предполагаетъ несчастіе. Это еще не все: сверхъ „суетности тутъ бездна трусости. Изъ за боязни узнать „истину, *многіе предпочитаютъ страданіе—разбору*; стра„даніе отвлекаетъ, занимаетъ, утѣшаетъ... да, да, утѣ„шаетъ; а главное, какъ всякое занятіе, оно мѣшаетъ „человѣку углубляться съ собой на единѣ. Наша жизнь— „постоянное бѣгство отъ себя, точно угрызенія совѣсти „преслѣдуютъ, пугаютъ насъ. Какъ только человѣкъ „становится на свои ноги, онъ начинаетъ кричать, что„бы не слыхать рѣчей, раздающихся внутри. Ему грустно— „онъ бѣжитъ разсѣяться; ему нечего дѣлать—онъ вы„думываетъ занятіе. Отъ ненависти къ одиночеству—онъ „дружится со всѣми, все читаетъ, интересуется чужими „дѣлами, наконецъ женится на скорую руку. Тутъ—

„гавань; семейный миръ и семейная война не дадутъ „много мѣста мысли; семейному человѣку какъ-то не„прилично много думать, — онъ не долженъ быть на „столько празденъ. Кому и эта жизнь не удалась, тотъ „напивается до пьяна всѣмъ на свѣтѣ,—виномъ, нумиз„матикой, картами, скачками, женщинами, скупостію, „благодѣяніями, — ударяется въ мистицизмъ, идетъ въ „іезуиты, налагаетъ на себя чудовищные труды, и они „все-таки легче кажутся, нежели какая-то угрожаю„щая истина, дремлющая внутри его. *Въ этой боязни „изслѣдовать, чтобы не увидать вздора изслѣдуемаго,* въ „этомъ искусственномъ недосугѣ, въ этихъ поддѣльныхъ „несчастіяхъ, усложняя каждый шагъ вымышленными пу„тями, *мы проходимъ по жизни съ просонья и умираемъ „въ чаду нелѣпости и пустяковъ,* не пришедши путемъ „въ себя. Престранное дѣло! Во всемъ, не касающемся „внутреннихъ, жизненныхъ вопросовъ, люди умны, смѣлы, „проницательны. Они считаютъ себя, напримѣръ, посто„ронними природѣ, и изучаютъ ее добросовѣстно; тутъ „другая метода, другой пріемъ. Не жалко-ли такъ бояться „правды, изслѣдованія? Положимъ, что много мечтаній „поблекнутъ, что будетъ не легче, а тяжелѣе;—*все же „нравственнѣе, достойнѣе, мужественнѣе—не ребячить„ся.* Если бы люди смотрѣли другъ на друга какъ „смотрятъ на природу, смѣясь сошли бы они со сво„ихъ пьедесталей и курульныхъ креселъ, взглянули бы „на жизнь проще, перестали бы выходить изъ себя за „то, что жизнь не исполняетъ ихъ гордые приказы и „личныя фантазіи“. (Стр. 4—6).

Вотъ рѣчь человѣка, для котораго очевидно всѣ житейскія дѣла, всякое житейское счастіе составляютъ вздоръ и суету сравнительно съ верховнымъ его дѣ-

ломъ,—познаніемъ истины. Самое благородство души, самое стремленіе къ нравственнымъ подвигамъ онъ готовъ признать помѣхою познанію и пустяками, какъ скоро съ нимъ не соединено ясное разумѣніе, или по крайней мѣрѣ жажда такого разумѣнія.

Этотъ мотивъ, это чувство дѣйствительнаго мыслителя, для котораго верхъ желаній—заглянуть подъ таинственный покровъ Изиды, безпрестанно повторяется у Герцена. Онъ очень хорошо понималъ, какъ рѣдко подобное чувство, какъ мало людей искреннихъ и послѣдовательныхъ въ познаніи истины. Когда его собесѣдникъ (книга *Съ того берега* написана въ видѣ разговоровъ, похожихъ на Платоновскіе) говоритъ, что *всѣ говорятъ правду, насколько ее понимаютъ*, что тутъ *нѣтъ большого мужества*, Герценъ возражаетъ:

„Вы думаете?—какой предразсудокъ!.. Помилуйте, „на сто философовъ вы не найдете одного, который „былъ бы откровененъ. Пусть бы ошибался, несъ бы „нелѣпицу, но только съ полной откровенностію. Одни „обманываютъ другихъ изъ нравственныхъ цѣлей, другіе „самихъ себя—для спокойствія. Много ли вы найдете „людей, какъ Спиноза, какъ Юмъ, идущихъ смѣло до „всякаго вывода? Всѣ эти великіе освободители ума человѣческаго поступали такъ, какъ Лютеръ и Кальвинъ, и, можетъ, были правы съ практической точки „зрѣнія; они освобождали себя и другихъ включительно „до какого-нибудь рабства, до символическихъ книгъ, и „находили въ душѣ своей воздержность и умѣренность „не идти далѣе. По большей части, послѣдователи продолжаютъ строго идти въ путяхъ учителей; въ числѣ „ихъ являются люди посмѣлѣй, которые догадываются, „что дѣло-то не совсѣмъ такъ, но молчатъ изъ благо-

„честія и лгутъ изъ уваженія къ предмету. Такъ лгутъ „адвокаты, ежедневно говоря, что не смѣютъ сомнѣ„ваться въ справедливости судей, зная очень хорошо, „что они мошенники и недовѣряя имъ нисколько. Это „учтивость совершенно рабская, но мы къ ней привыкли. „*Знать истину не легко, но все же легче, нежели вы„сказывать ее, когда она не совпадаетъ съ общимъ мнѣ„ніемъ.* Сколько кокетства, сколько риторики, позолоты, „околичнословія употребляли лучшіе умы, Бэконъ, Ге„гель, чтобы не говорить просто, боясь тупаго негодова„нія или пошлаго свиста. Оттого до такой степени трудно „понимать науку; надобно отгадывать ложно высказан„ную истину. Теперь разсудите: у многихъ ли есть до„сугъ и охота доработываться до внутренней мысли?..“ (стр. 127, 128).

Истина для истины — вотъ верховный принципъ для Герцена, подобный нѣкогда провозглашенному въ художествахъ принципу *искусства для искусства.* Противорѣчіе, въ которое приходитъ этотъ принципъ съ практическими требованіями, часто рѣзко чувствовалось Герценомъ. Разсуждая о двухъ людяхъ, чрезвычайно имъ любимыхъ, о Маццини и Саффи, онъ такъ опредѣляетъ причины, по которымъ эти два человѣка не могли быть согласны въ мысляхъ и образѣ дѣйствій:

„У одного (Маццини) мысль ищетъ средствъ, сосре„доточена на нихъ однихъ;—это своего рода *бѣгство „отъ сомнѣній.* Она ищетъ только дѣятельности приклад„ной — *это своего рода лѣнь.* Другому (Саффи) дорога „объективная истина, у него мысль работаетъ; сверхъ „того, для художественной натуры искусство уже само „по себѣ дорого, *безъ отношенія къ его внѣшнему дѣй„ствію*“. (Пол. Зв. кн. V. стр. 129).

Герценъ разумѣется вполнѣ сочувствуетъ Саффи. Иногда въ немъ рождалось даже сомнѣніе въ законности такого исключительнаго, крайняго настроенія; противорѣчіе съ жизнью было иногда нестерпимо.

„Есть печальныя истины", писалъ Герценъ уже значительно позднѣе, въ 1859 году; „трудно, тяжко „смотрѣть на многое, трудно и высказывать иногда, что „видишь. Да врядъ и *нужно*-ли? Вѣдь, это тоже *своего „рода страсть или болѣзнь*. „Истина, голая истина, одна „истина"! Да *сообразно-ли вѣдѣніе ея съ нашею жизнію*? „Не разъѣдаетъ-ли она ее, какъ слишкомъ крѣпкая „кислота разъѣдаетъ стѣнки сосуда? Не есть-ли страсть „къ ней *страшный недугъ*, горько казнящій того, кто „воспитываетъ его въ груди своей"?

„Разъ, въ день памятный для меня, мысль эта осо„бенно поразила меня".

„Въ день кончины Ворцеля я ждалъ скульптора въ „бѣдной комнаткѣ, гдѣ домучился этотъ страдалецъ. „Старая служанка стояла съ оплывшимъ желтымъ огар„комъ въ рукѣ, освѣщая исхудалый трупъ, прикрытый „одной простыней. Онъ, несчастный какъ Іовъ, заснулъ „съ улыбкой на губахъ; вѣра замерла въ его потухаю„щихъ глазахъ, закрытыхъ такимъ-же фанатикомъ какъ „онъ—Маццини".

„Я этого старика грустно любилъ, *и ни разу не „сказалъ ему всей правды, бывшей у меня на умѣ*. Я не „хотѣлъ тревожить потухающій духъ его; онъ и безъ „того настрадался. *Ему нужна была отходная, а не исти„на*". (Пол. Зв. на 1859, стр. 171, 172).

Такимъ образомъ, Герценъ видѣлъ, что его *абсолютное* требованіе правды несогласимо съ нашею временною и ограниченною жизнію. Въ самомъ дѣлѣ, если

ложь и обманъ могутъ облегчить наши страданія, то зачѣмъ, казалось-бы, мѣнять ихъ на истину? Если для человѣка нѣтъ другой цѣли, кромѣ счастія, и существуютъ на свѣтѣ страшныя истины, то не лучше-ли прожить жизнь не имѣя объ нихъ понятія? Очевидно, Герценъ готовъ былъ однако-же поставить истину выше всякаго земнаго блага и счастія, то есть жажда истины имѣла у него степень религіознаго стремленія. Каждая глубокая и чуткая натура создаетъ себѣ со временемъ нѣкоторое царство не отъ міра сего: въ каждой, въ тѣхъ или другихъ формахъ, повторяется законъ образованія религіи.

Какъ человѣкъ дорожившій истиною помимо всякихъ цѣлей, какъ проповѣдникъ новыхъ, еще неслыханныхъ мыслей, Герценъ долженъ былъ встрѣтить затрудненія и гоненія. Ради свободы мысли и рѣчи онъ остался за границею Россіи, жилъ въ странахъ, въ которыхъ могъ печатать все, что̀ ему было угодно; но онъ подвергся нравственному преслѣдованію тамъ, гдѣ никакъ его не ожидалъ: въ кружкѣ величайшихъ поклонниковъ свободы, всесвѣтныхъ революціонеровъ, проповѣдниковъ полной независимости рѣчей и мнѣній. Этотъ печальный опытъ ему пришлось извѣдать тотчасъ послѣ изданія (1850) первыхъ заграничныхъ сочиненій: Vom anderen Ufer, Briefen aus Frankreich und Italien". Въ 1851 г. онъ написалъ поэтому слѣдующую горькую страницу:

„Трудно говорить откровенно въ наше время, и это „вовсе независимо отъ полицейскихъ преслѣдованій, а „оттого, что большинство людей, стоявшихъ съ нами на „одномъ берегу, расходится все болѣе и болѣе; мы идемъ,— „они не двигаются, становятся все раздражительнѣе отъ

„лѣтъ, отъ несчастій и составляютъ *демократическое „православіе*".

„У нихъ учреждена своя *радикальная инквизиція*, „свой цензъ для идей. Идеи и мысли, удовлетворяющія „ихъ требованіямъ,—имѣютъ права гражданства и глас„ности; другія—*объявляются еретическими и лишены го„лоса*; это—пролетаріи нравственнаго міра; они должны „молчать или брать свое мѣсто грудью, возстаніемъ. „Противъ бунтующихъ идей является *демократическая „цензура, несравненно болѣе опасная нежели всякая дру„гая*, потому что не имѣетъ ни полиціи, ни подтасо„ванныхъ присяжныхъ, ни тюремъ, ни штрафовъ. Цен„зура реакціи насильственно вырываетъ книгу изъ рукъ, „*и книгу всѣ уважаютъ*; она преслѣдуетъ автора, за„пираетъ типографію, ломаетъ станки, *и гонимое слово „переходитъ въ вѣрованіе*. Цензура демократическая *гу„битъ нравственно*, обвиненія ея раздаются не изъ „съѣзжей, не изъ прокурорскаго рта, а изъ дали ссыл„ки, изгнанія, изъ мрака заточенія; приговоръ, писан„ный рукой, на которой видѣнъ слѣдъ цѣпи, отзывается „глубоко въ сердцахъ, *что вовсе не мѣшаетъ ему быть „несправедливымъ*".

„У *нашихъ старовѣровъ* образовалось свое обязы„вающее преданіе, идущее съ 1789 г., своя связую„щая религія, *религія исключительная, притѣсни„тельная*".

„Демократы-формалисты, точно Бурбоны, *ничему не „научились*..." (Письма изъ Фр. и Ит. стр. 270).

Вотъ страница глубоко поучительная, и для цензуры всѣхъ странъ и народовъ, и для либераловъ и вольнодумцевъ всевозможныхъ родовъ и видовъ. Это голосъ человѣка, которому всего дороже истина, и для

котораго стало ясно, что нравственное гоненіе мыслей несравненно гибельнѣе для истины, чѣмъ преслѣдованіе юридическое, государственное, вещественное. Послѣднее часто придаетъ только новую силу гонимымъ идеямъ, первое-же требуетъ отъ проповѣдника всей силы нравственнаго мужества.

Безпрерывная ложь, которою наполнена революціонная литература можетъ быть больше, чѣмъ всякая другая, возмущала Герцена до глубины души. Онъ не могъ равнодушно видѣть, что люди, протестующіе противъ всякихъ заблужденій и добивающіеся всякихъ разоблаченій, сами обходятся съ истиною съ величайшимъ пренебреженіемъ и легкомысліемъ.

„Пора-бы, кажется",—восклицаетъ онъ, „остановить„ся и призадуматься, а пуще всего изучить поглубже „современность и перестать съ легкомысленной суетно„стію *увѣрять себя и другихъ въ фактахъ, которыхъ „нѣтъ*,—и отворачиваться отъ тѣхъ, которые есть, да „намъ не нравятся; пора не принимать больше толпы „на демонстраціяхъ за готовое войско, не искать гласа „народнаго въ газетныхъ статьяхъ, писанныхъ самими „нами или нашими друзьями, и общественнаго мнѣнія „въ тѣсномъ кружкѣ пріятелей, собирающихся еже„дневно для того, чтобы повторить одно и тоже".

„Какъ это ни ясно, но *горе тому, кто* въ печаль„номъ стану побѣжденныхъ *поднимаетъ такую рѣчь*. „Маститые революціонеры и ихъ ставленники увидятъ „въ ней *обиду, личность, измѣну*, и проглядятъ трагиче„скій характеръ скорбныхъ признаній, которыми чело„вѣкъ отдираетъ свое сердце отъ среды, въ которой „жилъ, которую любилъ, но въ несвоевременности кото„рой убѣжденъ". (Тамъ-же, стр. 278).

Вотъ черты Герценовскаго характера и настроенія, которыя намъ кажутся прекраснѣйшими, достойными величайшаго уваженія. Если въ послѣдствіи онъ самъ провинился, участвуя въ агитаціонной лжи, скрывая, утаивая истину (напр. относительно польскаго вопроса), то виною было невольное увлеченіе, зашедшее слишкомъ далеко, такъ что не скоро и не легко было повернуть назадъ. Притомъ, мы вполнѣ увѣрены, что эти прегрѣшенія противъ правды сопровождались у Герцена жестокой болью, и даже думаемъ, что, проживи онъ долѣе, онъ можетъ-быть столь-же круто и рѣзко отказался-бы отъ этихъ своихъ увлеченій, какъ прежде дважды отказывался отъ своего образа мыслей и замѣнялъ его новымъ.

IV.

Источникъ нигилизма.

Но что-же были за идеи, которыя Герценъ называлъ своею истиною, своимъ катехизисомъ, за которыя онъ такъ боролся и такъ страдалъ? Какіе результаты принесла эта страсть, этотъ недугъ, точившій его грудь?

Воспользуемся словомъ, къ которому мы уже привыкли, хотя его значеніе рѣдко понимается надлежащимъ образомъ. Воззрѣнія Герцена можно назвать *нигилизмомъ*; но—спѣшимъ оговориться—это не была одна изъ тѣхъ многочисленныхъ формъ нигилизма, которыя стали ходячими и въ которыя воплотилась всяческая форма глупости. Это былъ нигилизмъ въ самомъ чи-

стомъ своемъ видѣ, въ наилучшей и наиблагороднѣйшей своей формѣ. Это было вольнодумство до того страшное, рѣзкое, сознательное, послѣдовательное, что оно, какъ мы уже замѣтили, переходило въ воззрѣнія прямо противоположныя, почти равнялось отреченію отъ всякаго вольнодумства. Такъ человѣкъ, все потерявшій, вдругъ вмѣсто горя начинаетъ чувствовать себя спокойнымъ и равнодушнымъ, какъ будто съ нимъ ничего не случилось.

Первый переворотъ, совершившійся въ умственной жизни Герцена, было отреченіе отъ религіи (онъ былъ долго религіозенъ, до тридцати лѣтъ своего возраста), отъ всѣхъ порядковъ стараго міра, и ожиданіе *новой вѣсти*, возвѣщенной Европѣ нѣмецкою философіею и французскимъ соціализмомъ. Второй переворотъ состоялъ въ отреченіи и отъ этихъ новыхъ вѣрованій, въ признаніи того, что человѣчество потеряло всякую руководящую нить, что нѣтъ никакихъ основъ, на которыхъ оно могло-бы строить свою будущую жизнь.

Сперва отреченіе отъ своего, потомъ — отреченіе и отъ чужаго. Это и есть настоящій нигилизмъ, или по крайней мѣрѣ его исходная точка.

На этой точкѣ удержаться трудно; человѣкъ рѣдко бываетъ послѣдователенъ, и чистая свобода есть дѣло столь-же мудреное, какъ и чистый разумъ. Сколько у насъ нелѣпыхъ людей, сохранившихъ всѣ признаки, всѣ привычки умственнаго рабства и, однако-же, безпрестанно хвалящихся свободою! Обыкновенные нигилисты, масса, толпа, какъ только провозгласятъ свою независимость, тотчасъ ставятъ себѣ идоловъ и идольчиковъ и начинаютъ кланяться и молиться имъ тѣмъ усерднѣе и тѣмъ забавнѣе, чѣмъ яростнѣе продолжаютъ кричать

въ тоже время противъ всякихъ авторитетовъ и кумировъ. Но Герценъ, какъ мы замѣтили, былъ послѣдователенъ; онъ съ замѣчательною проницательностью держался своей точки зрѣнія; *онъ пытался быть дѣйствительно свободнымъ.*

Сколько у насъ такихъ недогадливыхъ людей, которые съ просвѣщеннымъ негодованіемъ бранятъ свое, и въ тоже время робко преклоняются передъ чужимъ, имѣющимъ точно такія-же или даже несравненно худшія свойства! Для русскаго и для европейскаго у нихъ двѣ различныя мѣрки. Они большіе вольнодумцы дома, среди своихъ, и самые покорные и смиренные люди за границею, среди иностранцевъ. Не таковъ былъ Герценъ. Бывши отрицателемъ дома, онъ тоже самое отрицаніе принесъ и въ Европу; мало того—онъ его усилилъ и изощрилъ. Онъ почувствовалъ величайшее негодованіе, замѣтивъ, что Европа безпрестанно порицаетъ Россію, но забываетъ приложить ту-же мѣрку къ себѣ самой. И онъ сталъ язвительно укорять Европу въ этой непослѣдовательности. Герценъ любилъ Европу; Францію онъ любилъ даже страстно, любилъ какъ свое второе, духовное отечество; но Россію онъ все-таки любилъ больше. Поэтому, когда онъ понялъ и измѣрилъ, до какой степени онъ былъ строгъ къ Россіи, то онъ сталъ судить о Франціи не только съ тою-же, а даже съ еще большею строгостію. Онъ не пожалѣлъ своего роднаго; почему-же бы онъ сталъ жалѣть чужое? Свое порицаніе Россіи Герценъ какъ-бы искупалъ еще болѣе безпощаднымъ порицаніемъ Европы. Обманутый, разочарованный Европою, онъ все болѣе и болѣе сталъ вспоминать о Россіи, сталъ находить черезъ-чуръ несправедливымъ, черезъ-чуръ жестокимъ то осужденіе

родины, къ которому привело его сперва увлеченіе европейскими идеалами.

Таково было и должно было быть настроеніе человѣка глубоко-чувствующаго и тонко-развитаго, какъ скоро онъ сталъ развивать свои взгляды совершенно послѣдовательно.

Переворотъ совершился быстро. Въ началѣ 1847 года, Герценъ уѣхалъ изъ Россіи, проѣхалъ прямо въ Парижъ, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, какъ онъ самъ говоритъ, уже *былъ испуганъ* Парижемъ и *открылъ глаза*. (Былое и Думы, т. IV, стр. 25). Осенью этого-же года Герценъ уѣхалъ въ Римъ и здѣсь написалъ уже первую главу *„Съ того берега"*.

Послѣ февральской революціи всѣ сомнѣнія Герцена разсѣялись. Въ 1850 г. вышли по-нѣмецки двѣ его книги: „Съ того берега" и „Письма", въ которыхъ безотрадный взглядъ на Европу былъ высказанъ со всею смѣлостію Герцена и всѣмъ его талантомъ. Книги возбудили большое вниманіе; Европа, этотъ *старый самодовольный міръ*, была удивлена дерзостію скиѳа.

Когда посыпались отзывы, наполненные всякаго рода упреками, Герцену самому стало яснѣе его положеніе; онъ понялъ, почему и какъ сложились его воззрѣнія, опредѣлилъ сознательно свое отношеніе къ Европѣ. Въ письмѣ къ Мишле (подъ названіемъ Le peuple russe et le socialisme), писанномъ въ Ниццѣ 22 сентября 1851 года, Герценъ очень хорошо указываетъ источникъ того, что мы назвали его нигилизмомъ. Вотъ эти замѣчательныя страницы:

„Настоящій характеръ русской мысли, поэтической „и спекулятивной, развивается въ полной силѣ по вос„шествіи на престолъ Николая. Отличительная черта

„этого направленія—трагическое освобожденіе совѣсти, „безжалостное отрицаніе, горькая иронія, мучительное „углубленіе въ себя“.

„Брошенный въ гнетущую среду, вооруженный яснымъ „взглядомъ и неподкупной логикой, *Русскій быстро осво-„бождается отъ вѣры и отъ нравовъ своихъ отцовъ*“.

„*Мыслящій Русскій—самый свободный человѣкъ на „свѣтѣ.* Что̀ можетъ его остановить? Уваженіе къ „прошлому?.. Но что̀ служитъ исходной точкой новой „исторіи Россіи, если не отрицаніе народности и пре-„данія?“

„Или, можетъ быть, преданіе Петербургскаго пе-„ріода? Это преданіе не обязываетъ насъ ни къ чему... „Напротивъ, развязываетъ насъ окончательно“.

„Съ другой стороны, прошлое западныхъ народовъ „служитъ намъ поученіемъ, и только; мы нисколько не „считаемъ себя душеприкащиками ихъ историческихъ „завѣщаній“.

„*Мы раздѣляемъ ваши сомнѣнія—но ваша вѣра не „согрѣваетъ насъ.* Мы раздѣляемъ вашу ненависть, но „не понимаемъ вашей привязанности къ завѣщанному „предками... Васъ связываютъ колебанія совѣсти, васъ „удерживаютъ заднія мысли. У насъ нѣтъ ни заднихъ „мыслей, ни колебаній“...

„*Вотъ откуда у насъ эта иронія, эта тоска,* ко-„торая насъ точитъ, доводитъ насъ до бѣшенства, тол-„каетъ насъ впередъ... Мы жертвуемъ собой безъ вся-„кой надежды, отъ желчи, отъ скуки“..

„Не упрекайте насъ въ безнравственности потому, „что мы не уважаемъ того, что̀ вы уважаете. Можно „ли упрекать найденыша за то, что онъ не уважаетъ „своихъ родителей? Мы свободны потому, что начи-

„наемъ жить съ изнова". „*Мы независимы потому,* „*что ничего не имѣемъ.* Намъ почти нечего любить. „Всѣ наши воспоминанія исполнены горечи и злобы".

„*Какое намъ дѣло до вашихъ завѣтныхъ обязанно-* „*стей,* намъ, младшимъ братьямъ, лишеннымъ наслѣд- „ства? И можемъ ли мы по совѣсти довольствоваться „вашею изношенною нравственностію, нехристіанскою „и нечеловѣческою, существующею только въ реторичес- „скихъ упражненіяхъ и въ прокурорскихъ докладахъ? „Какое уваженіе можетъ внушать намъ ваша римско- „варварская законность, это глухое, неуклюжее зданіе „безъ свѣта и воздуха, подновленное въ средніе вѣка, „подбѣленное вольноотпущеннымъ мѣщанствомъ?" (*Русскій народъ и соціализмъ,* письмо къ И. Мишле Искандера. Переводъ съ франц. Лондонъ 1858, стр. 38—40).

Вотъ какъ отвѣчалъ Герценъ на упреки европейцевъ въ томъ, что онъ не уважаетъ ихъ исторіи, безпощадно отрицаетъ всѣ ихъ завѣтныя святыни. Краткій смыслъ этого отвѣта таковъ: „мы русскіе, отрекаемся отъ своего и, если хотимъ быть послѣдовательными, то должны отречься и отъ вашего".

Выписанное нами мѣсто такъ вѣрно выражаетъ внутреннее развитіе Герцена, такъ важно для пониманія этого развитія, что онъ перепечаталъ эти страницы въ другой книгѣ, въ русскомъ изданіи *Писемъ изъ Франціи и Италіи,* вышедшемъ въ 1854 году, и прибавилъ къ нимъ новыя поясненія и соображенія.

„Никто еще не думалъ", говоритъ онъ, „о стран- „номъ, эксцентрическомъ положеніи русскаго на За- „падѣ, особенно когда онъ перестаетъ быть праздно- „шатающимся".

„Намъ дома скверно". „Мы стремимся видѣть, ося-

„зать міръ, знакомый намъ по изученію, міръ, котораго „великолѣпный и величавый фасадъ, сложившійся вѣ„ками, съ малолѣтства поражалъ насъ“.

„Русскій вырывается за границу въ какомъ-то опья„неніи: сердце настежъ, языкъ развязанъ, — прусскій „жандармъ въ Лауцагенѣ намъ кажется человѣкомъ, „Кенигсбергъ свободнымъ городомъ. Мы любили и ува„жали этотъ міръ заочно, мы входимъ въ него съ нѣ„которымъ смущеніемъ, мы съ уваженіемъ попираемъ „почву, на которой совершалась великая борьба неза„висимости и человѣческихъ правъ“.

„Сначала все кажется хорошо и такъ, какъ мы „ожидали; потомъ, мало по малу мы начинаемъ чего-то „не узнавать, на что-то сердиться,—намъ не достаетъ „пространства, шири воздуха, намъ просто неловко; со „стыдомъ прячемъ мы это открытіе, ломаемъ прямое и „откровенное чувство и прикидываемся закоснѣлыми „европейцами,—это не удается“.

„Напрасно стараемся мы придать старческія черты „своему молодому лицу,напрасно надѣваемъ изношенный „узкій кафтанъ; кафтанъ рано или поздно порется, и вар„варъ является съ обнаженной грудью, краснѣя за свое „неумѣнье носить чужое платье“.

„Знаменитое grattez un Russe et vous trouverez un „barbare—совершенно справедливо. Кто въ выигрышѣ, „я не знаю. Но знаю то, что варваръ этотъ — самый „непріятный свидѣтель для Европы. Въ глазахъ рус„скаго она читаетъ горькій упрекъ; обидное удивленіе, „которымъ смѣняется у него удивленіе совсѣмъ иное— „дѣйствуетъ непріятно, будитъ совѣсть“...

„Дѣло въ томъ, что мы являемся въ Европу съ соб„ственнымъ идеаломъ и съ вѣрой въ него. Мы знаемъ

„Европу книжно, литературно, по ея праздничной одеждѣ, „по очищеннымъ, перегнаннымъ отвлеченностямъ, по „всплывшимъ и отстоявшимся мыслямъ, по вопросамъ, „занимающимъ верхній слой жизни, по исключительнымъ „событіямъ, въ которыхъ она не похожа на себя“.

„Все это составляетъ свѣтлую четверть европейской „жизни. Жизнь темныхъ трехъ четвертей не видна „издали; вблизи-же—она постоянно предъ глазами“.

„Между дѣйствительностію, которая возносится къ „идеалу, и той, которая теряется въ грязи улицъ, между „цѣлью политическихъ и литературныхъ стремленій и „цѣлью рыночной и домашней дѣятельности,—столько-„же различія, сколько вообще между жизнію христіан-„скихъ народовъ и евангельскимъ ученіемъ. Одно—слово, „другое—дѣло; одно—стремленіе, другое—быть; одно „безпрестанно говоритъ о себѣ, другое рѣдко огла-„шается и остается въ тѣни; у одной на умѣ—созер-„цаніе, у другой—нажива“.

„Тягость этого состоянія западный человѣкъ, при-„выкнувшій къ противорѣчіямъ своей жизни, не такъ „сильно чувствуетъ, какъ русскій“.

„И это не только потому, что русскій—посторон-„ній, но именно потому, что онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и „*свой*. Посторонній смотритъ на особенности страны „съ любопытствомъ, отмѣчаетъ ихъ съ равнодушіемъ „чужаго“. „Русскій напротивъ—страстный зритель; онъ „оскорбленъ въ своей любви, въ своемъ упованіи; онъ „чувствуетъ, что обманулся, онъ ненавидитъ такъ, какъ „ненавидятъ ревнивые,—отъ избытка любви и довѣрія“.

„Русскій бѣднѣе бедуина, бѣднѣе еврея; у него ни-„чего нѣтъ, на чемъ-бы онъ могъ примириться, что̀ бы „его утѣшило“.

„Есть русскіе люди, которые удаляются въ книгу, „въ изученіе западной исторіи, науки. Они вживаются „въ великія преданія XVIII вѣка; поклоненіе фран„цузской революціи — ихъ первая религія; свободное „германское мышленіе—ихъ катихизисъ".

„Изъ этого міра исторіи, міра чистаго разума, рус„скій идетъ въ Европу, т. е. идетъ домой, возвра„щается... и находитъ то, что̀ нашелъ бы въ IV, V сто„лѣтіи какой-нибудь Остроготъ, начитавшійся Св. Ав„густина и пришедшій въ Римъ искать весь Господню".

„Наивный дикарь всю декораціонную часть, всю „mise en scène, всю часть гиперболическую бралъ за „чистыя деньги. Теперь, разглядѣвши, онъ знать ничего „не хочетъ; онъ представляетъ, какъ вексель къ учету, „писанныя теоріи, которымъ онъ вѣрилъ на слово: надъ „нимъ смѣются, и онъ съ ужасомъ догадывается о не„состоятельности должниковъ". (*Письма изъ Франціи и Италіи*, изд. 2, стр. 295—300).

Несостоятельность писанныхъ теорій Запада,—вотъ результатъ, до котораго Герценъ дошелъ со скорбью и ужасомъ, вотъ то открытіе, которое, по его мнѣнію, русскій дикарь и варваръ необходимо долженъ сдѣлать, какъ скоро ближе всмотрится въ Европу. То, что̀ насъ отрываетъ отъ нашего быта, отъ нашей вѣры и нравовъ, то самое должно помѣшать намъ стать европейцами, должно оторвать насъ отъ Европы и убѣдить въ ея нравственномъ паденіи.

Повторяемъ, здѣсь мы видимъ настоящій источникъ того страннаго и эксцентрическаго явленія нашей литературы, которое называется нигилизмомъ. Какъ послѣдовательное развитіе нашего западничества, нигилизмъ нужно считать прогрессомъ въ нашемъ умствен—

номъ движеніи. Въ чистомъ своемъ видѣ, то есть такъ, какъ онъ явился у Герцена, нигилизмъ—глубокое и искреннее усиліе мысли, и потому вовсе не представляетъ тѣхъ отвратительныхъ чертъ, въ которыхъ онъ является на своихъ низшихъ степеняхъ и въ своихъ обыкновенныхъ уклоненіяхъ. Напримѣръ, въ сущности нигилизмъ есть страданіе, отчаяніе, ужасъ, и потому вовсе не согласуется съ тѣмъ безмѣрнымъ самодовольствомъ, съ тѣмъ безконечнымъ фразерствомъ, которыя такъ часто встрѣчаются у нигилистовъ, воображающихъ, что они владѣютъ какою-то новою мудростію. Мудрость настоящаго нигилизма есть сомнѣніе и безвыходный мракъ. Точно также, нѣтъ ничего дальше отъ настоящаго нигилизма, какъ мечты о пересозданіи общества, о новыхъ отношеніяхъ между людьми, о возможности скораго наступленія золотаго вѣка. Герценъ въ цѣлой Европѣ, во всѣхъ ея ученіяхъ, какъ самыхъ старыхъ, такъ и самыхъ передовыхъ, не нашелъ ни единой основы, ни единой точки опоры для построенія новой веси. Во всѣхъ его сочиненіяхъ нѣтъ никакого, самаго слабаго слѣда какой-нибудь соціальной утопіи, никакихъ предположеній и плановъ о будущемъ счастіи человѣчества. Это было чистое, голое отрицаніе, которое, въ силу своей искренности и сознательности, не могло тѣшиться дѣтскими и грубыми фантазіями.

Чтобы понять, какъ мало въ нигилизмѣ Герцена было того, что насъ отталкиваетъ въ обыкновенномъ нигилизмѣ, приведемъ здѣсь выводы, которые Герценъ дѣлаетъ изъ своей точки зрѣнія относительно Россіи, относительно ея будущихъ судебъ. Тотчасъ послѣ приведенныхъ нами словъ, онъ, въ пику европейцамъ, рѣшается провозгласить слѣдующее пророчество:

„Россія никогда не будетъ протестантскою".

„Россія никогда не будетъ juste-milieu".

„Россія никогда не сдѣлаетъ революціи съ цѣлію „отдѣлаться отъ своего царя и замѣнить его царями-„представителями, царями - судьями, царями - полицей-„скими". (Русск. Нар. и Соц. стр. 41).

Это значитъ: Россія не пойдетъ тѣмъ путемъ, какимъ шла Европа; Россія не повторитъ тѣхъ, повидимому, столь важныхъ и великихъ фазисовъ развитія, чрезъ которые прошли европейскіе народы. А причина заключается въ томъ, что эти фазисы въ сущности мелки, недостаточны, не приводятъ къ той цѣли, ради которой они совершались. Съ предсказаніемъ Герцена безъ сомнѣнія согласится каждый истинно-русскій человѣкъ. Люди, вдумывавшіеся въ исторію и духъ Россіи, питаютъ твердую вѣру, что каковы-бы ни были наши дальнѣйшія судьбы, у насъ однако-же не будетъ ничего подобнаго ни протестантству, ни juste-milieu, ни революціи.

Свои предсказанія Герценъ дважды перепечатывалъ въ Письмахъ (второе изданіе въ 1858 году). Если онъ вскорѣ потомъ увлекся движеніемъ нашей *воздушной революціи*, то это было очевиднымъ заблужденіемъ, грубымъ уклоненіемъ отъ его основныхъ взглядовъ.

Прибавимъ, что, когда въ первый разъ было сдѣлано предсказаніе, Герценъ мимоходомъ высказалъ замѣчаніе, превосходно выражающее ту идеальность стремленій русскаго народа, отъ которой зависитъ своебразіе его историческаго развитія.

„Можетъ быть", говоритъ Герценъ, „мы требуемъ „слишкомъ много и ничего недостигнемъ". (Русск. Нар. и Соц. стр. 14).

Вотъ разгадка многаго въ нашей исторіи и въ строѣ нашей жизни. Такъ напримѣръ, идеалъ нашего царя чрезвычайно высокъ. Герценъ какъ-бы съ гордостію указываетъ народамъ Запада, что нашъ царь не есть царь-представитель, царь-судья, царь-полицейскій. Въ народномъ идеалѣ онъ стоитъ гораздо выше всего этого.

Такимъ образомъ, въ Герценѣ, по нашему мнѣнію, отразилась та чрезвычайная высота народныхъ идеаловъ, которая проникаетъ собою нашу исторію, которая составляетъ ея силу, но вмѣстѣ съ тѣмъ приноситъ и столько вреда для нашихъ временныхъ и частныхъ дѣлъ. Нигилизмъ Герцена есть одно изъ проявленій напряженной идеальности русскаго ума и сердца.

V.

Чистый нигилизмъ.

Отрицаніе, полный и чистый нигилизмъ составлялъ умственное настроеніе Герцена до самаго конца его жизни. Странно, что такъ мало было замѣчено это направленіе, хотя Герценъ самъ заявлялъ его въ тѣхъ изданіяхъ, которыя предпринялъ съ началомъ новаго царствованія и которыя нашли себѣ огромный кругъ читателей. Въ первой книжкѣ „Полярной Звѣзды“, вышедшей въ 1855 году, онъ прямо говорилъ: „У насъ нѣтъ никакой системы, никакого ученія“ (стр. 230). Въ „Колоколѣ“, который сталъ выходить съ половины 1857 года, онъ говорилъ тоже: „мы никакихъ теорій не проповѣдуемъ“ (Колок. 1858 г. 15 февр.).

„Пусть каждый читатель“ (подтверждалъ онъ спустя

нѣсколько времени), „положа руку на сердце скажетъ, „гдѣ были въ „Колоколѣ“ несбыточныя политическія „утопіи, призывы къ возстанію?“ (Колоколъ, 1858 г. 1-го іюля).

И такъ, это не былъ революціонеръ, проповѣдникъ республики, или какой-нибудь соціальной утопіи, — это былъ человѣкъ свободомыслящій въ самомъ лучшемъ смыслы этого слова, то есть такой человѣкъ, который не оставилъ въ своей душѣ никакихъ предубѣжденій, никакихъ пристрастій и безсознательныхъ предпочтеній. Это былъ вольнодумецъ столь послѣдовательный, что передъ его глазами дѣйствительно стали равны всѣ предметы вѣрованій, и, слѣдовательно, онъ сталъ къ нимъ равнодушенъ и получилъ способность судить о нихъ съ большею справедливостью. Подобное вольнодумство есть, съ одной стороны, дѣло очень рѣдкое и трудное, съ другой стороны—явленіе во многихъ отношеніяхъ прекрасное и полезное, такъ какъ дѣйствительная свобода мысли не даромъ считается однимъ изъ необходимыхъ условій правильнаго мышленія.

Потерявъ религію, Герценъ постарался очистить свой умъ отъ всякаго религіознаго предубѣжденія. Для него стали равны всѣ религіи, и что-же вышло? Смотря на нихъ объективно, онъ отдалъ предпочтеніе православію. Въ первой своей заграничной книгѣ (Vom and. Uf.) онъ писалъ:

„Я считаю за великое счастіе для русскаго наро„да, столь впечатлительнаго и кроткаго по характеру, „что онъ не былъ испорченъ католицизмомъ. Вмѣстѣ съ „католицизмомъ его миновало и другое зло. Католицизмъ, „подобно нѣкоторымъ злокачественнымъ болѣзнямъ, мо„жетъ быть излѣченъ лишь ядами; онъ ведетъ за собою

„протестантизмъ, который освобождаетъ умы съ одной „стороны, съ тѣмъ, чтобы съ другой снова ихъ пора„ботить. Наконецъ, такъ какъ Россія не входила въ „великое западное церковное единство, то она и теперь „не принуждена дѣлить судьбы Европы“ (стр. 168).

Такъ судитъ вольнодумецъ; для него всѣ религіи суть уклоненія человѣческаго ума отъ прямаго пути, но изъ этихъ уклоненій наименьшимъ онъ находитъ православіе.

Точно такъ, для Герцена стали совершенно равны всѣ образы правленія, всевозможныя государственныя и политическія формы. Въ силу этого, онъ могъ безпристрастно цѣнить дѣйствія всякихъ правительствъ, отдавать справедливость всему, что̀ они дѣлали хорошаго.

„Бывало“, писалъ онъ, „при одномъ словѣ *республика* билось сердце; а теперь, послѣ 1848, 1850, 1851 „годовъ, слово это возбуждаетъ столько-же надежды, „сколько сомнѣній. Развѣ мы не видали, что республи„ка съ правительственной иниціативой, съ деспотиче„ской централизаціей, съ огромнымъ войскомъ, гораздо „меньше способствуетъ свободному развитію, чѣмъ ан„глійская монархія безъ иниціативы, безъ централизаціи? „Развѣ мы не видали, что французская демократія, т. е. „равенство въ рабствѣ,—самая близкая форма къ без„граничному самовластію“? (Колок. 1859, 1 янв.).

Такъ какъ поляки упрекали Герцена, зачѣмъ онъ говоритъ о русскомъ Царѣ уважительно, почему осмѣливается выражать къ нему сочувствіе и благодарность за его преобразованія, то онъ отвѣчалъ имъ:

„Я знаю, что съ *религіею демократіи* несовмѣстно „говорить что-нибудь о вѣнценосцахъ, кромѣ зла... Не„ужели это не такъ-же смѣшно, какъ считать по ле-

„гитимистскимъ и іезуитскимъ учебникамъ революцію „1789 г. за мятежъ, Робеспьера за разбойника съ боль„шой дороги“?

„Тотъ, кто истину,—какая-бы она ни была—не „ставитъ выше всего, тотъ, кто не въ ней и не въ „своей совѣсти ищетъ нормы поведенія, тотъ не сво„бодный человѣкъ“ (Тамъ-же, стр. 260).

Истина и свобода—вотъ всегдашніе кумиры Герцена. Таковъ былъ этотъ нигилизмъ. Вслѣдствіе своей искренности и глубины, онъ приближался къ мыслямъ, если угодно очень простымъ и обыкновеннымъ, но до которыхъ трудно было дойти русскому въ положеніи Герцена, да трудно доходить и теперь многимъ, захваченнымъ волною нашего европейничанья.

VI.

Отрицаніе европейскихъ началъ. Независимая личность. Прогрессъ. Республика. Соціализмъ. Человѣчество. Братство. Свобода.

Воззрѣнія Герцена, развившіяся и упрочившіяся въ немъ при этой послѣдней, окончательной точкѣ зрѣнія *свободнаго мыслію* человѣка, заслуживаютъ нашего полнаго вниманія, и мы постараемся со временемъ изложить ихъ. Перечитывая Герцена, можно съ величайшимъ изумленіемъ убѣдиться, что множество мыслей, въ послѣдствіи вошедшихъ въ оборотъ въ русской литературѣ, были высказаны въ первый разъ имъ. Большинство читателей, конечно, пропускали безъ вниманія эти зачатки идей; отчасти по винѣ самого Герцена, публика его вовсе не понимала, представляла его себѣ

въ самомъ извращенномъ, фантастическомъ видѣ. Но находились люди чуткіе и умные, для которыхъ намеки и бѣглыя замѣтки Герцена не пропадали даромъ, которые усвоивали себѣ эти, часто блистательные, проблески и потомъ развили ихъ и присоединили къ запасу своихъ мыслей.

По манерѣ своего писанія, Герценъ принадлежалъ къ той, довольно многочисленной у насъ, школѣ, которая такъ хорошо характеризована Грибоѣдовымъ:

Въ журналахъ можешь ты, однако, отыскать
Его *отрывокъ*, *взглядъ* и *нѣчто* —
Объ чемъ бишь нѣчто?.. *обо всемъ*,
Все знаетъ!..

Впечатлѣніе отъ чтенія Герцена на первый разъ бываетъ весьма смутное, и только постепенно анализируя его мысли и сводя ихъ къ опредѣленнымъ предметамъ и отдѣламъ, мы находимъ, наконецъ, и связь, и опредѣленность и глубину въ его мнѣніяхъ.

Обозрѣвая весь кругъ мыслей Герцена, всѣ его усиленныя и добросовѣстныя попытки составить себѣ новое, независимое отъ предразсудковъ воззрѣніе на міръ и на важнѣйшую задачу нашей мысли и литературы, на отношенія Россіи къ Европѣ, мы ни въ одной части этихъ воззрѣній не находимъ столько оригинальности и силы, какъ въ Герценовскомъ *отрицаніи европейскихъ началъ*. Это было его существенное дѣло, стоившее ему наибольшихъ усилій и страданій. Отрицаніе русскихъ началъ есть дѣло очень обыкновенное, извѣстное намъ по множеству нашихъ западниковъ. Но отрицаніе европейскихъ началъ есть явленіе новое, характеристичное для Герцена, и притомъ наиболѣе

возбуждающее сочувствіе. Если мы возьмемъ вообще нашъ нигилизмъ, возьмемъ его въ цѣломъ составѣ его проявленій, то и въ немъ должны будемъ признать эту черту за важнѣйшую и сочувственнѣйшую. Нигилизмъ можетъ отчасти считаться полезнымъ, какъ безпрерывное, неумолкающее обличеніе нашихъ безобразій; но самымъ правильнымъ изъ дѣйствій нигилизма нужно считать именно скептическій взглядъ на Европу, разрушеніе того обаятельнаго авторитета Европы, который имѣлъ и имѣетъ надъ ними такую силу. Люди совершенно русскаго направленія въ этомъ случаѣ часто бываютъ совершенно согласны съ сужденіями нигилистовъ.

Борьба съ европейскими понятіями—вотъ главная задача и заслуга Герцена. Но противъ какихъ именно началъ онъ возставалъ? Европа раздѣляется на старую, отживающую, и на новую, передовую, будущую. Наши обыкновенные западники тоже возстаютъ противъ Европы, но именно противъ старой, и тѣмъ ревностнѣе стоятъ за новую. Герценъ былъ и въ этомъ случаѣ болѣе послѣдователенъ; онъ нашелъ, что отрицая одно, мы должны отрицать и другое, что новая Европа есть прямое, кровное порожденіе старой, что кто желаетъ быть дѣйствительно свободомыслящимъ, дѣйствительно послѣдовательнымъ въ отреченіи отъ предразсудковъ. тотъ долженъ низвергнуть и этотъ авторитетъ, самый опасный и привлекательный.

Мысль объ освобожденіи отъ европейскаго авторитета часто занимала Герцена, именно, какъ мысль низверженія нѣкотораго гнета, лежащаго на русскихъ умахъ. Онъ часто говоритъ о нашемъ жалкомъ положеніи въ этомъ случаѣ, о томъ, что „мы съ малыхъ

лѣтъ запуганы своимъ ничтожествомъ и величіемъ Запада" ("За Пять Лѣтъ", стр. 117). Разсуждая о томъ, кто виноватъ, что клеветы на Россію остаются не опровергнутыми и что Европа насъ не знаетъ, онъ съ горечью отвѣчаетъ: „Виноваты, конечно, мы, мы *бѣдные*, „*нѣмые, съ нашимъ малодушіемъ*, съ нашею боязливою „рѣчью, съ нашимъ запуганнымъ воображеніемъ". („Русск. Нар. и Соц.", стр. 44). Мы подавлены и мыслью о безобразіи нашей собственной жизни, и мыслью о величіи Европы. Вотъ иго, которое было тяжело Герцену и которое онъ свергъ, какъ человѣкъ полный необыкновенной силы и смѣлости.

Своимъ *освобожденіемъ* онъ называетъ именно отреченіе отъ идей новой Европы, отъ мечтаній обновленія, возрожденія европейской жизни. Это былъ тотъ великій *разрывъ*, о которомъ мы упоминали.

„Наше дѣяніе", говоритъ Герценъ, „это именно „этотъ разрывъ; и мы остановились на немъ: онъ намъ „стоилъ много труда и усилій".

„Разумѣется, намъ казалось, что это освобожденіе „себя есть первый шагъ, что за нимъ-то и начнется „наша полная, свободная дѣятельность: безъ этого мы „бы его не сдѣлали. Но, въ сущности, *актъ нашего воз-„мущенія* и есть наше дѣяніе; на него мы потратили „лучшія силы, о немъ раздалось наше лучшее слово. „Мы и теперь *можемъ быть сильны только въ борьбѣ съ „книжниками и фарисеями* консервативнаго и *революціоннаго міра*". (*Письма*, стр. 279).

И такъ, борьба съ революціонными идеями, съ религіею демократіи, съ книжниками и фарисеями этой религіи, со всякаго рода политическими мечтаніями и теоріями—вотъ частная, спеціальная задача Герцена.

Борьба эта велась не во имя какихъ нибудь иныхъ, противоположныхъ началъ, а только посредствомъ обличенія внутренней несостоятельности революціонныхъ идей, посредствомъ доказательства, что, будучи послѣдовательно развиты, они приводятъ къ противорѣчію, разрушаютъ сами себя. Въ борьбѣ этой Герценъ нашелъ себѣ только одного единомышленника—Прудона, точно также не имѣвшаго никакой системы, никакой теоріи, указывавшаго не надежды, а *противорѣчія*.

Актъ возмущенія былъ совершенъ Герценомъ въ двухъ его первыхъ заграничныхъ книгахъ, Vom anderen Ufer, и Briefen aus Frankreich und Italien (1850). Настоящее содержаніе этихъ книгъ именно состоитъ въ борьбѣ противъ понятій новой Европы. Это содержаніе закрыто минутными впечатлѣніями, именами, событіями, картинами, лирическими изліяніями, закрыто до того, что книги кажутся несвязными набросками мыслей и чувствъ путешественника, иногда, повидимому, явно противорѣчащаго самому себѣ. Но, подо всѣмъ этимъ лежитъ одна и таже упорная, послѣдовательная мысль—отреченіе отъ вѣрованій передовыхъ людей Запада, низверженіе всѣхъ ихъ ученій.

Исходную точку Герцена составляетъ идея *независимой личности*, та мысль, провозглашенная Европою, какъ верховный принципъ, что счастье недѣлимаго есть цѣль всей исторіи, всего прогресса, всѣхъ усилій и желаній, и что всякое ограниченіе и подчиненіе личности есть зло. Этой точки зрѣнія постоянно держится Герценъ и показываетъ, что, если ее послѣдовательно развивать, то рушатся всѣ идеальныя построенія новаго порядка, окажутся нелѣпыми, невозможными всѣ мечты республиканизма и соціализма. Человѣчество пришло

къ такой идеѣ (независимой личности), которая неосуществима при нынѣшнихъ свойствахъ и понятіяхъ людей, которая можетъ только разрушать, но не созидать.

Приведемъ для примѣра нѣкоторыя мѣста изъ этихъ главныхъ, основныхъ сочиненій Герцена.

Понятіе *прогресса*, какъ мысль о подчиненіи личности общимъ цѣлямъ, общему движенію человѣчества, осмѣивается Герценомъ въ самомъ началѣ:

„Если прогрессъ—цѣль, то для кого мы работаемъ? „Кто этотъ Молохъ, который, по мѣрѣ приближенія къ нему „тружениковъ, вмѣсто награды пятится и, въ утѣшеніе „изнуреннымъ и обреченнымъ на гибель толпамъ, которыя ему кричатъ: morituri te salutant! только и умѣетъ „отвѣтить горькой насмѣшкой, что послѣ ихъ смерти „будетъ прекрасно на землѣ? Неужели и вы обрекаете „современныхъ людей на жалкую участь каріатидъ, поддерживающихъ террассу, на которой когда-нибудь другіе будутъ танцовать?.. или на то, чтобы быть несчастными работниками, которые, по колѣно въ грязи, „тащутъ барку съ таинственнымъ руномъ и съ смиренной надписью „прогрессъ въ будущемъ“ на флагѣ? „Утомленные падаютъ на дорогѣ, другіе съ свѣжими силами принимаются за веревки, а дороги, какъ вы сами „сказали, остается столько-же, какъ при началѣ, потому „что прогрессъ безконеченъ. Это одно должно-бы было „насторожить людей; цѣль безконечно далекая не цѣль, „а, если хотите, уловка; цѣль должна быть ближе, по „крайней мѣрѣ заработная плата, или наслажденіе въ „трудѣ“.

„Родовой ростъ—не цѣль, какъ вы полагаете, а „свойство преемственно продолжающагося существованія „поколѣній. Цѣль для каждаго поколѣнія—оно само.

„Природа не только никогда не дѣлаетъ поколѣній „средствами для достиженія будущаго,—но она вовсе „объ будущемъ не заботится; она готова, какъ Клео„патра, распустить въ винѣ жемчужину, лишь-бы потѣ„шиться въ настоящемъ; у нея сердце баядеры и вак„ханки".

„Вы подумали-ли порядкомъ, что̀ эта цѣль исторіи— „программа что-ли, или приказъ? Кто его составилъ, „кому онъ объявленъ? Обязателенъ онъ, или нѣтъ? „Если да, то что̀ мы—куклы, или люди въ самомъ дѣлѣ? „Нравственно свободныя существа, или колеса въ ма„шинѣ? Для меня легче жизнь, а слѣдственно и исто„рію считать за достигнутую цѣль, нежели за средство „достиженія". (*Съ того берега*, русск. изд. 1854 года, стр. 23—26).

И такъ, прогрессъ есть не болѣе, какъ „родовой ростъ". Какъ цѣль, какъ утѣшеніе, онъ не имѣетъ никакого смысла. Если-же ему придаютъ значеніе цѣли и утѣшенія, то онъ становится обидою для человѣческой личности, насмѣшкою надъ нею и даже отрицаніемъ ея свободы.

Что̀ такое *республика* въ томъ наилучшемъ смыслѣ, въ которомъ вѣруетъ въ нее цвѣтъ французскихъ республиканцевъ?

„Республика,—такъ, какъ они ее понимаютъ,—от„влеченная и неудобоисполнимая мысль, плодъ теорети„ческихъ думъ, апотеоза существующаго государствен„наго порядка, преображеніе того, что̀ есть; ихъ рес„публика—послѣдняя мечта, поэтическій бредъ стараго „міра" (стр. 51).

„Народъ не вѣритъ теперь въ республику, и пре„восходно дѣлаетъ; пора перестать вѣрить въ какую-бы

„то ни было единую спасающую церковь. Религія рес-„публики была на мѣстѣ въ 93 г., и тогда она была „колоссальна, велика, тогда она произвела этотъ вели-„чавый рядъ гигантовъ, которыми замыкается длинная „эра политическихъ переворотовъ. Формальная респуб-„лика показала себя послѣ іюньскихъ дней. Теперь на-„чинаютъ понимать несовмѣстность „братства и равен-„ства“ съ этими капканами, называемыми ассизами; „свободы и этихъ бойнь подъ именемъ военносудныхъ „коммиссій; теперь никто не вѣритъ въ подтасованныхъ „присяжныхъ, которые рѣшаютъ въ жмурки судьбу лю-„дей безъ аппеляціи;—въ гражданское устройство, за-„щищающее только собственность, ссылающее людей „въ видѣ мѣры общественнаго спасенія, содержащее „хоть сто человѣкъ постояннаго войска, которые, не „спрашивая причины, готовы спустить курокъ по пер-„вой командѣ“ (стр. 86).

Но нѣтъ-ли бо̀льшей состоятельности въ мечтахъ соціалистовъ? Не возможно-ли ожидать мирнаго переворота вслѣдствіе лучшаго распредѣленія собственности?

„Подумайте, въ чемъ можетъ быть этотъ перево-„ротъ исподволь? Въ раздробленіи собственности въ родѣ „того, что̀ было сдѣлано въ первую революцію?—Ре-„зультатъ этого будетъ тотъ, что всѣмъ на свѣтѣ будетъ „мерзко; мелкій собственникъ — худшій буржуа изъ „всѣхъ; всѣ силы, таящіяся теперь въ многострадаль-„ной, но мощной груди пролетарія, изсякнутъ; правда, „онъ не будетъ умирать съ голода, да на томъ и оста-„новится, ограниченный своимъ клочкомъ земли, или „своей каморкой въ рабочихъ казармахъ. Такова пер-„спектива мирнаго, органическаго переворота. Если это

„будетъ, тогда главный потокъ исторіи найдетъ себѣ „другое русло; онъ не потеряется въ пескѣ и глинѣ, „какъ Рейнъ; человѣчество не пойдетъ узкимъ и грязнымъ проселкомъ,—ему надобно широкую дорогу". (стр. 65).

Вообще, вѣра въ человѣчество, надежда на наступленіе впереди какого-то золотого вѣка—кажутся Герцену неразумными увлеченіями, новымъ видомъ самаго напряженнаго идеализма. Обращаясь къ вольнодумцу, къ человѣку, потерявшему всякую религіозность, онъ говоритъ:

„Объясните мнѣ, пожалуйста, отчего вѣрить въ „Бога—смѣшно, а вѣрить въ человѣчество не смѣшно? „Вѣрить въ царство небесное глупо, а вѣрить въ земныя утопіи—умно? Отбросивши положительную религію, мы остались при всѣхъ религіозныхъ привычкахъ „и, утративъ рай на небѣ,—вѣримъ въ пришествіе рая „земнаго и хвастаемся этимъ. Я не отрицаю ни величія, ни пользы вѣры; это великое начало движенія, „развитія, страсти въ исторіи; но вѣра въ душѣ людской или частный фактъ, или эпидемія. Натянуть ее „нельзя, особенно тому, кто допустилъ разборъ и недовѣрчивое сомнѣніе" (стр. 134).

Въ этихъ словахъ слышится не только невѣріе въ счастливое будущее Европы, но и критика самаго направленія европейскихъ умовъ. Герценъ ясно видитъ, что соціалистическія мечты отчасти составляютъ извращеніе религіозныхъ инстинктовъ, что Западъ, отказываясь отъ Бога и Христа, не отказался отъ католичества. Вообще, Герценъ жалуется не только на прямое паденіе и вымираніе Европы, но еще больше на отсутствіе въ ней идеаловъ; онъ доказываетъ несостоятельность тѣхъ

идей, тѣхъ принциповъ, которые она проповѣдуетъ. Европа не только не можетъ исполнить своихъ желаній: она не знаетъ, чего ей желать. Казалось-бы, чего яснѣе и проще, какъ давнишняя проповѣдь, что нужно питать *любовь къ человѣчеству*? Но вотъ что̀ говоритъ объ этомъ Герценъ:

„Я, наконецъ, не могу выносить равнодушно эту „вѣчную реторику патріотическихъ и филантропическихъ „разглагольствованій, не имѣющихъ никакого вліянія „на жизнь".

„Какой смыслъ всѣхъ разглагольствованій противъ „эгоизма, индивидуализма? Что̀ такое *братство*? Что̀ такое „индивидуализмъ?—И что̀—любовь къ человѣчеству?"

„Разумѣется, люди эгоисты, потому что они *лица*. „Какъ-же быть самимъ собою, не имѣя рѣзкаго созна„нія своей личности?"

„Моралисты говорятъ объ эгоизмѣ какъ о дурной „привычкѣ, не спрашивая, можетъ-ли человѣкъ быть „человѣкомъ, утративъ живое чувство личности, и не го„воря, что̀ за замѣна ему будетъ въ „братствѣ" и въ „любви къ человѣчеству"; не объясняя даже, почему „слѣдуетъ брататься со всѣми и что̀ за долгъ любить „всѣхъ на свѣтѣ? Мы равно не видимъ причины ни лю„бить, ни ненавидѣть что-нибудь только потому, что „оно существуетъ. Оставьте человѣка свободнымъ въ „своихъ сочувствіяхъ; онъ найдетъ, кого любить и съ „кѣмъ быть братомъ; на это ему не нужно ни запо„вѣди, ни приказа; если-же онъ не найдетъ, это его „дѣло и его несчастіе". (стр. 172—174).

Въ другомъ мѣстѣ, Герценъ еще рѣзче выражаетъ противорѣчіе всякихъ старыхъ и новыхъ идеаловъ съ проповѣдью о независимой личности.

„Подчиненіе личности“, говоритъ онъ, „обществу, „народу, человѣчеству, идеѣ,—продолженіе человѣче„скихъ жертвоприношеній, закланіе агнца для прими„ренія Бога, распятіе невиннаго за виновныхъ. Покор„ность значитъ съ тѣмъ вмѣстѣ перенесеніе всей само„бытности лица на всеобщія, безличныя сферы, незави„симыя отъ него. Лицо, истинная, дѣйствительная мо„нада общества, было всегда пожертвовано какому-ни„будь общему понятію, собирательному имени, какому„нибудь знамени“. (стр. 168).

„Хотите-ли вы *свободы* монтаньяровъ, *порядка* за„конодательнаго собранія, египетскаго устройства ра„ботъ коммунистовъ?“ (стр. 164).

И наконецъ, Герценъ видитъ, что самое понятіе свободы несостоятельно, что въ томъ стремленіи къ свободѣ, которое такъ живо было въ немъ самомъ и которое составляетъ душу столькихъ мечтаній и столькихъ политическихъ движеній современной Европы, есть что-то фальшивое, неправильное, неуясненное. Герценъ старается освободиться отъ власти этого понятія. Въ главѣ, носящей ироническое заглавіе: Consolatio и эпиграфъ изъ Гете:

Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein,

Герценъ такъ разсуждаетъ о свободѣ:

„Я ненавижу фразы, къ которымъ мы привыкли, „какъ къ символу вѣры; какъ-бы онѣ ни были съ виду „нравственны и хороши, онѣ связываютъ мысль, поко„ряютъ ее. Думали-ли вы когда-нибудь, что̀ значатъ „слова: „человѣкъ родится свободнымъ“? Я вамъ ихъ „переведу; это значитъ: человѣкъ родится звѣремъ, не „больше. Возьмите табунъ дикихъ лошадей; совершен„ная свобода и равное участіе въ правахъ, полнѣйшій

„коммунизмъ. За то развитіе невозможно. Рабство— „первый шагъ къ цивилизаціи. Для развитія надобно, „чтобы однимъ было гораздо лучше, а другимъ гораздо „хуже; тогда тѣ, которымъ лучше, могутъ идти впе„редъ на счетъ жизни остальныхъ. Природа для раз„витія ничего не жалѣетъ. Человѣкъ—звѣрь съ необык„новенно хорошо устроеннымъ мозгомъ; тутъ его мощь. „Онъ не чувствовалъ въ себѣ ни ловкости тигра, ни „львиной силы; у него не было ни ихъ удивительныхъ „мышцъ, ни такого развитія внѣшнихъ чувствъ; но въ „немъ нашлась бездна хитрости, множество смирныхъ „качествъ, которыя, съ естественнымъ побужденіемъ „жить стадами, поставили его на начальную ступень „общественности. Не забывайте, что человѣкъ любитъ „подчиняться; онъ ищетъ всегда къ чему-нибудь при„слониться, за что-нибудь спрятаться; въ немъ нѣтъ „гордой самобытности хищнаго звѣря. Онъ росъ въ по„виновеніи семейномъ, племенномъ; чѣмъ сложнѣе и „круче связывался узелъ общественной жизни, тѣмъ въ „бо̀льшее рабство впадали люди. Ни одинъ звѣрь, кро„мѣ породъ „развращенныхъ человѣкомъ“, какъ назы„валъ домашнихъ звѣрей Байронъ, не вынесъ-бы этихъ „человѣческихъ отношеній“. (стр. 125, 126).

„Руссо сказалъ: „человѣкъ родится быть свобод„нымъ,—и всегда въ цѣпяхъ!“ Я вижу тутъ насиліе „исторіи, презрѣніе фактовъ, а это для меня невыно„симо; меня оскорбляетъ самоуправство. Къ тому-же— „превредная метода впередъ рѣшать именно то, что̀ со„ставляетъ трудность вопроса. Что̀ сказали-бы вы че„ловѣку, который, грустно качая головой, замѣтилъ-бы „вамъ, что „рыбы родятся для того, чтобы летать, и „вѣчно плаваютъ?“ (стр. 119).

Какой-же выводъ, какой окончательный результатъ этихъ сомнѣній и исканій? Въ послѣдней главѣ *Съ того берега*, подъ заглавіемъ: „Omnia mea mecum porto“, писанной въ 1850 г., но появившейся только въ русскомъ изданіи 1854 г., Герценъ очень ясно выражаетъ свое рѣшеніе.

„Я совѣтую“, говоритъ онъ, „вглядѣться, идетъ-ли „въ самомъ дѣлѣ масса туда, куда мы думаемъ, что „она идетъ; я совѣтую бросить книжныя мнѣнія, кото„рыя намъ привили съ ребячества, представляя людей „совсѣмъ иными, нежели они есть. Я хочу прекратить „„безплодный ропотъ и капризное неудовольствіе“, хочу „примирить съ людьми, убѣдивши, что они не могутъ „быть лучше, что вовсе не ихъ вина, что они такіе“.

„Вмѣсто того, чтобы увѣрять народы, что они страст„но хотятъ того, чего мы хотимъ, лучше было-бы поду„мать, хотятъ-ли они на сію минуту чего-нибудь, и, если „хотятъ совсѣмъ другаго,—сосредоточиться, сойти съ „рынка, отойти съ миромъ, не насилуя другихъ и не „тратя себя“.

Впослѣдствіи, Герценъ изобразилъ свое настроеніе этого періода въ слѣдующихъ энергическихъ выраженіяхъ:

„Статьями „Съ того берега“ я преслѣдовалъ въ „себѣ послѣдніе идеалы, я ироніей мстилъ имъ за боль „и обманъ... Я утратилъ *вѣру въ слова и знамена*, въ „*канонизированное человѣчество и единую спасающую* „*церковь западной цивилизаціи*...“ (Былое и думы, т. IV, стр. 53).

VII.

Неудовольствіе западниковъ.

Это отреченіе отъ Запада, это отверженіе всѣхъ его святынь, всѣхъ завѣтныхъ теорій и упованій, всѣхъ надеждъ на прогрессъ и разумъ, на единую цивилизацію и ея носительницу—Европу, естественно должно было не понравиться нашимъ западникамъ, должно было представиться имъ опасною и вредною ересью. Дѣйствительно, съ первыхъ же шаговъ Герцена по этому пути, въ лагерѣ западниковъ обнаруживается неудовольствіе на смѣлаго мыслителя. Уже „Письма изъ Avenue Marigny", напечатанныя въ „Современникѣ" 1847 года, возбудили нѣкоторый ропотъ. Мрачный взглядъ на Францію, на ея bourgeoisie, казался дерзостію и вольнодумствомъ. Бѣлинскій печатно высказалъ возникшее разногласіе.

„Письма изъ Avenue Marigny", говоритъ онъ, „были „встрѣчены нѣкоторыми читателями почти съ неудо„вольствіемъ, хотя въ большинствѣ нашли только одоб„реніе. Дѣйствительно, авторъ невольно впалъ въ оши„бочность при сужденіи о современномъ состояніи Фран„ціи, тѣмъ, что слишкомъ тѣсно понялъ значеніе слова: „bourgeoisie. Онъ разумѣетъ подъ этимъ словомъ только „богатыхъ капиталистовъ, и исключилъ изъ нея самую „многочисленную, и потому самую важную массу этого „сословія... Не смотря на это, въ „Письмахъ изъ „Avenue Marigny" такъ много живаго, увлекательнаго, „интереснаго, умнаго и вѣрнаго, что нельзя не читать „ихъ съ удовольствіемъ, даже во многомъ не согла„шаясь съ авторомъ". (Соч. Бѣлинск. т. XI, стр. 428).

Еще сильнѣе было разногласіе, возбужденное послѣдующими сочиненіями Герцена. Весною 1851 Грановскій писалъ Герцену изъ Москвы:

„Книги твои (то есть Vom anderen Ufer и Briefen aus „Frankreich und Italien) дошли до насъ. Я читалъ ихъ „съ радостью и съ горькимъ чувствомъ. Какой огром„ный талантъ у тебя, и какая страшная потеря для „Россіи, что ты долженъ былъ оторваться отъ насъ и „говорить чужимъ языкомъ; но, съ другой стороны, я „не могу помириться съ твоимъ воззрѣніемъ на исто„рію и человѣка. Оно, пожалуй, оправдаетъ Генау и „tutti quanti. Для такого человѣчества, какое ты пред„ставляешь въ статьяхъ своихъ, для такого скуднаго и „безплоднаго развитія, не нужно великихъ и благород„ныхъ дѣятелей. Всякому правительству можно стать „на твою точку зрѣнія и наказывать революціонеровъ „за безплодныя и ни къ чему неведущія волненія". (Пол. Зв. кн. V. 1859, стр. 218).

Разумѣется, въ своихъ взглядахъ на Францію Герценъ былъ тысячекратно правѣе, чѣмъ Бѣлинскій и его друзья. Что-же касается до возраженія Грановскаго, то оно составляетъ выводъ, который Герценъ самъ зналъ очень хорошо и который не могъ ему показаться опроверженіемъ.

Какъ бы то ни было, разногласіе съ западниками продолжалось съ этихъ поръ до конца дѣятельности Герцена: западники не хотѣли раздѣлять мрачнаго взгляда на Европу. Впослѣдствіи стала сильнѣе дѣйствовать и другая причина: западники не хотѣли раздѣлять вѣры Герцена въ Россію, въ самобытность и своеобразіе ея развитія, и постоянно укоряли Герцена въ томъ, что онъ поддерживаетъ мнѣнія ихъ общихъ враговъ—славянофиловъ.

Очевидно, Герценъ, въ силу своего ума и таланта далеко опередилъ массу своихъ бывшихъ единомышленниковъ. Въ немъ, какъ въ большомъ русскомъ писателѣ, не могло быть односторонности, исключительности; послѣдовательно, а иногда и одновременно, въ немъ говорили всѣ стороны живаго отношенія къ Западу: сперва, въ силу естественнаго идеализма, находящаго пищу въ идеалахъ Запада,—являлось отреченіе отъ своего, русскаго; потомъ—такое-же отреченіе отъ чужаго, въ силу тѣхъ-же напряженныхъ идеаловъ, въ силу ихъ послѣдовательнаго приложенія; наконецъ, когда этимъ процессомъ душа была опустошена, но вмѣстѣ и очищена отъ всѣхъ пристрастій и предразсудковъ, пробуждалась вѣра въ Россію, слышался живой, незаглушимый голосъ кровныхъ симпатій, естественнаго сочувствія къ духовной жизни родины. Съ послѣдовательностію и быстротою русскаго ума, Герценъ пробѣжалъ черезъ всѣ ступени этого процесса, котораго отдѣльныя черты безпрестанно просвѣчиваютъ въ нашей литературѣ, прошлой и настоящей. *Отчаявшійся западникъ* превратился въ *нигилистическаго славянофила*, а во многихъ отношеніяхъ оказался истинно *русскимъ человѣкомъ*.

Вотъ примѣръ и поученіе для всѣхъ нашихъ литературныхъ партій. Наше типовое, народное, нашъ особый культурно-историческій типъ—понемногу растетъ и зрѣетъ, все претворяя въ свою пользу.

1870.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Предсказаніе франко-прусской войны, сдѣланное Герценомъ.

Въ послѣдней и самой лучшей книжкѣ „Полярной Звѣзды", вышедшей въ 1868 году, Герценъ главнымъ образомъ разсуждаетъ о томъ, что латинская Европа съ 1848 года падаетъ все больше и больше. Онъ доказываетъ эту тему цѣлымъ рядомъ пестрыхъ и прихотливыхъ очерковъ, путевыхъ замѣтокъ, выписокъ, литературныхъ характеристикъ и пр., отличающихся неподражаемымъ остроуміемъ, художественною образностію и въ тоже время какой-то тихою скорбью, какимъ-то спокойствіемъ, котораго никогда не было у Герцена.

Чудесное зрѣлище городовъ Италіи,—Генуи, Флоренціи, Венеціи,—наводитъ его на мрачныя размышленія. Среди безумно-веселаго карнавала, перваго карнавала „послѣ семидесятилѣтняго плѣненія", онъ задаетъ себѣ вопросы:

„Есть-ли новая будущность для Венеціи?.. Да и въ „чемъ будущность Италіи вообще? Для Венеціи она въ „Константинополѣ, въ томъ, вырѣзывающемся смутными „очерками изъ-за восточнаго тумана, свободномъ союз„ничествѣ воскресающихъ Славяно-Эллинскихъ народ„ностей".

„А для Италіи?..“ (стр. 47).

„Что̀ ждетъ Италію впереди? Какую будущность „имѣетъ она, обновленная, объединенная, независимая?“

„Вопросъ этотъ отбрасываетъ насъ разомъ въ страш„ную даль, во вся тяжкія самыхъ скорбныхъ предме„товъ. Онъ прямо касается тѣхъ внутреннихъ убѣжде„ній, которыя легли въ основу нашей жизни“.

„Я сомнѣваюсь въ будущности латинскихъ народовъ“.

„Конечно, если земной шаръ не дастъ трещины, „если комета не пройдетъ слишкомъ близко и не на„калитъ нашей атмосферы, Италія и въ будущемъ бу„детъ Италіей, страной синяго неба и синяго моря, „изящныхъ очертаній, прекрасной, симпатической при„роды людей, людей музыкальныхъ, художниковъ отъ „природы. Конечно и то, что весь этотъ военный и „штатскій remue ménage, и слава, и позоръ, и падшія „границы, и возникающія камеры, все это отразится въ „ея жизни:—она изъ клерикально-деспотической сдѣ„лается (и дѣлается) буржуазно-парламентской, изъ де„шевой—дорогой, изъ неудобной—удобной, и пр. и пр. „Но этого мало, и съ этимъ далеко не уйдешь. Не ду„ренъ и другой берегъ, который омываетъ тоже синее „море, не дурна и та доблестная и угрюмая порода „людей, которая живетъ за Пиренеями; внѣшняго врага „у нея нѣтъ, камера есть, наружное единство есть... „ну, что̀ же при всемъ этомъ Испанія?“

„Помнится, я упоминалъ объ отвѣтѣ Томаса Кар„лейля мнѣ, когда я ему говорилъ о строгостяхъ па„рижской цензуры: „Да что вы такъ на нее сердитесь?“ „замѣтилъ онъ; „заставляя французовъ молчать, Напо„леонъ сдѣлалъ имъ величайшее одолженіе; имъ нечего „сказать, а говорить хочется... Наполеонъ далъ имъ

„внѣшнее оправданіе...“ Я не говорю, насколько я со-„гласенъ съ Карлейлемъ, но спрашиваю себя: будетъ-„ли что̀ Италіи сказать и сдѣлать на другой день по-„слѣ занятія Рима?“

„До Рима все пойдетъ недурно, хватитъ и энергіи, и „силы, лишь бы хватило денегъ... Въ Римѣ все пере-„мѣнится, все оборвется... Тамъ кажется заключеніе, „вѣнецъ; совсѣмъ нѣтъ,—тамъ начало“.

„Народы, искупающіе свою независимость, никогда „не знаютъ (и это превосходно), что независимость сама „по себѣ ничего не даетъ, кромѣ правъ совершенно-„лѣтія, кромѣ мѣста между перами, кромѣ признанія „гражданской способности совершать акты—и только“.

„Какой-же актъ возвѣстится намъ съ высоты Ка-„питолія и Квиринала? Что̀ провозгласится міру на „Римскомъ Форумѣ, или на томъ балконѣ, съ кото-„раго папа вѣка̀ благословлялъ вселенную и городъ?“ (стр. 51—54).

За тѣмъ Герценъ разсказываетъ, что уже теперь ясно обнаружилось, что Италіи нечѣмъ жить, то есть, что у нея нѣтъ идеаловъ, стремленіе къ которымъ могло-бы наполнить ея жизнь, дать ей внутреннее удовлетвореніе. Лестная роль большаго государства чрезвычайно тяжела для Италіи, не по ея силамъ. Представительная система не принесла никакой радости, такъ какъ она, по самой сущности, есть „великое покамѣстъ, которое перетираетъ углы и крайности обѣихъ сторонъ въ муку и выигрываетъ время, когда нѣтъ ничего яснаго въ головѣ, или ничего возможнаго на дѣлѣ“. Нынѣшняго правительства Итальянцы не любятъ, такъ какъ оно дѣлаетъ глупости, лишено такта и умѣнья.

Упадокъ Франціи еще яснѣе, еще поразительнѣе.

Прежде всего Герценъ указываетъ на возвышеніе Германіи, какъ на фактъ, въ которомъ разомъ обнаружилась сравнительная слабость Франціи.

„Центръ силъ", говоритъ онъ, „пути развитія— „все измѣнилось; скрывшаяся дѣятельность, подавленная „работа общественнаго пересозданія бросились въ дру„гія части, за французскую границу".

„Какъ только нѣмцы убѣдились, что французскій „берегъ понизился, что страшныя революціонныя идеи „ея повѣтшали, что бояться ея нечего,—изъ-за крѣ„постныхъ стѣнъ прирейнскихъ показалась прусская „каска".

„Франція все пятилась, каска все выдвигалась. Сво„ихъ Бисмаркъ никогда не уважалъ; онъ навострилъ оба „уха въ сторону Франціи, онъ нюхалъ воздухъ оттуда, „и, убѣдившись въ прочномъ пониженіи страны, онъ „понялъ, что время Пруссіи настало. Понявши, онъ „заказалъ планъ Мольтке, заказалъ иголки оружейни„камъ, и систематически, съ нѣмецкой безцеремонной „грубостью, забралъ спѣлыя нѣмецкія груши и ссыпалъ „ихъ Фридриху Вильгельму въ фартукъ".....

. . . . . .

„Я не вѣрю, чтобы судьбы міра оставались надол„го въ рукахъ нѣмцевъ и Гогенцоллерновъ. Это невоз„можно, это противно человѣческому смыслу, противно „человѣческой эстетикѣ. Я скажу, какъ Кентъ Лиру, „только обратно: „Въ тебѣ, Боруссія, нѣтъ ничего, „что бы я могъ назвать царемъ". Но все-же, Пруссія „отодвинула Францію на второй планъ и сама сѣла на „первое мѣсто. Но все-же, окрасивъ въ одинъ цвѣтъ „пестрые лоскутья нѣмецкаго отечества, она будетъ „предписывать законы Европѣ, по самой простой при-

„чинѣ, потому что у нея больше штыковъ и больше „картечей“.

„За прусской волной подымается еще другая, не „очень заботясь, нравится это или нѣтъ классическимъ „старикамъ“.

„Воскреситъ-ли латинскую Европу дерущая уши „прусская труба *послѣднюю* военнаго суда? Разбудитъ-„ли ее приближеніе *ученыхъ* варваровъ?“

„Chi lo sa?“ (стр. 62).

Внутреннее паденіе Франціи, изсякновеніе въ ней жизни и свѣта, мастерски и подробно изображено Герценомъ. Отъ міра женщинъ легкаго поведенія, въ которомъ *гризетка* исчезла и появилась такъ называемая *собака*, до міра поэзіи, въ которомъ геніальный Викторъ Гюго простирается во прахъ передъ Парижемъ, боготворитъ этотъ городъ, какъ нѣкогда римляне боготворили Нероновъ и Каракаллъ,—все носитъ на себѣ черты извращенія и гибели. Полиція, театры, журналы, рѣчи, произносимыя въ академіи наукъ, всемірная выставка, книги,—все перебралъ Герценъ и вездѣ открылъ страшную печать нравственной смерти. Онъ останавливается часто на мелочахъ, на подробностяхъ, но справедливо называетъ это микроскопическою анатоміею, неотразимо доказывающею разложеніе живыхъ тканей.

Въ особой главѣ подъ названіемъ *Даніилы*, Герценъ перечисляетъ тѣхъ французовъ, у которыхъ явилось, наконецъ, сознаніе, что Франціи угрожаетъ мрачное будущее. Болѣе или менѣе ясныя пророчества грядущихъ бѣдъ высказаны были Ламене, Эдгаромъ Кине, Маркомъ Дюфрессомъ, Эрнестомъ Ренаномъ. Всѣ они слышали и чувствовали, что страна ихъ нравственно падаетъ.

И, въ заключеніе всей картины, Герценъ самъ дѣлаетъ предсказаніе, при томъ не какое-нибудь общее, а совершенно ясное и опредѣленное, такъ что, сравнивая это предсказаніе съ современными событіями, нельзя не прійти въ изумленіе. Какъ выводъ изъ всего имъ сказаннаго, какъ результатъ, неизбѣжно вытекающій изъ всѣхъ наблюденій и размышленій, Герценъ написалъ слѣдующее:

„Святой отецъ—теперь ваше дѣло!“ *)

„Эти слова мнѣ такъ и хочется повторить Бисмар„ку. Груша зрѣла, и безъ его сіятельства дѣло не обой„дется. Не церемоньтесь, графъ!“

„Я не дивлюсь тому, что дѣлается, и не имѣю пра„ва дивиться; я давно кричалъ свое: *берегись, берегись!..* „Я просто прощаюсь, и это тяжело“.

„Мнѣ жаль страны, которой первое пробужденіе я „видѣлъ своими глазами и которую теперь вижу изна„силованную и обезчещенную“.

„Мнѣ жаль этого Мазепу, котораго отвязали отъ „хвоста одной имперіи, чтобы привязать къ хвосту „другой“.

„Мнѣ жаль, что я правъ; я—словно соприкосно„венный къ дѣлу тѣмъ, что въ общихъ чертахъ его „предвидѣлъ. Я досадую на себя, какъ досадуетъ дитя „на барометръ, предсказавшій бурю и испортившій про„гулку“.

За тѣмъ Герценъ упоминаетъ объ арестѣ Гарибальди, о томъ, какъ Франція подняла войну за папу, какъ она остановила революціонное движеніе Италіи, и заключаетъ:

---

*) Филиппъ II-й говоритъ великому инквизитору въ «Донъ Карлосѣ» Шиллера.

„Кто послѣ этого не понялъ Франціи, тотъ слѣпо-„рожденный“.

„*Графъ Бисмаркъ, теперь ваше дѣло!*“

„А вы, Маццини, Гарибальди, послѣдніе Могикане, „сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь васъ не „нужно. Вы свое сдѣлали. Теперь дайте мѣсто безу-„мію, бѣшенству крови, которыми или Европа себя „убьетъ, или реакція. Ну что-же вы сдѣлаете съ ва-„шими ста республиканцами и вашими волонтерами, „съ двумя-тремя ящиками контрабандныхъ ружей? Те-„перь милліонъ отсюда, милліонъ оттуда, съ иголками „и другими пружинами. Теперь пойдутъ озера крови, „моря крови, горы труповъ... а тамъ тифъ, голодъ, по-„жары, пустыри“.

„А, господа консерваторы! Вы не хотѣли даже и „такой блѣдной республики, какъ февральская, не хо-„тѣли подслащенной демократіи, которую вамъ подно-„силъ кондитеръ Ламартинъ. Вы не хотѣли ни Мац-„цини стоика, ни Гарибальди героя. Вы хотѣли *по-„рядка*“.

„Будетъ вамъ за то война, семилѣтняя, тридцати-„лѣтняя“...

Подписано: *Генуя, 31 декабря 1867 года.*

Такимъ образомъ, Герценъ предвидѣлъ будущую роль Бисмарка, предвидѣлъ нашествіе *ученыхъ варваровъ* на латинскую, классическую Европу (Италію и Францію) и предсказалъ, что оно будетъ страшно по размѣрамъ смертоубійства и будетъ наказаніемъ Франціи за ея нравственное паденіе.

Герценъ вообще очень мрачно смотрѣлъ на вещи; онъ всюду ждалъ бѣдъ, вездѣ чуялъ гибель. Мы видимъ, однако-жъ, что этотъ мрачный взглядъ не проис-

ходилъ изъ одного личнаго настроенія, что онъ содержитъ въ себѣ великую долю правды: зловѣщія пророчества сбываются.

14 авг. 1870.

II.

МИЛЛЬ

ЖЕНСКІЙ ВОПРОСЪ *).

ГЛАВА I.

Современная философія.

Время вопросовъ. — Вѣра въ разумъ. — Сущность современной популярной философіи. — *Отрицательный* смыслъ этого умственнаго движенія. — Чистый скептицизмъ.

Наше печальное время очень любитъ всякаго рода вопросы. Возбудить, поднять, поставить вопросъ считается заслугою, нѣкоторымъ умственнымъ подвигомъ. Подвергать сомнѣнію существующія мнѣнія и установившіеся порядки признается дѣломъ не только позволительнымъ, но и похвальнымъ, какъ самая правильная и

*) *Подчиненность женщины*, сочиненіе Джона Стюарта Милля. Переводъ съ англійскаго, съ предисловіемъ Николая Михайловскаго, съ приложеніемъ писемъ О. Конта къ Д. С. Миллю по женскому вопросу. С.-Петербургъ. Изданіе книгопродавца С. В. Звонарева. 1869.

О подчиненіи женщины, сочиненіе Джона Стюарта Милля. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціею и съ предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Историческіе женскіе типы. Статья Іоганна Шерра. Переводъ съ нѣмецкаго. С.-Петербургъ. 1869.

законная дѣятельность ума. Многіе притомъ увѣрены, что всѣ области человѣческой жизни такъ и кишатъ вопросами, что, стоитъ только поумнѣе взяться за любой предметъ, и онъ тотчасъ обратится въ вопросъ.

Какое странное направленіе умовъ! Давно уже замѣчено, что задавать вопросы легко, а отвѣчать на нихъ трудно; лица, занимающіяся фабрикаціею вопросовъ, очевидно берутъ на себя самую меньшую долю работы и предоставляютъ другимъ самую существенную и важную ея долю. Пословица говоритъ, что на вопросы одного дурака не съумѣютъ отвѣчать десять умниковъ. А во множествѣ случаевъ, глупость есть непремѣнное условіе для того, чтобы могъ возникнуть вопросъ. Самое простое и ясное дѣло становится вопросомъ для того, кто или не въ силахъ его уразумѣть, или не считаетъ себя обязаннымъ напрягаться для его уразумѣнія. „Я ничего не понимаю!“ кричитъ иная тупая голова; „объясните мнѣ то и это!“ И вотъ, готовы безчисленные вопросы, которые потому только и существуютъ, что есть множество глупыхъ и самоувѣренныхъ людей, не могущихъ уразумѣть вещей самыхъ простыхъ и ясныхъ.

Но таково наше печальное время, что умственное движеніе, созданіе вопросовъ и господствующихъ мнѣній, повидимому, вполнѣ предоставлено людямъ тупымъ и глупымъ. Нынче предполагается, что каждый дуракъ имѣетъ право предлагать вопросы, и что умные обязаны отвѣчать ему. Такимъ образомъ, умъ обращенъ въ слугу глупости и долженъ удовлетворять всѣмъ ея прихотямъ и капризамъ. Люди ничего непонимающіе гордо и смѣло заявляютъ свое непониманіе, какъ будто именно въ непониманіи заключается право возвышать голосъ и требовать всеобщаго вниманія; люди же хоть что-нибудь по-

нимающіе обязаны смиренно представлять свои объясненія, и горе имъ, если тупоголовые предлагатели вопросовъ найдутъ эти объясненія недостаточно для себя вразумительными! Каждый изъ дураковъ считаетъ себя въ правѣ наложить свое veto на любое мнѣніе и ученіе и не снимать этого veto до тѣхъ поръ, пока и его тупая голова не уразумѣетъ чего-нибудь въ этомъ дѣлѣ.

На это намъ замѣтятъ вѣроятно, что мы преувеличиваемъ и искажаемъ современное настроеніе умовъ. Можно, скажутъ намъ, дать всему этому движенію болѣе глубокій и правильный смыслъ. Вопросы, какъ выраженіе сомнѣнія, какъ стремленіе отдать себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ и дѣйствіяхъ, есть неизбѣжный и правильный пріемъ ума. Если нашъ вѣкъ продолжаетъ дѣло скептицизма и анализа, начатое прошлымъ вѣкомъ и даже гораздо раньше, то въ этомъ нельзя видѣть ничего дурнаго. Это признакъ того, что спящіе умы все больше и больше пробуждаются, что даже тупые люди начинаютъ мыслить, начинаютъ разсуждать и спрашивать. Причина обилія вопросовъ въ наше время не есть одна глупость и одно непониманіе, а напротивъ, избытокъ ума, предлагающаго столь глубокіе запросы, заявляющаго столь высокія требованія, что ихъ не могутъ удовлетворить существующіе мнѣнія и порядки. Вопросы возникли и усилились именно потому, что отвѣты на нихъ давались все слабѣе и несостоятельнѣе. Партія вопрошающихъ потому и получила такой побѣдный видъ, такую дерзость и развязность, что партія отвѣчающихъ все больше и больше робѣетъ, все меньше и меньше чувствуетъ въ себѣ силъ на отвѣты.

Положимъ такъ; тогда современное движеніе намъ слѣдуетъ разсматривать какъ чистый скептицизмъ, какъ

выраженіе сомнѣнія, постепенно разрушающаго существующія убѣжденія, постепенно берущаго верхъ надъ увѣренностію въ старыхъ понятіяхъ.

Но справедливо-ли это? Справедливо ли, что нашъ вѣкъ болѣетъ сомнѣніемъ, а не чѣмъ-нибудь другимъ, не какою-либо излишнею вѣрой? Сомнѣніе, дѣйствительное сомнѣніе есть чувство тяжелое и мрачное. Для человѣка, любящаго свѣтъ разума, сомнѣніе представляетъ мракъ и ужасъ. Въ жизни мысли сомнѣніе есть тоже самое, что отчаяніе въ жизни сердца. То ли мы видимъ въ полчищахъ современныхъ спектиковъ и создавателей всякаго рода вопросовъ? Похожи ли они на людей отчаявающихся? Очевидно нѣтъ. Они сіяютъ какой-то радостію, которая ясно показываетъ, что ими владѣетъ не печаль о потерянной истинѣ, а напротивъ, твердая вѣра, крѣпкое убѣжденіе.

Эту вѣру легко назвать; это вѣра въ *человѣческій разумъ*, вѣра слѣпая и фанатическая, какъ и многія другія вѣры. Эти скептики незыблемо вѣруютъ въ то, что разумъ человѣческій можетъ все разрѣшить и все постигнуть, что для него нѣтъ тайнъ ни на землѣ, ни на небѣ. Эти скептики готовы во всемъ сомнѣваться только по тому, что въ одномъ они никогда не сомнѣваются,—въ силѣ своего собственнаго разума. Оттого они такъ легкомысленно и дерзко ставятъ вопросъ за вопросомъ, возбуждаютъ сомнѣніе за сомнѣніемъ; имъ кажется, что чѣмъ скорѣе они это сдѣлаютъ, тѣмъ скорѣе они получатъ и отвѣты, разрѣшающіе эти вопросы и сомнѣнія. Такъ какъ собственный разумъ признается единственнымъ руководителемъ людей, единственною надежною вѣрою, то всѣмъ дается право спрашивать и всѣмъ внушается надежда, что они могутъ получить от-

вѣтъ, могутъ уразумѣть указанія своего единаго божества. Вотъ почему, и тупые люди, за исключеніемъ слишкомъ явныхъ идіотовъ, призваны къ этой новой утѣшительной вѣрѣ, подобно тому, какъ нѣкогда бѣдные, страждущіе и нищіе духомъ получили обѣтованіе царствія небеснаго. Всѣмъ обѣщается, что они все уразумѣютъ, что имъ будутъ разрѣшены всякіе вопросы и разъяснены всякія недоумѣнія. Признается общее равенство по разуму, подобно тому, какъ нѣкогда было провозглашено общее братство по Христу. За всѣми признается право на разумъ, точно также, какъ нѣкогда за всѣми было признано право на высшее нравственное достоинство. Приводить-ли здѣсь возникшія отсюда декламаціи противъ *аристократіи ума*, противъ слишкомъ трудныхъ наукъ, противъ умственныхъ занятій, требующихъ слишкомъ много времени и силъ? Такихъ декламацій можно множество найти въ западной литературѣ; наши новые отечественные писатели представляютъ тоже образчики, не уступающіе красотою своимъ образцамъ.

И такъ вотъ въ какомъ положеніи дѣло. Не скептицизмъ гнететъ и омрачаетъ современные умы, а ихъ воодушевляетъ и возбуждаетъ новая пламенная вѣра. Отсюда-то такой азартъ, такая торопливость и жаръ въ этомъ умственномъ движеніи. Только одна слѣпая вѣра въ разумъ могла породить столько нелѣпостей, разшевелить самыя тупыя головы, развязать самые мямлющіе языки и, такимъ образомъ, дать значительный перевѣсъ глупости надъ умомъ. Наперерывъ, въ перегонку, всѣ пустились предлагать и разрѣшать вопросы, твердо вѣруя, что они такимъ образомъ исполняютъ заповѣдь своего новаго божества, и что это божество незамедлитъ обнаружить свое всесильное могущество.

Послѣдній тупица возмечталъ, что онъ можетъ стать на ряду съ первыми умами человѣчества, и что глупости, приходящія ему въ голову, имѣютъ такое-же право на существованіе, на обсужденіе и разбирательство, какъ и завѣтнѣйшія мысли великихъ философовъ и поэтовъ. Движеніе и развитіе литературы получило странный ходъ. Чѣмъ грубѣе и тупѣе писатель смотрѣлъ на вещи, чѣмъ меньше онъ проникалъ въ ихъ глубину, тѣмъ больше онъ находилъ себѣ послѣдователей, тѣмъ значительнѣе былъ его успѣхъ въ массѣ умовъ, вѣрующихъ въ свои силы, а между тѣмъ стоящихъ на степени самаго низкаго и грубаго развитія. Такимъ образомъ вышло, что самое распространенное явленіе нынѣшняго умственнаго прогресса есть непониманіе вещей не только глубокихъ и трудныхъ, но даже самыхъ простыхъ и ясныхъ. Нынче господствуетъ не скептицизмъ, а простое тупоуміе; не высокія требованія и глубокіе запросы волнуютъ умы и истощаютъ ихъ силы въ безнадежно-трудныхъ изысканіяхъ, а напротивъ, наибольшій ходъ имѣютъ самые низменные взгляды, самыя общедоступныя и грубыя глупости.

Но намъ скажутъ опять, что мы преувеличиваемъ и клевещемъ на разумъ. Разумъ, скажутъ намъ, сдержалъ или готовъ сдержать свои обѣщанія. Если современное настроеніе не заключаетъ въ себѣ отчаянія въ достиженіи истины, то это потому, что истина дѣйствительно оказывается все болѣе и болѣе доступною человѣку. Несправедливо сказать, что въ наше время господствуетъ непониманіе и недоумѣніе: вопросы, возникающіе изъ сомнѣнія въ прежнихъ ученіяхъ и порядкахъ, не остаются на степени вопросовъ, а постепенно получаютъ новое, болѣе удовлетворительное рѣ-

шеніе. Нашъ вѣкъ—не вѣкъ скептицизма, а вѣкъ положительныхъ, твердыхъ знаній, понемногу вытѣсняющихъ прежнія шаткія и фантастическія понятія. Перевѣсъ принадлежитъ теперь не глупости, а истинамъ очевиднымъ, доступнымъ повѣркѣ каждаго, и потому не составляющимъ принадлежности немногихъ избранныхъ умовъ, а дѣлающихся собственностію массы, убѣжденіемъ каждаго, сколько-нибудь не чуждаго просвѣщенію, человѣка.

Такъ, конечно, скажутъ поборники современнаго прогресса; они, очевидно,—люди, исполненные самыхъ радужныхъ надеждъ и самой пламенной вѣры, а вовсе не унылые скептики, измученные трудными вопросами.

Если такъ, то посмотримъ-же, какъ они рѣшаютъ свои вопросы; взглянемъ на ту широкую дорогу къ истинѣ, которую они повидимому вполнѣ открыли и очистили, такъ что по ней теперь стремятся цѣлыя толпы, безъ различія степеней умственной зрѣлости. Какія истины получаютъ въ наше время все больше и больше ходу? Какія новыя рѣшенія получились для старыхъ вопросовъ? Въ чемъ состоитъ новая мудрость?

Сущность этой мудрости уже такъ ясно обнаружилась, такъ отчетливо проявилась, что ее можно выразить въ немногихъ и совершенно опредѣленныхъ словахъ. Новое рѣшеніе стародавнихъ вопросовъ, то смѣло высказываемое, какъ уже вполнѣ добытое, то предлагаемое въ видѣ отрадной и скоро имѣющей сбыться надежды, заключается въ слѣдующемъ:

Между Богомъ и природою нѣтъ разницы. Богъ есть природа, олицетворенная человѣческою фантазіей.

Между духомъ и матеріею нѣтъ разницы. Духъ есть нѣкоторая дѣятельность матеріи.

Между организмами и мертвыми тѣлами нѣтъ разницы. Организмы суть созданія физическихъ и химическихъ силъ.

Между животными и растеніями нѣтъ разницы. Чувствительность и такъ-называемое произвольное движеніе суть явленія рефлексовъ, совершающихся механически.

Между человѣкомъ и животными нѣтъ различія. Душевныя явленія человѣка совершаются точно также, какъ и у животныхъ.

Между душою и тѣломъ нѣтъ различія. Душа есть нѣкоторая дѣятельность тѣла.

Между мужчиною и женщиною нѣтъ различія. Женщина есть какъ-бы безбородый мужчина меньшаго роста, чѣмъ обыкновенно бываютъ мужчины.

Между нравственностію и стремленіемъ къ счастію нѣтъ различія. Нравственно то, что̀ ведетъ къ человѣческому благополучію.

Между прекраснымъ и полезнымъ нѣтъ различія. Прекрасно только то, что̀ ведетъ къ нѣкоторой пользѣ.

Между искусствомъ и наукою нѣтъ различія. Искусство есть только особая форма для популяризаціи истинъ науки.

Продолжать-ли этотъ списокъ новѣйшихъ истинъ, этотъ перечень блистательныхъ открытій, которыми новое время озаряетъ намъ глубочайшую природу и сущность вещей? Мы могли-бы, если-бы захотѣли, тянуть этотъ перечень сколько угодно, ибо міръ природы и міръ человѣка весьма разнообразны, и нѣтъ кажется ни одной черты этого разнообразія, въ которой-бы не усумнилось наше мудрое время. Вся совокупность человѣческихъ отношеній, всѣ эпохи исторіи съ ея не-

запамятныхъ временъ были подвергнуты дѣйствію современнаго анализа, и этотъ анализъ вездѣ увидѣлъ одно и тоже, ни въ чемъ не нашелъ никакого различія, и порѣшилъ, что дѣйствія человѣческія всегда имѣютъ одинъ и тотъ-же смыслъ, одни и тѣже побужденія. Точно такъ, всѣ явленія природы, отъ паденія камня до развитія прекраснѣйшихъ человѣческихъ формъ,—сведены новою наукою къ одному,—къ движенію атомовъ, безконечно притягивающихся, отталкивающихся, вращающихся, зыблющихся и такимъ образомъ составляющихъ ту безмѣрную и однообразную толчею, тотъ нескончаемый, безцѣльный, сѣрый вихорь, который мы называемъ мірозданіемъ. Все однообразно, все равно одно другому, все имѣетъ одинъ и тотъ-же источникъ, одну и туже сущность, одну и туже цѣль—таково глубочайшее рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, къ которому все ближе и ближе приходитъ наше время и которое оно считаетъ своимъ лучшимъ умственнымъ достояніемъ.

Читатели на этотъ разъ вѣроятно согласятся, что мы не преувеличиваемъ, что таковъ именно характеръ современной популярной философіи, пріобрѣтающей все бо̀льшую и бо̀льшую силу. Эта философія не многосложна, не трудна и не туманна, въ противность обыкновенному мнѣнію о всякаго рода философіи. Стоитъ назвать эту новую мудрость, и всѣ ее узнаютъ.

Но какой-же смыслъ въ этихъ простыхъ положеніяхъ? Какое разумѣніе вещей въ нихъ содержится? Если судить по самымъ вещамъ, то никакого. Ибо, каковы бы ни были вещи сами въ себѣ, познаніе во всякомъ случаѣ должно состоять въ томъ, чтобы эти вещи были различены между собою, чтобы найдено было ихъ взаимное разграниченіе, тотъ порядокъ, по которому

онѣ не смѣшиваются между собою, чтобы открыто было то единственное значеніе, которое принадлежитъ каждой познаваемой вещи и которое никакой другой принадлежать не можетъ. Мудрость, по самому простому опредѣленію, состоитъ въ томъ, чтобы знать *цѣну* вещамъ, то есть знать ихъ относительное достоинство, ихъ степень и мѣсто въ мірозданіи, а слѣдовательно, и ту степень и то мѣсто, которое они должны занимать въ нашихъ желаніяхъ и въ нашей любознательности. Таково старинное понятіе о мудрости, и едва-ли его придется измѣнить. По этому понятію, не тотъ мудръ, кто не видитъ никакой разницы между человѣкомъ и животными, а напротивъ тотъ, кто ясно и отчетливо понимаетъ, чѣмъ человѣкъ возвышается надъ животными, кто знаетъ цѣну истинно-человѣческихъ мыслей и дѣйствій; не тотъ мудръ, кто о женщинахъ судитъ точно также, какъ о мужчинахъ, а тотъ, кто съ величайшею тонкостію понимаетъ своеобразныя черты какъ женской, такъ и мужской натуры. Тоже самое нужно сказать и обо всемъ остальномъ. Въ каждой вещи нужно умѣть различать существенное отъ случайнаго, важное отъ маловажнаго, духъ и содержаніе отъ формы и внѣшности; а въ совокупности вещей нужно видѣть ихъ іерархію, находить тѣ центры, около которыхъ вращается мірозданіе, и умѣть съ точностью опредѣлять разстояніе, въ которомъ каждая вещь находится отъ этихъ центровъ и котораго, по самой сущности своей, она измѣнить не можетъ. Какъ *видѣть* значитъ различать предметы въ пространствѣ, по цвѣту, величинѣ, формѣ и разстоянію, такъ и *разумѣть* значитъ распредѣлять вещи въ умѣ по ихъ качеству, достоинству, сущности и важности. Знать что-нибудь

значитъ умѣть отличать знаемую вещь отъ всѣхъ другихъ вещей. И слѣдовательно, новая мудрость, утверждающая, что для нея вещи другъ отъ друга не различаются, тѣмъ самымъ утверждаетъ, что она ничего о нихъ не знаетъ, что она отрекается отъ познанія, что она забыла, или потеряла, и то первое вѣдѣніе, которое, по священнымъ сказаніямъ, получилъ первый человѣкъ и которое состояло тоже въ умѣньи различать, именно различать доброе отъ злаго.

И такъ, не далеко-же подвинулись мы въ разрѣшеніи всякаго рода вопросовъ, и не очень блистательны результаты, получившіеся отъ нашего служенія разуму, отъ предоставленія ему полной свободы, отъ вѣры, по которой поклонники этого божества думали, что они до всего могутъ дойти собственныхъ умомъ. До чего мы дошли? Мы вернулись къ исходной точкѣ всякаго мышленія и познанія; мы на всевозможные лады твердимъ одно: мы ничего не знаемъ, мы не умѣемъ находить различія между вещами, для насъ весь міръ сливается еще въ однообразную массу, въ которой мы еще не умѣемъ разглядѣть ни единой черты гармоніи и порядка!

При томъ,—какое нелѣпое положеніе! Предаваясь умствованіямъ и разглагольствіямъ, которыхъ существенный смыслъ есть исповѣданіе невѣдѣнія, эти люди, однако же, твердо увѣрены, что они владѣютъ цѣлыми сокровищами истины. Они бродятъ въ густѣйшихъ потемкахъ, а воображаютъ, что ихъ окружаетъ свѣтъ, и что даже сами они носители этого свѣта. Къ такому странному ослѣпленію привела вѣра въ разумъ. Если перевѣсъ въ нынѣшнемъ умственномъ движеніи принадлежитъ не глупцамъ, то во всякомъ случаѣ онъ до-

стался на долю слѣпцовъ, на долю людей съ тупымъ и близорукимъ зрѣніемъ, для которыхъ весь міръ обратился въ сѣрый хаосъ, и которые всѣмъ хоромъ стали увѣрять, что разнообразіе, красота и стройность міра есть ложь и выдумка коварныхъ хитрецовъ, желающихъ захватить власть надъ ними, слѣпцами, и что, въ сущности, какъ въ этомъ легко убѣдится каждый слѣпецъ собственнымъ опытомъ, всѣ вещи имѣютъ сѣрый цвѣтъ, или даже вовсе не имѣютъ никакого цвѣта.

И такъ, если мы хотимъ усмотрѣть разумный и законный смыслъ въ современномъ умственномъ движеніи, то никакъ не должны толковать его въ положительную сторону, видѣть въ немъ прогрессъ познанія. Единственный правильный смыслъ его — *отрицательный*; единственная разумная рѣчь современнаго мудреца была бы такого рода: я не знаю различія между вещами и не берусь его указать; но я убѣдился, что то различіе, которое признавалось прежними понятіями, несправедливо, несостоятельно. Я не умѣю рѣшать вопросовъ, но нахожу, что существующее ихъ рѣшеніе негодится. Напримѣръ, я не знаю, въ чемъ заключается разница между человѣкомъ и животными, но меня не удовлетворяетъ то объясненіе, что у животныхъ не достаетъ особой сущности, души, которая есть у человѣка. Я не знаю, въ чемъ состоитъ тайна психическихъ явленій, но не нахожу, чтобы признаніе существованія въ тѣлѣ особаго духовнаго начала было ихъ дѣйствительнымъ объясненіемъ. Словомъ, я не отвергаю различій, о которыхъ не знаю и не могу судить, а отвергаю только тѣ объясненія этихъ различій, какія были сдѣланы до сихъ поръ. Если я иногда выражаюсь такъ, какъ будто для меня не существуетъ никакихъ различій между ве-

щами, то это не имѣетъ того нелѣпаго смысла, будто между ними дѣйствительно нѣтъ различія, а только тотъ чисто субъективный и весьма дозволительный смыслъ, что я самъ не имѣю еще основаній, чтобы твердо и ясно судить объ этихъ различіяхъ, и что существующія до сихъ поръ основанія для такихъ сужденій меня не удовлетворяютъ.

Вотъ единственный разумный смыслъ, который имѣетъ современная популярная философія. Этотъ смыслъ заключается не въ новыхъ взглядахъ, не въ расширеніи познаній, не въ лучшемъ, болѣе свѣтломъ и общедоступномъ постиженіи вещей, а въ *чистомъ скептицизмѣ*, который, какъ мы уже замѣтили, всегда законенъ, если представляетъ правильное стремленіе ума отдать себѣ отчетъ въ своихъ сужденіяхъ. Было-бы великою нелѣпостію съ нашей стороны, еслибы мы упускали изъ виду эту законную сторону современнаго умственнаго движенія; но, въ то же время, мы бы очень дурно понимали это движеніе, еслибы вообразили, что здравый скептицизмъ составляетъ его душу. Его истинныя двигательныя силы—общераспространенная тупость пониманія, вѣра въ собственный разумъ и самообольщеніе познаніями, которыя подъ видомъ лучшаго постиженія вещей содержатъ въ себѣ только отрицаніе всякаго ихъ познанія.

Предъидущимъ небольшимъ разсужденіемъ мы приготовили себѣ нѣкоторыя твердыя точки для сужденій о явленіяхъ нынѣшней популярной философіи. Эти точки—слѣдующія:

1. Новая философія не содержитъ въ себѣ никакого рѣшенія вопросовъ, которыми она занимается. Относительно каждаго такого вопроса можно доказать, что

онъ, несмотря на всѣ толки этой философіи, сохраняетъ всю свою глубину и загадочность.

2. Самая глупая черта новой философіи заключается въ убѣжденіи, что она имѣетъ силу разрѣшать вопросы. Всего нелѣпѣе тѣ писатели и тѣ сочиненія, которыя провозглашаютъ, какъ новое открытіе и рѣшеніе, что между предметами, входящими въ вопросъ, нѣтъ никакого различія.

3. Всего умнѣе тѣ писатели и тѣ сочиненія, которыя всего ближе держатся скептицизма, и слѣдовательно какъ можно меньше покушаются на рѣшеніе вопросовъ.

А впрочемъ, и все вмѣстѣ взятое, т. е. и вопросъ, и новое рѣшеніе, и самое сомнѣніе въ прежнемъ рѣшеніи, можетъ оказаться сплошнымъ вздоромъ, сплошною глупостью. Этого никакъ не должно упускать изъ виду, если мы не желаемъ впасть въ глубокую ошибку, именно, приписать болѣзненному и фальшивому броженію мыслей важность дѣйствительнаго философскаго движенія. Сомнѣніе въ вещахъ очевидныхъ, сильно затрогивающихъ умъ и сердце, собственно несравненно нелѣпѣе, чѣмъ признаніе извѣстныхъ взглядовъ на эти вещи, положимъ взглядовъ одностороннихъ и грубыхъ, но все-таки дающихъ нѣкоторый отвѣтъ на то, на что отвѣтъ непремѣнно требуется и непремѣнно существуетъ. Понятно и извинительно, если человѣкъ увлекается подобіемъ истины и красоты; но какое извиненіе пріискать для того, кто глухъ на всякіе доводы и не понимаетъ вещей, которыя должны бы громко говорить въ душѣ каждаго? Есть случаи, когда незнаніемъ и непониманіемъ отговариваться невозможно, когда сомнѣніе оказывается не стремленіемъ углубиться въ вопросъ, а слѣпотою ума и глухотою сердца.

Вотъ точки зрѣнія, съ которыхъ, какъ мы думаемъ, слѣдуетъ разсматривать *женскій вопросъ*, какъ и многіе другіе современные вопросы. Книжка Милля, какъ и всѣ его другія произведенія, очень удобно подводится подъ эти точки зрѣнія.

ГЛАВА II.

Причины различія между мужчиною и женщиною.

Милль—скептикъ.—Его постановка вопроса.—Его тайная мысль.—Право сильнаго.—Природа женщины неизвѣстна.—Ея сердце испорчено.—Женщины опоздали и не успѣли.—Наука объ образованіи характера.

Женскій вопросъ есть вопросъ весьма легкій, конечно не самъ по себѣ, не по сущности тѣхъ вещей, которыя входятъ въ него, а по тому виду, въ какомъ этотъ вопросъ существуетъ въ современной литературѣ, по малосодержательности и легкости тѣхъ разсужденій, которыя къ нему относятся. Контрастъ между дѣйствительною сущностью дѣла и между постановкою его у нынѣшнихъ популярныхъ философовъ такъ великъ, что рѣзко и ясно бросается въ глаза. Вотъ почему мы не побоялись взять на свою отвѣтственность нѣсколько простыхъ замѣчаній, которыя намѣрены предложить читателямъ.

Дѣло наше будетъ не трудное. Мы не пишемъ трактата о различіи между мужчинами и женщинами, мы не имѣемъ ни нужды, ни обязанности правильно и ясно формулировать самый вопросъ, о которомъ идетъ

рѣчь (задача вовсе не легкая, какъ то извѣстно всякому серьезно-мыслившему человѣку); мы обязаны только точно анализировать нѣкоторыя мнѣнія объ этомъ вопросѣ, ту постановку, которую ему даютъ современные мыслители, и намъ кажется, что эта новая мудрость вовсе не требуетъ для своего постиженія большихъ усилій.

Весь смыслъ книжки Милля, ея главное положеніе, къ которому сводятся всѣ остальныя разсужденія, заключается въ слѣдующихъ словахъ:

„Никто въ настоящее время не имѣетъ права утвер„ждать даже, что есть *какая-нибудь разница* между „обоими полами, разсматриваемыми какъ разумныя и „нравственныя существа". (*Подч. женщ.* стр. 56).

Вотъ полная формулировка женскаго вопроса по Миллю. Вотъ та истина, которую онъ считаетъ вполнѣ доказанною, вполнѣ несомнѣнною. Всѣ другія свои разсужденія онъ выдаетъ только за догадки и предположенія, но это положеніе имѣетъ въ его глазахъ совершенную достовѣрность.

Сдѣлаемъ нѣкоторыя необходимыя поясненія.

Милль—скептикъ по самой сущности своего ума; въ скептицизмѣ заключается единственная важность, которую имѣютъ его труды; скептицизмъ дѣлаетъ его умнѣйшимъ изъ современныхъ популярныхъ мыслителей. Но, къ великому сожалѣнію, онъ самъ не знаетъ, въ чемъ заключается его сильная сторона, онъ преспокойно воображаетъ, что обладаетъ орудіями для добыванія положительныхъ результатовъ, и потому постоянно пытается не только ставить вопросы, но и рѣшать ихъ. Въ сущности, *Система Логики*, которую онъ написалъ, есть наука не о томъ, какъ познавать вещи, а о томъ,

какъ сомнѣваться въ вещахъ и ихъ познаніи. Въ основѣ этой книги лежитъ *отрицаніе мышленія*, какъ силы способной къ познанію. Съ замѣчательною послѣдовательностью, Милль проводитъ свой анализъ по всѣмъ пріемамъ мышленія и въ каждомъ изъ нихъ отрицаетъ тотъ элементъ, который дѣлаетъ изъ этого пріема орудіе познанія. Если бы Милль твердо держался этой точки зрѣнія, и если бы самый его скептицизмъ былъ чѣмъ-либо новымъ, а не составлялъ прямаго продолженія и развитія скептицизма Давида Юма, то Милль былъ-бы очень важнымъ философскимъ явленіемъ. Въ настоящей же своей дѣятельности, Милль представляетъ только интересный примѣръ человѣка непослѣдовательнаго, который стремится согласовать съ своимъ скептицизмомъ разныя положительныя истины, любезныя ему совершенно независимо отъ его философскихъ взглядовъ.

Какъ бы то ни было, въ женскомъ вопросѣ Милль оказался скептикомъ и придумалъ для этого вопроса умнѣйшую формулу, какую этотъ вопросъ допускаетъ, а именно, что до сихъ поръ будто бы *мы не знаемъ между мужчинами и женщинами, какъ разумными и нравственными существами, никакой разницы.*

Точный смыслъ этихъ словъ вотъ какой: Милль допускаетъ, что существуетъ *физическая* разница между людьми того и другаго пола; но относительно умственныхъ способностей и нравственныхъ качествъ онъ утверждаетъ, что мы ничего достовѣрнаго не знаемъ. Въ этомъ отношеніи вопросъ: *въ чемъ состоитъ естественное различіе половъ*? онъ считаетъ *труднѣйшимъ изъ вопросовъ* (стр. 55) и полагаетъ, что „никто до сихъ поръ „не имѣетъ права заявлять положительное мнѣніе объ „этомъ предметѣ". (стр. 56).

Такова самая умная постановка вопроса; легко видѣть, однако-же, какъ она ведетъ къ самой глупой. Милль дѣлаетъ нѣкоторыя недурныя замѣчанія съ цѣлью показать, какъ шатки, неясны, а иногда и неправильны тѣ различія между двумя полами въ умственномъ и сердечномъ отношеніи, которыя обыкновенно указываются. Понятно, что на эту тему можно наговорить не мало умныхъ вещей. Самое остроумное и глубокомысленное изложеніе различія между данными предметами все еще допускаетъ поправку, возраженіе, поясненіе. Но бѣда въ томъ, что главная цѣль при этомъ у Милля вовсе не состоитъ въ скептической провѣркѣ существующихъ мнѣній; тайная его мысль заключается въ положительномъ признаніи, что нѣтъ никакой разницы между умомъ и сердцемъ мужчины и умомъ и сердцемъ женщины. Свой скептицизмъ Милль употребляетъ не какъ орудіе для достиженія истины, какова бы она ни была, а какъ средство достигнуть заранѣе предположенной цѣли. Онъ заявляетъ, хотя въ видѣ догадки и предположенія, что, вѣроятно, „не обнаружится никакихъ врожденныхъ стремленій, отличающихъ женскій умъ (*также точно, конечно, и нравственный женскій складъ*) отъ мужскаго“. (стр. 180).

Вотъ это и есть уже совершенная нелѣпость, это то глупое рѣшеніе женскаго вопроса, которое стало ходячимъ мнѣніемъ, пришлось по плечу новѣйшимъ просвѣщеннымъ людямъ—и составляетъ одну изъ побѣдъ тупоумія надъ разумнымъ пониманіемъ вещей. Какъ скептикъ, Милль, конечно, имѣлъ право на самыя нелѣпыя предположенія; но въ томъ и бѣда, что онъ плохой скептикъ, и ему дорого не право отрицать извѣстную истину, а право поставить на ея мѣсто одну изъ

нелѣпостей, вытекающихъ изъ ея отрицанія. Кто сомнѣвается въ томъ, что земля кругла, тотъ можетъ, конечно, сказать: можетъ быть она имѣетъ видъ куба, или цилиндра, или треугольной шляпы; истинный скептикъ нарочно придумываетъ нелѣпое предположеніе, чтобы тѣмъ показать, какъ далеки мы отъ средствъ узнать истину. Но скептикъ, предлагающій возраженія противъ круглоты земли и питающій въ тоже время тайную мысль доказать, что земля имѣетъ видъ треугольной шляпы, есть очевидно не скептикъ, а жалчайшій фантазеръ. И въ такомъ положеніи находится Милль, такъ что, если бы мы не знали его добросовѣстности и дѣйствительнаго скептическаго настроенія его ума, то могли бы подумать, что самый скептицизмъ его напущенъ имъ на себя ради предвзятыхъ цѣлей.

Милль допускаетъ физическое различіе между мужчиною и женщиною; еще бы онъ рѣшился его отвергать! Но онъ сомнѣвается въ существованіи нравственнаго и умственнаго различія; по какому же праву?

Вообще говоря, это различіе непремѣнно должно существовать, и сомнѣваться въ немъ нельзя уже a priori, въ силу чистыхъ логическихъ требованій. Ибо этого различія необходимо требуетъ уже то понятіе, что женщина и мужчина суть различные организмы; относительно органическихъ явленій имѣетъ силу правило: каждая часть и каждое явленіе опредѣленнаго организма имѣютъ на себѣ особый отпечатокъ, отражаютъ на себѣ особенность цѣлаго. Въ организмѣ все связано, все находится во взаимной зависимости и гармоніи. Увидѣвъ двухъ человѣкъ ходящихъ на подставныхъ ногахъ, я могу, конечно, предположить, что не смотря на все различіе этихъ людей, ихъ подставныя

ноги состоятъ изъ того же матеріала, имѣютъ совершенно одинаковую крѣпость и форму; но относительно живыхъ ногъ двухъ различныхъ людей я напередъ заключаю, что онѣ различны на столько же, на сколько различно и остальное тѣло. Психическій строй человѣка имѣетъ строгую параллельность съ его физическимъ строемъ. Тѣло есть оболочка души, и различіе въ тѣлесномъ устройствѣ непремѣнно влечетъ за собою различіе душевныхъ способностей. Если опытный анатомъ съ перваго взгляда отличаетъ женскую кость отъ мужской, если самые ненаблюдательные люди умѣютъ отличить женскій почеркъ отъ мужскаго, то какъ же сомнѣваться въ томъ, что и во всѣхъ психическихъ отправленіяхъ существуетъ подобная же разница?

Давно уже мы привыкли судить по этимъ категоріямъ, заранѣе признавать всестороннее различіе между вещами, имѣющими характеръ организмовъ. Если дѣло идетъ о различныхъ историческихъ эпохахъ, о различныхъ человѣческихъ племенахъ, о различныхъ народахъ и даже о мелкихъ подраздѣленіяхъ каждаго народа, вездѣ мы привыкли предполагать особый умственный и нравственный складъ, отличающій каждую группу человѣческаго рода и каждую степень развитія этой группы отъ другихъ степеней и группъ. Точно также, разсматривая языки, искусства, философскія системы, религіи, государственные и общественные строи, мы всегда полагаемъ между ними органическую разницу, то есть разницу простирающуюся на всѣ части разсматриваемаго явленія. И это не какія - нибудь гипотезы и мечтанія, а простыя требованія науки. Натуралистъ считаетъ непремѣнною и прямою обязанностію науки разрѣшать такія задачи: по одной части организма опре-

дѣлить всѣ остальныя его части. И были случаи, когда, напримѣръ, Кювье по одной кости животнаго дѣйствительно составлялъ заключенія объ особенностяхъ всего его остальнаго тѣла. Такъ точно, для антрополога существуетъ слѣдующая точная и строгая научная задача: по данному органическому различію между мужчинами и женщинами—опредѣлить всѣ другія ихъ различія, какъ въ тѣлесномъ устройствѣ, такъ и въ психическихъ отправленіяхъ. Связь непремѣнно должна быть, хотя бы мы въ настоящую минуту не умѣли указать ни единой ея черты.

Эти логическія требованія столь неизбѣжны, столь мало произвольны, что, волею или неволею, и Милль долженъ былъ имъ покоряться. Но, идя по единственному возможному пути, Милль, какъ и подобаетъ скептику, упирается на каждомъ шагу (что̀, конечно, весьма простительно) и, сверхъ того, безпрестанно сбивается на свою предвзятую мысль,—что̀ уже вовсе непростительно, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія логики.

Все различіе, которое нынѣ существуетъ между мужчинами и женщинами и которое Милль называетъ *громаднымъ* (стр. 38), онъ выводитъ изъ разницы въ физической силѣ. Мужчина, будучи сильнѣе женщины, поставилъ ее въ подчиненное положеніе, и, вслѣдствіе этого подчиненнаго положенія, развились всѣ тѣ особенности, которыя теперь отличаютъ женщинъ отъ мужчинъ.

Такъ какъ мы привыкли думать, что вообще исторія управляется нравственными идеями, что отношенія между людьми зависятъ отъ нѣкоторыхъ понятій о правахъ и обязанностяхъ, то Милль, для доказательства своей темы, старается опровергнуть подобные взгляды на исторію.

„Если люди“, говоритъ онъ, „по большей части „пребываютъ въ такомъ невѣдѣніи о томъ, до какой „степени, съ самаго существованія нашего рода, *право „сильнѣйшаго было единственнымъ общепризнаннымъ*, а „всякій другой законъ былъ исключеніемъ и послѣд„ствіемъ особыхъ отношеній, и какъ недавно еще обще„ственные порядки стали управляться, даже номинально, „какимъ-нибудь чисто нравственнымъ закономъ, то, ко„нечно, не понимаютъ и не соображаютъ того, какимъ „образомъ учрежденія и обычаи, никогда не имѣвшіе „другаго основанія, кромѣ права сильнѣйшаго, могутъ „держаться въ такихъ вѣкахъ и при такомъ состояніи „общественнаго мнѣнія, которые никогда не допустили „бы имъ заново учредиться“ (стр. 21).

Таковъ взглядъ Милля на всеобщую исторію. Нравственныя начала вошли въ эту исторію только *очень недавно*, а до этого недавняго времени она *исключительно управлялась закономъ превосходства силы* (стр. 16). Въ доказательство, Милль ссылается на разные историческіе факты, между прочимъ на то, что и до сихъ поръ существуетъ въ Европѣ абсолютная монархическая власть, которая, будто-бы, есть ничто иное, какъ военный деспотизмъ, не имѣющій никакого оправданія въ нравственной натурѣ человѣка.

Если вся исторія основана на законѣ превосходства силы, то понятно, что и положеніе женщины опредѣлилось этимъ же закономъ, а не нравственною природою женщины. Эта природа не только не была основаніемъ общественнаго положенія женщины, но до сихъ поръ остается совершенно неизвѣстною, такъ какъ была совершенно заслонена разницею физическихъ силъ. Этого мало; въ настоящее время природа женщины совер-

шенно *искажена* ненормальнымъ ея положеніемъ, и достигнуть познанія естественныхъ свойствъ женщины можно не иначе, какъ послѣ новыхъ долгихъ опытовъ, послѣ преобразованія всей нашей жизни.

„Становясь на почву здраваго смысла", говоритъ „Милль, „и основываясь на устройствѣ человѣческаго „ума (вѣроятно *души*), *я отрицаю, что кто-нибудь зналъ „или могъ знать природу обоихъ половъ до тѣхъ поръ*, „пока ихъ видѣли только въ ихъ настоящемъ положеніи „въ отношеніи другъ къ другу. Если бы когда-нибудь существовало общество мужчинъ безъ женщинъ, или женщинъ безъ мужчинъ, или существовало бы общество „мужчинъ и женщинъ, въ которомъ женщины не были „бы подвластны мужчинамъ, — тогда можно было бы „узнать что-нибудь положительное насчетъ умственныхъ „и нравственныхъ различій, *можетъ быть врожденныхъ „каждому полу*. То, что̀ теперь называется природою „женщины,—вообще въ высшей степени искусственный „результатъ принудительнаго стѣсненія въ нѣкоторыхъ „направленіяхъ, неестественнаго подстрекательства въ „другихъ. Можно не задумываясь утвердительно сказать, „что ни у одного другаго сословія зависимыхъ лицъ характеръ не былъ до такой степени искаженъ и отклоненъ *отъ своего естественнаго развитія*". (стр. 52).

И такъ, Милль допускаетъ, что *можетъ быть* есть различія, врожденныя поламъ и могущія получить естественное развитіе; но говоритъ, что мы этихъ различій не знаемъ, и что ихъ развитіе совершенно искажено. Чтобы добыть познаніе объ естественномъ различіи между полами, намъ остается одно средство—изучать его искаженіе и уклоненіе. Милль неоднократно и упорно указываетъ на существованіе особой науки, особаго отдѣла психо-

логіи, который одинъ можетъ насъ просвѣтить въ этомъ случаѣ. Это *наука о развитіи характера.* Только углубившись въ эту науку, мы будемъ въ состояніи судить, какія различія между полами естественныя, и какія искусственныя. Но, къ величайшему сожалѣнію, и самая наука эта еще совершенно неразработана, находится такъ-сказать въ одномъ предположеніи.

„Изъ всѣхъ трудностей", говоритъ Милль, „пре„пятствующихъ прогрессу мысли и развитію на здоро„выхъ основаніяхъ мнѣній о жизни и общественныхъ „порядкахъ, величайшая въ настоящее время заклю„чается *въ неизрѣченномъ невѣжествѣ и невнимательности человѣчества относительно вліяній, развивающихъ человѣческій характеръ*" (стр. 54).

Поэтому, разрѣшеніе женскаго вопроса путемъ чисто теоретическимъ, посредствомъ изученія исторіи, поэзіи, психологіи и т. д., до сихъ поръ совершенно невозможно. Таковъ главный выводъ Милля, котораго онъ строго держится.

„Естественными", говоритъ онъ, „можно считать „только тѣ различія, которыя никакимъ образомъ не „могутъ быть искусственны, т. е. которыя остаются по „устраненіи каждой особенности того или другаго пола, „могущей быть объясненной воспитаніемъ или внѣш„ними обстоятельствами. *Нужно глубочайшее знаніе за„коновъ развитія характера*, чтобы имѣть право утвер„ждать, что есть *какая-нибудь* разница, тѣмъ болѣе, *въ „чемъ* разница между обоими полами, смотря на нихъ „какъ на разумныя и нравственныя существа. А такъ „какъ никто еще не имѣетъ этого знанія (потому что „нѣтъ предмета, который, въ сравненіи съ его важ„ностію, такъ мало изучался), то *никто до сихъ поръ*

„*не имѣетъ права заявлять положительное мнѣніе объ „этомъ предметѣ.* Можно дѣлать догадки—больше ни„чего“ (стр. 56).

Вотъ скептическій взглядъ на дѣло, вполнѣ характеризующій пріемы мышленія Милля. Если строго держаться такого взгляда, то отсюда можно пожалуй вывести, что женщины въ настоящее время гораздо лучше, чѣмъ ихъ создала природа, по крайней мѣрѣ можно утверждать, что этого никто еще не имѣетъ права отрицать.

Нѣкоторыя *догадки* Милля, относящіяся къ новой наукѣ о развитіи характера, даютъ намъ полную возможность думать, что женщины, въ настоящее время, гораздо выше мужчинъ. Напримѣръ, Милль вообще говоритъ:

„Порабощеніе тамъ, гдѣ оно не окончательно об„ращаетъ порабощенныхъ въ подобіе скотовъ, хотя и „тлетворно дѣйствуетъ на нравственность обѣихъ сто„ронъ, одноке *менѣе* развращаетъ рабовъ, чѣмъ рабо„владѣльцевъ. Для нравственной натуры человѣка *здо„ровѣе* быть обуздану, чѣмъ имѣть возможность самому „пользоваться неограниченною произвольною властію“.

Изъ этого слѣдуетъ, что женщины во все теченіе исторіи развивались въ болѣе здоровыхъ, менѣе развращающихъ условіяхъ, чѣмъ мужчины, и слѣдовательно, теперь стоятъ выше мужчинъ. Выводъ этотъ относится къ нравственной сторонѣ, но и относительно умственной стороны можно сдѣлать подобную же догадку. Отчего не предположить, что исторія исказила мужской умъ въ несравненно большей степени, чѣмъ она исказила умъ женскій? Предразсудки и дикія уклоненія отъ истины, наполняющіе собою исторію, принадлежатъ преимущественно мужчинамъ; почему не предположить, что

женщины, именно потому, что всегда были менѣе пропитаны ложною мудростію, сохранили болѣе здоровые умственные инстинкты, болѣе ясный и естественный взглядъ на вещи?

Но Милль не простираетъ своего скептицизма такъ далеко. Руководимый своею тайною мыслью, онъ дѣлаетъ *догадки* совершенно въ другую сторону. Онъ предполагаетъ, что въ теченіи исторіи женская натура не улучшалась, а напротивъ становилась все хуже и хуже. Съ глубокою вѣрою въ превосходство мужской натуры,—вѣрою весьма неизвинительною для такого крайняго скептика,—Милль почитаетъ недостаткомъ женщинъ все то, чѣмъ они отличаются отъ мужчинъ. Для ясности приведемъ два существенныхъ пункта.

Извѣстно, что женское сердце—есть лучшая красота женскаго существа, что мужчины не могутъ равняться съ женщинами въ достоинствахъ сердечныхъ чувствъ. Милль видитъ въ этомъ только дурное вліяніе власти мужчинъ.

„Мужчины", пишетъ онъ, „требуютъ отъ женщины „не только, чтобы она ему повиновалась, но еще, чтобы „она отдала ему всю свою душу (*какіе злодѣи!*). Всѣ „мужчины, кромѣ настоящихъ скотовъ, желаютъ имѣть „въ женщинѣ, наиболѣе близкой къ нимъ, рабыню, „служащую имъ не по принужденію, а по доброй волѣ, „и не только рабыню, но и фаворитку" (стр. 36).

Вотъ гдѣ великое зло! Женская натура потерпѣла глубокое искаженіе вслѣдствіе того, что мужчины искали любви женщинъ, что они не удовольствовались обращеніемъ ихъ въ рабынь, какъ на Востокѣ, а пожелали сдѣлать изъ нихъ своихъ подругъ, заслужить ихъ привязанность и нѣжность.

„Всѣ нравственныя правила“, продолжаетъ Милль, „которымъ учатъ женщинъ, внушаютъ имъ, что долгъ „женщины и притомъ природное душевное влеченіе ея — „жить для другихъ, предаться полному самоотреченію „и не имѣть жизни, кромѣ какъ въ своихъ привязан„ностяхъ,—а подъ „своими привязанностями“ разу„мѣютъ только тѣ привязанности, которыя имъ позво„ляютъ имѣть,—привязанность къ мужчинамъ, которымъ „онѣ близки, или *къ дѣтямъ, которыя составляютъ по„ложительную и несокрушимую связь между ними и „однимъ мужчиной*“ (стр. 37).

И такъ, вотъ на что жалуется Милль. Любовь, которую женщина питаетъ къ мужу и дѣтямъ, ему кажется искусственною, нарочно развитою сверхъ мѣры,— какъ будто есть мѣра любви! Милль находитъ, что мужчины даже своихъ дѣтей обратили въ средство для подчиненія женщинъ и хвалятъ материнскую любовь только потому, что эта любовь даетъ имъ власть надъ женою! Нужно быть англичаниномъ, нужно очень любить власть и имѣть въ груди очень холодное сердце, для того чтобы разсуждать подобнымъ образомъ.

Какъ бы то ни было, женскій характеръ, по мнѣнію Милля, въ настоящее время искаженъ, и Милль выражаетъ надежду, что лишь со временемъ онъ, можетъ быть, исправится отъ этого недостатка.

„Если женщина“, говоритъ онъ, „дѣйствительно „чѣмъ-нибудь лучше мужчинъ, то это именно способ„ностью къ личному самопожертвованію ради членовъ „своей семьи. Но *я этому качеству не придаю особой „цѣны* до тѣхъ поръ, пока имъ со всѣхъ сторонъ вну„шаютъ и твердятъ, что онѣ рождены и созданы исклю„чительно для самопожертвованія. Я полагаю, что рав-

„поправіе *поуменьшило бы чрезмѣрное, преувеличенное „самоотреченіе,* составляющіе нынѣшній искусственный „идеалъ женскаго совершенства, и что хорошая жен„щина сдѣлалась бы не болѣе способной къ самопо„жертвованію, чѣмъ хорошій мужчина" (стр. 104).

Нашъ философъ очевидно хочетъ, чтосы все было въ мѣру; онъ хвалитъ и самоотреченіе, но только тогда, когда оно не переходитъ извѣстныхъ границъ.

И такъ, мы, мужчины, испортили женское сердце; мы-же, по словамъ Милля, не давали развиться и женскому уму, всячески его давили и задерживали. Но тутъ дѣло оказывается сложнѣе. Перебирая великихъ ученыхъ, мыслителей, художниковъ, мы никакъ не можемъ сказать, что именно тѣ мужчины отличились умственными подвигами, которые не встрѣчали никакихъ препятствій, или получили наилучшее образованіе. Напротивъ, мы привыкли думать, что геній побѣждаетъ недостатокъ благопріятныхъ условій; онъ не всегда гибнетъ при дурныхъ обстоятельствахъ. Отчего-же ничего подобнаго мы не видимъ у женщинъ? Милль не скрываетъ отъ себя этого возраженія, и вотъ какъ характеризуетъ умственную дѣятельность женщинъ:

„Если мы разсмотримъ произведенія женщинъ въ „новѣйшія времена и сравнимъ ихъ съ произведеніями „мужчинъ по литературной или художественной части,— „окажется, что недостатокъ, въ которомъ можно уко„рить ихъ, весь сводится почти исключительно на одно— „впрочемъ, надо сознаться, что это одно чуть-ли не са„мое главное: на *недостатокъ оригинальности*, т. е. не „на совершенный недостатокъ, потому что каждое про„изведеніе ума, имѣющее самобытную цѣну, имѣетъ „непремѣнно оригинальность своего рода, есть порож-

„деніе собственнаго ума, а не копія съ чего-нибудь „другаго. Оригинальныя мысли, въ смыслѣ незаимство„ванныхъ ни отъ кого, а выработанныхъ умственнымъ „процессомъ въ собственномъ мозгу, путемъ собствен„ныхъ наблюденій,—изобилуютъ въ сочиненіяхъ жен„щинъ. *Но женщины пока еще не произвели ни одной „изъ тѣхъ великихъ, свѣтлыхъ идей*, которыми отмѣ„чаются новыя эры въ мышленіи, и ни одной изъ тѣхъ „радикально новыхъ концепцій въ искусствѣ, которыя „раскрываютъ впереди цѣлый рядъ возможныхъ резуль„татовъ, до тѣхъ поръ неизвѣстныхъ, и служатъ осно„ваніемъ новымъ школамъ. Ихъ сочиненія по бо́льшей „части построены на существующемъ фундаментѣ мысли, „и ихъ творенія немного уклоняются отъ существую„щихъ типовъ“ (стр. 173).

Чѣмъ-же объяснить такой разительный фактъ? Въ этомъ случаѣ Милль уже не прибѣгаетъ къ теоріи искаженія; онъ ищетъ причинъ болѣе объективныхъ. Женщины потому не могутъ поравняться съ мужчинами въ наукахъ и художествахъ, что *слишкомъ поздно* довелось имъ вступить на это поприще.

„Съ тѣхъ поръ“, пишетъ Милль, „какъ сколько„нибудь значительное число женщинъ стало заниматься „отвлеченнымъ мышленіемъ, оригинальность уже не „могла даваться легко. *Почти всѣ результаты, до ко„торыхъ можно было дойти силою собственныхъ, само„бытныхъ способностей, давно уже достигнуты*, а ори„гинальность въ высокомъ смыслѣ теперь почти никѣмъ „не достигается, кромѣ умовъ подвергшихся тщатель„ной и строгой разработкѣ и имѣющихъ обширныя зна„нія по части результатовъ мысли прежнихъ вѣковъ. „Г. Морисъ, кажется, первый замѣтилъ, что наиболѣе

„оригинальные мыслители нашего вѣка тѣ, которые „лучше всѣхъ знали все, что̀ мыслили ихъ предшествен„ники,—*такъ отнынѣ будетъ всегда*“ (стр. 175).

И такъ, *самобытными способностями* женщины не могли ничего сдѣлать потому, что ихъ предупредили мужчины; а съ тѣхъ поръ, какъ, по замѣчанію г. Мориса, ходъ умственной исторіи человѣчества будто-бы совершенно измѣнился, и для оригинальности требуется еще огромная ученость, женщины еще не успѣли предаться этой учености. Поприще науки, съ одной стороны, почти все захвачено мужчинами, а съ другой стороны, съ недавняго времени представляетъ новыя условія, новыя трудности, которыхъ *еще не успѣли* побѣдить женщины. Въ одномъ случаѣ онѣ уже опоздали отличиться, въ другомъ еще не успѣли.

Самый свободный даръ есть даръ поэзіи; въ отношеніи къ художественнымъ талантамъ вѣроятно и г. Морисъ не скажетъ, чтобы въ человѣчествѣ наступили новыя условія для ихъ развитія. Поэтому неудачу женщинъ въ художествахъ Милль объясняетъ исключительно тѣмъ, что онѣ опоздали. Для доказательства онъ ссылается на исторію различныхъ литературъ вообще.

„Если отъ чистаго мышленія“, говоритъ онъ, „мы „обратимся къ литературѣ, въ полномъ смыслѣ этого „слова, и къ художествамъ, мы найдемъ весьма уважи„тельную и *простую причину*, по которой женская ли„тература, по общей концепціи и главнымъ чертамъ „своимъ, *есть подражаніе мужской*. Почему римская „литература, какъ намъ критики досыта нажужжали, „не есть литература оригинальная, а есть подражаніе „греческой? *Просто потому, что греческая предше„ствовала ей по времени*. Если-бы женщины жили въ

„другой странѣ чѣмъ мужчины и *никогда не читали „бы ни одного мужскаго сочиненія*, у нихъ непремѣнно „сложилась-бы собственная литература. Такъ какъ этого „нѣтъ, то онѣ не создали литературы, потому что „нашли цѣлую сильно развитую литературу уже созданную“ (стр. 178).

Такъ просто и легко объясняетъ нашъ философъ самыя трудныя вещи. Различіе между духомъ Грековъ, художественнымъ по преимуществу, и духомъ Римлянъ, по преимуществу политическимъ,—это различіе не существуетъ для нашего скептика. Онъ твердо увѣренъ, что всѣ люди равны по способностямъ, и что, если-бы не было Грековъ, ихъ дѣло было-бы совершено Римлянами.

Такія и подобныя соображенія и *догадки* предлагаетъ Милль для объясненія разницы, существующей между мужчинами и женщинами. Характеръ этихъ объясненій очень ясенъ, да ясенъ и тотъ результатъ, къ которому они стремятся. Несмотря на то, что никто еще не знаетъ *науки объ образованіи характера*, мы уже теперь можемъ видѣть существенные пріемы и цѣли этой науки. Эта наука заранѣе признаётъ, что всѣ характеры равны, и что ихъ различіе есть случайное, зависящее отъ совершенно внѣшнихъ обстоятельствъ, напр. отъ физической силы. Она признаётъ, что всѣ различія *образовались* изъ нѣкотораго первобытнаго безразличія. Очевидно, это не скептицизмъ, а весьма упорный догматизмъ. Исторія всѣхъ народовъ, опыты всѣхъ вѣковъ отвергаются только потому, что они не совпадаютъ съ предвзятою мыслію. Милль находитъ, что вся эта исторія и всѣ эти опыты только мѣшали развитію женщинъ, препятствовали естественному обнаруживанію ихъ

характера. Милль безпрестанно приходитъ къ требованіямъ и предположеніямъ, представляющимъ полное отрицаніе самыхъ естественныхъ, самыхъ необходимыхъ условій существованія женщины. Въ одномъ мѣстѣ онъ выражаетъ желаніе, чтобы не было той *положительной несокрушимой связи, которую дѣти образуютъ между женщиною и мужчиною;* въ другомъ мѣстѣ ему хотѣлось-бы, чтобы существовало общество *однѣхъ женщинъ;* въ третьемъ, чтобы женщины *не читали-бы ни одного мужскаго сочиненія.* Вотъ при какихъ условіяхъ, по мнѣнію Милля, могла-бы во всемъ блескѣ проявиться женская натура. Теперь-же будто бы все испорчено и искажено, такъ какъ, къ великому несчастію женщинъ, существуютъ мужчины, которые ихъ любятъ, приживаютъ съ ними дѣтей и даютъ имъ читать свои сочиненія. Очевидно, Милль, руководствуясь своею новою *наукою объ образованіи характера*, готовъ видѣть неестественность и искаженіе въ вещахъ самыхъ простыхъ и нормальныхъ.

ГЛАВА III.

Уравненіе правъ.

Экспериментъ, предлагаемый Миллемъ.—Юридическое рѣшеніе.—Русское и англійское понятіе о правахъ.—Властолюбіе.—Русскіе законы.—Заносный и сочиненный характеръ нашихъ «вопросовъ».

Изъ условій, предлагаемыхъ Миллемъ для правильнаго и безпрепятственнаго развитія женщины, есть, однако-же, одно возможное, и въ немъ-то, какъ оказывается, все дѣло. Чтобы узнать истинныя свойства женской натуры, невозможно составить общество изъ однѣхъ женщинъ, нельзя уничтожить всѣ мужскія книги и художественныя произведенія, нельзя воспрепятствовать несокрушимымъ связямъ, образующимся между женщинами и мужчинами, но можно устранить *всѣ юридическія преимущества одного пола надъ другимъ* и посмотрѣть, что̀ тогда будетъ.

Милль разсуждаетъ сперва довольно послѣдовательно съ своей скептической точки зрѣнія. Онъ говоритъ, что женская натура до сихъ поръ не могла свободно обнаружиться, такъ какъ на положеніе женщины имѣлъ вліяніе посторонній дѣлу элементъ,—физическая сила

мужчинъ, изъ которой проистекли и юридическія преимущества одного пола надъ другимъ. По правиламъ экспериментальной философіи, когда требуется опредѣлить истинную природу какого-нибудь явленія, нужно отнимать одно условіе за другимъ и такимъ образомъ опредѣлить, какія свойства необходимо принадлежатъ явленію и какія для него случайны. Такого рода экспериментъ и предлагаетъ сдѣлать Милль надъ женщинами. Попробуемъ отмѣнить всѣ особенныя права и привилегіи, которыми пользуются мужчины, и тогда мы увидимъ, какова настоящая, неискаженная женская натура.

„Если-бы", говоритъ Милль, „власть мужчины надъ „женщиной при первомъ ея водвореніи была результа„томъ добросовѣстнаго сличенія различныхъ способовъ „уладить строй общества, еслибы, *по испытаніи раз„ныхъ другихъ способовъ общественной организаціи* — вла„сти женщины надъ мужчинами, равенства между ними, „или, наконецъ, *разныхъ комбинацій, которыхъ много „можно было-бы выдумать*,—было рѣшено *на основаніи „опыта*, что тотъ способъ, при которомъ женщина на„ходится вполнѣ подъ властію мужчины, не пользуясь „ни малѣйшимъ участіемъ въ публичныхъ дѣлахъ и бу„дучи въ частной жизни обязана закономъ повиноваться „мужчинѣ, съ которымъ она соединила свою судьбу,— „болѣе всѣхъ способствуетъ къ счастію и благоденствію „того и другой,—тогда еще можно было-бы съ нѣко„торымъ основаніемъ признать общее принятіе этого „способа за доказательство, что во время принятія его „онъ былъ лучшимъ изъ всѣхъ".

„Но женскій вопросъ во всѣхъ отношеніяхъ по„ставленъ какъ разъ наоборотъ. Мнѣніе въ пользу су-

„ществующей системы, вполнѣ подчиняющей слабѣйшій „полъ сильнѣйшему, основано на одной теоріи, потому „что *никогда не было испытано никакой другой систе-„мы,* такъ что опытность, въ томъ смыслѣ, въ какомъ „она обыкновенно противопоставляется теоріи, уже *ни-„какимъ образомъ не участвовала въ приговорѣ*" (стр. 9, 10, 11).

И такъ вотъ источникъ великихъ несчастій и заблужденій человѣчества. Люди не сдѣлали надлежащихъ опытовъ и принялись жить по первой попавшейся системѣ, не догадываясь, что могли-бы жить по другимъ системамъ, которыя можетъ быть оказались-бы лучше. Экспериментальная философія, эта глубокая мудрость, до которой мы, наконецъ, достигли, требуетъ поступать иначе. Сдѣлаемъ сперва всѣ возможныя комбинаціи отношеній между женщинами и мужчинами, и тогда опытъ рѣшитъ, которая изъ нихъ ведетъ къ наибольшему счастію; ту мы и выберемъ. Теперь-же мы живемъ по такой системѣ, въ выборѣ которой опытъ *ни мало не участвовалъ.*

Но, точно такъ-же, какъ Милль оказался непослѣдовательнымъ скептикомъ, онъ оказывается не вполнѣ послѣдовательнымъ и въ методѣ экспериментовъ. При помощи различныхъ соображеній, онъ отказывается отъ длиннаго и медленнаго пути опыта, и думаетъ, что можно ограничиться всего однимъ экспериментомъ, который считаетъ не только необходимымъ, но и совершенно достаточнымъ, чтобы порѣшить вопросъ. Нужно испробовать, по его мнѣнію, одную слѣдующую комбинацію или систему: установить равенство между полами. Въ доказательствѣ необходимости и пользы этого эксперимента и заключается сущность всей разбираемой нами книги.

Такимъ образомъ цѣль книги Милля—чисто юридическое рѣшеніе вопроса. По многимъ страницамъ можно подумать, что авторъ имѣлъ и другія цѣли, можетъ показаться, что его занимали философскіе, нравственные, эстетическіе и другіе вопросы; но въ сущности онъ имѣлъ одно въ виду—доказать, что женщинамъ должны быть предоставлены тѣже права, какъ и мужчинамъ. Въ этомъ отношеніи, Милль совершенный англичанинъ; сперва онъ кажется отчаяннымъ скептикомъ, отвергающимъ самыя простыя истины; затѣмъ вдругъ является рѣшительнымъ практикомъ, для котораго отвлеченныя разсужденія не имѣютъ большой цѣны, который имѣетъ въ виду практическое дѣло и стремится къ нему съ увѣренностію и настойчивостію, чуждою малѣйшаго скептицизма. Въ настоящемъ случаѣ, Милль думаетъ, что его скептицизмъ и его практическія цѣли совершенно совпадаютъ.

„Люди", говоритъ онъ, „по бо̀льшей части не имѣ„ютъ ни малѣйшаго понятія о дѣйствительной природѣ „женщинъ, да и невозможно въ настоящее время ни от„дѣльнымъ личностямъ изъ мужчинъ, ни всѣмъ мужчи„намъ вмѣстѣ имѣть достаточнаго знанія о ней, чтобы „имѣть право предписывать женщинамъ путемъ закона, „въ чемъ ихъ призваніе и въ чемъ нѣтъ. *Къ счастію,* „*такое знаніе не нужно* для практическаго рѣшенія во„проса о положеніи женщины въ отношеніи къ обще„ству и къ жизни. *По всѣмъ принципамъ, руководящимъ* „*современными общественными вопросами*, это должно „быть предоставлено рѣшить самимъ женщинамъ" (стр. 64).

Это значитъ, что, по современнымъ принципамъ, женщинамъ должны быть предоставлены всѣ права, ка-

кія, вообще, предоставляются разумнымъ и нравственнымъ существамъ. И для этого намъ вовсе не нужно изучать дѣйствительную природу женщины, не нужно знать, искажена-ли она или нѣтъ, не нужны всѣ тѣ разсужденія, которыми наполнилъ свою книжку Милль.

Такимъ образомъ, вопросъ представляется въ двоякомъ видѣ: то онъ является какъ интересный экспериментъ для открытія истинной природы женщины, то вдругъ является какъ простое требованіе *принциповъ, руководящихъ современными общественными вопросами.* Въ первомъ отношеніи, это предметъ сомнительный, сложный, трудный; во второмъ, къ нашему великому счастію, онъ не допускаетъ никакого сомнѣнія и колебанія. Хотя-бы мы не имѣли никакого понятія о разницѣ между мужчинами и женщинами, хотя бы считали женщинъ несравненно выше, или несравненно ниже мужчинъ, намъ, все-таки, слѣдуетъ уравнять въ правахъ оба пола.

Принципъ-же, изъ котораго прямо истекаетъ такое рѣшеніе, и который получилъ большую силу въ современныхъ юридическихъ понятіяхъ, есть слѣдующій:

„По новѣйшему убѣжденію", говоритъ Милль, „плоду тысячелѣтняго опыта, всѣ дѣла, въ которыхъ личность прямо заинтересована, никогда нейдутъ хорошо, „если они не предоставлены ея собственному усмотрѣнію, и подчиненіе ихъ правиламъ, сочиненнымъ властями, далѣе того, что̀ требуется для охраненія правъ „другихъ, дѣйствуетъ непремѣнно вредно" (стр. 42).

Вотъ главный принципъ, на основаніи котораго Милль требуетъ, чтобы законъ и учрежденія не налагали на женщинъ никакихъ ограниченій, чтобы на всѣхъ поприщахъ общественной и политической жизни жен-

щинамъ предоставлена была свободная конкурренція съ мужчинами.

Но, если такъ, то все дѣло принимаетъ иной видъ. Если женскій вопросъ сводится только на вопросъ о правѣ, то онъ съуживается и упрощается; онъ получаетъ несравненно меньшій объемъ, чѣмъ думаетъ Милль. Дѣло становится даже совершенно простымъ и элементарнымъ, если для самаго права признать принципъ, выставляемый Миллемъ, знаменитый принципъ laissez faire laissez aller, принципъ свободной конкурренціи, свободной торговли. Тогда рѣшеніе будетъ такое: не вмѣшивайтесь ни во что, не опредѣляйте заранѣе ни цѣли, ни содержанія чьей-либо дѣятельности. Все опредѣлится само собою; наилучшій порядокъ тотъ, который самъ собою возникаетъ изъ безпорядка.

Очевидно, что въ такомъ случаѣ, всѣ предыдущія разсужденія Милля совершенно излишни. Если требованіе уравненія половъ вытекаетъ просто изъ того положенія, что женщины такія-же разумно-нравственныя существа, какъ и мужчины, и что не религія или государство, а свободная конкурренція должна рѣшать ихъ годность, или негодность къ извѣстному положенію въ обществѣ, къ извѣстной дѣятельности, то не настоитъ уже ни малѣйшей надобности разсуждать о природѣ женщины или заботиться о ея благополучіи. Если-бы въ силу свободной конкурренціи женщины пришли въ несравненно худшее положеніе, чѣмъ нынѣ, то и тогда, какъ извѣстно изъ политической экономіи, сумма общаго благополучія вышла-бы болѣе прежней, и слѣдовательно худа никакого не было-бы.

Отсюда намъ открывается особенный характеръ книжки Милля. Очевидно, *право* у него имѣетъ пре-

увеличенное значеніе, несогласное съ его собственными принципами. Попробуемъ разсмотрѣть женскій вопросъ съ этой стороны, различить въ немъ его дѣйствительное содержаніе отъ постороннихъ примѣсей.

Зачѣмъ разсуждать о природѣ женщины? Развѣ негры освобождены потому, что мы убѣдились въ невозможности найти существенныя отличія ихъ отъ бѣлаго племени или увѣровали въ ихъ полное равенство съ бѣлыми людьми? Если-бы равенство способностей требовалось для равенства правъ, то мы пришли-бы къ величайшимъ несправедливостямъ. Не въ томъ-ли состоитъ истинно человѣколюбивое и христіанское начало, что человѣческое достоинство признается и за людьми мало развитыми, за слабыми и неспособными? Если тупой и безсильный мужчина пользуется извѣстными правами, то на какомъ основаніи этихъ правъ можетъ быть лишена умная и энергическая женщина?

И такъ, весьма неправильно поступаютъ тѣ, которые, ратуя за равноправность женщины, опираются на то, что будто-бы тотъ и другой полъ имѣютъ одинаковыя духовныя силы. Читая Милля, можно подумать, что, если женщины неспособны къ геніальности въ наукахъ и художествахъ, если онѣ не могутъ поравняться во всемъ съ мужчинами, то будто-бы можно ихъ лишить нѣкоторыхъ правъ. Но отчего-же такъ? Почему можно думать, что для какого-бы то ни было права, даже напримѣръ для права засѣдать въ парламентѣ,— необходимы доказательства великихъ способностей? Нельзя-же сказать, что это право дается только Аристотелямъ и Шекспирамъ, и что каждый членъ только потому и сидитъ въ парламентѣ, что подаетъ надежду произвести и высказать хоть одну геніальную мысль.

Напротивъ, мы будемъ ближе къ истинѣ, если предположимъ, что между членами парламента есть и такіе, которые, какъ говорится, хуже всякой бабы, или, по крайней мѣрѣ, не выдумаютъ пороху. А если такъ, то почему рядомъ съ ними не можетъ сѣсть и умная и бойкая женщина? Какъ ни важны дѣла, рѣшаемыя въ парламентѣ, нельзя опять-таки сказать, что для участія въ нихъ необходимо быть геніемъ; очень можетъ быть, что даже нужно не быть геніемъ, что, напримѣръ, Рафаэль, или Бетховенъ пожалуй были-бы весьма плохими членами парламента. Для этихъ дѣлъ иногда всего пригоднѣе, можетъ быть, были-бы люди средственныхъ талантовъ; и слѣдовательно, отчего-же въ нихъ не участвовать женщинамъ?

Вотъ какъ мы смотримъ на дѣло. Если права должны быть даны женщинамъ, то не потому, что право есть нѣчто драгоцѣнное, доступное лишь избраннымъ, а потому, что обладаніе и пользованіе правами возможно и для людей мало способныхъ и можетъ быть имъ предоставлено безъ всякаго препятствія.

Вотъ то различіе въ понятіяхъ о правѣ, изъ котораго мы выводимъ точку зрѣнія Милля и объясняемъ себѣ содержаніе его книги. Какъ западный человѣкъ вообще, и какъ чистый англичанинъ, Милль придаетъ правамъ гораздо больше значенія, чѣмъ мы, русскіе. Для него право—главный, существенный вопросъ, которому подчиняется все остальное. На всякое дѣло онъ смотритъ съ этой стороны; лишеніе права для него есть высшее зло, какими-бы выгодами это лишеніе ни сопровождалось, а обладаніе правомъ есть высшее благо, къ которому должны сводиться всѣ цѣли и способности человѣка.

Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ:

„Такъ какъ подчиненность женщинъ мужчинамъ „есть съ незапамятныхъ временъ всемірный обычай, то „*всякое уклоненіе отъ него* совершенно естественно ка„жется неестественнымъ".

Напримѣръ:

„Англичанамъ кажется въ высшей степени неесте„ственнымъ, чтобы женщина *была солдатомъ, или чле„номъ парламента*" (стр. 30 и 31).

И такъ, быть солдатомъ и быть членомъ парламента— въ глазахъ Милля суть два *права*, которыхъ мужчины не даютъ женщинамъ въ силу привычки съ незапамятныхъ временъ держать женщину въ своемъ подчиненіи.

Не очевидно-ли, однакоже, что *быть солдатомъ* есть не столько право, сколько обязанность, притомъ весьма тяжкая? Мы привыкли думать, что освобожденіе женщинъ отъ военной службы есть нѣкоторая привиллегія женщинъ; но Милль, какъ видимъ, и здѣсь находитъ лишеніе права. Если хорошенько вдуматься, то такая же разница въ понятіяхъ окажется и относительно другаго права,—быть членомъ парламента. Милль, конечно, не сомнѣвается, что это есть высокое право, которымъ всякій долженъ дорожить, котораго всякій долженъ добиваться; но намъ, русскимъ, прежде всего бросается въ глаза другая сторона дѣла, и мы находимъ, что и быть членомъ парламента значитъ исполнять нѣкоторую важную и очень отвѣтственную обязанность. Мы готовы видѣть льготу для женщинъ въ томъ, что они *не несутъ* государственной *службы*. Что для англичанина *право*, то для насъ *служба*, и мы *несемъ* то, чѣмъ они *пользуются*.

Вообще, всякое дѣло, всякое положеніе имѣетъ эти

двѣ стороны: право и обязанность, и кто беретъ на себя извѣстныя права, тотъ беретъ вмѣстѣ и соотвѣтствующія обязанности. Поэтому въ глазахъ людей всякое дѣло получаетъ различный видъ, различную цѣну и значеніе, смотря по тому, что̀ дороже человѣку, власть, или совѣсть. Если человѣкъ властолюбивъ, то ему всего болѣе льститъ обладаніе правами; а если онъ совѣстливъ, то его всего больше пугаетъ мысль объ обязанностяхъ. Мы, русскіе, очевидно принадлежимъ къ этому второму разряду; мы гораздо больше думаемъ объ обязанностяхъ, чѣмъ о правахъ, и не любимъ брать на себя большую отвѣтственность. Этимъ свойствомъ многое объясняется въ нашей исторіи; отъ него, вѣроятно, зависитъ не мало темныхъ и плачевныхъ сторонъ нашей жизни; ибо, гдѣ не любятъ и не цѣнятъ права, тамъ оно часто попирается; гдѣ не дорожатъ властью, тамъ легко злоупотреблять ею тѣмъ, у кого она въ рукахъ.

Западный человѣкъ, напротивъ, властолюбивъ въ высокой степени; онъ дорожитъ правами и добивается ихъ, потому что вѣритъ, что вполнѣ способенъ пользоваться ими, что можетъ наилучшимъ образомъ сдѣлать все то, на что̀ имѣетъ право. Подобная вѣра въ себя приводила и приводитъ европейцевъ часто къ насиліямъ, которыхъ русскіе никогда не совершали въ такихъ размѣрахъ и съ такою послѣдовательностію, какъ европейцы. Намъ никогда не приходило въ голову, что мы можемъ держать въ рабствѣ другой народъ на томъ основаніи, что мы выше его своимъ развитіемъ. Гордясь своими духовными началами, ставя свой народъ весьма высоко, мы однакоже не выводили изъ этого необходимости юридическихъ различій между собою и инород-

цами. Только тотъ, кто считаетъ, что высшія способности даютъ непремѣнно и высшія права, можетъ доказывать справедливость освобожденія негровъ тѣмъ, что и негры способны къ наилучшей умственной и нравственной дѣятельности. По нашему-же, негры должны быть свободны, *хотя-бы* далеко не могли поравняться съ бѣлыми въ душевныхъ силахъ.

Англійскія понятія о правѣ отразились, разумѣется, и въ англійской жизни. Такъ, напримѣръ, мы можемъ повѣрить Миллю, когда онъ утверждаетъ, что подчиненіе женщинъ имѣло своимъ источникомъ властолюбіе мужчинъ.

„Несомнѣнно лестно для гордости", говоритъ онъ, „обладать властью, и выгодно лично пользоваться ею, „и это удовольствіе, эта выгода въ этомъ случаѣ (т. е. „въ женскомъ вопросѣ) не ограничиваются однимъ ка„кимъ-нибудь классомъ людей, а простираются на *всю „мужскую половину человѣчества*". „Этотъ вопросъ ка„сается личности и домашняго очага *каждаго мужчины*, „главы семейства, или имѣющаго въ виду сдѣлаться „главой семейства. Послѣдній мужикъ пользовался и „будетъ пользоваться своею долею власти на равнѣ съ „первымъ вельможей. Наконецъ вопросъ касается именно „тѣхъ отношеній, въ которыхъ болѣе всего хочется „власти; вѣдь каждому, *кому власти хочется*, хочется „имѣть ее надъ людьми наиболѣе близкими къ нему, съ „которыми у него наиболѣе общихъ дѣлъ и въ кото„рыхъ независимость отъ его авторитета всего чаще „можетъ мѣшать его личнымъ вкусамъ" (стр. 24 и 25).

Вотъ изложеніе чисто-англійскихъ чувствъ, того властолюбиваго духа, изъ котораго возникло юридическое устройство англійскаго семейства. Отношенія между чле-

нами семьи англійскіе законы возвели на степень юридическихъ обязанностей, и естественное главенство мужа обратили въ законную власть. Приведемъ главныя черты этого устройства, какъ ихъ излагаетъ Милль.

„По старымъ англійскимъ законамъ мужъ назы„вался повелителемъ жены (lord). На него буквально „смотрѣли, какъ *на ея личнаго государя*, и убійство „мужа женой называлось *измѣной* (только *малой*—petty „treason—въ различіе отъ *высшей*, high treason, или го„сударственной измѣны)“ (стр. 74).

Но и въ настоящее время законы въ Англіи сохраняютъ тотъ-же характеръ.

„Жена“, пишетъ Милль,—„въ полномъ смыслѣ не„вольница мужа,—нисколько не менѣе невольница, от„носительно легальной обязанности, чѣмъ настоящіе „купленные рабы. Она предъ алтаремъ клянется въ „пожизненномъ повиновеніи, и законъ обязываетъ ее до „гроба соблюдать эту клятву“.

„Она не можетъ дѣлать ничего иначе, какъ по раз„рѣшенію мужа. Она не можетъ пріобрѣтать собствен„ность иначе, какъ для него. Въ ту минуту, какъ соб„ственность поступаетъ въ ея руки, хотя-бы по на„слѣдству, она переходитъ въ его власть. Въ этомъ „отношеніи положеніе женщины по англійскимъ зако„намъ хуже положенія невольника“ (стр. 75).

Таково положеніе относительно собственности; не менѣе обдѣлена женщина и въ другомъ отношеніи.

„Какое положеніе занимаетъ она относительно дѣ„тей, въ которыхъ она и повелитель ея одинаково за„интересованы? Они по закону *его* дѣти. Онъ одинъ „имѣетъ надъ ними легальное право; она не можетъ „совершить ни одного дѣйствія относительно ихъ иначе,

„какъ по его разрѣшенію и повелѣнію. Даже послѣ „его смерти она не дѣлается ихъ законной опекуншей, „если онъ не назначитъ ее опекуншей въ своемъ ду„ховномъ завѣщаніи“ (стр. 78).

Таковы англійскіе законы. Объ нихъ однихъ только и говоритъ Милль, ни разу не упоминая о другихъ законодательствахъ. Между тѣмъ, если-бы онъ принялъ въ соображеніе и законы другихъ странъ, то можетъ быть убѣдился-бы, что не вездѣ господствуетъ то мужское властолюбіе, которому онъ приписываетъ ограниченіе правъ женщины, и что едва-ли существуетъ тотъ общій заговоръ мужской половины человѣческаго рода противъ женской, о которомъ можно заключить изъ многихъ мѣстъ книжки Милля.

По нашимъ русскимъ законамъ женщины ограничены несравненно менѣе. Пользуясь, какъ и вездѣ, свободою отъ нѣкоторыхъ повинностей, онѣ у насъ обладаютъ многими гражданскими правами совершенно въ той-же мѣрѣ, какъ мужчины. Такъ, жена есть полная собственница своего имущества, и мужъ не имѣетъ на это имущество ни самомалѣйшихъ правъ. Въ случаѣ смерти мужа, его дурнаго поведенія и т. п., жена признается закономъ опекуншею надъ дѣтьми. Въ дворянскихъ собраніяхъ женщины обладаютъ выборнымъ голосомъ наравнѣ съ мужчинами, и пр. Однимъ словомъ въ нашемъ законодательствѣ вовсе не существуетъ того принципа полной безправности женщины, который господствуетъ въ законодательствѣ англійскомъ. Какъ въ отношеніи къ инородцамъ, такъ и въ отношеніи къ женщинамъ, русскіе люди никогда не были такъ скупы на права, какъ англичане.

Отсюда мы видимъ особенный характеръ книжки

Милля. Очевидно, это сочиненіе есть отчасти протестъ противъ существующаго въ Англіи порядка, протестъ, для котораго у насъ нѣтъ такихъ сильныхъ и многочисленныхъ поводовъ, какъ тамъ. Мы были поэтому весьма удивлены соображеніями г. Благосвѣтлова, который въ предисловіи къ переводу Милля выражается такъ:

„Если предлагаемый Миллемъ идеалъ свободной женщины еще далекъ отъ своего осуществленія въ средѣ „такой высокой цивилизаціи, какова англійская, то какое-же отношеніе онъ можетъ имѣть къ намъ, идущимъ, по крайней мѣрѣ, на два столѣтія позади англичанъ въ умственной культурѣ?“ (стр. III).

Подобныя общія соображенія весьма неосновательны. Въ дѣйствительности оказывается, что по женскому вопросу, если въ немъ за главную сторону признавать юридическія отношенія, мы ушли далеко впередъ англичанъ. Въ Англіи требуется кореннаго измѣненія въ законодательствѣ, внесенія въ него новаго принципа; у насъ-же оказывается нужнымъ только развить тѣ самыя начала, которыя уже лежатъ въ основаніи нашихъ законовъ.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что женскій вопросъ въ томъ видѣ, какъ его представилъ Милль, имѣетъ своеобразный, именно вполнѣ англійскій характеръ. Съ другой стороны, мы можемъ отчасти видѣть, что̀ такое женскій вопросъ у насъ въ Россіи. Этотъ вопросъ, очевидно, никакъ не составляетъ выраженія потребностей русской жизни. Это явленіе отчасти привозное, отчасти сочиненное. Завезли его къ намъ иностранныя книжки, а подсочинили его петербургскіе сочинители, которые, подобно г. Благосвѣтлову, далеки отъ всякаго прико-

сновенія съ русской жизнью, которые вовсе не обращаютъ на нее вниманія, а занимаются писаніемъ статей и изданіемъ журналовъ. Статьи пишутся и журналы составляются по тому рецепту, который такъ наивно обнаруженъ г. Благосвѣтловымъ въ приведенныхъ нами словахъ. Принципы для сужденій и темы для вопросовъ цѣликомъ заимствуются отъ какихъ-нибудь передовыхъ европейскихъ людей. Поступая такимъ образомъ, наши писатели заранѣе увѣрены, что они приносятъ къ намъ лучшіе плоды прогресса, послѣдніе выводы человѣческаго ума, и что такимъ образомъ способствуютъ просвѣщенію своего невѣжественнаго отечества. Знать-же свое отечество они почитаютъ совершенно излишнимъ, на томъ самомъ основаніи, которое приводитъ г. Благосвѣтловъ: если что-нибудь, думаютъ они, составляетъ прогрессъ для Англіи, то тѣмъ болѣе то-же самое должно составлять прогрессъ для Россіи.

Такимъ образомъ произошло, что, напримѣръ, наши просвѣщенные люди вдругъ воспылали противъ нашего смирнаго и забитаго духовенства тою ненавистью, которую возбудили противъ себя на Западѣ властолюбивые и могущественные католическіе духовные. Возгорѣлась война противъ капитала, тогда какъ у насъ нѣтъ капиталовъ; явился фабричный вопросъ, тогда какъ наши фабрики составляютъ весьма незначительное явленіе среди массы народа, занимающейся земледѣліемъ, скотоводствомъ и т. п.

Точно также возникъ и женскій вопросъ. Къ величайшему сожалѣнію, нужно признать, что въ этомъ вопросѣ нѣтъ ни единой нашей самобытной черты, что мы не слышимъ въ немъ выраженія какой-нибудь дѣйствительной потребности русскихъ женщинъ, а видимъ

только напускныя требованія, подражаніе иностранцамъ, фантазію, не имѣющую никакой правильной и ясной связи съ дѣйствительностію.

Вотъ зло—величайшее, и кто хлопочетъ о женскомъ вопросѣ, тотъ долженъ сюда устремить всѣ свои усилія. При томъ постоянномъ возбужденіи умовъ, которое производится у насъ авторитетомъ и вліяніемъ Запада, женскій вопросъ имѣетъ у насъ неизбѣжное и въ извѣстномъ смыслѣ законное существованіе. Лишить этотъ вопросъ его фантастическихъ формъ, какъ нибудь сблизить его съ дѣйствительностію, откинуть безсодержательныя, напыщенныя декламаціи и свести дѣло къ дѣйствительнымъ надобностямъ и къ возможнымъ средствамъ для ихъ удовлетворенія—вотъ настоящая цѣль для нашихъ новаторовъ и прогрессистовъ.

Но они, кажется, думаютъ не о томъ. Не считаетъ-ли себя тотъ изъ нихъ превосходнѣе другихъ, кто заскакалъ всего дальше отъ дѣйствительности и отъ настоящихъ живыхъ интересовъ?

Впрочемъ, нынче являются многіе признаки отрезвленія, и авось время все перемелетъ, авось мы дождемся и самостоятельнаго умственнаго движенія у нашихъ женщинъ и мужчинъ.

ГЛАВА IV.

Женскій идеалъ.

Для чего нужна свобода.—Фальшивый видъ дѣла.—Семейство.—Отсутствіе расположенія къ замужству.—Экономическая борьба.—Политическое властолюбіе.—Отношенія между полами.

Англичанки находятся въ очень дурномъ юридическомъ положеніи, гораздо худшемъ, чѣмъ русскія женщины. И однако-же, всему свѣту извѣстно, что̀ такое англичанка. Это очень высокій типъ женской красоты и женскихъ душевныхъ качествъ, и съ этимъ типомъ не могутъ равняться наши русскія женщины, не смотря на то, что издавна находились въ несравненно лучшемъ юридическомъ положеніи. Вотъ сторона женскаго вопроса, очевидно вовсе упущенная изъ виду Миллемъ. Между тѣмъ, это сторона вполнѣ дѣйствительная и для насъ весьма важная. Во многихъ русскихъ семействахъ дѣвушекъ учатъ англійскому языку именно для того, чтобы сдѣлать имъ доступною англійскую литературу, въ которой отразился образъ англійской женщины. Англійскіе романы составляютъ обыкновенное, давно у насъ принявшееся и завѣдомо-доброкачественное чтеніе

для женщинъ и дѣвушекъ. Англія—классическая страна чистыхъ семейныхъ нравовъ, подобно тому, какъ Франція есть классическая страна любовныхъ похожденій. Вотъ сторона дѣла, которую, повидимому, никакъ нельзя упускать изъ виду и которая не можетъ насъ не интересовать. Что̀ будетъ изъ русской женщины? Дастъ-ли она міру новый образецъ красоты человѣческой природы, или-же останется примѣромъ безцвѣтности и, пожалуй, какой-нибудь нравственной уродливости?

Въ сущности, вѣдь это одно только и важно; важно не право, не свобода, а то, для чего нужны право и свобода. Право и свобода суть только возможность что-нибудь дѣлать, только отрицательное условіе дѣятельности, только отсутствіе помѣхъ для раскрытія силъ. Истинная-же пружина жизни, положительное ея условіе суть нѣкоторыя опредѣленныя цѣли и желанія, нѣкоторый идеалъ дѣятельности, ясно установившійся въ душѣ. Только тѣ стремленія и хороши и сильны, которыя опираются на такой опредѣленный идеалъ. Мы непремѣнно завоюемъ извѣстное право, непремѣнно добьемся извѣстной свободы, если это право и эта свобода для насъ не безпредметны, если они дороги намъ по положительнымъ цѣлямъ, въ нихъ содержащимся.

Чѣмъ должна быть, или все равно—чѣмъ хочетъ быть женщина?

На этотъ вопросъ мы не встрѣчаемъ у Милля никакого отвѣта. Можетъ быть намъ скажутъ, что въ этомъ случаѣ мы несправедливы къ Миллю, что онъ по самой цѣли своего сочиненія не считалъ нужнымъ задаваться такимъ вопросомъ. Самое заглавіе книги показываетъ, что онъ имѣлъ въ виду только одинъ юри-

дическій вопросъ, хотѣлъ говорить только о *подчиненіи* женщинъ, а не о томъ идеалѣ, къ которому онѣ должны стремиться. Но на это замѣтимъ, что раздѣлить эти два предмета невозможно, и что главная ошибка Милля конечно заключается въ томъ, что онъ не взялъ женскаго вопроса во всей его обширности, упустилъ изъ виду главную точку зрѣнія.

Такъ этому и слѣдовало быть вслѣдствіе самыхъ пріемовъ и основъ мышленія Милля. Мы разсмотрѣли его книжку съ двухъ сторонъ, съ теоретической и съ практической. Въ философіи Милль скептикъ, въ практикѣ—индивидуалистъ, въ томъ и въ другомъ случаѣ чистѣйшій англичанинъ и протестантъ. *По счастію*, какъ онъ самъ говоритъ, одно другому не мѣшаетъ; мы же могли-бы сказать—*по несчастію* одно другому помогаетъ. Какой можетъ быть идеалъ женщины у скептика, который настойчиво утверждаетъ, что мы не имѣемъ ни малѣйшаго яснаго познанія о женской натурѣ? Съ другой стороны, какой можетъ быть идеалъ женщины у индивидуалиста, для котораго независимость одного человѣка отъ другаго есть лучшая идея человѣческой жизни, для котораго власть, право—дороже всего на свѣтѣ? Даже на самыя естественныя связи женщины, на ея связь съ мужемъ, съ дѣтьми, Милль смотритъ прежде всего какъ на нѣкоторыя препятствія свободѣ и приписываетъ имъ даже вредное вліяніе на развитіе женщины.

Идеала женщины, очевидно, нужно искать въ другомъ разрядѣ идей, въ другомъ направленіи мышленія. Только тотъ, кто сколько нибудь разумѣетъ своеобразіе женской натуры, кто видитъ красоту и достоинство человѣческой жизни не въ одномъ обладаніи правами, не

въ одномъ ненарушимомъ произволѣ *личныхъ вкусовъ* (такъ, какъ мы видѣли, выражается Милль), только тотъ можетъ придти къ понятію о нѣкоторомъ *женскомъ идеалѣ*.

Для скептика все равно, есть-ли разница и въ чемъ разница между мужчиною и женщиною. Но для того, кто признаетъ между полами опредѣленную разницу, уже не можетъ быть все равно, какъ и въ чемъ эта разница проявляется. Мы любимъ и цѣнимъ именно тѣ вещи, въ которыхъ ихъ родъ выражается со всею опредѣленностью. Намъ одинаково противны и женоподобный мужчина и мужеподобная женщина. Такъ точно мы не любимъ и стариковъ прикидывающихся молодыми, и юношей блистающихъ зрѣлостью, и всякаго другаго извращенія природы, столь обыкновеннаго между людьми. Поэтому, прежде всего и больше всего, мы желали-бы въ женщинѣ самаго чистаго и яснаго развитія женскихъ качествъ, а не какихъ нибудь другихъ.

Женщина, какъ извѣстно, по красотѣ, по прелести душевной и тѣлесной, есть первое существо въ мірѣ, вѣнецъ созданія. Не даромъ-же статуи языческихъ богинь и картины христіанскихъ мадоннъ—представляютъ высочайшія выраженія красоты, доступной художеству. Но, благородство и прелесть женской натуры принадлежатъ ей только на томъ условіи, чтобы она не измѣняла самой себѣ. Чѣмъ прекраснѣе вещь, тѣмъ отвратительнѣе ея уклоненія отъ типа, извращенія ея природы. Изъ женщинъ выходятъ не однѣ богини и мадонны, изъ нихъ-же выходятъ и фуріи и вѣдьмы. Уклоненія тѣмъ возможнѣе, тѣмъ многочисленнѣе и глубже, чѣмъ выше и чище идеалъ. Мужчина, по самому существу дѣла, никогда не можетъ достигнуть той

степени отвратительности, до которой доходитъ женщина.

И слѣдовательно, если мы только признаемъ за собою нѣкоторое разумѣніе женской натуры, то главною цѣлью нашею будетъ охраненіе ея во всей чистотѣ, развитіе тѣхъ качествъ, которыя она можетъ имѣть, и устраненіе тѣхъ недостатковъ, которые ей свойственны.

Обыкновеннѣйшій порокъ женщинъ есть ихъ фальшивость, отсутствіе искренности и естественности. Одно изъ самыхъ злыхъ замѣчаній относительно женщинъ принадлежитъ Пигасову (въ „Рудинѣ" Тургенева), который увѣрялъ, что добыть естественный звукъ отъ женщины можно не иначе, какъ неожиданно хвативши ее коломъ въ бокъ. Новѣйшіе преобразователи исторіи, желающіе радикально измѣнить человѣческое общество и человѣческую натуру, должны-бы, кажется, подумать объ исправленіи этого недостатка; между тѣмъ, они думаютъ о прямо-противоположномъ, они внушаютъ женщинамъ новое притворство, новую фальшивую роль: они хотятъ, чтобы женщины—подражали мужчинамъ.

Если-бы женскій вопросъ истекалъ изъ какихъ нибудь женскихъ потребностей, если-бы онъ былъ дѣломъ самихъ женщинъ, мы бы весьма охотно съ нимъ помирились, простили-бы ему всѣ крайности. Къ несчастію дѣло идетъ иначе; женскій вопросъ выдуманъ мужчинами, и женщины схватились за него, какъ онѣ хватаются за все, чѣмъ надѣются привлечь вниманіе мужчинъ. Женщины вдругъ почувствовали то, чего онѣ никогда не чувствовали; онѣ почувствовали жажду къ наукамъ, какъ будто науки въ первый разъ явились имъ, а до тѣхъ поръ существовали не въ кабинетахъ ихъ мужей и братьевъ, а гдѣ-нибудь за тридевять зе-

мель. Вдругъ женщины стали мечтать о политическихъ правахъ, какъ будто до сихъ поръ онѣ и понятія не имѣли о томъ, что есть на свѣтѣ политическія права. Исторія вовсе не представляетъ намъ примѣровъ стремленія женщинъ къ политическимъ правамъ; это стремленіе выдумано современными мужчинами.

И однако-же, мы вовсе ничего не имѣемъ противъ развитія законодательства въ смыслѣ уравненія правъ половъ; насъ возмущаетъ только фальшивый видъ всего дѣла, преувеличенное значеніе, приписанное одной его сторонѣ, и нелѣпый скептицизмъ относительно самыхъ простыхъ вещей.

Въ одномъ мѣстѣ, Милль самъ сознается, что, если-бы женщинамъ даны были всевозможныя политическія права, то для большинства женщинъ эти права оказались-бы совершенно не нужными, совершенно лишними. Вотъ это прекрасное мѣсто.

„Женщина, *выходя замужъ*, собственно говоря уже „*выбираетъ себѣ родъ занятій*, точно такъ-же, какъ „мужчина, выбирающій профессію; о ней можно сказать, „что она посвящаетъ себя веденію хозяйства, воспита„нію дѣтей, какъ спеціальности, на столько лѣтъ своей „жизни, сколько потребуется на это дѣло, и потому от„казывается на это время, не отъ всякихъ занятій вооб„ще, но отъ занятій, помѣшавшихъ-бы ей въ исполненіи „избранныхъ ею обязанностей. Постоянныя, системати„ческія занятія внѣ дома, при такомъ взглядѣ, *сами „собою*, безъ посторонняго вмѣшательства, *не входили„бы въ программу большинства замужнихъ женщинъ*. Но „слѣдовало-бы предоставить всевозможный просторъ „примѣненію общихъ правилъ къ личнымъ особенно„стямъ, и не должно-бы быть никакой помѣхи, препят-

„ствующей женщинѣ, которую способности ея исклю-„чительно влекутъ къ тому или другому роду занятій, „слѣдовать своему призванію не смотря на бракъ, при-„чемъ всегда найдется способъ какъ-нибудь *иначе* ула-„дить *неудобства, которыя неизбѣжно вкрадутся въ „семью и въ хозяйство, вслѣдствіе неполнаго исполненія „ею простыхъ обязанностей хозяйки и матери семей-„ства.* Всѣ эти вопросы, если-бы только общественное „мнѣніе взглянуло на нихъ какъ слѣдуетъ, можно-бы „*безъ малѣйшей опасности* предоставить собственному „рѣшенію заинтересованныхъ лицъ, безъ всякаго вмѣ-„шательства закона" (стр. 120 и 121).

И такъ, для большинства замужнихъ женщинъ— невозможно посвящать себя другимъ дѣламъ, кромѣ *простыхъ обязанностей хозяйки и матери семейства.* Но найдутся женщины съ особенными способностями, съ особеннымъ призваніемъ къ дѣламъ менѣе простымъ; тогда возникнутъ *неудобства* и *неполное исполненіе* семейныхъ обязанностей, но Милль увѣряетъ, что будто-бы тутъ нѣтъ даже малѣйшей опасности, что и тутъ нужно держаться правила laissez faire, laissez passer.

Въ другихъ мѣстахъ, Милль еще яснѣе показываетъ, для кого онъ собственно хлопочетъ.

„Женщины", говоритъ онъ, „на которыхъ лежитъ „забота о семействѣ, покуда заботы эти не сняты съ „нихъ, имѣютъ *хотя* этотъ исходъ своимъ способно-„стямъ и дѣятельности, и *онъ вообще оказывается до-„статочнымъ.* Но что же скажемъ мы о *постоянно „возрастающемъ числѣ женщинъ, не имѣвшихъ случая „исполнить призваніе,* которое, точно въ насмѣшку „увѣряютъ ихъ, исключительно прилично имъ? Что „скажемъ мы о женщинахъ, потерявшихъ дѣтей черезъ

„смерть или разлуку, или дѣти которыхъ выросли, пе-„реженились и повышли замужъ и обзавелись собствен-„нымъ хозяйствомъ?“ (стр. 248).

И такъ, старыя дѣвы и пристроившія всѣхъ дѣтей своихъ старухи—вотъ тѣ лица, для которыхъ необходимы политическія права. Число старыхъ дѣвъ, по увѣренію Милля, *постоянно возрастаетъ*, и кажется для нихъ-то, главнымъ образомъ, и подымается женскій вопросъ. Говоря о томъ, что, конечно, молоденькія женщины не годятся въ члены парламента, Милль дѣлаетъ слѣдующее весьма опредѣленное замѣчаніе.

„Здравый смыслъ говоритъ, что если-бы подобныя „должности стали-бы ввѣрять женщинамъ, то только „тѣмъ изъ нихъ, которыя-бы оказались *безъ особеннаго „призванія къ супружеству*, или предпочли-бы другое „употребленіе своихъ способностей (вѣдь и теперь *много „женщинъ, предпочитающихъ браку любое изъ тѣхъ не-„многихъ почетныхъ занятій*, отъ которыхъ онѣ не ис-„ключены), и потому посвятили-бы бо́льшую часть своей „молодости стараніямъ подготовить себя къ занятіямъ, „которымъ онѣ намѣрены посвятить свою жизнь; или „еще чаще, по всей вѣроятности,—*вдовамъ и женамъ „лѣтъ подъ сорокъ, подъ пятьдесятъ*, которымъ знаніе „жизни и умѣнье управлять, пріобрѣтенное въ семействѣ, „при помощи нужныхъ научныхъ занятій, моглибы весьма „пригодиться въ менѣе тѣсной сферѣ“ (стр. 251).

И такъ, вотъ кого мы увидимъ въ парламентѣ. Это будутъ тѣ немногія пятидесятилѣтнія старухи, которыя сохранили свои силы, не смотря на семейныя заботы; да кромѣ того, это будутъ тѣ интересныя дѣвицы, которыя не имѣютъ *особеннаго призванія къ браку*, или предпочитаютъ супружеству другія занятія, вѣроятно

кажущіяся имъ болѣе *почетными*. Милль точно радуется, что такихъ дѣвицъ становится все больше и больше; онѣ составляютъ, конечно, главный предметъ его заботъ.

Вотъ гдѣ было-бы совершенно кстати вспомнить *науку объ образованіи характера*. Не объяснила-ли бы намъ хоть эта наука, какъ являются женщины, не чувствующія склонности къ браку, и какого свойства бываютъ эти женщины?

Общій выводъ совершенно ясный: для общественныхъ дѣлъ требуется женщина *безполая*, то есть или такая, которая не имѣетъ пола отъ рожденія, или такая, которая перешла уже за предѣлы половаго возраста. *Безполость* достигается еще однимъ средствомъ, весьма извѣстнымъ въ исторіи женщинъ, игравшихъ политическія роли; обыкновенно такія женщины, отвергая бракъ, отвергаютъ вмѣстѣ и любовь и стыдливость; онѣ становятся развратными не въ силу похотливости, какъ обыкновенныя испорченныя женщины, а въ силу равнодушія къ чисто женскимъ стремленіямъ, въ силу уклоненія отъ пути женской натуры.

И такъ, женскій вопросъ имѣетъ главнѣйшую важность и силу для безполыхъ женщинъ; развитіе женскаго вопроса стремится къ распространенію безполости между женщинами. Что-же хорошаго во всемъ этомъ? Не есть-ли это крайняя уродливость, о которой невозможно говорить безъ отвращенія? Застарѣлая дѣва, или женщина распущенныхъ нравовъ—вотъ одинъ изъ результатовъ, къ которому необходимо приведутъ эксперименты, предлагаемые Миллемъ. Пусть женщинамъ будутъ открыты всевозможныя поприща; что-же изъ этого выйдетъ? Можетъ быть явится изъ женщинъ нѣсколько порядочныхъ солдатъ, нѣсколько недурныхъ членовъ

парламента. Великъ-ли отъ этого будетъ выигрышъ для человѣчества? А какое извращеніе истинной женской природы, какой опасный примѣръ!

Съ яснымъ духомъ и спокойною совѣстію, Милль совѣтуетъ зачеркнуть всѣ наши понятія о женскомъ идеалѣ, забыть все то, въ чемъ мы полагаемъ красоту и достоинство женской жизни, выбросить изъ головы всѣ цѣли и стремленія, опредѣляющія собою житейское поприще женщины, и—начать все съизнова. Если-бы подобная нравственная анархія была возможна, если-бы женщины вдругъ могли забыть свой полъ и пуститься въ свое жизненное поприще, не отличая себя отъ мужчинъ, не имѣя никакихъ чисто-женскихъ цѣлей, то отсюда произошли-бы для женщинъ величайшія затрудненія и опасности. Эту опасную сторону женскаго вопроса напрасно упускаютъ изъ виду,—и нравственная опасность, по нашему мнѣнію, тѣмъ страшнѣе, что она менѣе бросается въ глаза, а между тѣмъ существуетъ столь-же реально, какъ матеріальная.

Не думаемъ, чтобы когда-нибудь на женщинъ была возложена рекрутская повинность. Самымъ ярымъ завоевателямъ, которые забирали въ войска всѣхъ мужчинъ своего народа, пригодныхъ для войны, никогда не приходило въ голову усилить свое войско хоть однимъ отрядомъ женщинъ. Но гораздо возможнѣе ввести женщинъ въ экономическую борьбу, поставить ихъ въ ряды самостоятельныхъ трудящихся, непрерывно воюющихъ за средства и удобства существованія. Если-бы это могло произойти въ большихъ размѣрахъ, то результатъ вышелъ-бы самый плачевный. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ свободной конкуренціи труда мужчины задавили-бы женщинъ, имѣли-бы надъ ними постоянное и гро-

мадное превосходство, и, слѣдовательно, заставили-бы ихъ влачить весьма жалкое существованіе. Наконецъ, въ нравственномъ отношеніи опасность никакъ не менѣе. Женщина, отказавшаяся отъ идеала жены и матери, возмечтавшая о *болѣе почетныхъ* занятіяхъ (какъ будто есть на свѣтѣ званіе болѣе почетное, чѣмъ, напримѣръ, *мать!*), такая женщина легче всякой другой испортитъ свою судьбу, доведетъ себя до какого-нибудь нравственнаго уродства, котораго, пожалуй, не только не будетъ замѣчать, но которымъ будетъ даже хвалиться!

Горе тѣмъ, которые потеряли руководящій нравственный идеалъ! Промышленность, трудъ, политическія права, государственныя дѣла—все это вещи прекрасныя; но есть нѣчто, что̀ стоитъ и должно стоять выше всего этого. Мы, русскіе, всегда это понимали, никогда не ставили красоту и достоинство человѣческой жизни въ тѣхъ вещахъ, въ которыхъ они вполнѣ заключаться не могутъ. Идеалъ жизни для насъ всегда стоялъ выше.

Общество должно свято хранить женскій идеалъ и давать всякій просторъ его раскрытію и осуществленію. Но это дѣлается не столько законами и правами, сколько тѣмъ духомъ, въ которомъ заключается внутренняя сила общества.

Что-же касается до правъ и привиллегій, то нельзя не пожелать отъ души, чтобы женщинамъ были открыты всевозможныя поприща. Но для чего мы желаемъ этого? Это нужно, по нашему мнѣнію, на случай несчастія, на случай неудачи въ жизненномъ пути, на тотъ случай, когда женщинѣ нуженъ какой-нибудь исходъ изъ бѣдственнаго положенія. Жизнь человѣческая полна несчастій. Дѣвушка не нашла себѣ супруга, жена потеряла мужа, мать дѣтей. Прежде въ такихъ случаяхъ

часто шли въ монастырь; нынче Милль предлагаетъ поступить въ солдаты, или добиваться мѣста въ парламентѣ. Что-же? Когда некуда себя дѣвать, когда жизнь разбита,—казарма и парламентъ тоже годятся для того, чтобы какъ-нибудь скоротать свой вѣкъ.

И такъ, на случай крайности, въ видѣ исключенія, въ видѣ неизбѣжнаго зла—можно и женщинамъ вступать на неженскія поприща. Но видѣть въ этомъ что-либо желательное, и всячески толкать женщинъ на несвойственные имъ пути—было-бы нелѣпо и вредно. Нынче всѣ помѣшались на счастьи и думаютъ, что при всевозможныхъ случайностяхъ можно устроить для человѣка счастливую жизнь. Намъ кажется это невозможнымъ, и мы думаемъ, что права и привиллегіи нужны именно для несчастныхъ женщинъ, и притомъ не для уничтоженія, а только для облегченія ихъ несчастія.

Женскій вопросъ—одинъ изъ самыхъ интересныхъ и простыхъ примѣровъ вліянія на насъ Европы. Подчиняясь авторитету Запада, постоянно обращаясь къ нему, какъ къ источнику просвѣщенія и умственнаго развитія, мы и въ женскомъ вопросѣ идемъ по его слѣдамъ. Что-же онъ даетъ намъ? Вмѣсто *идеала женщины*, вмѣсто представленія того, въ чемъ должна состоять красота женской души и достоинство женской жизни, Европа насылаетъ на насъ только тѣ болѣзненныя стремленія, которыми сама страдаетъ. Недавно, преимущественно со стороны Франціи, къ намъ приходило и прививалось ученіе о такъ называемой *регабилитаціи плоти*, о свободѣ связей между мужчинами и женщинами. Мы преклонялись передъ *Лукреціей Флоріани*, женщиной, до такой степени холодной и въ тоже время исполненной страстныхъ порывовъ, что она ни одного

мужчину не любила *болѣе восьми дней* (такъ она сама признавалась, увѣряя, что затѣмъ она уже поддерживала связь безъ любви), и въ тоже время едва-ли болѣе восьми дней провела безъ какого-нибудь мужчины. Мы, русскіе, очень снисходительны въ этомъ случаѣ; мы не особенно караемъ и преслѣдуемъ нашихъ Магдалинъ, но и не возводимъ ихъ въ героини и святыя. Нужна была католическая крайность, католическое преувеличеніе презрѣнія къ плоти, чтобы вызвать, въ видѣ реакціи, ту распущенность понятій, которая нѣкогда разумѣлась подъ эманципаціею женщинъ. А мы принялись впитывать въ себя эту распущенность, какъ будто и безъ того въ нашей жизни было мало всякаго рода безобразій.

Нынѣ другое явленіе; изъ Англіи и изъ Америки къ намъ прививается—политическое властолюбіе, заразившее тамъ женщинъ. Мужчины тамъ такъ властолюбивы, что нѣкогда лишили женщину всякихъ правъ; теперь-же свою страсть къ власти они внушаютъ своимъ женамъ и сестрамъ. Подобное явленіе весьма естественно на Западѣ, гдѣ права имѣютъ такое высокое значеніе, гдѣ естественная реакція должна была вызвать со стороны женщинъ требованіе правъ. Но какой смыслъ имѣетъ это у насъ? Къ нашему счастію, или несчастію, мы ставимъ право не высоко, мы легко отъ него отрекаемся; мы никогда особенно не притѣсняли нашихъ женъ и сестеръ; и вдругъ поднимается протестъ противъ какого-то мнимаго зла въ общественномъ устройствѣ. Наше общество пока таково, что немного правъ принадлежитъ мужчинамъ, немногіе умѣютъ ихъ цѣнить и пользоваться ими, очень часто попадается безправіе и беззаконіе; и что-же? Вдругъ оказывается, что зло будто-бы заключается не въ общемъ порядкѣ вещей, которому

одинаково подчинены мужчины и женщины, а въ томъ будто-бы, что мужчины стоятъ за свое первенство и не хотятъ уступить мѣста женщинамъ. Не странно-ли подобное извращеніе дѣла? Не значитъ-ли это — драться изъ-за медвѣжьей шкуры прежде чѣмъ убитъ медвѣдь?

Такимъ образомъ все, что̀ приноситъ къ намъ Западъ по женскому вопросу, и весьма мало касается нашей жизни, мало идетъ къ ней, и въ тоже время отличается явной односторонностію, явнымъ отсутствіемъ какого-нибудь цѣльнаго взгляда на дѣло. Западъ очевидно не имѣетъ яснаго идеала женщины; онъ его утрачиваетъ или забываетъ, и русская женщина, если не имѣетъ своего собственнаго идеала, не найдетъ для себя руководства въ передовыхъ европейскихъ писателяхъ.

Читатели насъ простятъ, если мы не говорили здѣсь о самыхъ важныхъ и интересныхъ сторонахъ женскаго вопроса, объ отношеніяхъ женщинъ къ мужчинамъ, о дѣтяхъ, семьѣ и пр. Книжка Милля, какъ мы видѣли, не касается этихъ важныхъ предметовъ и имѣетъ центръ тяжести въ вопросѣ о правѣ. Вотъ самое лучшее доказательство односторонности и неполноты, съ которою трактуется все дѣло. Говоря о правахъ и обязанностяхъ жены и мужа, Милль вовсе не думаетъ о той связи, которая существуетъ между этими лицами, какъ женой и мужемъ, а разсматриваетъ бракъ какъ всякое другое *товарищество*.

„Личная ассоціація“, говоритъ онъ, „помимо брака „чаще всего встрѣчается въ видѣ товарищества по торговымъ дѣламъ, и никто до сихъ поръ не ощущалъ „надобности въ законѣ, постановляющемъ, чтобы въ „каждомъ товариществѣ одинъ изъ членовъ фирмы пользовался полной властью во всѣхъ дѣлахъ, а другіе „были обязаны повиноваться ему“.

„Законъ никогда ничего подобнаго не дѣлалъ, и „опытъ вовсе не доказываетъ необходимости существо„ванія какой-то теоретической неравноправности между „членами одной фирмы, или другихъ условій товарище„ства, кромѣ условій, *которыми сами товарищи свя„жутъ себя по контракту*. Между тѣмъ, исключитель„ная власть въ этомъ случаѣ была-бы менѣе опасна для „правъ и интересовъ подчиненнаго, чѣмъ въ *брачномъ „товариществѣ*, потому что члены торговой фирмы все„таки сохранили-бы право свободнаго выхода изъ ассо„ціаціи; жена-же этого права не имѣетъ“ (стр. 96, 97).

Вотъ та точка зрѣнія, съ которой Милль смотритъ на бракъ; онъ удивляется, что *брачное товарищество* не разсматривается закономъ, какъ всякое другое товарищество; онъ больше всего заботится о власти и желаетъ, чтобы люди и въ бракѣ также ревниво ее оберегали, какъ и въ торговыхъ ассоціаціяхъ.

О любви и супружеской нѣжности Милль ничего не говоритъ, какъ будто это предметъ вовсе посторонній для женскаго вопроса, какъ будто это одно изъ случайныхъ или искусственныхъ условій современнаго быта, испорченнаго исторіею. Вотъ гдѣ глубочайшая ошибка. Легко было-бы, однако-же, усмотрѣть, что, не будь половыхъ различій и половыхъ отношеній между женщинами и мужчинами, не было-бы вовсе и женскаго вопроса. Если-бы для женщины не было наилучшимъ условіемъ правильной жизни—связать себя навсегда съ однимъ мужчиной, а для мужчины съ одною женщиною, тогда, конечно, законъ не имѣлъ-бы никакого повода разсматривать *брачное товарищество* иначе, чѣмъ всякое другое. Тогда вопросъ о власти между супругами не имѣлъ-бы никакого смысла, и тысячи затрудненій,

возникающихъ изъ сущности брака, вовсе не существовали-бы. Современные мыслители очень хлопочутъ о томъ, чтобы уничтожить эти затрудненія, но кажется эти хлопоты сводятся у нихъ къ одному, весьма простому соображенію: если уничтожить бракъ, то уничтожатся и всѣ его затрудненія.

Такъ врачи, не умѣя вылечить больной руки или ноги, отрѣзываютъ эту руку или ногу. Не нужно, однако-же, забывать, что подобныя средства представляютъ только выборъ болѣе легкаго изъ двухъ тяжкихъ золъ и что есть предѣлъ такому выбору: нельзя отрѣзать больную голову; а выкинуть бракъ изъ жизни людей, по нашему мнѣнію, тоже, что отрѣзать голову человѣку, у котораго она ранена или заражена.

Несправедливо Милль говоритъ, что положеніе женщины опредѣлилось двумя факторами: властолюбіемъ мужчинъ и перевѣсомъ на ихъ сторонѣ физической силы. Существенный факторъ, опредѣлявшій и имѣющій опредѣлять это положеніе, есть полъ женщины. Взаимное вліяніе мужчины и женщины зависѣло, главнымъ образомъ, отъ того, что они смотрѣли другъ на друга, какъ на существа разнаго пола; существенный интересъ для той и для другой стороны заключался въ этомъ ихъ отношеніи. Мужчина подчинялся требованіямъ, которыя дѣлала женщина, желавшая отъ него извѣстныхъ качествъ, какъ отъ жениха, возлюбленнаго, мужа, отца своихъ дѣтей. Женщина развилась подъ вліяніемъ идеала, который мужчина составлялъ себѣ о невѣстѣ, любовницѣ, женѣ, матери. Несправедливо и нелѣпо говорить, что мужчины при этомъ думали только о власти; есть вещи гораздо слаще власти; есть въ человѣкѣ стремленія болѣе высокія и никогда незаглушающіяся.

Человѣчество засвидѣтельствовало, что оно гораздо лучше, чѣмъ о немъ думаетъ Милль. Чистота дѣвы, любовь жены, чувства матери—составляютъ предметъ благоговѣнія мужчинъ, передъ которымъ они преклоняются и который охраняютъ часто гораздо ревностнѣе, чѣмъ всякую власть и всякій законъ.

Отношенія между полами, эти таинственныя и многозначительныя отношенія,—источникъ величайшаго счастія и величайшихъ страданій, воплощеніе всякой прелести и всякой гнусности, настоящій узелъ жизни, отъ котораго существенно зависитъ ея красота и ея безобразіе,—эти отношенія упущены изъ виду Миллемъ и не внесены имъ въ женскій вопросъ. Это значитъ—философъ выпустилъ изъ разсматриваемаго явленія самую существенную его сторону, и думалъ, однако-же, понять и объяснить явленіе.

Не въ правѣ-ли мы послѣ этого сказать, что женскій вопросъ послѣ всѣхъ подобныхъ толковъ остается столь-же загадочнымъ и неисчерпаннымъ, какъ и прежде? Всѣ разсужденія Милля ходятъ только вокругъ да около; его скептицизмъ и неправильныя попытки приложенія экспериментальнаго метода всего больше и яснѣе свидѣтельствуютъ объ одномъ,—о слѣпотѣ къ самымъ яснымъ явленіямъ, о глухотѣ къ самымъ громкимъ требованіямъ человѣческой природы. Женскій вопросъ такъ, какъ понимаетъ его Милль, вытекаетъ не изъ сущности отношеній между женщинами и мужчинами, а изъ источниковъ совершенно постороннихъ. И, слѣдовательно, мы въ правѣ сказать, что этотъ вопросъ есть плодъ непониманія дѣла, а вовсе не какого-либо слишкомъ глубокаго проникновенія въ него.

1870.

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА *).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Теорія прогресса и факты ей противорѣчащіе.

I.

Катихизисъ западниковъ. Разочарованія послѣ 1848.

Съ каждымъ годомъ, и даже больше,—съ каждымъ мѣсяцемъ русскіе люди приходятъ все въ бо́льшее и бо́льшее затрудненіе въ разсужденіи того, какъ имъ относиться къ Западу. У нихъ давно уже утвердился нѣкотораго рода катихизисъ, опредѣляющій догматы вѣрованія въ Западъ; но въ послѣднее время этому катихизису такъ противорѣчатъ громкія событія, что строго держаться его становится почти невозможнымъ, и от-

*) *Фринцискъ Сарсе. Осада Парижа.* 1870—1871. Впечатлѣнія и воспоминанія. (Переводъ съ пятаго французскаго изданія). Спб. 1871.

Красные клубы во время осады Парижа. Соч. Молинари. Переводъ съ французскаго. Изданіе Д. К. и А. С. Спб. 1871.

Черная книга парижской коммуны. Разоблаченіе «Интернасіонала», перев. съ франц. Спб. 1871.

La revolution plébéienne. Lettres a Junius. Bruxelles, Juin 1871.

сюда возникаютъ колебанія, разногласія и даже ереси и совершенное вольнодумство.

Догматы катихизиса, о которомъ мы говоримъ, состоятъ въ слѣдующемъ:

Наши просвѣщенные люди вѣруютъ и исповѣдуютъ, что Западъ есть страна всяческаго прогресса, та единая страна на земномъ шарѣ, гдѣ совершается движеніе человѣчества впередъ. Исторія Запада есть главная часть всемірной исторіи, и то, что дѣлается на Западѣ, имѣетъ силу и обязательность для всего земнаго шара, ни мало не исключая, разумѣется, и Россіи. Будущность всего человѣчества изготовляется тамъ, и вся земля должна оттуда ждать своихъ судебъ.

Прогрессъ, совершающійся на Западѣ, совершается непрерывно и неудержимо, именно состоитъ въ непрерывномъ и неудержимомъ усовершеніи, ходѣ къ лучшему. На эту тему написаны безчисленныя книги; глубокомысленно и тонко въ нихъ объяснено, какъ нашествіе варваровъ на древній міръ составляло успѣхъ въ исторіи, замѣнивъ отжившія племена свѣжими; какъ потомъ эти свѣжія племена раскрыли свои силы и образовали новую, средневѣковую цивилизацію; какъ разрушеніе строя среднихъ вѣковъ составило новый успѣхъ; какъ большая французская революція опять составила эру новаго движенія впередъ,—и т. д. вплоть до нашего времени. Не только вѣкъ, но каждый годъ для Запада есть новый шагъ впередъ. Отсюда та постоянно гордая рѣчь, которую держатъ люди этой вѣры, когда идетъ дѣло о минутѣ, ими переживаемой. „Въ наше время, конечно, невозможно...“; „въ XIX вѣкѣ странно слышать...“; „во второй четверти XIX вѣка никто не скажетъ...“; „не даромъ идетъ уже восьмой десятокъ

нашего вѣка...“ Такъ говорили и говорятъ обыкновенно просвѣщенные люди всего свѣта, явно давая чувствовать, что прогрессъ прямо пропорціоналенъ времени, что мѣра времени есть его мѣра.

Всякое движеніе, всякая перемѣна, и даже всякое бѣдствіе обращаются въ пользу прогресса; ибо, въ той или въ другой формѣ, при каждой перемѣнѣ заявляютъ себя и берутъ верхъ элементы будущаго, нарастаетъ новая, лучшая жизнь. Первая французская имперія была періодомъ непрерывныхъ войнъ, страшнаго кровопролитія. Между тѣмъ, Наполеонъ I долго и усердно прославлялся во всемъ мірѣ, какъ сынъ революціи, какъ человѣкъ, распространявшій своими завоеваніями ея начала, какъ самовѣнчанный царь, подрывавшій въ самомъ корнѣ авторитетъ прирожденныхъ царей.

Разрушеніе есть даже любимая форма прогресса; ибо разрушеніе значитъ смерть того, что̀ отжило, въ чемъ истощилась внутренняя сила. На мѣсто-же разрушеннаго неминуемо, неизбѣжно должны возникнуть новыя, лучшія явленія. Въ человѣчествѣ лежитъ неистощимая сила обновленія; вѣра въ эту силу составляетъ главный догматъ ученія о прогрессѣ.

Таковъ радостный, утѣшительный катихизисъ, котораго мы держались и до сихъ поръ держимся. Этотъ катихизисъ имѣетъ довольно давнее происхожденіе, но всего больше онъ укрѣпился и процвѣталъ въ эпоху отъ 1830 до 1848 года, отъ іюльской до февральской революціи; то было время всяческихъ надеждъ, періодъ восторга, очень подобный свѣтлому періоду, который пережила Европа передъ великой революціей 1789 года.

Съ 1848 года разочарованіе идетъ за разочарованіемъ. Не смотря на то, вся масса просвѣщенныхъ лю-

дей, и у насъ, и въ цѣлой Европѣ, продолжаетъ исповѣдывать старые догматы; въ этой массѣ развилось упорное консерваторство и старовѣрство, которое только разжигается противорѣчіемъ и закрываетъ глаза на самые очевидные факты.

Владычество Ниполеона III уже никакъ не подходило подъ ученіе прогресса. Умные люди пробовали придать ему тоже значеніе, въ силу котораго такъ восхвалялся первый Наполеонъ, да и самъ Наполеонъ III пытался украсить свое царствованіе нѣкоторыми *идеями*, напримѣръ, идеею національности; но, въ сущности, все-таки выходило одно—военная диктатура, цѣль которой—удержать грозящій переворотъ, физическою силою сохранить въ странѣ порядокъ, который уже не могъ сохраняться нравственными силами.

Страшныя войны, которыя велись въ Европѣ съ 1848 года, были не малымъ смущеніемъ для поклонниковъ прогресса. Мечта о вѣчномъ мирѣ уже не владѣла умами въ нашъ вѣкъ съ такою силою, какъ въ прошломъ столѣтіи, но все еще имѣла очень много поклонниковъ. Бокль, писавшій свою книгу въ небольшой промежутокъ роздыха послѣ Крымской войны, увѣрялъ, что впередъ едва-ли повторятся подобные ужасы. При этомъ онъ тонко замѣчалъ, что и Крымское кровопролитіе произошло оттого, что столкновеніе интересовъ случилось между двумя *наименѣе образованными* государствами Европы, между Россіею и Турціею. Но что-же вышло потомъ? Франція пошла на Австрію, Австрія и Пруссія на Данію, Пруссія на Австрію, наконецъ, Франція на Пруссію. Сбылось предвѣщаніе Брюсова календаря, который предсказывалъ на 1870 годъ „войну между *просвѣщенными* государствами“.

Подивитесь однако-же силѣ вѣры, которую питаютъ приверженцы извѣстныхъ идей. Теперь, послѣ всѣхъ этихъ войнъ и послѣ самой страшной, которая случилась послѣ нихъ, именно междоусобной войны Парижской Коммуны, извѣстный политико-экономъ г. Молинари, все-таки съ удовольствіемъ замѣчаетъ, что „идеи „мира въ послѣдніе годы совершили (во Франціи) зна„чительный успѣхъ; онѣ распространились даже въ са„мыхъ низшихъ слояхъ общества и на послѣднихъ вы„борахъ стояли въ числѣ главныхъ пунктовъ въ про„граммахъ кандидатовъ". (*Русск. Вѣстн.* 1871 г. Авг., стр. 475).

Политико-экономы, служащіе наукѣ, для которой война есть высшая безсмыслица, не подходящая ни подъ какія понятія, усердно проповѣдывали миръ. Кромѣ ихъ, миръ былъ вообще призываемъ и ожидаемъ великимъ множествомъ прогрессивныхъ людей. Но, если другіе изъ нихъ и не впадали въ столь явное противорѣчіе съ дѣйствительностію, если и знали, что кровь, желѣзо и огонь неизбѣжны въ дальнѣйшемъ движеніи прогресса, то все-таки подвергались величайшему разочарованію по той причинѣ, что войны велись вовсе не изъ-за того, изъ-за чего имъ слѣдовало-бы вестись по теоріи прогресса.

Не за промышленные интересы, не за измѣненіе политическаго строя, не ради соціальнаго переворота велись послѣднія войны. Встала новая сила, появился неожиданно интересъ совершенно особаго рода, такъ-называемое начало національности. Какъ-бы ни толковали объ этомъ иные поклонники прогресса, но національность никакъ нельзя поставить на первое мѣсто въ ихъ теоріи. Это интересъ второстепенный и даже третьестепенный для всеобщаго преуспѣянія. И когда онъ за-

нимаетъ первое мѣсто, то съ ихъ точки зрѣнія это нужно непремѣнно назвать регрессомъ, а не прогрессомъ.

Но пусть такъ, пусть вопросъ о народностяхъ не противорѣчитъ ученію о прогрессѣ; можно-ли однакоже вполнѣ подвести хотя-бы подъ этотъ вопросъ послѣднюю ужасную войну, франко-прусскую? Не ясно-ли, что дѣло здѣсь шло не объ одномъ объединеніи нѣмцевъ, а всего больше о политическомъ преобладаніи въ Европѣ? Политическое могущество, государственная сила—вотъ то благо, котораго давно были лишены нѣмцы, изъ-за котораго они соединились и предприняли даже не простую войну, а настоящее нашествіе на Францію. Государственное могущество было для нихъ не средствомъ, а цѣлью. Опять—на первомъ мѣстѣ такой интересъ, который долженъ бы быть далеко назади, если-бы прогрессъ совершался правильно.

Помирить этотъ фактъ съ общимъ ученіемъ очень трудно. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ взглянуть на то, напримѣръ, какое впечатлѣніе произвели успѣхи Пруссаковъ въ нашей литературѣ, когда стало уже ясно, что Пруссія займетъ первое мѣсто въ Европѣ. Наши просвѣщенные люди были приведены въ величайшее недоумѣніе. Кто стоитъ во главѣ Европѣ, тотъ, въ силу этого самаго, стоитъ во главѣ прогресса. Такъ это многіе и поняли, не смотря на всеобщее инстинктивное отвращеніе къ мысли, что придется признать нѣмцевъ своими образцами и подражать ихъ порядкамъ. Вообще говоря, давленіе нѣмецкаго авторитета уже начало дѣйствовать. Ему нужно приписать не только одни такія мѣры, какъ введеніе общей воинской повинности; кажется и побѣда классическаго образованія была окончательно рѣшена побѣдами Пруссаковъ.

Между тѣмъ, большая часть нашей западнической литературы хорошо чувствовала, что въ преобладаніи Германіи не заключается никакого новаго шага для общаго прогресса. Никакъ не можемъ мы предположить, чтобы нѣмцы въ политическомъ и соціальномъ отношеніи пошли дальше французовъ. И потому, большая часть нашихъ западниковъ оставалась вѣрна своему прежнему образцу и идеалу—Франціи. Событія на минуту польстили этому настроенію. Появленіе республики во Франціи было у насъ встрѣчено радостно. Но республика скоро оказалась очень плохою; затѣмъ возникло явленіе болѣе страшное, чѣмъ всякія войны, превосходящее своимъ ужасомъ всѣ революціи, какія только были,—возстаніе Парижской Коммуны и ея попытка разрушить Парижъ. Невообразимое смущеніе овладѣло нашими западниками; кромѣ самыхъ отчаянныхъ, никто не могъ помириться съ частными подробностями этого событія; общій-же смыслъ его былъ такъ теменъ, что самые тонкіе знатоки прогресса не знали, что̀ сказать, и толковали дѣло на совершенно различные лады. Вотъ объ этомъ-то общемъ смыслѣ мы и хотимъ сказать здѣсь нѣсколько словъ.

II.

Революціи 1789, 1830, 1848, 1871.

Обратимся сперва еще дальше назадъ. Не съ 1848 года только факты противорѣчатъ теоріи прогресса. Если-бы мы были внимательны, то давно-бы уже замѣтили, что исторія совершается вовсе не тѣми силами и не по тѣмъ законамъ, какіе ей указываетъ теорія. Есть постоянное противорѣчіе между отвлеченными, со-

знательными мыслями и желаніями, которыми руководятся отдѣльные сильные люди и цѣлые народы, и тѣми результатами, которые получаются на дѣлѣ. Давно уже никакія *цѣли*, къ которымъ стремятся люди, не достигаются, и изъ людскихъ усилій выходитъ нѣчто совершенно не похожее на эти цѣли.

Революція 1789 года была совершена во имя *правъ человѣка*. Вспомните блестящую и огромную литературу, которая проповѣдывала эти права; казалось, всѣ лучшіе умы были устремлены въ одну сторону, напитаны одними идеями. Что же вышло? Послѣ долгой борьбы, послѣ всяческихъ колебаній, оказалось, что права человѣка не были достигнуты; вмѣсто того былъ достигнутъ очень ясный и опредѣленный результатъ: буржуазія низвергла два стоявшія надъ нею сословія, дворянство и духовенство, и сдѣлалось полною властительницею Франціи. Вотъ та тайная сила, которая руководила великою революціею и для которой въ сущности трудились философы и политическіе дѣятели, ставившіе себѣ, повидимому, совершенно другія цѣли.

Наполеонъ I былъ представитель космополитическихъ идей. Смѣняя королей, перекраивая царства, всюду вводя свой общечеловѣческій кодексъ, онъ, казалось, наилучшимъ образомъ работалъ въ пользу космополитизма. Между тѣмъ, слѣдствіемъ было совершенно обратное явленіе, пробужденіе чувства народности, такое сильное пробужденіе, что оно сломило Наполеона и его имперію. Какъ извѣстно, до конца своихъ дней Наполеонъ не понималъ, какая сила возстала на него, и утверждалъ, что его усилія были направлены ко благу Европы и что его паденіе есть шагъ назадъ въ прогрессѣ человѣчества.

Реставрація опиралась на силу народностей, но имѣла въ виду совершенно другія цѣли. Она шла противъ революціонныхъ началъ, и не замѣчала того, что, возбуждая чувство народности, способствуетъ развитію новаго начала, отъ котораго долженъ былъ погибнуть возстановляемый ею старый порядокъ.

Въ 1830 году наступила, повидимому, новая эра политической свободы. Вся Европа радовалась, всѣ умы преисполнились бодростію и надеждою; въ жизни, въ литературѣ, въ искусствахъ началось усиленное движеніе, начался самый характерный и плодовитый періодъ нынѣшняго столѣтія. Чему-же всѣ такъ обрадовались? Оказалось, что 1830 годъ былъ лишь окончательнымъ воцареніемъ буржуазіи; съ этимъ воцареніемъ водворялся порядокъ, въ сущности неспособный къ дальнѣйшему развитію, не только не излечивавшій, а питавшій ту новую болѣзнь, которая должна была его погубить.

Царствующая буржуазія вовсе и не думала объ опасности, и въ 1848 году вздумала повторить 1830 годъ. Февральская революція была начата буржуазіею; но въ какой ужасъ пришло это сословіе, когда вдругъ оказалось, что незримо и неожиданно выросли соціальные вопросы, и что дѣло идетъ уже не о поправкѣ конституціи, а о перестройкѣ всего общества! Третье сословіе разбудило четвертое; сама не понимая, что̀ она дѣлаетъ, буржуазія дала толчекъ къ разрушенію своего преобладанія.

И такъ, въ каждой революціи, въ каждомъ потрясеніи нужно непремѣнно различать сознательный поводъ, отвлеченную идею, во имя которой производится переворотъ, отъ тѣхъ дѣйствительныхъ силъ, которыя приводятся въ движеніе переворотомъ. Результатъ зависитъ

отъ этихъ силъ, а не отъ того, что̀ говорятъ ораторы и пишутъ журналы. Мы показали-бы очень большое малодушіе, если-бы послѣ столькихъ опытовъ все продолжали думать, что всеобщая исторія можетъ совершаться по нѣкоторой напередъ составленной программѣ, если-бы добивались такого совершенія и сердились на его неудачу. Въ сущности вѣдь это было-бы истиннымъ ребячествомъ. Не умнѣе-ли будете, если мы не станемъ по-дѣтски негодовать на дѣйствительность, а будемъ ее изучать и изслѣдовать? Можно напиваться не однимъ виномъ, можно напиться иными мыслями до потери всякой трезвости, до неумѣнья ясно видѣть и ходить прямо. Такое пьянство нынче въ модѣ и очень поощряется во всемірной литературѣ; нельзя сказать, чтобы истина и безпристрастіе были въ настоящее время въ большомъ почетѣ. Насъ отрезвляютъ развѣ только страшныя событія, потоки крови, горы труповъ, города въ пламени, да и то не всегда отрезвляютъ. Не лучше-ли же заранѣе поставить себѣ правиломъ—трезвость духа и то смиренное, внимательное изученіе дѣйствительности, которое одно прилично человѣку, ищущему правды, а не желающему тѣшиться увлеченіями и жить фантазіями?

Революція 1871 года есть уже въ полномъ смыслѣ соціальная революція; она была возбуждена и была руководима завзятыми соціалистами. Возстаніе Парижской Коммуны нужно считать первою попыткою, съ которой открывается движеніе уже въ чисто-соціальномъ смыслѣ. Въ чемъ-же состоитъ программа, сознательная мысль этого движенія? Стремленія Коммуны были объясняемы въ различномъ смыслѣ; но, перебирая всѣ эти толкованія, нельзя не сознаться, что ни одно изъ нихъ не

смогло приписать Коммунѣ цѣлей особенно высокихъ и свѣтлыхъ.

Нѣкоторые говорили, что цѣлью возстанія было преобразованіе французской демократіи, что Коммуна стремилась ввести во Францію тѣ порядки, тѣ свободныя учрежденія, какія мы находимъ въ Соединенныхъ Штатахъ, въ Англіи, въ Бельгіи, въ Швейцаріи. Такую цѣль нужно назвать болѣе чѣмъ скромною. Если-бы въ этомъ было дѣло, то Франція, значитъ, смотрѣла-бы на себя, какъ на отсталую страну, которую нужно подвинуть впередъ до уровня другихъ странъ. Гдѣ-же тутъ шагъ впередъ, гдѣ новая идея, требующая борьбы и крови? Притомъ, тутъ упускается изъ виду, или по крайней мѣрѣ маскируется, главная черта дѣла, стремленіе къ соціальному перевороту.

Самое правильное толкованіе безъ сомнѣнія то, что возстаніе имѣло свой смыслъ и свою силу въ движеніи такъ называемаго четвертаго сословія, пролетаріевъ. Совершить соціальный переворотъ—вотъ о чемъ мечтала Коммуна, вотъ чего отъ нея надѣялись. Цѣль важная, дѣло огромное; но нельзя, однако-же, не видѣть, какъ неизмѣримо далеко идеалы современной революціи отстоятъ отъ прежнихъ идеаловъ. Уже нѣтъ рѣчи о правахъ людей, нѣтъ радостныхъ призывовъ къ свободѣ, равенству и братству, нѣтъ золотыхъ мечтаній фурьеризма о всеобщемъ счастіи. Если магическія слова прежнихъ революцій и продолжаютъ повторяться, то всякому ясно, что дѣло не въ нихъ, что задача съузилась, опредѣлилась. Дѣло идетъ не о достиженіи людьми какихъ либо правъ (третье сословіе достигло всякихъ правъ), не о счастливомъ устройствѣ человѣчества на землѣ (третье сословіе достигло всякаго счастья),

дѣло идетъ только объ одномъ сословіи, о рабочихъ, и требуется не столько осчастливить его, какъ спасти отъ бѣдствій, не столько надѣлить правами и властью, сколько защитить отъ непрерывнаго гнета капиталовъ и хозяевъ. Не новыхъ благъ добивается новая революція; она хочетъ только пособить бѣдствію, способствовать разрѣшенію вопроса, который, какъ гроза, нависъ надъ бо́льшею частію Европы и грозитъ не одной Франціи, а и Германіи, и Бельгіи, и Англіи.

Противъ этой программы, хотя, повторяемъ, въ ней мало свѣтлаго и радостнаго, ничего сказать нельзя. Устранить возможность притѣсненій, которымъ подвергаются работники, устроить порядокъ, при которомъ трудъ приносилъ-бы бо́льшее вознагражденіе, ослабить давленіе капитала,—все это вещи прекрасныя. Рабочій вопросъ способенъ къ огромному развитію. Можно представить себѣ цѣлый рядъ искусныхъ мѣръ, и частныхъ, и государственныхъ, которыя противодѣйствовали-бы великому злу и доводили-бы его до возможно меньшей степени.

И такъ, программа послѣдней революціи, ея сознательная идея заслуживаетъ полнаго одобренія. Но будетъ-ли исполнена эта программа? Движеніе, которое началось и которое будетъ повторяться и разростаться, будетъ-ли прямо устремлено къ этой цѣли? Можно-ли ожидать, что имѣя передъ собою такую опредѣленную задачу, революціонеры на этотъ разъ справятся съ своимъ дѣломъ и придутъ къ тому, чего желаютъ? Увы! И примѣры прошлыхъ переворотовъ, и еще болѣе зловѣщіе признаки, обнаружившіеся въ послѣднемъ переворотѣ, убѣждаютъ насъ, что теперь надѣяться можно меньше, чѣмъ когда-либо. Результатъ получится ни-

сколько не похожій на исходную точку. Уже теперь ясно, что иныя силы дѣйствуютъ въ этой революціи, что рабочій вопросъ въ его чистомъ смыслѣ составляетъ лишь предлогъ для обнаруженія стремленій гораздо болѣе могущественныхъ. Простыя и скромныя цѣли будутъ обойдены и отброшены въ сторону, и вмѣсто блага получится зло, вмѣсто созиданія—разрушеніе. Стихіи, которымъ даетъ выходъ новый переворотъ, гораздо сильнѣе, чѣмъ его положительныя стремленія. Вмѣсто желанія освободиться отъ утѣсненія и бѣдности является желаніе власти и богатства; вмѣсто стремленія спастись и избавиться—стремленіе погубить и разрушить; вмѣсто огражденія своихъ правъ—жажда мщенія.

III.

Разочарованіе Карамзина.

Обратимся еще разъ назадъ. Прошлое столѣтіе было однимъ изъ счастливѣйшихъ временъ для Европы, не по суммѣ дѣйствительныхъ благъ, которыми пользовались тогда люди, а по тѣмъ свѣтлымъ надеждамъ, которыя они тогда питали. Никто не ожидалъ тѣхъ ужасовъ, которыми кончился этотъ вѣкъ, тѣхъ убійствъ, казней, войнъ, которыми сопровождалась первая французская революція. Счастливое время! Теперь многіе изъ насъ безъ крови не могутъ себѣ вообразить ни одного важнаго шага прогресса; мы привыкли думать, что для движенія впередъ нужна борьба, жертвы, разрушеніе. Тогда еще этого не знали. Прогрессъ долгое время шелъ впередъ на полныхъ парусахъ, и никакой грозы впереди

не было видно. Не нужно забывать объ этомъ свѣтломъ настроеніи, если мы хотимъ вѣрно судить о прошломъ вѣкѣ. Вольтеръ около 1770 года безпрестанно повторялъ: „мы живемъ въ золотомъ вѣкѣ", „мы въ полномъ золотомъ вѣкѣ". На престолахъ сидѣли государи-философы: Фридрихъ, Екатерина, а если гдѣ государь не былъ философомъ, тамъ навѣрное были министры философы. Распространеніе и вліяніе новыхъ идей возрастало съ каждымъ днемъ. Казалось, онѣ все покорятъ себѣ, и земля безъ всякаго переворота устроится по новому плану.

Каково же было разочарованіе! Чтобы изобразить всю его силу, мы сдѣлаемъ всего лучше, если приведемъ слова тогдашняго русскаго писателя, Карамзина. Карамзину ставятъ нерѣдко въ упрекъ, что онъ не понялъ французской революціи; между тѣмъ онъ сдѣлалъ гораздо больше: онъ пережилъ эту революцію своимъ сердцемъ, онъ испыталъ на себѣ ея ударъ съ такою силою, съ какою его почувствовали развѣ немногіе, лучшіе сыны XVIII-го вѣка.

Мы приведемъ прекрасныя слова Карамзина, такъ-какъ они не только живо выражаютъ его тогдашнія мысли, но годятся и для насъ, для выраженія того разочарованія, которое мы испытали при слухахъ о парижскихъ ужасахъ и которое еще въ большей степени ждетъ насъ впереди. Въ 1794 году, вотъ что писалъ Карамзинъ.

„Тысячи мыслей волнуются въ душѣ моей... ...Я хо„тѣлъ бы открыть тебѣ грудь мою, чтобы ты собствен„ными глазами могъ читать въ ней сокровенную исторію „друга твоего, и видѣть—прости мнѣ *смѣлое* выраженіе — „видѣть всѣ *развалины надеждъ и замысловъ*, надъ ко-

„торыми въ тихіе часы ночи сѣтуетъ нынѣ духъ „мой“...

„Помнишь ли, другъ мой, какъ мы нѣкогда раз„суждали о нравственномъ мірѣ, ловили въ исторіи всѣ „благородныя черты души человѣческой, питали въ груди „своей эѳирное пламя любви, котораго вѣяніе возносило „насъ къ небесамъ и, проливая сладкія слезы, воскли„цали: *человѣкъ великъ духомъ своимъ! Божество оби„таетъ въ его сердцѣ!* Помнишь, какъ мы, сличая разныя „времена, древнія съ новыми, искали и находили дока„зательство любезной намъ мысли, что *родъ человѣческій „возвышается и, хотя медленно, хотя неровными ша„гами, но всегда приближается къ духовному совершен„ству.* Ахъ! съ какою нѣжностію обнимали мы въ душѣ „своей всѣхъ земнородныхъ, какъ милыхъ дѣтей небес„наго Отца!“

„Кто болѣе нашего славилъ преимущества осьмого„надесять вѣка: свѣтъ философіи, смягченіе нравовъ, „тонкость разума и чувства, размноженіе жизненныхъ „удовольствій, всемѣстное распространеніе духа обще„ственности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь на„родовъ, кротость правленій и пр. и пр.?—Хотя и явля„лись еще нѣкоторыя черныя облака на горизонтѣ чело„вѣчества, но свѣтлый лучъ надежды златилъ уже края „оныхъ предъ нашимъ взоромъ—надежды: все исчезнетъ, „и царство общей мудрости настанетъ, рано или поздно „настанетъ, — и блаженъ тотъ изъ смертныхъ, кто въ „краткое время жизни своей успѣлъ разсѣять хотя одно „мрачное заблужденіе ума человѣческаго, успѣлъ хотя „однимъ шагомъ приблизить людей къ источнику всѣхъ „истинъ, успѣлъ хотя единое плодоносное зерно добро„дѣтели вложить рукою любви въ сердце чувствитель-

„ныхъ, и такимъ образомъ ускорилъ ходъ всемірнаго „совершенія!“

„Конецъ нашего вѣка почитали мы концемъ глав„нѣйшихъ бѣдствій человѣчества, и думали, что въ немъ „послѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ прак„тикою, умозрѣнія съ дѣятельностію; что люди, увѣрясь „нравственнымъ образомъ въ изящности законовъ чистаго „разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности и, „подъ сѣнью мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, „насладятся истинными благами жизни“.

„О, Филалетъ! гдѣ теперь сія утѣшительная система?.. „Она разрушилась въ своемъ основаніи!“

„Осьмойнадесять вѣкъ кончается: что̀ же видишь ты „на сценѣ міра? — Осьмойнадесять вѣкъ кончается, и „несчастный филантропъ мѣряетъ двумя шагами могилу „свою, чтобы лечь въ нее съ обманутымъ, растерзаннымъ „сердцемъ своимъ и закрыть глаза на вѣки!“

„Кто могъ думать, ожидать, предчувствовать?.. ...Мы „надѣялись видѣть человѣчество на горней степени ве„личія, въ вѣнцѣ славы, въ лучезарномъ сіяніи... Но „вмѣсто сего восхитительнаго явленія видимъ... фурій „съ грозными пламенниками“!

„Гдѣ люди, которыхъ мы любили? Гдѣ плодъ наукъ „и мудрости? Гдѣ возвышеніе кроткихъ нравственныхъ „существъ, сотворенныхъ для счастія? — Вѣкъ просвѣ„щенія! я не узнаю тебя—въ крови и пламени не узнаю „тебя — среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя!.. „Небесная красота исчезла—змѣи шипятъ на ея мѣстѣ! „Какое превращеніе!“

„Свирѣпая война опустошаетъ Европу, столицу ис„кусствъ и наукъ, хранилище всѣхъ драгоцѣнностей ума „человѣческаго. И не только милліоны погибаютъ, не

„только города и села исчезаютъ въ пламени,—я вижу „еще другое, ужаснѣйшее зло для бѣднаго человѣчества: „мизософы торжествуютъ! *Вотъ плоды вашего просвѣ-„щенія!* говорятъ они: *вотъ плоды вашихъ наукъ, вашей „мудрости! Гдѣ воспылалъ огнь раздора, мятежа и злобы? „Гдѣ первая кровь обагрила землю? и за что?.. И „откуда взялись сіи пагубныя идеи?.. Да погибнетъ же „ваша философія!*—И бѣдный, лишенный отечества, и „бѣдный, лишенный крова, и бѣдный, лишенный отца, „или сына, или друга, повторяетъ: *да погибнетъ!* И доб-„рое сердце, раздираемое зрѣлищемъ лютыхъ бѣдствій, „въ горести своей повторяетъ: *да погибнетъ!* А сіи вос-„клицанія могутъ составить наконецъ общее мнѣніе: „вообрази же слѣдствія!"

„Кровопролитіе не можетъ быть вѣчно, я увѣренъ. „Рука, сѣкущая мечемъ, утомится; сѣра и селитра исто-„щатся въ нѣдрахъ земли, и громы умолкнутъ; тишина „рано или поздно настанетъ,—но какова будетъ тишина „сія? Если мертвая, хладная, мрачная?"

„Такъ, мой другъ, паденіе наукъ кажется мнѣ не „только возможнымъ, но и вѣроятнымъ; не только вѣ-„роятнымъ, но даже неминуемымъ, даже близкимъ. „Когда же падутъ онѣ... когда ихъ великолѣпное зданіе „разрушится, благодѣтельныя лампады угаснутъ — что „будетъ? Я ужасаюсь и чувствую трепетъ въ сердцѣ".

„Сверхъ того, внимательный наблюдатель видитъ те-„перь повсюду отверстые гробы для *нѣжной нравствен-„ности.* Сердца ожесточаются ужасными происшествіями, „и привыкая къ феноменамъ злодѣяній, теряютъ чув-„ствительность. Я закрываю лицо свое!"

„Ахъ, другъ мой! ужели родъ человѣческій доходилъ „въ наше время до крайней степени возможнаго про-

„свѣщенія, и долженъ, дѣйствіемъ какого-нибудь чуд-„наго и тайнаго закона, ниспадать съ сей высоты, чтобы „снова погрузиться въ варварство и снова мало по малу „выходить изъ онаго, подобно Сизифову камню, который, „будучи взнесенъ на верхъ горы, собственною своею „тяжестію скатывается внизъ и опять рукою вѣчнаго „труженика па гору возносится?—Горестная мысль! Пе-„чальный образъ!"

„Теперь мнѣ кажется, будто самыя лѣтописи дока-„зываютъ вѣроятность сего мнѣнія. Намъ едва извѣстны „имена древнихъ Азіатскихъ народовъ и царствъ; но по „нѣкоторымъ историческимъ отрывкамъ, до насъ дошед-„шимъ, можно думать, что сіи народы были не варвары, „что они имѣли свои искусства, свои науки: кто знаетъ „тогдашніе успѣхи разума человѣческаго? Царства раз-„рушались, народы исчезали; изъ праха ихъ, подобно какъ „изъ праха Фениксова, рождались новыя племена, рож-„дались въ сумракѣ, въ мерцаніи, младенчествовали, учи-„лись и славились. Можетъ быть эоны погрузились въ „вѣчность, и нѣсколько разъ сіялъ день въ умахъ лю-„дей, и нѣсколько разъ ночь темнила души, прежде „нежели возсіялъ Египетъ, съ котораго начинается пол-„ная исторія".

„Египетское просвѣщеніе соединяется съ грече-„скимъ... Тамъ все прельщаетъ зрѣніе, душу, сердце; „тамъ красуются Ликурги и Солоны, Кодры и Леониды, „Сократы и Платоны, Гомеры и Софоклы, Фидіи и Зев-„ксисы... Римляне учились въ сей великой школѣ"...

„Что же послѣдовало за сею блестящею эпохою че-„ловѣчества? Варварство многихъ вѣковъ, варварство „ума и нравовъ"...

„Медленно рѣдѣла, медленно прояснялась сія густая

„тьма. Наконецъ, солнце наукъ возсіяло, и философія „изумила насъ быстрыми своими успѣхами. Добрые, лег„ковѣрные человѣколюбцы заключали отъ успѣховъ къ „успѣхамъ; исчисляли, измѣряли путь ума, напрягали „взоръ свой—видѣли близкую цѣль совершенства, и въ „радостномъ упоеніи восклицали: *берегъ*!.. Но вдругъ, „небо дымится, и судьба человѣчества скрывается въ „грозныхъ туманахъ!—О, потомство! какая участь ожи„даетъ тебя?"

„Печальныя сомнѣнія волнуютъ мою душу, и шум„ный городъ, въ которомъ живу, кажется мнѣ пусты„нею. Вижу людей, но взоръ мой не находитъ сердца „въ ихъ взорахъ. Слышу разсужденія, и опускаю глаза „въ землю".

„Иногда несносная грусть тѣснитъ мое сердце, иногда „упадаю на колѣни и простираю руки свои—къ Невидимо„му... Нѣтъ отвѣта!—Голова моя клонится къ сердцу".

„Самая природа не веселитъ меня. Она лишилась „вѣнца своего въ глазахъ моихъ, съ того времени, какъ „не могу уже въ ея объятіяхъ мечтать о близкомъ „счастіи людей; съ того времени, какъ удалилась отъ „меня радостная мысль о ихъ совершенствѣ, о царствѣ „истины и добродѣтели; съ того времени, какъ я не „знаю, что̀ мнѣ думать о феноменахъ нравственнаго „міра, чего ожидать и надѣяться!"

„Вѣчное движеніе въ одномъ кругу; вѣчное повто„реніе, вѣчная смѣна дня съ ночью и ночи со днемъ; „вѣчное смѣшеніе истинъ съ заблужденіями и добродѣ„телей съ пороками; капля радостныхъ и море горест„ныхъ слезъ... мой другъ! начто жить мнѣ, тебѣ и „всѣмъ? Начто жили предки наши? Начто будетъ жить „потомство"?

„Духъ мой унылъ, слабъ и печаленъ“. (Соч. Кар., т. VII, стр. 81).

Вотъ превосходный примѣръ того, какъ глубоко можетъ проникаться человѣкъ извѣстными идеалами, сколько любви онъ можетъ полагать на нихъ, и какое жестокое страданіе испытываетъ отъ ихъ потери. Не даромъ было замѣчено, что Карамзина нужно считать первымъ нашимъ европейцемъ, первымъ русскимъ, который не на половину, не фальшиво, не внѣшнимъ образомъ, а дѣйствительно и вполнѣ усвоилъ себѣ духъ современнаго ему европейскаго просвѣщенія. Поэтому, онъ не смотрѣлъ съ благоговѣніемъ на зрѣлище революціонныхъ событій, какъ смотрятъ люди, со стороны и издали преклоняющіеся передъ Западомъ, не живущіе его жизнью, а только ждущіе отъ него предписаній и образцовъ для подражанія; эти люди всегда остаются очарованными, именно потому, что никогда не испытываютъ истиннаго, дѣйствительнаго очарованія. Карамзинъ-же, жившій *надеждами и замыслами* Запада, естественно долженъ былъ придти въ отчаяніе отъ ихъ разрушенія; для него не было никакого сомнѣнія въ томъ, что исторія обманула людей, что они пришли не къ тому, къ чему стремились.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Оскуденіе идеала. Коммуна.

I.

„Кровь и желѣзо“.

Повидимому, нашъ вѣкъ не можетъ такъ грубо обманываться, какъ обманулось въ своихъ желаніяхъ и надеждахъ прошлое столѣтіе. Какъ далеко наши взгляды на исторію ушли отъ того идиллическаго пониманія, которое еще было возможно для Карамзина! Понятно, что Карамзинъ съ его чувствительною душою долженъ былъ глубоко увлечься оптимизмомъ прошлаго столѣтія; для его мягкаго славянскаго сердца ничто такъ не было отрадно, какъ надежда на скорое счастіе людей, „прелестная мечта согласія и братства, столь милая душамъ нѣжнымъ“.

Но въ XIX вѣкѣ слишкомъ розовыя надежды составляютъ достояніе лишь немногихъ, неразумныхъ старовѣровъ. Мы знаемъ, что исторія не творится такъ легко, что многое въ ней покупается только кровью и жертвами. Эта *кровь,* необходимая для историческаго движенія, едва-ли не вошла въ программу всѣхъ партій; она

на тысячи ладовъ воспѣвается поэтами и, повидимому, вовсе перестала пугать людей.

Если экономисты и философы въ родѣ Конта и Бокля иногда и питаютъ надежду на прекращеніе войнъ между государствами, то никто, кажется, не питаетъ мысли о возможности мирныхъ внутреннихъ переворотовъ. Революція 1789 г. научила насъ, что терроръ и междоусобіе въ этихъ случаяхъ неотвратимы, и съ тѣхъ поръ многіе вѣрятъ, что только кровавая борьба даетъ прочные и широкіе результаты.

Да, мы очень умудрились съ тѣхъ поръ. Если XVIII вѣкъ, какъ мы видимъ изъ Карамзина, мечталъ о мирномъ развитіи, то мы мечтаемъ постоянно о развитіи кровавомъ и насильственномъ. Мы стремимся не къ *смягченію нравовъ*, а къ ожесточенію страстей; мы не полагаемся на *кротость правленій*, а нерѣдко готовы ожидать бо́льшаго отъ ихъ жестокости, могущей, по общепринятому мнѣнію, вызвать благодѣтельную реакцію.

Сообразно съ такими взглядами на ходъ дѣла, мы безпрестанно восхваляемъ враждебныя чувства, какъ наиболѣе полезныя для преуспѣянія человѣчества. Пламенное негодованіе, ненависть и злоба противъ порядка вещей, котораго мы не одобряемъ, считаются благородными и вполнѣ нормальными душевными настроеніями. Такъ какъ мы ждемъ пользы отъ борьбы, то мы безпрестанно и возбуждаемъ борьбу. Хладнокровіе, безпристрастіе, снисходительность—не считаются важными и необходимыми свойствами; мы болѣе надѣемся на страстные порывы, на беззавѣтныя увлеченія.

Этотъ страстный характеръ наложилъ свою печать на всѣ явленія нашего времени. Въ литературѣ давно уже не заботятся не только о красотѣ слога или чи-

стотѣ языка (дѣло первой важности для изящнаго XVIII вѣка), но и о вѣжливости, объ уваженіи чужихъ мнѣній и личностей, о внимательномъ и хладнокровномъ обсужденіи вопросовъ. Мирная республика наукъ и словесности (такъ выражался прошлый вѣкъ) обратилась въ арену всевозможныхъ битвъ и распрей. Нѣкогда Карамзинъ усердно проповѣдывалъ и самъ свято исполнялъ слѣдующее правило: *гдѣ нѣтъ предмети для хвалы, тамъ скажемъ все молчаніемъ.* Кто нынче вздумаетъ держаться этого правила? Кто не готовъ засмѣяться надъ нимъ, какъ надъ ребячествомъ? Всѣ думаютъ, что полемика есть самый необходимый элементъ въ литературѣ. Какъ въ области практической жизни надѣются достигнуть благоденствія и лучшаго развитія посредствомъ убійствъ и потрясеній всего строя жизни; такъ и въ умственной сферѣ надѣются достигнуть истины раздѣленіемъ мнѣній, доведеніемъ ихъ до крайности, безпощадною борьбою. Сомнѣніе, колебаніе авторитета людей и мыслей, возбужденіе всякихъ вопросовъ и разногласій, стараніе напустить туманъ и произвести путаницу—считаются благимъ и полезнымъ дѣломъ. Мнимые любители истины часто очень дорожатъ правомъ на такого рода дѣйствія и съ гордостію на него ссылаются. Такъ точно, передовымъ политическимъ людямъ бываетъ противно всякое состояніе мира и тишины; война и внутренніе перевороты, моръ и голодъ кажутся имъ предпочтительнѣе застоя; безпорядокъ есть ихъ стихія, отъ которой они ждутъ больше добра, чѣмъ отъ временъ спокойствія.

При такомъ страстномъ характерѣ всѣхъ явленій, мудрено-ли, что именно нашъ вѣкъ долженъ былъ представить міру самыя кровопролитныя войны, самыя же-

стокія внутреннія потрясенія? Никогда такъ легко не жертвовали жизнью, никогда такъ охотно не собирались въ несмѣтныя полчища, никогда не давалось столько простора жаждѣ крови и разрушенія. „Кровь и желѣзо“ есть истинный лозунгъ нашего вѣка, произнесенный однимъ изъ истинныхъ его представителей.

Всѣ эти жертвы и кровопролитія дѣлаются, однакоже, не иначе, какъ въ твердой увѣренности, что они приведутъ къ лучшему. Повидимому, никогда еще человѣчество не было такъ полно вѣры въ самаго себя, не было такъ непоколебимо въ своихъ надеждахъ. Карамзинъ, какъ мы видѣли, испугался до отчаянія бѣдствій французской революціи; ему уже казалось, что люди идутъ къ варварству, что скоро погибнутъ и науки и нѣжная нравственность, что уже невозможно мечтать о счастіи людей. Но мы уже не боимся того, чего боялся Карамзинъ, и увѣрены, что, если не всегда, то часто, ужасы есть неизбѣжная и даже самая близкая и прочная дорога къ людскому благополучію. Все бываетъ полезно, все способствуетъ движенію впередъ, къ лучшей долѣ, къ болѣе полному счастію. Такова нынѣшняя вѣра.

И вотъ, мы невольно задаемъ себѣ вопросъ: не будетъ-ли обманута и эта вѣра, какъ обманута была вѣра прошлаго столѣтія? Когда-то думали, что просвѣщеніе можетъ мирно разогнать всякую тьму, что смягченіе нравовъ можетъ одною своею прелестію покорить вселенную. Теперь мы этого не думаемъ; мы ждемъ успѣха только отъ борьбы, отъ упорной битвы. Но что, если и битва насъ обманетъ и ни къ чему не приведетъ?

II.

Потеря ясныхъ цѣлей.

При чрезвычайно страстности, при ужасной расточительности на кровь, огонь и желѣзо, наше время поражаетъ зрителя отсутствіемъ опредѣленныхъ, ясныхъ, широкихъ цѣлей, явною смутностію своихъ стремленій, словомъ—несомнѣннымъ *оскуденіемъ идеала*. Одно другому, какъ видно, не только не мѣшаетъ, а даже способствуетъ.

По ходячей теоріи прогресса, чѣмъ больше движеніе, чѣмъ обильнѣе потоки крови, тѣмъ сильнѣе должна быть дѣйствующая идея, тѣмъ важнѣе шагъ, дѣлаемый человѣчествомъ впередъ. Но весьма позволительно, а особенно нынче, усомниться въ такого рода догматѣ. Люди, по нѣкоторому благородству своей природы, никогда не бываютъ чужды желанія—жертвовать во имя чего-нибудь своею жизнью, запечатлѣть своею кровью ту или другую идею. Но нельзя сказать, чтобы они всегда находили достойный предметъ для самопожертвованія. И, когда нѣтъ такихъ предметовъ, когда нѣтъ ясныхъ, чистыхъ идеаловъ, ради которыхъ вполнѣ стоитъ и умирать и жить, тогда благородная жажда самопожертвованія, незаглушимая потребность чему-нибудь служить всѣмъ существомъ своимъ, можетъ обратиться на предметы фантастическіе, смутные, безсодержательные. И такъ, пусть не говорятъ намъ, что обиліе крови и смерти въ нашъ вѣкъ доказываетъ его неудержимое стремленіе впередъ, великую силу внутренняго прогресса.

Исторія Парижской Коммуны доказываетъ какъ нельзя лучше нашу тему. Остервенѣлая борьба между Версальцами и Коммуналистами главнымъ образомъ кажется поддерживалась тѣмъ, что французамъ въ это время жизнь была очень не дорога, что они всячески искали случая рисковать своею жизнью. Разбитые, униженные, ограбленные, смертельно оскорбленные въ своемъ патріотизмѣ, въ своихъ вѣрованіяхъ въ величіе и силу Франціи, они готовы были придраться къ чему угодно для того, чтобы заявить свое геройство, излить на кого нибудь свой гнѣвъ, чѣмъ нибудь насытить давно назрѣвшую потребность убивать другихъ и жертвовать собою. И такъ, страшные размѣры этой революціи вовсе не доказываютъ, чтобы въ ней была великая идея, достойная столькихъ смертей, оправдывающая такіе ужасы.

Потребности человѣческой природы всегда продолжаютъ дѣйствовать, всегда ищутъ себѣ исхода, и сила великихъ идей едва-ли не больше обнаруживается въ томъ, что онѣ подавляютъ страстные порывы, чѣмъ въ томъ, что онѣ ихъ разжигаютъ и разнуздываютъ.

Не смотря на горячность движеній нашего вѣка, онъ питаетъ нѣкоторое чувство своего внутренняго безплодія, онъ не ушелъ отъ тоски, сопровождающей потерю идеаловъ. Если прошлое столѣтіе можно назвать по преимуществу періодомъ оптимизма, то нынѣшнее уже заслужило названіе вѣка пессимизма. Нашимъ славянофиламъ принадлежитъ честь, что они ранѣе всѣхъ заговорили о внутренней порчѣ въ строѣ Запада, недозволяющей надѣяться на его будущее. Но мысль о *гніеніи Запада*, которая кажется такою странною нашимъ западникамъ, въ самой Европѣ уже давно сказалась, уже достигла тамъ нѣкоторой зрѣлости. Благород-

нѣйшіе, высокіе, изящнѣйшіе умы, какъ, напримѣръ, Карлейль, Прудонъ, Ренанъ—почувствовали величайшее уныніе, видятъ впереди одни бѣдствія и напрасно ищутъ такихъ началъ, развитіе которыхъ могло-бы обѣщать народамъ новую жизнь. Голоса этихъ печальныхъ пророковъ не имѣютъ никакого дѣйствія на массы, но все-таки слышны. Въ посвященіи своей послѣдней книги Saint Paul, вышедшей въ 1869 году, Ренанъ выражается такъ: „Я боюсь, что судьба не дастъ намъ при „жизни увидѣть ничего хорошаго. Есть огромныя заб„лужденія, которыя влекутъ наше отечество въ бездну; „когда указываешь на нихъ людямъ, они смѣются".

Нашъ вѣкъ имѣлъ также свою эпоху оптимизма; это было время передъ 1848 годомъ—время мечтаній соціализма и господства гегелевской философіи. Но за тѣмъ, въ Германіи, въ этой философской школѣ Европы, получила силу философская система, отличающаяся глубочайшимъ пессимизмомъ, и въ этомъ отношеніи совершенно противоположная гегелизму. Мы говоримъ объ удивительномъ по жизненности и глубинѣ ученіи Шопенгауэра. Эта философія, разумѣется, не могла и не можетъ получить такого господства въ массахъ, какое получилъ, напримѣръ, нынѣшній матеріализмъ; но вѣдь нельзя-же измѣрять достоинство ученія числомъ головъ, его принимающихъ. Въ настоящемъ случаѣ, намъ кажется, мѣрка должна быть взята прямо обратная, то-есть, обиліе приверженцевъ матеріализма прямо пропорціонально его грубости, а малое число шопенгауэристовъ свидѣтельствуетъ о высотѣ и глубинѣ этой философіи.

Противъ соціальныхъ утопій страстно, энергически возсталъ Прудонъ. Хотя дѣятельность этого человѣка

не представляетъ ничего связнаго и послѣдовательнаго, но тѣмъ яснѣе видна въ ней невозможность найти твердыя начала для новаго экономическаго порядка; тѣмъ непоколебимѣе его общій выводъ, его главная мысль, что изъ „экономическихъ противорѣчій“ нѣтъ выхода.

Не можемъ здѣсь пропустить и нашего Герцена, одного изъ немногихъ людей, вѣрно понимавшихъ Прудона и раздѣлявшихъ его существенный взглядъ. Самъ Герценъ много и съ разныхъ сторонъ развивалъ тему о паденіи и вымираніи западнаго міра, о томъ, что въ немъ не достаетъ животворныхъ идеаловъ. Къ сожалѣнію, не безъ вины самого этого писателя, его мысль была почти всегда превратно понимаема, и читатели находили въ его писаніяхъ пищу для побужденій и соображеній совершенно инаго рода.

Вотъ свидѣтельства того, что Европа очень смутно видитъ свою дорогу и часто приходитъ къ сознанію, что она ее вовсе потеряла. Число этихъ свидѣтельствъ можно бы значительно умножить и силу ихъ показать весьма ясно. Опредѣленнаго идеала развитія, твердаго сознанія цѣлей нѣтъ въ Европѣ, и она мечется, хватаясь за всякіе предлоги, чтобы насытить свою жажду дѣятельности. Если-бы кто и не считалъ этотъ взглядъ за совершенно вѣрный, то всякій безпристрастный человѣкъ долженъ сознаться, что есть самые разумные и основательные поводы къ мысли объ оскудѣніи идеала въ современномъ Западѣ, и что напротивъ неразумно уклоняться отъ этого сомнѣнія и закрывать глаза на столь законный вопросъ.

III.

Цѣли Коммуны. Клубы. Четвертое сословіе.

Недоумѣніе, господствующее относительно цѣлей Парижской Коммуны, какъ нельзя лучше подтверждаетъ наше мнѣніе. Стоитъ только признать, что парижане сами не знали, что̀ имъ дѣлать и куда направить свою энергію, и вся эта странная и страшная исторія объяснится самымъ простымъ образомъ. Не нужно обманываться цѣлями, которыя они открыто провозглашали; это были очевидные предлоги для дѣйствія, и лишь въ этомъ заключается смыслъ ихъ провозглашенія.

Прежде всего парижанамъ для дѣйствія нужна была власть. А такъ какъ власть города выражается въ городской Коммунѣ, то парижане прежде всего и стали требовать коммуны, и добились наконецъ того, что ее устроили. Требованія Коммуны послышались тотчасъ послѣ того, какъ пруссаки обложили Парижъ, то есть когда они отрѣзали его отъ остальной страны, и онъ былъ предоставленъ собственнымъ силамъ. Парижъ естественно захотѣлъ имѣть возможность дѣйствовать, и вотъ гдѣ прямой корень Коммуны.

Конечно, парижане очень бы хотѣли, чтобы, по примѣру прежнихъ эпохъ, ихъ Коммуна стала законодательницей цѣлой Франціи, чтобы вся страна примкнула къ тому, что̀ они задумаютъ и сдѣлаютъ. Но, такъ какъ было ясно, что *деревенщина* никакъ не пойдетъ на соглашеніе, что правительство республики, избранное всею страною, состоитъ изъ элементовъ, которые тянутъ въ другую сторону, то Парижъ. чтобы сохранить свое право

на самостоятельность, чтобы дать этому праву законность, сталъ проповѣдывать *федеративное* устройство государства. Поклонники народа и всеобщей подачи голосовъ, конечно, не могли объявить избранное народомъ правительство незаконнымъ, не могли поднять бунта противъ самаго принципа избранія. Поэтому, они рѣшились помирить свои притязанія съ правами выборнаго собранія и провозгласили, что требуютъ лишь самоуправленія, самостоятельности городовъ, уничтоженія централизаціи, раздробленія Франціи на свободно управляющіяся части, составляющія нѣкоторую федерацію.

До сихъ поръ дѣло имѣетъ видъ совершенно логическій, представляетъ выраженіе дѣйствительныхъ потребностей. Естественно, что Парижу хотѣлось власти; естественно, что, когда села и города несогласны между собою, то является мысль объ отдѣльномъ управленіи ихъ, о томъ, чтобы предоставить каждой части свободу заботиться о своихъ цѣляхъ и интересахъ. Но повторяемъ, это были только предлоги, а не самыя цѣли, это было дѣйствительное стремленіе къ свободѣ, желаніе развязать себѣ руки, но не то, для чего нужна была свобода, не то, что̀ имѣли въ виду дѣлать эти развязанныя руки.

И вотъ, Коммуна наконецъ составилась, провозгласила свою власть и свое отношеніе къ остальному правительству. Что̀ же теперь дѣлать? Куда употребить захваченную власть, завоеванную свободу? Коммунѣ очевидно предстояло чѣмъ-нибудь оправдать свое возмущеніе; ея власть могла быть возвеличена и укрѣплена только тогда, когда бы начала дѣйствовать, начала бы обнаруживать свое направленіе, свои цѣли, свой смыслъ. Но что̀ же мы видимъ? Два мѣсяца Коммуна безусловно

царствуетъ въ Парижѣ, два мѣсяца она употребляетъ отчаянныя усилія и ни передъ чѣмъ не отступаетъ, когда ей приходится защищать свое существованіе отъ версальскаго правительства, и два мѣсяца она не можетъ придумать никакого преобразованія, которое могло бѣ вдохнуть энергіею въ ея защитниковъ, привлечь вниманіе и участіе остальной Франціи. Подобнаго безплодія и растерянности еще міръ не являлъ.

Еще разъ обнаружилось, и въ огромныхъ размѣрахъ, совершенное безсиліе что̀-нибудь начать, выбрать какую бы то ни было прямую и ясную дорогу. И вышло, такимъ образомъ, что въ памяти людей Коммуна осталась только какъ виновница грабежа церквей, разрушенія памятниковъ и того пожара, цѣлью котораго было уничтоженіе всего Парижа. Имя Парижской Коммуны есть символъ величайшей злобы, отчаянія, стремленія къ безпредѣльной мести, но не какой-либо свѣтлой идеи. Отсутствіе ясной идеи въ этомъ случаѣ очевидно не только не укрощало, а усиливало злобу.

Но въ силу чего же образовалась Коммуна? Если она не знала, что̀ ей дѣлать, то какія чувства и побужденія заставили ее собраться и взять на себя права и обязанности дѣйствовать?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ, читатель, намъ кажется, можетъ найти въ книжкѣ г. Молинари: *Красные клубы во время осады Парижа.* Здѣсь пересказываются съ насмѣшкою и пренебреженіемъ, но совершенно точно тѣ мнѣнія и рѣчи, въ которыхъ провозглашалась необходимость Коммуны, отъ которыхъ произошли попытки 8 и 31 октября 1870 и 22 января 1871, и которыя разрѣшились наконецъ революціею 18 марта.

Происхожденіе этой книги очень любопытно, очень

поучительно. Она была написана до мартовской революціи, и авторъ, какъ говорится, не думалъ и не гадалъ о томъ, какія страшныя событія должны наступить. Въ качествѣ правовѣрнаго экономиста, онъ съ величайшимъ презрѣніемъ смотрѣлъ на ученія революціонеровъ и соціалистовъ и ни мало не вѣрилъ въ ихъ силу. Поэтому все время осады онъ занимался вотъ чѣмъ: онъ посѣщалъ всевозможныя революціонныя сборища, происходившія обыкновенно вечеромъ, и на другой день въ Jornal des Debats появляется краткій, точный, но вмѣстѣ очень комическій отчетъ о засѣданіи какого-нибудь клуба. По свидѣтельству Сарсе, весь Парижъ очень смѣялся и тѣшился надъ клубами, читая эти отчеты. Ни мало не искажая рѣчей и мнѣній, которыя ему доводилось слышать, Молинари очень искусно выставлялъ на видъ все ихъ неразуміе и преувеличеніе, а также нравственную малость лицъ ихъ произносившихъ.

Молинари ничего не боялся и ничего не предчувствовалъ. Онъ даже постоянно говорилъ на ту тему, что клубамъ должно предоставить полную свободу, что гласность и отсутствіе всякихъ стѣсненій есть лучшее средство убить эти нелѣпыя движенія. Такимъ образомъ Молинари думалъ и дѣйствовалъ какъ истый либералъ и политико-экономъ, глубоко проникнутый своими началами. И что̀ же вышло? Ему пришлось, или по крайней мѣрѣ слѣдовало бы, горько плакать надъ тѣмъ, надъ чѣмъ онъ такъ громко смѣялся. Презрѣнные клубы перевернули вверхъ дномъ Парижъ и ужаснули всю Европу. Начала либерализма и политической экономіи, столь ясныя, столь здравыя, питаемыя большинствомъ французовъ, какъ и многихъ другихъ народовъ, несомнѣнно обѣщающія миръ, просторъ и благосостояніе,—эти на-

чала оказались безсильными, ничтожными передъ горстью безумцевъ, которыхъ нашъ экономистъ осмѣивалъ съ такою основательностію и такимъ успѣхомъ!

Вотъ одинъ изъ поразительныхъ примѣровъ, который могъ бы, кажется, научить политико-экономовъ, что исторія совершается вовсе не такъ, какъ они думаютъ и желаютъ. Люди повинуются не тому, кто говоритъ имъ: *дѣлайте что̀ хотите, но не мѣшайте другъ другу,* laissez faire, laissez passer,—а тому, кто твердо указываетъ: *вотъ что̀ слѣдуетъ дѣлать!* Люди охотно мѣняютъ свободу на руководство, если въ нихъ вспыхнетъ вѣра въ руководителей.

Въ книжкѣ Молинари можно найти всѣ тѣ стремленія, изъ которыхъ развились послѣдовавшія событія. Нельзя не удивиться, видя, что все, что̀ сдѣлала Коммуна, было давно высказано въ видѣ требованій и предложеній, все, не исключая и сожженія Парижа. Декабря 13-го, въ клубѣ Фавье, въ Бельвилѣ, держалась, напримѣръ, слѣдующая рѣчь: „Пусть пруссаки бомбар„дируютъ Парижъ, если это имъ нравится! Быть можетъ „это послужитъ для нашего спасенія. Тогда мы выйдемъ „всѣ вмѣстѣ и спасемъ сами себя, не ожидая Шаретъ„товъ, Кателино и другихъ друзей Трошю. Притомъ же, „чего намъ бояться бомбъ? Говорятъ, что онѣ сожгутъ „всѣ произведенія искусствъ, музеи и храмы? Но, граж„дане, республика должна стоять выше искусства. Ар„тисты развращены деспотизмомъ. Пускай сгоритъ Лувръ „съ своими картинами Рубенса и Микель-Анжело; *мы не „будемъ сожалѣть объ нихъ, лишь бы республика вос„торжествовала*“. Еще скорѣе утѣшится ораторъ, если „будутъ разрушены церкви; не моргнувши глазомъ онъ „будетъ взирать на паденіе подъ градомъ бомбъ башенъ

„собора Нотръ-Дамъ, потому что на возстановленіе ихъ „онъ вѣдь не пожертвуетъ ни одного сантима. *(Руко-„плесканія и смѣхъ).* Бомбы, которыя избавятъ насъ „отъ всѣхъ памятниковъ суевѣрія, завѣщанныхъ намъ „средними вѣками, будутъ нашими благодѣтельницами. „*Онѣ на много облегчатъ работу соціалистамъ*". *(Новыя „рукоплесканія)*". (Красн. кл. стр. 153).

Какъ ясно здѣсь сліяніе двоякаго разряда мыслей— страха, что Парижъ будетъ разрушенъ пруссаками, и собственной готовности его разрушить. Привыкши ждать смерти, парижане, послѣ снятія осады, легко и горячо бросились въ революцію; привыкши къ мысли, что Парижъ можетъ погибнуть отъ враговъ, они легко потомъ рѣшились на попытку сжечь его ради уже своихъ собственныхъ надобностей.

Желаніе устроить Коммуну выражалось въ теченіе всей осады. Клубы открывались и закрывались криками: vive le commune! и толкамъ о ней не было конца. Но кромѣ того, въ этихъ засѣданіяхъ были неоднократно высказываемы болѣе частныя желанія,—именно: разрушить Вандомскую колонну, отложить сроки уплаты за квартиры и взноса процентовъ, закрыть церкви и т. д. Словомъ, Коммуна впослѣдствіи ничего не сдѣлала, что̀ не было-бы сказано и предложено заранѣе.

И такъ, невозможно обманываться въ смыслѣ мартовской революціи. Она вовсе не вызвана стремленіемъ къ самоуправленію и федеративному устройству государства; она имѣла цѣли отнюдь не политическія, а только соціальныя; она возбуждена и исполнена крайними соціалистами и опиралась на надежды и порыванія рабочаго класса. Ея ужасы и безсиліе имѣютъ источникъ здѣсь, а не въ чемъ-либо другомъ.

Въ предисловіи, которое переводчикъ приложилъ къ книгѣ *Красные Клубы*, мы находимъ слѣдующее краткое и ясное изложеніе дѣла:

„Исторія французской буржуазіи со времени ея по„литической эманципаціи, добытой ею съ помощью на„рода въ первую революцію 1789 г., представляетъ „ничто иное, какъ рядъ попытокъ упрочить свое поло„женіе и дать отпоръ враждебнымъ ей силамъ. Въ этомъ „кроется причина всѣхъ тѣхъ переворотовъ, которые „потрясали Францію со времени первой революціи и „которымъ, повидимому, суждено кончиться еще не скоро. „Самаго страшнаго врага буржуазія видитъ въ бывшемъ „своемъ союзникѣ, пролетаріатѣ, рабочемъ или такъ„называемомъ *четвертомъ* сословіи, и въ этомъ нѣтъ „ничего мудренаго, потому что вся сила буржуазіи, „весь ея экономическій и политическй идеалъ основаны „на эксплоатаціи пролетаріата, подобно тому, какъ въ „античныхъ государствахъ авторитетъ правящаго класса „имѣлъ въ основаніи своемъ рабство большинства, а въ „средневѣковыхъ — крѣпостное состояніе. Въ экономи„ческомъ освобожденіи пролетаріата буржуазія чуетъ „свою гибель и потерю своего настоящаго положенія. „Этимъ объясняется ея крайне слѣпая и готовая на „всякую клевету ненависть противъ той партіи, которая „представляетъ собою начинающееся сознаніе трудя„щихся классовъ. Страхъ передъ „краснымъ призракомъ“ „заставляетъ буржуазію бросаться въ объятія разныхъ по„литическихъ авантюристовъ, обѣщающихъ ей спасеніе „отъ этого пугала, и мѣшать всякимъ, даже вполнѣ безвред„нымъ для государства и мирнымъ, попыткамъ рабочаго „класса, клонящимся къ улучшенію „его быта и къ осво„божденію труда отъ подавляющаго вліянія капитала“.

„Трагическое положеніе Франціи въ минувшую войну „главнѣйшимъ образомъ обусловлено было различіемъ „интересовъ буржуазіи и пролетаріата, преимущественно „городскаго, какъ болѣе развитаго и удрученнаго своимъ „положеніемъ сравнительно съ сельскимъ. Буржуазія хо„рошо сознавала, что республика во Франціи безъ эко„номическихъ реформъ въ пользу рабочаго сословія не„мыслима. Съ своей стороны и рабочіе, проповѣдуя „борьбу до крайности, надѣялись, восторжествовавъ надъ „пруссаками, упрочить на дѣлѣ провозглашенное въ ми„нуту кризиса самодержавіе народа и тѣмъ облегчить „достиженіе желанныхъ ими экономическихъ реформъ. „Тотчасъ-же по провозглашеніи республики, противопо„ложность буржуазныхъ и пролетарныхъ интересовъ, на „погибель Франціи, выказалась во всей яркости. Про„летаріатъ силился захватить въ свои руки управленіе „дѣлами и веденіе войны: отсюда попытка учрежденія „коммунъ, т. е. мѣстныхъ центровъ управленія въ Ліонѣ, „Парижѣ, Марсели, и требованіе перемѣнъ въ личномъ „составѣ администраціи, наполненной креатурами и „приверженцами бонапартизма. Старанія-же буржуазіи „устремлены были на то, чтобы не дать окрѣпнуть рес„публикѣ, парализовать ее посредствомъ невѣжества „крестьянъ и удержанія въ администраціи по возмож„ности всѣхъ лицъ, завѣдомо враждебныхъ республикѣ. „Усилія буржуазіи увѣнчались успѣхомъ. Франція, дѣй„ствительно, представила собою, какъ въ 1848 г., зрѣ„лище республики, управляемой не-республиканцами, „что не мало способствовало гибельному для нея ис„ходу войны и послѣдовавшей за тѣмъ катастрофы, „извѣстной подъ названіемъ Парижскаго коммуналь„наго возстанія и вызванной, главнѣйшимъ образомъ,

„реакціонными стремленіями національнаго собранія". (Стр. II—IV).

Вотъ толковое изложеніе дѣла; главный нервъ, главная побудительная сила принадлежала стремленіямъ рабочихъ. Все остальное было только предлогомъ, средствомъ, исходомъ, а не причиною. И вотъ гдѣ нужно искать объясненія и той скудости идеаловъ, которая обнаружилась въ этомъ движеніи, и того обилія злобы и отчаянія, которое такъ естественно сочетается съ отсутствіемъ осуществимыхъ и ясныхъ идей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Соціальная революція. Разрушеніе.

I.

Борьба сословій. Рабочій. Международное общество. Жажда мщенія.

Новую революцію, первымъ шагомъ которой нужно считать возстаніе Парижской Коммуны, напрасно подводятъ подъ форму и понятія прежнихъ революцій. Въ этомъ большая ошибка. Если-бы эта революція была подобна революціямъ 1789, 1830, 1848 года, то теперь, при опытности европейцевъ въ этомъ дѣлѣ, она совершилась-бы легко и быстро. Если-бы нужно было свергнуть одну власть и установить другую, то это было-бы сдѣлано. Если-бы требовалось перестроить государство, или даровать извѣстныя права нѣкоторымъ его членамъ, то это была-бы простая и легко исполнимая задача. Но теперь вовсе не въ этомъ дѣло. Соціальная революція кореннымъ образомъ, toto genere отлична отъ всѣхъ политическихъ революцій.

Обыкновенно ее изображаютъ какъ борьбу сословій. Это глубоко-ложный взглядъ. Въ принципѣ всякая борьба

сословій кончена, и наступаетъ нѣчто другое. Было нѣкогда два класса людей въ государствѣ, въ точномъ смыслѣ называвшіеся сословіями, дворянство и духовенство. Третье сословіе назвало себя сословіемъ только въ подражаніе, только въ видѣ сопоставленія и противуположенія двумъ первымъ.

Мы были-бы крайне несправедливы и, главное, совершенно извратили-бы истинный смыслъ дѣла, если-бы вообразили, что буржуазія первоначально дѣйствовала какъ сословіе и билась изъ-за сословныхъ интересовъ. Нѣтъ, въ томъ и была ея сила, что она искренно, горячо провозгласила всеобщее равенство, дѣйствительное освобожденіе всѣхъ и каждаго. Всѣ политическія революціи совершались во имя общихъ цѣлей, и только новая революція прямо заявляетъ, что она сословная, что ея цѣль—не право и свобода всѣхъ вообще, а благоденствіе одного класса людей.

Это *четвертое* сословіе есть однако-же еще менѣе сословіе, чѣмъ третье. *Рабочій* не есть ни политическое, ни гражданское положеніе, и называть совокупность рабочихъ сословіемъ—значитъ совершенно извращать понятія. Не существуетъ ни малѣйшей перегородки, никакихъ правъ и отличій, отдѣляющихъ рабочаго отъ нерабочаго. Если не на дѣлѣ, то въ принципѣ всѣ права уступлены рабочимъ; самодержавіе народа перестало быть пустымъ словомъ, а стало дѣйствительною властью, и работникъ наравнѣ съ графомъ подаетъ голосъ за императора, или за республику.

И такъ, раздѣленіе, возбуждающее борьбу, имѣетъ совершенно иной видъ, не сословный. Когда политическое и гражданское равенство установилось, образовалось два класса людей: одни—богатые, имущіе, капита-

листы, хозяева; другіе—бѣдные, неимущіе, пролетаріи, работники. Принципъ этого раздѣленія не имѣетъ ничего общаго съ государственными, юридическими разграниченіями. Если-бы дѣло шло о политической и гражданской равноправности, то революція была-бы вовсе не нужна, такъ какъ эта равноправность уже лежитъ въ самой основѣ и духѣ законодательства. Но, такъ какъ вопросъ вовсе не въ томъ, то и началась новая борьба, имѣющая другой смыслъ и долженствующая быть страшнѣе всѣхъ прежнихъ.

Буржуазія и пролетаріатъ, эти два мнимыя сословія, въ сущности суть естественное, неизбѣжное дѣленіе людей. Они суть ничто иное, какъ простое различеніе по имуществу, по средствамъ матеріальнаго благосостоянія, могущее дать и непремѣнно дающее только два отдѣла, отдѣлъ богатыхъ и отдѣлъ бѣдныхъ. Вотъ отчего этихъ такъ-называемыхъ сословій только два, а не болѣе. Такъ точно, сословію умныхъ людей противоположно только соловіе глупыхъ, сословію добрыхъ и честныхъ сословіе злыхъ и подлыхъ и т. д. Всякая палка о двухъ концахъ и, какъ есть работники, которые честнѣе иныхъ графовъ, такъ найдутся, конечно, и графы, которые бѣднѣе иныхъ работниковъ.

Вотъ противъ какого дѣленія возстаетъ новая революція, и вотъ причина ея безмѣрной трудности и ея очевиднаго безплодія. Конечно, имущественное различіе нельзя считать столь-же неуловимымъ и ускользающимъ отъ человѣческой власти, какъ различіе ума и глупости, красоты и безобразія, и т. п.; но, вообще говоря, оно принадлежитъ къ разряду явленій, вовсе не похожихъ на политическія и гражданскія учрежденія, представляющихъ болѣе глубокій корень.

Мы вовсе не думаемъ подробно разсматривать здѣсь этотъ предметъ, а хотимъ только указать на характеръ новой революціи. Она не провозглашаетъ никакой общей цѣли, а имѣетъ въ виду только отдѣльную часть общества; ея борьба направляется противъ начала несравненно болѣе крѣпкаго и естественнаго, чѣмъ тѣ, противъ которыхъ возставали прежнія революціи; ея главный интересъ—не идея, не достоинство человѣка, не какое-либо духовное благо, а чисто-матеріальный, имущественный интересъ. Вожаки этой революціи заботливо стараются очистить свое движеніе отъ всѣхъ другихъ человѣческихъ интересовъ. Они учредили *международное* общество, которое самымъ своимъ названіемъ отвергаетъ всякіе національные интересы. Точно также, они считаютъ помѣхою для своихъ цѣлей и всѣ стремленія религіозныя, художественныя, либеральныя; они ставятъ ни во что свободу и право.

Соображая все это, едва-ли можно предсказывать успѣхъ этой революціи. Самую цѣль ея,—уничтоженіе имущественнаго неравенства,—можно считать невозможною, такъ какъ осуществленіе ея невозможно себѣ представить ни въ какихъ ясныхъ и опредѣленныхъ формахъ. Но положимъ даже, она совершенно возможна, положимъ, можно къ ней приблизиться въ значительной степени. И при этомъ предположеніи, никакъ нельзя думать, чтобы движеніе получило правильный ходъ къ этой достижимой цѣли.

Прежде всего, интересъ слишкомъ малъ. Какъ ни могущественно дѣйствуютъ матеріальныя нужды и жажда благосостоянія, онѣ отдѣльно, сами по себѣ, никогда не дѣйствуютъ. Имъ всегда нужно нѣкоторое освященіе, нѣкоторая печать, налагаемая интересомъ высшаго по-

рядка, какою-нибудь духовною потребностію. Если матеріальныя блага есть моя единственная цѣль, то жертвовать изъ-за нихъ не только моимъ благосостояніемъ, но и самою жизнью, есть крайняя непослѣдовательность, такая нелѣпость, которой не можетъ совершать человѣческая природа. Чтобы бороться, людямъ нужна идея, и только подъ покровомъ нѣкоторой идеи матеріальныя побужденія могутъ дѣйствовать съ полною своею силою. Отъ начала вѣковъ народъ безропотно работаетъ, страдаетъ и гибнетъ, пока вѣритъ во что̀ нибудь такое, ради чего можно и должно приносить эти жертвы. Онъ поднимается лишь тогда, когда можетъ отказаться отъ одного вѣруемаго предмета и устремить свою вѣру на другой. Не смерть и трудъ страшны для людей; всего страшнѣе имъ то, когда не для чего трудиться и не за что̀ жертвовать собою.

И такъ, движеніе рабочихъ по своему внутреннему содержанію безсильно. Оно и теперь получаетъ силу, и еще болѣе получитъ впереди, — отъ какихъ нибудь другихъ стремленій, болѣе могущественныхъ, болѣе способныхъ насытить человѣческое сердце. Эти стремленія уже теперь видны, и въ ихъ будущности невозможно сомнѣваться; они называются *жаждой мщенія* и *наслажденіемъ разрушенія*.

Никакъ невозможно повѣрить, чтобы людьми руководила въ такихъ случаяхъ осторожность, расчетливость, хладнокровная осмотрительность; ими всегда будутъ руководить страсти, а страсти, зачатки которыхъ лежатъ въ рабочемъ движеніи, суть именно зависть и месть. Рабочіе не просто желаютъ своего благосостоянія; они еще завидуютъ имущимъ классамъ и ненавидятъ ихъ, и когда они мало по малу придутъ къ убѣж-

денію, что эта зависть законна и эта ненависть справедлива, то этому чувству, этой идеѣ правды они будутъ готовы всѣмъ пожертвовать, и собой, и другими. Хотя и ложнымъ образомъ, а они насытятъ свою жажду справедливости и желаніе самопожертвованія. Они забудутъ свою прямую цѣль и упьются хоть на минуту сознаніемъ—не того, что они приготовили себѣ лучшее матеріальное будущее, а того, что отмстили за великую многовѣковую неправду. Нѣсколько мгновеній они будутъ жить не матеріальными интересами, а идеальными стремленіями, то есть тою жизнью, которая составляетъ истинное назначеніе человѣка, отъ которой онъ никогда не откажется, которой всегда ищетъ даже среди величайшихъ заблужденій.

Зависть и месть—чувства очень дурныя, очень нехристіанскія; но, такъ какъ наше время превозноситъ страсти, видитъ въ ихъ развитіи и дѣйствіи непремѣнное условіе прогресса и даже его источникъ, то будущее господство этихъ чувствъ несомнѣнно. Нынче случается, что людей приглашаютъ къ ненависти и мести, какъ къ самому высокому и благородному дѣлу, и никому это не кажется страннымъ. „Мы не систематическіе соціалисты", провозглашаетъ одинъ изъ періодическихъ органовъ интернаціональной лиги; „мы чисто и „просто революціонеры". (*Это значитъ: мы не имѣемъ никакой идеи будущаго устройства, никакого плана, никакой системы*). „Мы приказываемъ", гласила одна изъ прокламацій, „всѣмъ нашимъ сочленамъ всѣхъ странъ „*поддерживать очагъ ненависти и мести*, который мы „зажгли противъ религіи, власти, богатыхъ, буржуазіи". „Старое общество должно погибнуть, и оно погибнетъ"—таковы слова, полученныя недавно газетой Liberté

за подписью: „Интернаціональное общество, *властитель „Европы“*. (Русск. Вѣстникъ, 1871, Авг., стр. 645).

И вотъ причина, почему идея разрушенія такъ рѣзко проявилась въ дѣйствіяхъ Парижской Коммуны. Эта Коммуна не успѣла еще ничего сдѣлать въ положительномъ смыслѣ, но, по первому поводу, при первомъ случаѣ, бросилась разрушать, вступила на тотъ путь мщенія, который, какъ она безсознательно чувствовала, составляетъ единственный прямой исходъ всего движенія. Одинъ изъ нашихъ хроникёровъ весьма справедливо замѣтилъ, что Коммуна, желая вредить версальскому правительству, дѣйствовала очень безтолково, именно, что она сожгла не зданія, наиболѣе *полезныя* для этого правительства, а только зданія *самыя красивыя*. Вотъ замѣчаніе, изъ котораго видно, въ чемъ состоитъ дѣйствительная сущность дѣла. Коммуна сожгла великолѣпнѣйшій дворецъ Европы, именно потому, что своимъ великолѣпіемъ онъ былъ тяжелѣе, несноснѣе для людей новой эры, чѣмъ всякіе арсеналы и банки, всѣ средства и орудія матеріальной силы. Все то, что причиняетъ этимъ людямъ нравственныя страданія, что, какъ говорится, колетъ имъ глаза, для нихъ гораздо ненавистнѣе, чѣмъ источники матеріальныхъ страданій, на которые они обыкновенно жалуются. Старый міръ долженъ быть разрушенъ не потому, чтобы рабочіе не могли хорошо устроиться рядомъ съ нимъ, но потому, что самый *видъ его* будетъ мѣшать благополучію новыхъ распорядителей земли. Все, что требуетъ къ себѣ уваженія и вниманія, что напоминаетъ исторію, что называется славнымъ и великимъ, все, имѣющее хотя-бы тѣнь нравственнаго авторитета, напоминающее человѣку міръ такъ или иначе стоящій выше его, должно быть уничтожено. Ибо, вся-

кое подчиненіе стало тягостно, а нравственная тягость, въ силу благородства человѣческой природы, всегда будетъ несноснѣе, чѣмъ физическая.

Въ интересной и прекрасно написанной книгѣ Сарсе разсказывается слѣдующій характеристическій анекдотъ:

„Жители окрестныхъ деревень съ приближеніемъ „пруссаковъ покинули свои дома. Нужно было дать имъ „пристанище. Администрація взяла посредствомъ реквизиціи помѣщенія, остававшіяся пустыми, и поселила „ихъ тамъ. Между ними были очень честные и даже „весьма деликатные люди, но большинство было чуждо „утонченности парижской цивилизаціи. А такъ какъ ихъ „убогія жилища подверглись военному занятію, то они „сочли себя въ правѣ выместить свои бѣды на тѣхъ „домахъ, которые были отведены имъ. Домовладѣльцы „найдутъ у себя слѣды ихъ (а слѣды эти, надо замѣтить, не отличаются особеннымъ благовоніемъ), какъ „скоро снятіе осады дозволитъ имъ вернутся къ себѣ. „Одни изъ этихъ выходцевъ *дѣйствовали такимъ образомъ изъ низкаго чувства зависти*, которое такъ часто „ожесточаетъ сердце бѣдняка. Одинъ изъ моихъ друзей „видѣлъ, какъ одинъ крестьянинъ нарочно пускалъ „страшные плевки на великолѣпные обои.—Экая важность!—возразилъ онъ на сдѣланное ему, совершенно „заслуженное, замѣчаніе,—это дастъ работу рабочимъ „людямъ“. (Осада Парижа, стр. 185, 186).

Заплевать великолѣпные обои и сжечь Тюильри—два поступка въ сущности совершенно одинаковые. Изъ того и другаго не вытекаетъ ни прямой пользы, ни прямаго вреда, но изъ нихъ получается удовлетвореніе нѣкоторому чувству, и въ нихъ выражается нѣкоторая идея, ради которой они и совершаются.

II.

Взгляды французовъ. Счастливая жизнь.

Настроеніе французскаго общества и народа, его нравственный складъ, его понятія о добрѣ и злѣ—вотъ гдѣ корень дѣла. Въ подтвержденіе того, что чувства зависти и мести очень сильны въ духовной жизни Франціи, и что въ будущемъ они получатъ господство надъ всѣми другими чувствами, можно привести много соображеній и доказательствъ. Мы сошлемся на слова неизвѣстнаго автора, которому принадлежитъ умная и добросовѣстная брошюра La révolution plébéienne. Онъ признаетъ всю законность, всю неизбѣжность грядущей революціи, которую понимаетъ именно какъ возстаніе пролетаріата противъ имущихъ классовъ. Онъ приходитъ къ заключенію, что эти имущіе классы должны впередъ, подъ страхомъ величайшихъ бѣдствій, употребить всѣ силы для успокоенія, нравственнаго возвышенія и лучшаго матеріальнаго устройства бѣдныхъ и рабочихъ. И при этомъ, вотъ какъ онъ объясняетъ внутреннія причины дѣла, то нравственное настроеніе, которое привело французовъ къ возстанію Коммуны и должно привести еще къ болѣе страшнымъ катастрофамъ.

„Вотъ уже восемьдесятъ лѣтъ“, — говоритъ онъ, — „какъ „мы вдались въ величайшее противорѣчіе“.

„Средніе вѣка и старый порядокъ оставляли массы „въ совершенномъ невѣжествѣ, какъ настоящее чело„вѣческое стадо, воздѣлывавшее почву и занимав„шееся ремеслами; мы, наоборотъ, принялись толко-

„вать, что слѣдуетъ просвѣщать массы, возвышать ум-„ственный уровень народа, научить его читать, дать „ему въ руки тотъ опасный револьверъ, который на-„зывается книгою, который ранитъ руку, не умѣю-„щую имъ дѣйствовать; мы предлагаемъ ему за нѣ-„сколько сантимовъ *самую привлекательную книгу, га-„зету*, которая ежедневно приводитъ его въ сообщеніе, „его, парію мансарды и мастерской, *съ классами при-„виллегированными и наслаждающимися;* мы пишемъ для „него романъ, книгу еще болѣе увлекательную, чѣмъ „газета, потому что *она постоянно представляетъ мас-„самъ идеалъ счастія, любви, величія, съ поэтическимъ „изображеніемъ домашнихъ сценъ той блестящей и рос-„кошной жизни, которой упоеній* онъ, человѣкъ народа, „никогда не испытывалъ и въ теченіи четверти часа. „Вотъ что̀ мы дѣлаемъ. И послѣ того, какъ мы такимъ „образомъ, въ теченіе восьмидесяти лѣтъ бурнаго и ре-„волюціоннаго времени, возбуждали чувства массъ, послѣ „того, какъ мы дали имъ въ руки точный инструментъ, „искусство чтенія, посредствомъ котораго они, съ глу-„бокимъ отчаяніемъ, измѣряютъ бездну, отдѣляющую ихъ „отъ насъ, когда книги, романы, журналы ежечасно „вырываютъ у нихъ такое горестное размышленіе: *Они „очень счастливы, эти богатые!*—послѣ всего этого мы „не хотимъ, чтобы массы, получившія такое умственное „воспитаніе, подвергаемыя нами мученію Тантала, по-„требовали, наконецъ, отъ насъ, чтобы мы какимъ-бы „то ни было способомъ удовлетворили желаніе, которое „имъ кажется столь законнымъ, именно, чтобы, при по-„мощи нашихъ познаній, нашей экономической науки, „нашего законодательства, нашей цивилизаціи, того „изумительнаго полета, который прогрессъ получилъ отъ

„развитія человѣческаго генія, немножко позаботились, „чтобы ихъ жилище было здоровѣе и просторнѣе, чтобы „дѣти не тѣснились въ немъ, какъ дѣтеныши звѣрей „въ логовищѣ, чтобы капиталъ, требовательный и жад„ный, не высасывалъ весь потъ, и чтобы, наконецъ,— „дѣло не особенно революціонное, — была-бы не столь „возмутительная несоразмѣрность между львиною долей, „которую беретъ себѣ капиталъ изъ годоваго резуль„тата рабочихъ массъ, и тѣми крупицами, которыя такъ „скудно удѣляются народу!“ (p. 54, 55).

„И такъ, настоящіе виновники плебейской революціи—не мараки газеты la Sociale, не сумасброды, дума„ющіе, что такая страшная задача, какъ отношеніе „между трудомъ и капиталомъ, будетъ рѣшена маніемъ „руки, какъ скоро провозгласятъ Коммуну въ каждомъ „городѣ Франціи, но именно—всѣ безъ исключенія люди „привилегированныхъ классовъ, которые, очертя голову, „пустились показывать массамъ *жизнь удовольствій, какъ „цѣль, къ которой всѣ должны стремиться*, и которые, „опустивъ вовсе изъ виду святой религіозный законъ, на„ставляющій человѣка довольствоваться малымъ, не под„даваться искушенію наслажденій, единственною религіею „сдѣлали—удовлетвореніе своихъ чувствъ какими бы то „ни было средствами; вотъ главные виновники“ (p. 58).

Надъ этими немногими строками стоитъ призадуматься. Картина, которая изъ нихъ выходитъ, больше поразительна, чѣмъ догадывается самъ авторъ. Въ самомъ дѣлѣ, изъ его словъ, во-первыхъ, слѣдуетъ, что богатые и вообще достаточные люди Франціи (въ особенности Парижа) вели жизнь дѣйствительно *счастливую*, то есть вполнѣ ихъ удовлетворявшую своими радостями. Счастье, обыкновенно считаемое недостижимымъ, было

здѣсь достигнуто и состояло въ удовлетвореніи чувствъ, въ разнообразіи наслажденій, въ роскошной и блестящей жизни, въ которой нашъ авторъ готовъ признать даже какое-то величіе (grandeur). Парижская жизнь состояла изъ ряда удовольствій, облегченныхъ отъ всей тяжести труднаго и серьезнаго житейскаго пути, утонченныхъ и разработанныхъ, и сопровождавшихся дѣйствительною радостію, дѣйствительнымъ весельемъ. Парижъ былъ веселъ въ своемъ упоеніи; это можно видѣть и изъ книги Сарсе, который съ большой живостію и съ горькимъ оплакиваніемъ описываетъ, какъ понемногу угасла эта веселая парижская жизнь во время осады пруссаковъ.

Во-вторыхъ, изъ словъ неизвѣстнаго автора видно, что французская литература воспѣла это счастье, что въ романахъ и въ газетахъ она со сластью предавалась изображенію картинъ этого счастья. Подобное явленіе было неизбѣжно, такъ какъ литература не могла не отразить въ себѣ общаго настроенія нравовъ. Литература пустилась на тысячу ладовъ проповѣдывать сладость богатства и удовольствій; она проповѣдывала эту сладость даже подъ видомъ обличеній, подъ видомъ сатиры и казни, какъ это сдѣлалъ напримѣръ Дюма-сынъ въ своемъ L'affaire Clemanceau, и Викторъ Гюго въ L'homme qui rit. Основнымъ догматомъ, какъ указываетъ нашъ авторъ, стала мысль, что *жизнь удовольствій есть единственная цѣль, къ которой слѣдуетъ стремиться.* Вотъ въ чемъ было полагаемо назначеніе человѣка, и слѣдовательно, достоинство жизни съ точностію опредѣлялось тѣмъ количествомъ денегъ, которое человѣкъ имѣетъ и которое составляетъ мѣру доступныхъ ему удовольствій.

Въ третьихъ—бѣдные и работающіе принялись завидовать. Нашъ авторъ весьма справедливо говоритъ, что эта зависть была возбуждена не самою жизнью роскоши и удовольствій, которую бѣдняки могли ежедневно видѣть, но именно литературою, изъ которой бѣдняки убѣждались, что эта жизнь дѣлала людей дѣйствительно счастливыми. Рабочимъ и бѣднымъ, которые можетъ быть въ простотѣ душевной полагали свой идеалъ въ иныхъ благахъ, можетъ быть говорили, какъ говорятъ у насъ: *и черезъ золото текутъ слезы*, имъ было ежедневно доказываемо, что золото даетъ дѣйствительное благополучіе, что, въ отношеніи къ счастью, бѣднякъ отдѣленъ отъ богача цѣлою бездною (въ существованіи которой вполнѣ убѣжденъ и нашъ авторъ). Понятно, что, среди своихъ трудовъ и своего горя, рабочіе съ завистью стали думать: *они очень счастливы, эти богатые!* Эта зависть перестаетъ считаться простымъ порочнымъ чувствомъ, становится вполнѣ оправдываемымъ настроеніемъ души, законнымъ требованіемъ, какъ скоро въ деньгахъ и въ томъ счастьи, которое доставляется деньгами, полагается все достоинство, вся цѣль человѣческой жизни. Какъ нѣкогда было провозглашено равенство во Христѣ, такъ теперь верховнымъ началомъ становится равенство въ имуществѣ, въ правахъ на матеріальныя блага. Но, между тѣмъ какъ прежде дѣйствительно были осуществлены равные права на высшее нравственное достоинство, дѣйствительно первые стали послѣдними и послѣдніе первыми, подобное осуществленіе нынѣшнихъ требованій едва-ли возможно. Очень трудно вообразить, чтобы всѣ стали богатыми, или чтобы бѣдняки могли тотчасъ сдѣлаться богачами, какъ только богачи обратятся въ бѣдняковъ. Гораздо вѣроятнѣе и

возможнѣе другое равенство по имуществу — равенство бѣдности, и нѣтъ сомнѣнія, что за невозможностію прямаго разрѣшенія вопроса, это равенство будетъ осуществлено, или по крайней мѣрѣ осуществляемо.

Главный и прямой шагъ къ такому равенству есть очевидно разрушеніе; оно всего ближе и скорѣе приводитъ къ желанной цѣли; оно можетъ вполнѣ насытить сердца,—что̀ гораздо важнѣе, чѣмъ насыщеніе желудковъ.

III.

Предсказаніе Герцена.

Въ прошломъ году *) я указалъ на предсказаніе франкопрусской войны, сдѣланное однимъ изъ нашихъ писателей. Всѣхъ поразила та чрезвычайная опредѣленность, съ которою были указаны въ этомъ предсказаніи черты совершившагося событія. Человѣкъ, котораго всѣ считали мечтателемъ, оказался исполненнымъ величайшей прозорливости въ отношеніи къ дѣламъ, которыя составляли постоянный предметъ его любви и размышленій.

Тотъ же писатель предсказалъ и Парижскую Коммуну. Онъ предсказалъ ее не съ такой опредѣленностію, какъ франко-германскую войну, но очень ясно указалъ на существенный характеръ грядущаго возстанія, на его главный нервъ. Это указаніе мы позволимъ себѣ привести, какъ подтвержденіе того, что̀ сказано нами выше.

Послѣ іюньскихъ дней 1848, когда открылось свойство и соотношеніе силъ дѣйствующихъ въ Европѣ, Герценъ такъ опредѣлилъ будущее, которое ее ожидаетъ:

---

*) Т. е. въ 1870. См. выше, стр. 161.

„Съ бомбардированія парижскихъ улицъ, съ обмана „инсургентовъ предмѣстья св. Антонія, съ разстрѣли„ванія гуртомъ, съ депортацій безъ суда, не только „начинается побѣдоносная эра порядка, но и *опредѣ„ляется весь характеръ предсмертной болѣзни дряхлой „Европы.* Она умретъ рабствомъ, застоемъ, византій„скою болѣзнію... Она умерла-бы и свободой, но ока„залась недостойною этого. Донской казакъ въ свое „время придетъ разбудить этихъ Палеологовъ и Пор„фирогенетовъ,—если ихъ не разбудитъ трубный гласъ „послѣдняго суда, суда народной Немезиды, *который „будетъ надъ ними держать соціализмъ мести, — ком„мунизмъ,* — и на который аппеляціи не найдешь ни у „Тьера, ни у Мараста, да врядъ-ли тогда найдешь са„михъ Мараста и Тьера. *Коммунизмъ близокъ душѣ „французскаго народа, такъ глубоко чувствующаго ве„ликую неправду общественнаго быта и такъ мало „уважающаго личность человѣка*". (Письма изъ Ит. и Фр. ст. 267).

И такъ, будущность принадлежитъ коммунизму. Изъ всѣхъ соціальныхъ ученій, одно это ученіе можетъ надѣяться на осуществленіе, но не потому, что оно всего практичнѣе и обѣщаетъ наибольшее благополучіе, а потому, что *коммунизмъ есть соціализмъ мести,* что въ немъ содержится возможность отмстить за великую неправду общественнаго быта, въ которой такъ глубоко убѣждены французы. Переворотъ произойдетъ не изъ надежды и жажды добра, а только изъ жажды зла; это будетъ не вѣсть спасенія и обновленія, а только и единственно *судъ народной Немезиды.*

Это было сказано до coup d'état 2 декабря 1851; когда-же совершилось это событіе, нашъ писатель точ-

нѣе опредѣлилъ формы, которыя должно принять будущее въ силу этого событія. Впослѣдствіи, незадолго передъ франко-германскою войною, онъ, какъ мы видѣли, очень опредѣленно предвидѣлъ ея наступленіе и размѣры. Но теперь, въ 1851 году, будущее ему являлось только въ общихъ чертахъ, и онъ написалъ слѣдующее:

„Людовикъ Наполеонъ долженъ все переказнить для „того, чтобы остаться на мѣстѣ; онъ не можетъ иначе „удержаться. Что̀ вы думаете, онъ оставитъ въ покоѣ „орлеанистовъ, синихъ и красныхъ республиканцевъ?..“

„Далѣе, ему необходима война“.

„При войнѣ, будетъ труднѣе удержать Францію, не„жели взять корону изъ рукъ префекта полиціи“.

„Вся Европа выйдетъ изъ фугъ своихъ, будетъ втя„нута въ общій разгромъ; предѣлы странъ измѣнятся, „національности будутъ сломлены и оскорблены. Города, „взятые приступомъ, ограбленные, обѣднѣютъ, фабрики „остановятся, въ деревняхъ будетъ пусто, земля оста„нется безъ рукъ...“

„И тутъ, на краю гибели и бѣдствій, — начнется „другая война—домашняя, своя расправа *неимущихъ съ „имущими!*“

„Напрасно жать плечами, негодовать и клясть. Развѣ „вамъ этого не предсказалъ Ромье? „Или безвыходный „цезаризмъ, или красный призракъ“. Онъ только не „договорилъ одного, что цезаризмъ приведетъ къ ком„мунизму“.

„... Вооруженный комунизмъ приподнялъ слегка, по„лушутя, свою голову въ южныхъ департаментахъ; онъ „едва взялъ нѣсколько аккордовъ, но характеръ своей „музыки заявилъ. Пролетарій будетъ мѣрить въ туже „мѣру, въ которую ему мѣрили. Коммунизмъ проне-

„сется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. „Среди грома и молній, при заревѣ горящихъ дворцовъ, „на развалинахъ фабрикъ и присутственныхъ мѣстъ— „явятся новыя заповѣди, крупно-набросанныя черты но- „ваго символа вѣры“ (тамъ-же, стр. 289—291).

Вотъ очень опредѣленное предсказаніе, въ которомъ только послѣдняя черта, появленіе новыхъ заповѣдей и новаго символа, взята нашимъ предсказателемъ не изъ проникновенія въ свойства нынѣшняго положенія дѣлъ, въ сущность нынѣ дѣйствующихъ силъ, а изъ общей вѣры въ человѣчество, изъ неопредѣленной надежды на его обновленіе. Не коммунизмъ принесетъ новыя заповѣди; этого не говоритъ и не думаетъ сказать нашъ авторъ, такъ какъ коммунизмъ онъ считаетъ только *соціализмомъ мести*. Но онъ питаетъ надежду, что послѣ разрушенія явится новая жизнь, о заповѣдяхъ которой онъ, однако-же, ничего не знаетъ, почему и нигдѣ не берется толковать ихъ смыслъ, и всегда относится къ нимъ, какъ къ недоступной и далекой загадкѣ.

Въ возстаніи Парижской Коммуны мы видѣли первые шаги коммунизма; все сбылось, какъ сказано въ предсказаніи: цезаризмъ привелъ къ войнѣ, война привела Францію на край гибели; на краю гибели началась борьба имущихъ съ неимущими; запылали дворцы, и часть Парижа обратилась въ развалины. Но среди этого грома и молній—новыхъ заповѣдей не явилось.

Исторія есть дѣло темное, очень таинственное; въ ней дѣйствуютъ силы, глубина которыхъ неизмѣрима. Если мы, тѣмъ не менѣе, рѣшились предложить читателямъ нѣкоторыя замѣчанія о современныхъ событіяхъ, то вовсе не потому, чтобы надѣялись, какъ говорится, исчерпать предметъ. Мы показали лишь нѣкоторыя черты

дѣла, но такія, которыя, намъ кажется, вполнѣ ясно обнаружились. И мы желали при этомъ именно расширить взгляды, дать имъ бо́льшую свободу. Обыкновенные наши взгляды на Европу до того исполнены рутины, до того проникнуты предразсудками, что невозможно подумать объ этомъ безъ горести, и нужно прилагать всѣ старанія исправить дѣло. Люди ничему не вѣрующіе, ни предъ чѣмъ не преклоняющіеся, отчаянные скептики, безпардонные нигилисты—вѣрятъ въ Европу такъ слѣпо и преклоняются передъ нею такъ низко, какъ какіе-нибудь дикари передъ своими идолами. Никакіе кричащіе факты на нихъ не дѣйствуютъ, никакая очевидность ихъ не вразумляетъ.

Хладнокровнаго, безпристрастнаго, сознательнаго отношенія въ Европѣ у насъ нѣтъ,—вотъ бѣда величайшая. Если взглянуть поверхностно на нашъ литературный міръ, то можно подумать, что мы въ этой области такіе либералы, какихъ еще свѣтъ не производилъ. Анализъ, сомнѣніе, духъ пытливости и отрицанія у насъ не только допускается, а и превозносится всякими похвалами. Всякое обличеніе, разрушеніе народныхъ кумировъ, невѣріе въ смыслъ и значеніе важнѣйшихъ предметовъ и явленій—встрѣчается нами съ истиннымъ удовольствіемъ, съ восторгомъ. Но весь этотъ либерализмъ простирается только до извѣстной границы; онъ имѣетъ силу только до тѣхъ поръ, пока дѣло идетъ о Россіи, о русской исторіи, о русской литературѣ. Попробуйте усомниться въ Западѣ, показать невѣріе къ значительности европейскихъ явленій, и вы встрѣтите нетерпимость самую злющую, фанатическую. Васъ назовутъ невѣждою, неимѣющимъ достаточно ума, чтобы понять истинный смыслъ дѣла, васъ назовутъ свиньею Крылова,

роющеюся на заднемъ дворѣ цивилизаціи и способною лишь кидать грязь на свѣтлыя явленія.

Изъ чего слѣдуетъ, что истина, безпристрастіе, свобода изслѣдованія—для большинства людей только пустыя слова, въ наилучшемъ случаѣ только средство обмануть самихъ себя; и что въ дѣйствительности люди руководятся въ своихъ взглядахъ страстями, вѣрою, увлеченіемъ, а не любовью къ истинѣ.

Наши отношенія къ Европѣ составляютъ самый трудный и опасный предметъ для писателя. Вотъ гдѣ у мѣста была-бы величайшая осмотрительность, скептицизмъ, недовѣріе, духъ пытливости; вотъ авторитетъ столь громадный, что усиливать его не предстоитъ никакой надобности, а напротивъ, нужно всячески позаботиться о томъ, чтобы привести его вліяніе въ надлежащія границы, чтобы отбросить безчисленныя преувеличенія и фантасмагоріи этого вліянія. Между тѣмъ, что у насъ дѣлаютъ? Гордая, самоувѣренная Европа иногда теряется, приходитъ въ ужасъ и сомнѣніе; но прежде чѣмъ она успѣетъ оправиться и совладать съ собою, мы, безсмысленные поклонники, уже рукоплещемъ, уже восхищаемся, уже находимъ красоту, мудрость, глубину, новый прогрессъ, новую жизнь тамъ, гдѣ ничего еще не видно, кромѣ зла, болѣзни, глубокаго разстройства самыхъ существенныхъ силъ. Мы слѣпы и глухи для недостатковъ нашего кумира, и самый бредъ его принимаемъ за вѣщанія высочайшей мудрости.

19 ноября 1871.

РЕНАНЪ *).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общій взглядъ на значеніе и дѣятельность Ренана.

Книги о началѣ христіанства. — Усвоеніе германскаго просвѣщенія. — Недостатокъ положительныхъ убѣжденій. — Уныніе.—*Политиканы.*— Скорбь о враждѣ Франціи и Германіи.—Зловѣщія предсказанія.

Всѣ у насъ знаютъ Ренана, но едва-ли кто любитъ и хорошо понимаетъ. Причина заключается въ самомъ характерѣ его писаній, которыя, какъ говорится, *никого не удовлетворяютъ*, не попадаютъ въ тонъ ни одного изъ господствующихъ настроеній. Можетъ быть, онъ и вовсе не пріобрѣлъ-бы большой знаменитости, еслибы не произвелъ чрезвычайнаго скандала своими книгами *о первыхъ временахъ христіанства* („Жизнь Іисуса", „Апостолы", „Св. Павелъ"). Говоримъ прямо *скандала*, потому что, кажется, никакого другаго результата не получилось. Эти книги равно не угодили ни вѣрующимъ, ни невѣрующимъ, равно раздражили и тѣхъ, и другихъ.

*) *La réforme intellectuelle et morale.* Paris. 1872.

Невѣрующихъ раздражало то великое уваженіе, которое Ренанъ питаетъ къ религіи; онъ ей приписываетъ величайшую, главнѣйшую роль въ развитіи человѣчества, а въ Іисусѣ Христѣ видитъ самаго совершеннаго представителя религіознаго чувства, какой только былъ на землѣ. Поэтому, вольнодумцы говорили, что книги Ренана всего пріятнѣе должны быть партіи клерикаловъ, что онѣ служатъ къ поддержанію религіозныхъ наклонностей.

Вѣрующіе оскорблены были еще болѣе, такъ какъ Ренанъ отвергаетъ религію въ ея настоящемъ, объективномъ смыслѣ. Онъ отвергаетъ чудеса, откровеніе, все сверхъ-естественное, говоритъ о Христѣ, какъ о простомъ человѣкѣ, и вообще признаетъ за религіею только *субъективное* значеніе, видитъ все ея содержаніе во внутреннемъ развитіи человѣческой души. Это взглядъ не новый, но въ первый разъ онъ приложенъ былъ къ христіанской вѣрѣ съ такою дерзостію, или лучше сказать, съ такимъ простодушіемъ и искренностію. Ренанъ заговорилъ о религіозныхъ предметахъ такимъ языкомъ, такимъ тономъ, который былъ болѣе невыносимъ для людей искренно вѣрующихъ, чѣмъ самыя рѣзкія насмѣшки и богохульства.

Для чего-же все это было сдѣлано? Зачѣмъ такъ наивно раздражилъ Ренанъ обѣ партіи? Новыхъ истинъ онъ не открылъ: его книги, съ высшей точки зрѣнія, совершенно неудовлетворительны, то-есть, онѣ явно не соотвѣтствуютъ важности предмета, не стоятъ на его высотѣ. Никто не скажетъ, что послѣ этихъ книгъ происхожденіе христіанства стало для насъ яснѣе; Ренанъ такъ мало обладаетъ поэтическою способностію, такъ слабо создаетъ образы лицъ, что ни Христосъ, ни

апостолы не изображены у него, не говоримъ вполнѣ вѣрно и достойно самихъ лицъ (какое требованіе!), а даже въ какихъ нибудь опредѣленныхъ очеркахъ. На каждомъ шагу авторъ путаетъ читателя своими антитезами, оговорками, противорѣчіями и часто возбуждаетъ досаду и чувство неудовлетворенія не только въ предубѣжденномъ, но и въ безпристрастномъ человѣкѣ.

И такъ, не великая мысль, не проникновеніе въ духъ христіанства руководили Ренаномъ. Его возбуждало, какъ намъ кажется, именно то противорѣчіе, въ которомъ его взглядъ находился съ господствующими настроеніями. Долгими занятіями и размышленіями онъ усвоилъ себѣ лучшій цвѣтъ современнаго просвѣщенія; онъ не только ученый человѣкъ, но человѣкъ вполнѣ образованный, въ самомъ общемъ, въ европейскомъ смыслѣ этого слова. Французъ—онъ усвоилъ себѣ высшую культуру, германскую, развилъ въ себѣ всю тонкость философскаго пониманія, столь трудно доступную для французовъ. Понятно, что онъ счелъ своимъ долгомъ проповѣдывать во Франціи тѣ взгляды, тѣ убѣжденія, которыя у него при этомъ сложились. Съ увлеченіемъ, съ наивною искренностію онъ сталъ знакомить другихъ съ тѣми сокровищами, которыя самъ открылъ. Такимъ образомъ, какъ это не разъ уже бывало, французъ разсказалъ цѣлому свѣту то, что̀ сдѣлано не имъ, что̀ было выработано другими народами. Если-же изъ этого вышелъ скандалъ, если тутъ съ большою ясностію обнаружилось, что взглядъ современнаго просвѣщенія никого не удовлетворяетъ, приводитъ къ какой-то безвыходности, то вина здѣсь не Ренана, а общаго состоянія европейской мысли.

Вотъ въ какомъ отношеніи, намъ кажется, интере

сенъ Ренанъ для насъ, русскихъ. Его больше, чѣмъ кого-нибудь другаго, можно признать за полнаго представителя европейскаго просвѣщенія и на немъ изучать состояніе этого просвѣщенія, его духъ и результаты. Велико и глубоко развитіе западной мысли; но, какъ мы видимъ на Ренанѣ, въ настоящее время эта мысль, постигая и объясняя прошлое, отрекается отъ всѣхъ началъ этого прошлаго, а новыхъ началъ не находитъ въ себѣ. Не коммунисты, не матеріалисты и позитивисты суть истинные представители современнаго просвѣщенія; это лишь уродства имъ порожденныя, имѣющія силу именно потому, что они столько-же исполнены метафизики, фанатизма, слѣпой вѣры, какъ и самыя древнія ученія. Просвѣщенный, умственно-развитый человѣкъ ясно видитъ противорѣчіе, которое заключается въ этихъ вольнодумствахъ, видитъ, что они опираются на нѣкоторой узкой вѣрѣ. Какъ онъ можетъ признать, что все существующее есть вещество? Или, что цѣль человѣческой жизни есть матеріальное благосостояніе? Или, что философія есть одно изъ заблужденій человѣчества?

И потому, Ренанъ не отрицаетъ ни философіи, ни религіи, ни духовнаго міра; но онъ признаетъ ихъ такъ, что изъ этого признанія ничего не выходитъ, ни опредѣленной религіи, ни опредѣленной философіи, ни опредѣленнаго представленія о духовномъ мірѣ. Все опредѣленное отрицается, какъ частная, недостаточная форма, въ которой, подъ вліяніемъ мѣста и времени, отразилась общая основа. Зато разомъ и одинаково признаны всѣ религіи, всѣ философіи, всѣ историческія формы вѣрованій въ духовный міръ. Прошедшее проясняется и получаетъ смыслъ. Всѣ явленія человѣческой исторіи

получаютъ разумное истолкованіе, но только съ однимъ условіемъ,—чтобы у нихъ было отнято всякое *объективное* значеніе, чтобы они разсматривались только какъ происшествія души человѣческой. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако-же, отнимается всякая возможность вѣры въ то, что человѣку была или будетъ доступна объективная истина, обладаніе дѣйствительнымъ благомъ.

Изъ такого состоянія мысли выходитъ, что человѣкъ уважаетъ всякую вѣру, но самъ не имѣетъ никакой; преклоняется передъ всякимъ подвигомъ, совершеннымъ въ простотѣ сердечной, но самъ не можетъ чувствовать побужденій къ подвигамъ; восхваляетъ всѣ формы исторической жизни, но самъ не способенъ ни признать какія-нибудь изъ нихъ за настоящія, правильныя, ни создать или стремиться создать новую форму. Таково умственное состояніе Ренана, а въ немъ мы имѣемъ право видѣть примѣръ общаго состоянія европейскаго просвѣщенія. Все это просвѣщеніе нѣсколько завидуетъ прошлому и лишено всякой иниціативы для будущаго.

Политическія сочиненія Ренана въ этомъ смыслѣ имѣютъ тотъ-же характеръ, какъ и его изслѣдованія по исторіи религій. Онъ неизбѣжно явился консерваторомъ, но такимъ, который только ставитъ прошлое выше настоящаго, а никакъ не можетъ желать его возвращенія.

Послѣднія событія во Франціи такъ были поразительны, что мысль о глубокомъ упадкѣ нравственной и политической жизни въ этой странѣ сдѣлалась очень обыкновенною. Въ чемъ-же тутъ главное дѣло, въ чемъ именно состоитъ зло, разъѣдающее Францію? — вотъ предметъ послѣдняго сочиненія Ренана, и читатели, конечно, не откажутся послушать объ этомъ предметѣ

такого тонкаго критика и мастерскаго историка. Мы извлечемъ изъ этой его книги существенныя мѣста, прибавимъ кое-что изъ другихъ его книгъ, и постараемся сдѣлать это съ нѣкоторымъ порядкомъ и связью. Начнемъ съ предисловія, такъ какъ предисловія у него вообще очень важны и содержательны.

„Главная часть этой книги состоитъ изъ размышле„ній, которыя мнѣ были внушены во время тѣхъ го„рестныхъ недѣль, когда истинному французу нельзя „было ни о чемъ думать, кромѣ страданій своего оте„чества. Я не обманываю себя насчетъ вліянія, кото„рое могутъ произвести эти страницы. Роль писателей, „которымъ достался жребій горькихъ истинъ, мало отли„чается отъ судьбы того безумнаго, который бѣгалъ по „стѣнамъ Іерусалима, обреченнаго истребленію, и кри„чалъ: „Голосъ Востока! голосъ Запада! голосъ четы„рехъ вѣтровъ! горе Іерусалиму и храму!“ Его никто „не слушалъ, пока, наконецъ, пораженный камнемъ ме„тательной машины, онъ не упалъ, воскликнувъ: „Горе „мнѣ!“ Малое число лицъ, слѣдовавшихъ въ политикѣ „тому пути, котораго я счелъ должнымъ держаться, не „изъ интереса или честолюбія, но изъ простаго распо„ложенія къ общему благу, побѣждены полнѣйшимъ „образомъ въ гибельномъ кризисѣ, совершающемся пе„редъ нашими глазами; но я считаю существеннымъ „дѣломъ избѣжать упрека въ томъ, что не обратилъ „на дѣла своего времени и своей страны того вниманія, „къ какому обязанъ каждый гражданинъ. При томъ „состояніи, къ которому пришли человѣческія общества, „*нельзя питать большаго уваженія къ тому, кто жадно „искалъ-бы принять на себя часть отвѣтственности „въ дѣлахъ своего времени и своей страны. Честолю-*

„*бецъ на старый ладъ, находившій свое удовольствіе,*
„*свою честь и свои расчеты въ участіи въ правитель-*
„*ствѣ, былъ-бы въ наши дни почти безсмыслицей;* и
„еслибы, въ настоящую минуту, мы увидѣли молодаго
„человѣка вступающаго въ общественную жизнь съ
„тѣмъ нѣсколько суетномъ жаромъ, съ той сердечной
„теплотою и наивнымъ оптимизмомъ, которыми отлича-
„лась, напримѣръ, эпоха реставраціи, то мы не могли-
„бы воздержаться отъ улыбки и, не колеблясь, пред-
„сказали-бы ему жестокія разочарованія. Одно изъ са-
„мыхъ дурныхъ слѣдствій демократіи состоитъ въ томъ,
„что общественное дѣло стало добычею особаго класса
„*политикановъ*, людей посредственныхъ и ревнивыхъ,
„естественнымъ образомъ мало уважаемыхъ толпою, ко-
„торая видѣла, какъ ея сегодняшній уполномоченный
„вчера унижался передъ нею, и которая знаетъ, ка-
„кимъ шарлатанствомъ были выманены ея голоса. Во
„всякомъ случаѣ, однако-же, прежде чѣмъ принять рѣ-
„шеніе, что мудрый долженъ заключиться въ чистое
„мышленіе, нужно быть вполнѣ увѣреннымъ, что исто-
„щены всѣ средства, могущія заставить людей внять
„голосу разума. Когда мы будемъ двадцать разъ по-
„бѣждены, когда двадцать разъ толпа предпочтетъ на-
„шимъ указаніямъ декламаціи потворщиковъ или восторг-
„женныхъ, когда будетъ вполнѣ доказано, что, пред-
„ложивъ себя законнымъ порядкомъ, мы были отверг-
„нуты, оттолкнуты, тогда мы будемъ имѣть право уда-
„литься съ гордостію и спокойствіемъ, и громко про-
„возгласить наше пораженіе. Никто не обязанъ имѣть
„успѣхъ, никто не обязанъ прибѣгать къ способамъ,
„которые позволяетъ себѣ вульгарное честолюбіе; но вся-
„кій обязанъ быть искреннимъ. Еслибы Тюрго прожилъ

„настолько, чтобы видѣть Революцію, почти онъ одинъ „имѣлъ-бы право оставаться спокойнымъ, потому что „онъ одинъ вѣрно указывалъ, что̀ слѣдовало-бы сдѣлать „для ея предупрежденія“.

Вотъ благородныя и вмѣстѣ очень грустныя слова, показывающія, до какого унынія дошли французы. Такимъ печальнымъ тономъ не проповѣдуютъ обновленія и возрожденія; въ послѣдствіи мы увидимъ, въ чемъ состоитъ *реформа*, предлагаемая Ренаномъ Франціи: она основана не на ожиданіи лучшаго, а на стремленіи только какъ-нибудь спастись отъ гибели.

„Съ глубокой скорбью“, продолжаетъ Ренанъ, „я перепечаталъ здѣсь двѣ или три статьи, относящіяся къ „войнѣ. Мечтою всей моей жизни было содѣйствовать, „по мѣрѣ моихъ слабыхъ силъ, умственному, нравственному и политическому союзу Германіи и Франціи, союзу, „который привлекъ-бы къ себѣ Англію и *составилъ-бы „силу, способную управлять міромъ*, то-есть направлять „его по пути либеральной цивилизаціи, въ равномъ удаленіи и отъ наивно-слѣпыхъ стремленій демократіи, и „отъ ребяческихъ поползновеній возвратиться къ прошлому, которое не можетъ возродиться. *Эта мечта*, я „долженъ сознаться, *разрушена навсегда*. Бездна раскрылась между Франціею и Германіею; ея не наполнятъ „цѣлые вѣка. Насиліе, совершенное надъ Эльзасомъ и „Лотарингіею, надолго останется зіяющею раною; мнимая гарантія мира, о которой мечтали журналисты и „государственные люди Германіи, станетъ гарантіею „войнъ безъ конца“.

„Германія была моею учительницею; я сознавалъ, „что *ей я обязанъ тѣмъ, что̀ во мнѣ есть лучшаго*. Посудите-же, какъ я долженъ былъ страдать, когда уви-

„дѣлъ, что нація, наставлявшая меня въ идеализмѣ, на-
„смѣялась надъ всякимъ идеаломъ, когда отечество Канта,
„Фихте, Гердера и Гёте, принялось гоняться лишь за
„цѣлями исключительнаго патріотизма, когда народъ,
„который я всегда выставлялъ передъ своими соотече-
„ственниками самымъ нравственнымъ и самымъ образо-
„ваннымъ, явился передъ нами въ видѣ солдатъ, ничѣмъ
„не отличающихся отъ служакъ всѣхъ временъ, злыхъ,
„ворующихъ, пьяницъ, развращенныхъ, грабящихъ, какъ
„во время Валленштейна, когда, наконецъ, благородная
„мятежница 1813 года, нація, поднявшая Европу во
„имя *великодушія*, открыто отвергла въ политикѣ всякое
„соображеніе великодушія, постановила принципомъ, что
„долгъ народа — быть положительнымъ, эгоистичнымъ,
„стала позорить какъ преступленіе—трогательное безу-
„міе бѣдной націи, обманутой судьбою и своими госу-
„дарями, націи поверхностной, лишенной политическаго
„смысла, — я этого не скрываю, — но виновной един-
„ственно въ томъ, что она безразсудно сдѣлала опытъ
„(именно—всеобщей подачи голосовъ), изъ котораго ни-
„какой народъ не выйдетъ счастливѣе, чѣмъ она. Когда
„Германія стала представлять міру обязанность—смѣш-
„нымъ дѣломъ, борьбу за отечество—преступленіемъ,—
„какое разочарованіе для тѣхъ, кто думалъ видѣть въ
„нѣмецкой культурѣ будущность общей цивилизаціи! То,
„что мы любили въ Германіи, ея ширина взгляда, ея
„высокое понятіе о разумѣ и человѣчествѣ,—уже болѣе
„не существуетъ. Германія стала лишь націею; въ на-
„стоящую минуту, она сильнѣйшая изъ всѣхъ націй; но
„извѣстно, какъ не долги бываютъ эти гегемоніи, и что
„онѣ оставляютъ послѣ себя. Нація, ограничивающаяся
„однимъ лишь соображеніемъ своего интереса, уже те-

„ряетъ общую роль. Всякая страна пріобрѣтаетъ го-„сподство лишь общими сторонами своего генія: патріо-„тизмъ противоположенъ нравственному и философскому „вліянію“.

„Никто болѣе моего не отдавалъ всегда справедли-„вости великимъ качествамъ нѣмецкаго племени, той „серіозности, той учености, тому прилежанію, которыми „почти замѣняется геній и которыя имѣютъ въ тысячу „разъ больше значенія, чѣмъ талантъ, тому чувству „долга, которое я далеко предпочитаю побужденіямъ „тщеславія и чести, составляющимъ нашу силу и нашу „слабость. Но Германія не можетъ взять на себя все „дѣло человѣчества. Германія не дѣлаетъ безкорыстныхъ „дѣлъ для остальнаго міра. Очень благороденъ нѣмецкій „либерализмъ, ставящій себѣ цѣлью не столько равен-„ство классовъ, сколько культуру и возвышеніе природы „человѣка вообще; но права человѣка тоже чего-нибудь „стоятъ; а наша филолофія XVIII вѣка, наша революція „положила имъ основаніе. Лютеровская реформа была „сдѣлана только для германскихъ странъ; Германія ни-„когда не имѣла чего-либо вполнѣ подобнаго нашимъ „рыцарскимъ привязанностямъ къ Польшѣ, къ Италіи. „Нѣмецкая натура, впрочемъ, содержитъ, повидимому, „два противоположные полюса: нѣмца кроткаго, послуш-„наго, почтительнаго, самоотрекающагося; и нѣмца не „признающаго ничего, кромѣ силы, — повелителя, даю-„щаго неумолимые и строгіе приказы, однимъ словомъ, „древняго желѣзнаго человѣка; jura negat sibi nata. „Можно сказать, что въ мірѣ нѣтъ ничего лучше нрав-„ственнаго нѣмца, и ничего злѣе нѣмца деморализованнаго. „Если массы у насъ менѣе способны къ дисциплинѣ, чѣмъ „въ Германіи, то средніе классы менѣе способны къ дурно-

„му; скажемъ къ чести Франціи, что, въ теченіе всей по-„слѣдней войны, почти невозможно было найти француза, „который могъ-бы порядочно исполнять роль шпіона: „ложь, низкое плутовство намъ слишкомъ противны“.

„Великое превосходство Германіи заключается въ „умственной области; но и тутъ, пусть она не вообра-„жаетъ, что обладаетъ всѣмъ. Такта, прелести у нея „не достаетъ. Много нужно работать Германіи, чтобы „имѣть общество, подобное французскому обществу XVII „и XVIII вѣка, мужчинъ, подобныхъ Ла-Рошфуко, Сенъ-„Симону, Сентъ-Эвремону, женщинъ подобныхъ г-жѣ де-„Севинье, де-ла-Вальеръ, Нинонѣ де-Ланкло. Даже въ „наши дни, развѣ есть въ Германіи поэтъ, подобный „Виктору Гюго, прозаикъ, подобный Занду, критикъ, „подобный Сентъ-Бёву, фантазія, равная фантазіи Мишле, „философскій характеръ, равный Литтре? Пусть отвѣ-„тятъ на эти вопросы знатоки другихъ націй. Мы про-„тестуемъ лишь противъ несправедливости сужденій тѣхъ, „которые составляютъ мнѣніе о современной Франціи „только по ея низшей печати, по ея мелкой литературѣ, „по тѣмъ негоднымъ маленькимъ театрамъ, которыхъ „глупое остроуміе, столь мало французское, сколько это „возможно, есть дѣло иностранцевъ и отчасти нѣмцевъ. „Еслибы мы стали судить о Германіи по ея журналамъ „низкаго разбора, то мы судили-бы о ней тоже неспра-„ведливо. Какое удовольствіе могутъ находить люди въ „томъ, что такимъ образомъ питаютъ себя ложными „идеями, сужденіями, проникнутыми ненавистью и при-„страстіемъ? Чтобы ни говорили, міръ безъ Франціи „будетъ также не полонъ, какъ былъ-бы онъ не по-„лонъ, если-бы Франція была цѣлымъ міромъ; блюдо „изъ одной соли никуда не годится, но блюдо безъ соли

„очень безвкусно. Цѣль человѣчества выше, чѣмъ тор-„жество того или другаго племени; всѣ племена содѣй-„ствуютъ ей; у всѣхъ есть миссія, которую они по „своему должны исполнить“.

„О, пусть образуется, наконецъ, союзъ искреннихъ „людей всякаго племени, всякаго языка и всякаго на-„рода, умѣющихъ сознавать и ставить выше этихъ пла-„менныхъ раздоровъ эмпирей чистыхъ идей, небо, въ „которомъ нѣтъ ни грека, ни варвара, ни германца, ни „латинца! Когда уговаривали Гёте писать стихи противъ „Франціи: „Какъ вы хотите, отвѣчалъ онъ, чтобы я „проповѣдывалъ ненависть, тогда какъ я не чувствую „ея въ своемъ сердцѣ?“ Таковъ долженъ быть и нашъ „отвѣтъ, когда намъ предложатъ чернить Германію. „Будемъ неумолимо справедливы и холодны. Франція „насъ не послушала, когда мы заклинали ее не бо-„роться противъ неизбѣжнаго; Германія осмѣяла насъ, „когда мы склоняли ее къ умѣренности въ побѣдѣ. „Съумѣемъ же ждать. Законы исторіи суть правосудіе „Божіе. Въ книгѣ Іова, Богъ, чтобы показать, что Онъ „могущь, сокрушаетъ торжествующаго и возвышаетъ „униженнаго. Философія исторіи согласна въ этомъ от-„ношеніи съ древнею поэмою. У всякаго человѣческаго „созданія есть свой червь, который его точитъ; пора-„женіе есть искупленіе прошлой славы и часто руча-„тельство побѣды въ будущемъ. Греція, Іудея заплатили „своимъ національнымъ существованіемъ за свою исклю-„чительную судьбу и за несравненную честь, что соз-„дали наставленія для цѣлаго человѣчества. Италія двумя „вѣками ничтожества искупила славу, что основала въ „средніе вѣка гражданскую жизнь и произвела Возрож-„деніе; въ XIX столѣтіи эта двойная слава была ея

„главнымъ правомъ на новую жизнь. Германія искупила „долгимъ политическимъ упадкомъ славу, что произвела „Реформацію; теперь она собираетъ доходъ, принесен„ный Реформаціею. Франція въ настоящее время иску„паетъ Революцію; быть можетъ, она пожнетъ когда„нибудь ея плоды въ признательной памяти освобожден„ныхъ народовъ".

„Утѣшеніе побѣжденныхъ! — скажутъ на это, — „тщетная пища, которую люди предлагаютъ сами себѣ, „чтобы усладить настоящее несчастіе мечтами о буду„щемъ. Пусть такъ; но нужно признаться также, что „никогда утѣшенія не были болѣе основательны. На„дежды, опирающіяся на непостоянство счастія, ни разу „не измѣняли съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ чело„вѣчество. Nil permanet sub sole, сказалъ Экклезіастъ. „Исторія пойдетъ своимъ путемъ, сегодняшніе побѣди„тели завтра станутъ побѣжденными. Радостна или го„рестна эта истина—не въ томъ дѣло; это истина, ко„торая пребудетъ всегда справедливою".

„„О міръ, какъ ты золъ и превратенъ!" восклицаетъ „величайшій изъ персидскихъ поэтовъ. „Что ты воз„двигъ, то ты самъ же разрушаешь. Посмотри, что стало „съ Феридуномъ, героемъ, отнявшимъ царство у стараго „Зогака. Онъ царствовалъ въ продолженіе пяти вѣ„ковъ; наконецъ онъ умеръ. Онъ умеръ, какъ мы всѣ „умремъ, все равно, были-ли мы пастухомъ, были-ли „мы стадомъ""".

Тутъ обрисовывается весь Ренанъ, съ его германскимъ образованіемъ, съ его политическими взглядами и литературными цѣлями, съ его полурелигіознымъ настроеніемъ и даже съ мечтами о томъ *эмпиреѣ чистыхъ идей*, въ которомъ онъ думаетъ найти замѣну религіи.

Мы остановимся подробнѣе на нѣкоторыхъ пунктахъ, здѣсь затронутыхъ, и предложимъ читателямъ сужденія Ренана: 1) о революціи 1789 года, 2) о современномъ состояніи Франціи въ политическомъ и нравственномъ отношеніяхъ, 3) о значеніи войны 1870 года. Обо всемъ этомъ Ренанъ высказываетъ горькія истины; онъ находитъ въ Революціи, кромѣ блага, существенное зло; этому злу и его развитію приписываетъ современный упадокъ Франціи; въ войнѣ же между Франціею и Германіею онъ видитъ нѣкоторое бѣдствіе не для одной Франціи, а для всей Европы, для европейской цивилизаціи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Сужденія Ренана о революціи 1789 года.

Поклоненіе Революціи.—Разочарованіе.—Критика Революціи.—*Неудавшійся опытъ.*—Страхъ за будущее.—Искупленіе за Революцію.—*Ложное понятіе о человѣческомъ обществѣ.*—Матеріализмъ въ политикѣ.—Понятіе о справедливости.—Зависть.—Всѣ не исполнили своихъ обязанностей.—Опасенія и надежды.

Французская революція 1789 года, которая, какъ событіе въ своемъ родѣ единственное, какъ революція по преимуществу, обыкновенно называется просто Революціею,—есть предметъ великаго уваженія не только для французовъ, но и для всего образованнаго міра. Съ нея начинается новый періодъ европейской исторіи, и въ самомъ дѣлѣ, противники Революціи не могутъ указать въ современной исторіи никакого другаго начала, которое имѣло-бы, или могло-бы надѣяться получить въ будущемъ, силу, равную силѣ движенія, начатаго въ 1789. Съ Революціи началось повсемѣстное стремленіе къ политической свободѣ, къ расширенію политическихъ правъ, и утвердилось нѣкоторое *право на революцію*, право народа самому измѣнять свое государственное устройство. Народъ имѣетъ право на это, потому что *можетъ* это

сдѣлать, можетъ совершить этотъ переворотъ, не только не подвергая себя смертельной опасности, а съ блескомъ и славою, какъ это доказали французы.

Понятно, что пониманіе и оцѣнка событія, имѣющаго такое значеніе, подверглись обыкновенной судьбѣ. Уваженіе къ Революціи обратилось въ поклоненіе, въ догматъ вѣры; ея дѣятели стали героями недосягаемой силы и величія; всѣ ея пріемы и подробности сдѣлались предметомъ подражанія, а малѣйшее сомнѣніе въ томъ, что она есть великій и благодѣтельный шагъ въ прогрессѣ человѣчества, считалось неразуміемъ и кощунствомъ. Создалось множество миѳовъ и предразсудковъ въ пользу Революціи, которые укоренились въ общественномъ мнѣніи и составили почти неодолимое препятствіе для правильнаго пониманія этого событія.

Противники Революціи, которыхъ было не мало, казалось-бы могли противодѣйствовать этому извращенію истиннаго смысла дѣла. Но, такъ какъ они сами были пристрастны, такъ какъ ихъ сужденія были подсказываемы преданностію началамъ, противоположнымъ духу Революціи, то изъ этой борьбы мнѣній истина выяснялась слабо, а выходило, какъ обыкновенно бываетъ, только большее ожесточеніе борющихся сторонъ.

Поэтому, чрезвычайно интересны и поучительны тѣ случаи, когда Революцію критикуютъ не ея исконные противники, а бывшіе приверженцы. Дошло дѣло до того, что, наконецъ, въ силу уроковъ исторіи, постепеннаго обнаруженія свойствъ революціоннаго движенія, люди начали разочаровываться въ Революціи. Такіе разочарованные судятъ о Революціи не съ постороннихъ ей точекъ зрѣнія,—а исходя изъ самыхъ ея началъ и показывая, что развитіе этихъ началъ приводитъ къ бѣд-

ствіямъ и нелѣпостямъ. Не можетъ быть критики лучше той, которая исходитъ изъ самаго предмета.

Для насъ, русскихъ, со стороны смотрящихъ на Западъ, голоса этихъ разочарованныхъ должны имѣть большое значеніе. Самая опасная и самая легкая ошибка, въ которую мы впадаемъ, есть преувеличеніе авторитета Запада. Кто любитъ истину и желаетъ имѣть самостоятельное сужденіе о вещахъ (а вѣдь только такое сужденіе и заслуживаетъ имени сужденія), тотъ именно здѣсь долженъ напрячь всѣ силы своего ума, долженъ принимать всевозможныя предосторожности. Странны тѣ русскіе, которые вѣчно толкуютъ о свободѣ мнѣній, о низверженіи авторитетовъ, о самодѣятельности мысли, о томъ, что ничего не нужно принимать на вѣру, все нужно изслѣдовать и подвергать критикѣ, и которые въ то-же время считаютъ подчиненіе Россіи авторитету Европы наилучшимъ путемъ для нашего развитія, единственнымъ нашимъ спасеніемъ ото всѣхъ золъ. Во сколько разъ справедливѣе тѣ, которые говорятъ, что ничего отъ насъ хорошаго не будетъ, пока мы не станемъ жить своимъ умомъ?

И такъ, не безполезно прислушиваться къ голосамъ тѣхъ европейскихъ людей, которые, такъ или иначе, пришли въ положеніе, требующееся для правильной критики, которые освободились отъ увлеченій своего вѣка, отъ предразсудковъ своей страны, и судятъ не какъ члены извѣстной партіи, не какъ приверженцы извѣстнаго движенія, а какъ зрители, поднявшіеся на болѣе высокую точку зрѣнія, способные и къ безпристрастію, и къ пониманію.

Въ настоящемъ случаѣ, Ренанъ, писатель обладающій несравненной искренностію и прямодушіемъ, для

насъ очень поучителенъ. Онъ принадлежитъ къ разочарованнымъ въ Революціи и знаетъ ея духъ не по наслышкѣ или подражанію, а потому, что носилъ его въ себѣ въ его дѣйствительномъ видѣ; онъ отказался отъ него въ силу развитія той жизни, которая была создана этимъ духомъ, и которою жилъ самъ Ренанъ.

Въ первый разъ онъ объявилъ себя противникомъ Революціи въ 1859 году, въ предисловіи къ своей книгѣ Essais de morale et de critique. Объ одной статьѣ этой книги (статья объ Тости), Ренанъ говоритъ здѣсь слѣдующее:

„Она написана раньше того времени, когда уста„новилась моя нынѣшняя манера писанія и когда опре„дѣлились мои взгляды на новѣйшую исторію. Въ ту ми„нуту, когда писалась статья (*началю 1851 года*), я еще „питалъ, относительно Революціи и произшедшей отъ „нея формы общества, *обыкновенные во Франціи пред„разсудки*, которымъ суждено было поколебаться только „вслѣдствіе *жестокихъ уроковъ*. Я считалъ Революцію „синонимомъ либерализма, а такъ какъ это слово (ли„берализмъ) представляетъ для меня довольно хорошо „высшую формулу развитія человѣчества, то фактъ, ко„торымъ, по ученію ошибочной философіи исторіи, зна„менуется пришествіе въ міръ либерализма, являлся мнѣ „въ нѣкоторомъ смыслѣ священнымъ. Я не видѣлъ еще „скрытой язвы въ той общественной системѣ, которая „была создана французскимъ умомъ; я не замѣчалъ, что „при своей насильственности, при своемъ кодексѣ, осно„ванномъ на чисто матеріалистическомъ понятіи о соб„ственности, при своемъ презрѣніи къ личнымъ правамъ, „при своей манерѣ принимать въ разсчетъ лишь недѣ„лимое и видѣть въ недѣлимомъ только пожизненное су-

„щество, не имѣющее нравственныхъ связей,—Революція заключала въ себѣ зародышъ разрушенія, который „долженъ былъ вскорѣ привести къ господству посредственности и слабости, къ угасанію всякой великой „иниціативы, къ наружному благосостоянію, условія котораго взаимно разрушаютъ другъ друга. Конечно, „если-бы было доказано, что черезъ двѣсти лѣтъ просвѣщенные люди будутъ смотрѣть на 1789 годъ, какъ „на окончательное основаніе въ мірѣ политической, религіозной и гражданской свободы, какъ на начало „болѣе высокаго фазиса въ развитіи ума человѣческаго, „болѣе чистыхъ религіозныхъ идей, лучшей, болѣе благородной и свѣтоносной эры, то всякій, страстно любящій красоту и благо, долженъ былъ-бы считать „1789 годъ за точку отправленія своей вѣры и своихъ „надеждъ. Но, если принципы 1789 года имѣютъ то „значеніе, въ какомъ ихъ такъ часто принимали, если „въ нихъ заключается, какъ слѣдствіе, пониженіе интересовъ ума и либеральной культуры, если они должны „привести къ деспотизму матеріальныхъ интересовъ, и, „подъ предлогомъ равенства, къ угнетенію всѣхъ, то, „рискуя вызвать проклятія непросвѣщеннаго либерализма, слѣдуетъ, отдавая честь чувствамъ, воодушевлявшимъ виновниковъ этого необыкновеннаго движенія, „сдѣлать то, что сдѣлали-бы они сами,—отвергнуть выводы, которыхъ они не желали и не предвидѣли. *Въ „высшей степени важно, чтобы фанатическая привязанность къ воспоминаніямъ извѣстной эпохи не была „препятствіемъ существенному дѣлу нашего времени,*— „основанію свободы посредствомъ возрожденія индивидуальной совѣсти. Если 89 годъ есть помѣха для этого, „откажемся отъ 89 года. Ничего не можетъ быть па-

„губнѣе для націи, какъ этотъ фанатизмъ, заставляющій ее полагать свое самолюбіе въ защитѣ извѣстныхъ „словъ, прикрываясь которыми ее можно вести до послѣднихъ предѣловъ рабства и униженія".

„Я знаю, что многимъ подобныя опасенія относительно будущаго покажутся анахронизмомъ, что въ „нихъ увидятъ слѣдствіе той меланхоліи, въ которой, „какъ я слышалъ, меня упрекали нѣкоторыя лица, „снисходительныя къ настоящему столько-же, какъ и „оно къ нимъ снисходительно. Но у каждаго свой характеръ; хотя иногда я готовъ былъ завидовать настроенію этихъ счастливыхъ натуръ, всегда и легко „удовлетворяющихся, признаюсь, что, поразмысливши, „я начинаю гордиться своимъ пессимизмомъ, и что, „если-бы я почувствовалъ, что онъ смягчается, тогда „какъ вѣкъ остается тотъ-же, я—сталъ-бы тщательно „отыскивать, какая струна ослабѣла въ моемъ сердцѣ. „Можетъ быть, эта суровость когда-нибудь утратитъ свою „силу; способствовать такой перемѣнѣ всего больше „могло-бы, конечно, то, если-бы лица, оптимизмъ которыхъ я не нахожу справедливымъ, не подвергаясь меланхоліи (которая, я полагаю, вовсе не въ ихъ характерѣ), дошли, наконецъ, до пониманія, что то, въ „чемъ состоитъ радость однихъ, не составляетъ счастія всѣхъ". (Essais de Morale et de Critique. Préf. p. IX—XII).

Не смотря на важность предмета, котораго касаются эти мысли, Ренанъ не развивалъ ихъ подробно, и только въ послѣднее время рѣшился вполнѣ изложить то, что онъ называетъ своею *философіею современной исторіи*. Въ 1868 году, въ предисловіи къ книгѣ Questions contemporaines, онъ сказалъ о революціи опять лишь

нѣсколько словъ, до такой степени однако-же значительныхъ, что Герценъ обратилъ на нихъ вниманіе, какъ на признакъ пробуждающагося сознанія истиннаго положенія дѣлъ. Вотъ эти слова:

„Во всемъ великая, а въ иныхъ отношеніяхъ возвышенная, Революція есть опытъ, дѣлающій безмѣрную „честь народу, который осмѣлился его сдѣлать, но это „*опытъ неудавшійся.* Сохранивъ лишь одно неравенство, „неравенство имущества; оставивъ на ногахъ лишь одного гиганта, государство, и тысячи пигмеевъ; создавъ „могущественный центръ, Парижъ, посреди умственной „пустыни, провинціи; превративъ общественныя службы „въ администраціи; остановивъ развитіе колоній и *закрывъ, такимъ образомъ, единственный исходъ, которымъ „современныя государства могутъ уйти отъ задачъ соціализма,* Революція создала націю, будущее которой „мало надежно, націю, гдѣ одно богатство имѣетъ цѣну, „гдѣ благородство можетъ только больше и больше падать. Кодексъ законовъ, который, повидимому, написанъ для идеальнаго гражданина, родящагося найденышемъ и умирающаго холостякомъ; кодексъ, дѣлающій все пожизненнымъ; по которому дѣти составляютъ „неудобство для отца; гдѣ запрещено всякое собирательное и постоянное дѣло; по которому нравственныя „единицы, то есть истинныя единицы, разрушаются при „каждой смерти; по которому осмотрительный человѣкъ „дѣлается эгоистомъ, старающимся имѣть какъ можно „меньше обязанностей; по которому мужчина и женщина выпускаются на арену жизни при одинаковыхъ „условіяхъ; по которому собственность разумѣется не „какъ вещь нравственная, а какъ эквивалентъ пользованія, всегда оцѣнимаго на деньги, — такой кодексъ

„говорю я, можетъ породить только слабость и мел-„кость. Часто у насъ удивляются силѣ, которою обла-„даетъ въ провинціи духовенство, епископство. Это очень „просто; Революція все раздробила; она разрушила всѣ „корпораціи, кромѣ церкви; одно духовенство осталось „организованнымъ внѣ государства. Какъ города, во „время разрушенія римской имперіи, выбирали предста-„вителями своихъ епископовъ, такъ епископъ скоро въ „провинціи будетъ одинъ на ногахъ среди потерявшаго „всякія скрѣпы общества. Съ своимъ узкимъ понима-„ніемъ семьи и собственности, люди, которые такъ пла-„чевно ликвидировали банкротство Революціи въ послѣд-„ніе годы XVIII столѣтія, приготовили намъ міръ пиг-„меевъ и мятежниковъ. Нельзя безнаказанно оставаться „безъ философіи, безъ науки, безъ религіи. Какимъ „образомъ юристы, какъ-бы искусны они ни были, ка-„кимъ образомъ посредственные политическіе люди, спас-„шіеся, по своей трусости, отъ убійствъ террора, какимъ „образомъ люди, лишенные высокой культуры, какъ „большая часть тѣхъ, кто стоялъ во главѣ Франціи въ „эти рѣшительные годы, могли-бы разрѣшить задачу, „которая не по силамъ никакому генію: создать искус-„ственно атмосферу, въ которой общество можетъ жить „и приносить свои плоды?“ (Quest. cont. p. II—V).

Въ концѣ предисловія, обращаясь опять къ общему состоянію Франціи, Ренанъ выражаетъ большой страхъ за будущее, страхъ понятный послѣ того, что̀ имъ сказано о Революціи, и, къ несчастію, вполнѣ оправдавшійся недавними событіями.

„Революція привела Францію въ состояніе герои-„ческаго кризиса, которое иногда ставитъ ее ниже „всѣхъ и лишаетъ ее преимуществъ благоразумныхъ

„людей, но которое въ тоже время кладетъ на чело ея „печать таинственнаго предназначенія. Я не хотѣлъ-бы, „чтобы была прекращена эта божественная лихорадка. „Но нужно остерегаться, чтобы въ одинъ изъ припад- „ковъ не умеръ нашъ больной“.

„Раздѣленная на четыре партіи, изъ которыхъ три „всегда враждебны господствующей, Франція въ дѣй- „ствительности всегда располагаетъ только четвертью „своихъ силъ; между тѣмъ, есть постоянные интересы, „которые стоятъ выше перемѣны династій и которые „никогда не должны терпѣть ущерба. Честный человѣкъ, „который желалъ-бы служить лишь безспорному прави- „тельству и такому, въ образованіи котораго онъ самъ „не участвовалъ, принужденъ держаться въ сторонѣ. „Всякое правительство можетъ стать благодѣтельнымъ „только лѣтъ черезъ десять или пятнадцать. До тѣхъ „поръ, оно принадлежитъ не честнымъ и полезнымъ „гражданамъ, а тѣмъ, которые его основали или быстро „приняли. Революціи унижаютъ тѣхъ, которые ими „пользуются и которые всегда остаются въ подозрѣніи, „что они ихъ вызвали; онѣ разъединяютъ, уничтожаютъ, „сбиваютъ съ толку тѣхъ, кто имъ противится. Роковой „ложный кругъ, не оставляющій людямъ выбора между „тягостными перемѣнами, приводящій постепенно къ „совершенному пониженію характеровъ, и къ черствости, „дѣлающей васъ, противъ вашей воли, враждебнымъ „общественному дѣлу! Страшный урокъ для народовъ, „которые будучи неспособны къ республиканскому пра- „вленію, разрушаютъ династію, данную имъ вѣками! „Если такъ все пойдетъ, то не далеко время, когда „смерть каждаго государя будетъ сигналомъ граждан- „ской войны, когда власть будетъ наградою того, кто

„всѣхъ смѣлѣе, когда нація раздѣлится на двѣ части, „одну, состоящую изъ интригановъ всякаго рода, живу„щую революціями и реставраціями, другую, состоящую „изъ честныхъ людей, которые поставятъ себѣ безъ„условнымъ правиломъ не участвовать въ перемѣнахъ „правительства, и будутъ, сидя дома, угрюмо ожидать „приговора судьбы. Но такое состояніе вещей будетъ „еще раемъ въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ будетъ потомъ. „Сперва благородные, потомъ слабые, наконецъ прези„раемые, честные люди понемногу выведутся, и черезъ „сто лѣтъ останутся только смѣлые искатели приклю„ченій, которые будутъ вести между собою игру въ „гражданскія войны, да чернь, чтобы рукоплескать по„бѣдителю дня. Сцены, которыми сопровождались пере„мѣны царствованія въ римской имперіи I-го и II-го „вѣка, повторятся. Въ то утро, когда станетъ извѣстно, „что, цѣною смерти и изгнанія нѣсколькихъ сотъ важ„ныхъ людей, смѣлый переворотъ даруетъ миръ на бу„дущее время, мирные люди будутъ радоваться. Чело„вѣкъ, покрытый кровью, вѣроломствами и преступленіями, „который успѣетъ побѣдить своихъ соперниковъ, будетъ „провозглашенъ спасителемъ отечества. Двѣ силы, да„вленіе иноземцевъ, которые не потерпятъ, чтобы какая„нибудь нація слишкомъ далеко отступила отъ общаго „порядка Европы, и нравственный авторитетъ еписко„повъ, опирающихся на католическую партію, — однѣ „эти силы будутъ въ состояніи создать балластъ въ этомъ „носящемся по вѣтру кораблѣ. Конечно, эти два вмѣ„шательства не будутъ безкорыстныя вмѣшательства. „Въ роковомъ кругу революцій бездна призываетъ бездну. „Есть примѣры націй, которыя входили въ этотъ Дан„товъ адъ и возвратились изъ него. Но что̀ сказать о

„націи, которая, разъ вышедши изъ него, снова погру-„жается въ него дважды, трижды?“ (Ibid p. XXVIII—XXXI).

Этимъ оканчиваетъ Ренанъ. Намъ кажется, что слова его разительно подтверждаются послѣднею революціею, между прочимъ удивительнымъ ничтожествомъ тѣхъ лицъ, которыя составляли правительство Коммуны. Причина этого явленія не въ томъ, что Франція вовсе лишилась умныхъ и благородныхъ людей, а въ томъ, что умные и благородные люди чуждались участія въ политическихъ волненіяхъ. Таковъ плодъ революцій: они отталкиваютъ людей отъ участія во власти и политической дѣятельности.

Полное свое сужденіе о революціи 1789 года Ренанъ высказалъ наконецъ въ 1869 году, въ статьѣ *О конституціонной Монархіи во Франціи;* статья эта составляетъ существенную часть его послѣдней книги, и вотъ изъ нея главныя мѣста, относящіяся къ нашему предмету.

„Французская Революція есть событіе столь необык-„новенное, что *съ нея должно начинаться всякое раз-„сужденіе о дѣлахъ нашего времени.* Во Франціи не со-„вершается ни одного важнаго событія, которое не было-„бы прямымъ послѣдствіемъ этого главнаго факта, глу-„боко измѣнившаго условія жизни нашей страны. Какъ „все великое, героическое, дерзкое, все, превосходящее „обыкновенную мѣру человѣческихъ силъ, французская „Революція будетъ въ теченіе вѣковъ предметомъ зани-„мающимъ умы, порождающимъ споры, поводомъ ко „взаимной любви и ненависти, источникомъ сюжетовъ „для драмъ и романовъ. Съ одной стороны, француз-„ская Революція (Имперія, по моему мнѣнію, состав-

„ляетъ ея продолженіе) есть слава Франціи, по пре„имуществу французская эпопея; но, почти всегда, на„ціи, имѣющія въ своей исторіи какой-нибудь исклю„чительный фактъ, искупаютъ этотъ фактъ долгими „страданіями и часто платятся за него своимъ націо„нальнымъ существованіемъ. Такъ было съ Іудеею, Гре„ціею и Италіею. За то, что онѣ создали единственныя „въ своемъ родѣ вещи, которыми живетъ и пользуется „міръ, эти страны подверглись вѣкамъ униженія и на„ціональной смерти. Національная жизнь есть нѣчто „ограниченное, посредственное, узкое. Чтобы сдѣлать „что-нибудь необыкновенное, всеобщее, нужно разо„рвать эту тѣсную сѣть; но, съ тѣмъ вмѣстѣ, мы раз„диpаемъ отечество, такъ-какъ отечество есть совокуп„ность предразсудковъ и установившихся идей, кото„рыхъ не можетъ принять все человѣчество. Націи, со„здавшія религію, искусство, науки, имперію, церковь, „папство (все это вещи всеобщія, не національныя), „были болѣе, чѣмъ просто націи; но, по этому самому, „онѣ были и менѣе, чѣмъ націи, въ томъ смыслѣ, что „стали жертвами своего дѣла. Я думаю, что Революція „будетъ имѣть для Франціи подобныя слѣдствія, хотя „не столь продолжительныя, такъ какъ дѣло Франціи „было менѣе велико и всеобще, чѣмъ дѣло Іудеи, Гре„ціи, Италіи. Точную параллель нынѣшнему состоянію „нашей страны, мнѣ кажется, представляетъ Германія „XVII вѣка. Германія въ XVI столѣтіи сдѣлала для „человѣчества дѣло первостепенное, реформацію. Она „искупила ее въ XVII вѣкѣ чрезвычайнымъ политиче„скимъ упадкомъ. Вѣроятно, XIX вѣкъ будетъ счи„таться въ исторіи Франціи искупленіемъ за Револю„цію. Націи, какъ и недѣлимыя, не сходятъ безнака-

„занно съ средняго пути, то есть, съ пути здраваго „практическаго смысла и возможности“.

„Въ самомъ дѣлѣ, если Революція создала для Франціи въ высшей степени поэтическое и романическое „положеніе въ мірѣ, то, нѣтъ сомнѣнія съ другой стороны, что, если взять въ разсчетъ только требованія „обыкновенной политики, она поставила Францію на „путь страннаго свойства. Цѣль, которой Франція хотѣла достигнуть посредствомъ Революціи, есть таже, „къ которой стремятся всѣ современныя націи: справедливое, честное, гуманное общество, обезпечивающее „права и свободу всѣхъ съ возможно-меньшимъ пожертвованіемъ правъ и свободы каждаго. Отъ этой цѣли „Франція въ настоящую минуту, проливши рѣки крови, „очень далека, тогда какъ Англія, которая не шла „путемъ революцій, почти ея достигла. Другими словами, Франція представляетъ странное зрѣлище страны, „поздно увидѣвшей необходимость наверстать свою отсталость отъ націй, которыя она нѣкогда считала отсталыми, учащейся у народовъ, которымъ она мечтала „давать уроки, и старающейся при помощи подражанія „выполнить дѣло, въ которомъ думала обнаружить высокую оригинальность“.

„Причина такой исторической странности очень „проста. Не смотря на необыкновенный огонь, ее воодушевлявшій, *Франція, въ концѣ XVIII вѣка, была „очень невѣжественна относительно условій существованія народа и человѣчества.* Въ ея удивительной попыткѣ было много ошибокъ; она совершенно не поняла правилъ современной свободы. Все равно, къ сожалѣнію или къ радости, но современная свобода никакъ не есть ни свобода древности, ни свобода рес-

„публикъ среднихъ вѣковъ. Она гораздо болѣе реальна, „но гораздо менѣе блестяща. Ѳукидидъ и Макіавель не „поняли-бы въ ней ничего, а между тѣмъ, подданный „королевы Викторіи въ тысячу разъ болѣе свободенъ, „чѣмъ какой-бы то ни было гражданинъ Спарты, Аѳинъ, „Венеціи, или Флоренціи. Нѣтъ болѣе этихъ лихорадоч„ныхъ республиканскихъ волненій, исполненныхъ благо„родства и опасности; нѣтъ болѣе городовъ, состоящихъ „изъ утонченнаго, живаго и аристократическаго народа; „вмѣсто этого—большія тяжелыя массы, въ которыхъ „умъ есть достояніе немногихъ, но которыя могуще„ственно способствуютъ цивилизаціи, принося на службу „государству, посредствомъ конскрипціи и налога, чу„десное богатство самоотверженія, повиновенія, благо„душія. Образецъ такого способа существованія, кото„рый, безъ сомнѣнія, всего менѣе изнашиваетъ націю „и всего лучше сохраняетъ ея силы, представляетъ намъ „Англія. Англія достигла до самаго либеральнаго со„стоянія, какое міръ видѣлъ до сихъ поръ, посред„ствомъ развитія своихъ средневѣковыхъ учрежденій, а „вовсе не посредствомъ революціи. Свобода въ Англіи „происходитъ не отъ Кромвеля и республиканцевъ „1649 года; она происходитъ отъ всей ея исторіи, отъ „ея равнаго уваженія къ праву короля, къ праву лор„довъ, къ праву общинъ и корпорацій всякаго рода. „Франція слѣдовала противоположному ходу. *Король „давно уничтожилъ права дворянъ и общинъ, нація „уничтожила права короля.* Она стала дѣйствовать фи„лософски въ такомъ дѣлѣ, гдѣ слѣдуетъ дѣйствовать „исторически: она думала, что свобода основывается „посредствомъ верховныхъ правъ народа и во имя цен„тральной власти, между тѣмъ какъ свобода получается

„посредствомъ маленькихъ послѣдовательныхъ завоеваній, „посредствомъ медленныхъ реформъ. Англія, которая не „претендуетъ ни на какую философію, Англія, которая „разорвала связь съ своимъ преданіемъ только въ ми„нуту мимолетнаго увлеченія, заглаженнаго быстрымъ „раскаяніемъ, Англія, которая, вмѣсто абсолютнаго дог„мата о верховномъ правѣ народа, допускаетъ лишь бо„лѣе умѣренный принципъ, что нѣтъ правительства безъ „народа и противъ народа, оказалась въ тысячу разъ „болѣе свободною, чѣмъ Франція, которая такъ гордо „водрузила знамя правъ человѣка. Это потому, что вер„ховность народа не основываетъ конституціоннаго прав„ленія. Государство, устроенное на французскій ладъ, „слишкомъ сильно; вмѣсто того, чтобы гарантировать „всѣ вольности, оно поглощаетъ всѣ вольности; его „форма есть Конвентъ, или деспотизмъ. То, что должно „было выйти изъ Революціи, ни въ какомъ случаѣ не „могло значительно разниться отъ Консульства и Импе„ріи: изъ такого пониманія общества могла выйти только „администрація, сѣть префектовъ, узкій гражданскій „кодексъ, машина, пригодная для того, чтобы сдавли„вать націю, пеленки, въ которыхъ ей невозможно было „жить и расти. Весьма несправедлива ненависть, съ „которою радикальная французская школа смотритъ на „Наполеона. Дѣло Наполеона, если исключить нѣкото„рыя личныя заблужденія этого необыкновеннаго чело„вѣка, въ сущности, есть лишь выполненіе революціон„ной программы въ ея возможныхъ частяхъ. Если-бы „Наполеонъ не существовалъ, окончательная конститу„ція Республики не отличалась-бы существенно отъ кон„ституціи VIII года“.

„*Ложное, во многихъ отношеніяхъ, понятіе о чело-*

„*вѣческомъ обществѣ лежитъ въ основѣ всѣхъ французскихъ революціонныхъ попытокъ*. Коренная ошибка была „сперва замаскирована великолѣпнымъ порывомъ энтузіазма къ свободѣ и праву, которымъ были полны „первые годы Революціи; но, когда этотъ прекрасный „огонь угасъ, осталась общественная теорія, которая „господствовала при Директоріи, Консульствѣ и Имперіи, „и наложила глубокую печать на всѣ созданія этого „времени".

„По теоріи, которую можно назвать *матеріализмомъ въ политикѣ*, общество не есть что-либо религіозное или священное. Оно имѣетъ лишь одну цѣль, „ту, чтобы недѣлимые, его составляющіе, наслаждались „возможно большею суммою благосостоянія, не заботясь „объ идеальномъ назначеніи человѣчества. Къ чему говорятъ о возвышеніи, облагороженіи человѣческаго сознанія? Дѣло идетъ лишь о томъ, чтобы сдѣлать довольнымъ большинство, обезпечить для всѣхъ нѣкотораго рода ординарное счастіе, конечно, очень относительное, ибо благородная душа питала-бы отвращеніе „къ такому счастію и возмутилась-бы противъ общества, „которое бралось-бы его доставить. Въ глазахъ просвѣщенной философіи, общество есть великій провиденціальный фактъ; оно устроено не человѣкомъ, а „самою природою, для того, чтобы на поверхности нашей планеты происходила умственная и нравственная „жизнь. Внѣ общества человѣкъ никогда не существовалъ. Человѣческое общество, мать всякаго идеала, „есть прямое произведеніе верховной воли, которая хочетъ, чтобы добро, истина, красота имѣли въ мірѣ „созерцателей. Это трансцендентное отправленіе человѣчества не совершается посредствомъ простаго сосуще-

„ствованія недѣлимыхъ. Общество есть іерархія. Всѣ „недѣлимыя благородны и священны, всѣ существа (даже „животныя) имѣютъ права; но не всѣ существа равны; „они суть члены обширнаго тѣла, части безмѣрнаго „организма, совершающаго божественную работу. Отри„цаніе этой божественной работы есть заблужденіе, въ „которое легко впадаетъ французская демократія. Счи„тая наслажденія недѣлимаго единственнымъ предметомъ „общества, она приходитъ къ отрицанію правъ идеи, „первенства духа. Не понимая неравенства племенъ, „такъ какъ, дѣйствительно, этнографическія различія „съ незапамятнаго времени исчезли въ ея нѣдрахъ, „Франція пришла къ тому, что видитъ общественное со„вершенство въ нѣкотораго рода общей посредственности. „*Сохрани насъ, Боже, мечтать о воскрешеніи того, что „умерло*; но, не требуя возстановленія дворянства, поз„волительно думать, что важность, придаваемая рожде„нію, во многихъ отношеніяхъ лучше, чѣмъ важность, „придаваемая имуществу; одна не больше справедлива, „чѣмъ другая, и единственное справедливое отличіе, то „есть отличіе заслуги и добродѣтели, лучше соблю„дается въ обществѣ, гдѣ классы основаны на рожде„ніи, чѣмъ въ томъ, гдѣ одно богатство есть основаніе „неравенства“.

„Жизнь человѣческая стала-бы невозможною, если„бы человѣкъ не давалъ себѣ права подчинять живот„ныхъ; она точно также была-бы невозможна, если-бы мы „держались того отвлеченнаго понятія, по которому всѣ „люди раждаются съ одинаковымъ правомъ на имуще„ство и на общественное положеніе. Такое состояніе „вещей, повидимому справедливое, было-бы концомъ „всякой добродѣтели; оно неизбѣжно породило-бы даже

„ненависть и войну между двумя полами, такъ какъ при-„рода создала тутъ, въ самомъ нѣдрѣ человѣческаго „рода, неотрицаемое различіе ролей. Буржуазія счи-„таетъ справедливымъ, чтобы, уничтоживъ наслѣдствен-„ную королевскую власть и наслѣдственное дворянство, „мы остановились передъ наслѣдственнымъ богатствомъ. „Работникъ находитъ справедливымъ, чтобы, уничто-„живши наслѣдственное богатство, мы остановились пе-„редъ неравенствомъ пола, и даже, если онъ сколько-„нибудь благоразуменъ, передъ неравенствомъ силы и „способностей. Утопистъ, самый восторженный, находитъ „справедливымъ, чтобы, уничтоживъ въ воображеніи „всякое неравенство между людьми, мы допустили право „человѣка употреблять животное для его надобностей. „И однакоже, никакъ не больше справедливо то, что „такой-то раждается богатымъ, какъ и то, что такой-„то раждается съ извѣстнымъ общественнымъ отли-„чіемъ; ни тотъ, ни другой не пріобрѣли своего пре-„имущества личнымъ трудомъ. Мы все исходимъ изъ „идеи, что дворянство имѣетъ началомъ заслугу, и, такъ „какъ ясно, что заслуга не наслѣдственна, то мы легко „доказываемъ, что наслѣдственное дворянство есть не-„лѣпость; но тутъ вѣчное французское заблужденіе, что „есть какая-то распредѣлительная справедливость, вѣсы „которой должно держать государство. Общественное „основаніе дворянства, разсматриваемаго какъ устано-„вленіе, имѣющее цѣлью общую пользу, состояло не „въ томъ, чтобы вознаграждать заслугу, а въ томъ, „чтобы ее вызывать, чтобы дѣлать возможными и даже „легкими извѣстнаго рода заслуги. Если-бы оно слу-„жило даже лишь для того, чтобы показать, что *спра-„ведливости не должно искать въ оффиціальномъ устрой-*

„*ствѣ общества*, то и это уже было-бы не малое дѣло. „*Девизъ „достойнѣйшему“ имѣетъ въ политикѣ очень „мало приложенія*“.

„И такъ, французская буржуазія ошиблась, думая, „что посредствомъ своей системы конкурсовъ, спеціаль„ныхъ училищъ и правильнаго служебнаго повышенія, „она можетъ основать справедливое общество. Народъ „ей легко докажетъ, что бѣдное дитя исключено изъ „этихъ конкурсовъ, и, сравнительно съ нею, будетъ „правъ, утверждая, что полная справедливость требуетъ, „чтобы всѣ французы при рожденіи были поставлены въ „одинаковое положеніе. Другими словами, никакое обще„ство не возможно, если строго провести идеи распре„дѣлительной справедливости относительно недѣлимыхъ. „Уничтоживъ наслѣдство, и чрезъ это разрушивъ семью „или сдѣлавъ ее произвольною, такое общество скоро „будетъ побѣждено или тѣми своими частями, гдѣ со„хранились-бы старыя начала, или иностранными на„ціями, сохранившими эти начала. Торжествуетъ всегда „то племя, гдѣ семейство и собственность организованы „всего крѣпче. Человѣчество есть таинственная лѣст„ница, рядъ равнодѣйствующихъ силъ, проистекающихъ „одна изъ другой. Трудолюбивыя поколѣнія людей на„рода и крестьянъ создаютъ существованіе честнаго и „экономнаго буржуа, который въ свою очередь, создаетъ „дворянина, человѣка, освобожденнаго отъ веществен„наго труда, всецѣло преданнаго предметамъ безко„рыстнымъ. Каждый въ своемъ классѣ есть хранитель „преданія, нужнаго для успѣховъ цивилизаціи. Нѣтъ „двухъ нравственностей, двухъ наукъ, двухъ воспитаній. „Есть одна умственная и нравственная область, бли„стательное созданіе человѣческаго духа, которое тво-

„рится въ малой долѣ каждымъ, кромѣ эгоиста, и ко„торому каждый причастенъ въ различныхъ степеняхъ.

„Мы уничтожили-бы человѣчество, если-бы не до„пустили, что цѣлыя массы должны жить славою и на„слажденіемъ другихъ. Демократъ называетъ глупцомъ „крестьянина стараго порядка, работавшаго на своихъ „господъ, любившаго ихъ и наслаждавшагося высокимъ „существованіемъ, которое другіе ведутъ по милости его „пота. Конечно, тутъ есть безсмыслица при той узкой, „запертой жизни, гдѣ все дѣлается съ закрытыми две„рями, какъ въ наше время. Въ настоящемъ состояніи „общества, преимущества, которыя одинъ человѣкъ „имѣетъ надъ другими, стали вещами исключительными „и личными; *наслаждаться удовольствіемъ или благо„родствомъ другого кажется дикостію;* но не всегда „такъ было. Когда Губбіо или Ассизи глядѣлъ на про„ходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодаго „господина, никто не завидовалъ. Тогда *всѣ участво„вали въ жизни всѣхъ;* бѣдный наслаждался богатствомъ „богатаго, монахъ радостями мірянина, мірянинъ мо„литвами монаха; для всѣхъ существовали искусство, „поэзія, религія".

„Съумѣютъ-ли холодныя соображенія политико-эко„нома замѣнить все это? Будутъ-ли они достаточны, „чтобы обуздать надменность увѣренной въ своей силѣ „демократіи, которая, не остановившись передъ фактомъ „верховной власти, вскорѣ почувствуетъ искушеніе не „останавливаться и передъ фактомъ собственности? Най„дутся-ли достаточно краснорѣчивые голоса, чтобы вну„шить восьмнадцатилѣтнимъ юношамъ разсужденія стар„цевъ, чтобы убѣдить молодые, горячіе, вѣрящіе въ „удовольствіе классы, которые еще не разочарованы

„наслажденіемъ, что невозможно всѣмъ наслаждаться, „всѣмъ быть хорошо воспитанными, деликатными, даже „добродѣтельными въ утонченномъ смыслѣ, но что нужно, „чтобы были досужные люди, хорошо воспитанные, добро„дѣтельные люди, въ которыхъ и чрезъ которыхъ другіе „наслаждаются и вкушаютъ отъ идеала? Событія дадутъ „отвѣтъ. Превосходство Церкви и сила, которая ру„чается за то, что у Церкви есть еще будущее, со„стоитъ въ томъ, что она одна понимаетъ это и нау„чаетъ это понимать. Церковь хорошо знаетъ, что „лучшіе люди часто бываютъ жертвами преимуществъ „такъ называемыхъ высшихъ классовъ; но она знаетъ „также, что природа хотѣла, чтобы жизнь человѣчества „имѣла многія степени. Она знаетъ и признаетъ, что „грубость многихъ есть условіе воспитанія одного, что „потъ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную „жизнь; но она не называетъ однихъ привиллегирован„ными, а другихъ обдѣленными, ибо дѣло человѣческое „для нее нераздѣлимо. Уничтожте этотъ великій за„конъ, поставте всѣхъ людей на одну линію, съ рав„ными правами, безъ связи подчиненія общему дѣлу, вы „получите эгоизмъ, посредственность, разобщенность, чер„ствость, невозможность жить, нѣчто похожее на жизнь „нашего времени, печальнѣе которой, даже для чело„вѣка изъ народа, еще никогда не было. Если имѣть „въ виду только право недѣлимыхъ, то несправедливо, „чтобы одинъ человѣкъ былъ пожертвованъ другому; но „нѣтъ ничего несправедливаго въ томъ, чтобы всѣ были „подчинены высшему дѣлу, совершаемому человѣчествомъ. „Религія имѣетъ силу объяснять эти тайны и предла„гать въ идеальномъ мірѣ обильныя утѣшенія всѣмъ, „кто приносится въ жертву въ юдольномъ мірѣ".

„Вотъ чего не поняла Революція, когда утратила „свое святое упоеніе первыхъ дней. Революція окон„чательно стала противурелигіозною и безбожною. Об„щество, о которомъ она мечтала въ печальные дни, „слѣдовавшіе за припадкомъ лихорадки, когда она ста„ралась одуматься, есть родъ арміи, состоящей изъ „матеріалистовъ, въ которой дисциплина замѣняетъ до„бродѣтель. *Чисто отрицательная основа*, на которой „*сухіе и жестокіе люди этого времени* строили фран„цузское общество, можетъ произвести только народъ „надменный и дурно-воспитанный; ихъ кодексъ, созданіе „недовѣрія, признаетъ первымъ принципомъ, что все „можетъ быть оцѣнено на деньги, то есть, на удоволь„ствія. *Зависть заключаетъ въ себѣ всю нравственную „теорію этихъ мнимыхъ основателей нашихъ законовъ.* „Но зависть основываетъ равенство, а не свободу; ставя „человѣка въ оборонительное положеніе противъ воз„можныхъ захватовъ другаго человѣка, она уничтожаетъ „взаимное благорасположеніе классовъ. Нѣтъ общества „безъ любви, безъ преданій, безъ уваженія, безъ взаимной „благосклонности. Въ своемъ ложномъ понятіи о добродѣ„тели, которую она смѣшиваетъ съ суровымъ требова„ніемъ того, что̀ каждый считаетъ своимъ правомъ, де„мократическая школа не видитъ, что великая добро„дѣтель націи заключается въ переношеніи традиціон„наго неравенства. Самое добродѣтельное племя для „этой школы не то, которое исполняетъ на дѣлѣ само„пожертвованіе, преданность, идеализмъ во всѣхъ его „формахъ; а то, которое всѣхъ буйственнѣе, которое „сдѣлало всего больше революціей. Самые умные демо„краты очень удивляются, когда имъ говорятъ, что есть „еще въ мірѣ добродѣтельныя племена, напримѣръ, Ли-

„товцы, Дитмарсы, Помераняне, племена феодальныя, „обладающія запасомъ живыхъ силъ, понимающія долгъ, „какъ Кантъ, и для которыхъ слово революція не имѣетъ „никакого смысла“.

„Первымъ слѣдствіемъ этой жесткой и поверхностной „философіи, слишкомъ быстро занявшей мѣсто филосо„фіи Монтескьё и Тюрго, было уничтоженіе королев„ской власти. Для умовъ, напитанныхъ матеріалисти„ческою философіею, королевская власть должна была „казаться анамаліею. Немногіе въ 1792 г. понимали, „что непрерывность хорошихъ вещей должна быть охра„няема учрежденіями, которыя, если угодно, составляютъ „привиллегію для нѣкоторыхъ, но суть вмѣстѣ органы „національной жизни, безъ коихъ извѣстныя потребно„сти терпятъ ущербъ. Эти меленькія крѣпости, гдѣ со„храняются склады, принадлежащіе обществу, казались „феодальными башнями. Отрицались всѣ традиціонныя „подчиненія, всѣ историческіе договоры, всѣ символы. „Королевская власть была первымъ изъ этихъ догово„ровъ, договоромъ восходящимъ за тысячу лѣтъ, симво„ломъ, котораго бывшая тогда въ модѣ ребяческая фи„лософія исторіи не могла понять. Никакая нація не „создавала легенды болѣе полной, чѣмъ легенда вели„кой капетингской династіи, родъ религіи, зародившейся „въ Сенъ-Дени, освященной въ Реймсѣ согласіемъ епи„скоповъ, имѣвшей свои обряды, свою литургію, свое „священное мѵро, свою хоругвь (орифламму). Каждой „національности соотвѣтствуетъ династія, въ которой „воплощаются геній и интересы націи; національное со„знаніе укрѣпляется и утверждается только тогда, когда „оно заключило нерасторжимое супружество съ какою„нибудь семьею, обязавшеюся договоромъ не имѣть ни-

„какого интереса, отличнаго отъ интереса націи. Это „отожествленіе никогда не доходило до такой полноты, „какъ между капетингскимъ домомъ и Франціею. Это „было больше, чѣмъ королевское достоинство, это было „нѣкоторое священство; будучи царемъ-іереемъ, какъ „Давидъ, король Франціи носитъ мантію и мечъ. Богъ „просвѣщаетъ его въ его сужденіяхъ. Король Англіи „мало заботится о правосудіи, — онъ защищаетъ свое „право противъ бароновъ; императоръ Германіи забо„тится о немъ еще менѣе, — онъ вѣчно охотится въ „своихъ тирольскихъ горахъ, предоставляя колесу міра „катиться какъ ему угодно; но король Франціи — право„суденъ; окруженный своими присяжными и торжествен„нымъ причтомъ, со своимъ *жезломъ правосудія*, онъ „подобенъ Соломону. Его вѣнчаніе, подобное вѣнчанію „царей израильскихъ, есть нѣчто странное и единствен„ное. Франція создала восьмое таинство *), которое со„вершалось только въ Реймсѣ, таинство королевской „власти. Помазанный дѣлаетъ чудеса; онъ облеченъ въ „„чинъ“: онъ церковное лицо перваго разряда. Папѣ, „который говоритъ ему именемъ Бога, онъ отвѣчаетъ, „указывая на свое помазаніе: „Я тоже, я отъ Бога!“ „Онъ позволяетъ себѣ съ намѣстникомъ Петра воль„ности, которымъ нѣтъ подобныхъ. Разъ, онъ велитъ его „арестовать и объявить еретикомъ; въ другой разъ, онъ „грозитъ, что сожжетъ его; опираясь на своихъ сор„боннскихъ докторовъ, онъ дѣлаетъ ему увѣщанія, низ„лагаетъ его. Не смотря на это, совершеннѣйшій его „типъ есть король причисленный къ лику святыхъ, Лю-

*) Слово „таинство“ употребляется для обозначенія помазанія въ Реймсѣ. *Hist. litt. de la France*, т. XXVI, p. 122.

„довикъ Святой, столь чистый, столь смиренный, столь „простой и столь сильный. У него есть свои мистиче„скіе обожатели; добрая Жанна д'Аркъ не отдѣляетъ „его отъ святаго Михаила и святой Екатерины; эта „бѣдная дѣвушка буквально жила религіею Реймса. Не„сравненная легенда! Святая басня! И противъ нея по„дымаютъ простой ножъ, назначенный для отсѣченія „головъ преступникамъ! Убійство 21 января, съ точки „зрѣнія идеалиста, есть актъ самаго отвратительнаго „матеріализма, самое постыдное, какое когда-либо сдѣ„лано было, исповѣданіе неблагодарности и низости, „грубой пошлости и забвенія прошлаго".

„Значитъ-ли это, что этотъ старый порядокъ, кото„раго память новое общество старалось изгладить съ „тѣмъ особеннымъ остервенѣніемъ, которое встрѣчается „только у выскочки противъ вельможи, коему онъ всѣмъ „обязанъ, значитъ-ли это, что этотъ старый порядокъ „не имѣлъ за собою тяжкой вины? Конечно, вина была; „если-бы я писалъ въ настоящую минуту общую фило„софію нашей исторіи, я показалъ-бы, что королевская „власть, дворянство, духовенство, парламенты, города, „университеты старой Франціи, *всѣ не исполнили своихъ „обязанностей, и что революціонеры 1793 года только „закончили тотъ длинный рядъ винъ, послѣдствія кото„рыхъ тяжело тяготѣютъ надъ нами.* Величіе всегда „приходится искупать. Франція понимала свою коро„левскую власть какъ нѣчто неограниченное. Король „на англійскій ладъ, родъ штатгальтера, оплачиваемаго „и вооруженнаго для защиты націи и поддержанія из„вѣстныхъ правъ, былъ въ ея глазахъ жалкою фигу„рою. Съ XIII вѣка, король Англіи, находящійся въ „безпрерывной борьбѣ съ своими подданными и связан-

„ный хартіями, составлялъ для французскихъ поэтовъ „предметъ осмѣянія; онъ не достаточно могущъ. Фран„цузская королевская власть была нѣчто слишкомъ „священное; помазанника Божія не контролируютъ; „Боссюэтъ былъ правъ, составляя теорію французской „королевской власти на основаніи священнаго писанія. „Если-бы король Англіи имѣлъ этотъ мистическій оттѣ„нокъ, бароны и общины не успѣли-бы такъ его уни„зить. Французская королевская власть, чтобы произве„сти блестящій метеоръ царствованія Людовика XIV, „поглотила всѣ власти націи. На другой день послѣ „того, какъ государство слилось подъ рукою одного че„ловѣка въ это могучее единство, Франція неизбѣжно „признала себя такою, какою ее сдѣлалъ великій ко„роль,—со всемогущею центральною властью, съ унич„тоженными вольностями,—и, считая короля сверхпло„діемъ, поступила съ нимъ какъ съ формою, которая „стала безполезною по отлитіи статуи. Ришельё и Лю„довикъ XIV были, такимъ образомъ, великими рево„люціонерами, истинными основателями Республики. „Точное повтореніе колоссальной королевской власти Лю„довика XIV есть республика 1793 г., съ ея страш„нымъ сосредоточеніемъ властей, неслыханное чудовище, „которому подобнаго никогда не видано было. Примѣры „республикъ не рѣдки въ исторіи; но эти республики „были города или маленькіе федераціи. Но совершенно „безпримѣрна централизованная республика въ трид„цать милліоновъ душъ. Въ теченіи четырехъ или пяти „лѣтъ, она шаталась, какъ пьяный человѣкъ, или поги„бающій Great-Eastern, но потомъ громадная масса упала „въ свое естественное русло, въ руки могущественнаго „деспота, который умѣлъ сперва съ изумительнымъ

„искусствомъ организовать новое движеніе, но который „кончилъ какъ всѣ деспоты. Обезумѣвъ отъ гордости, „онъ навлекъ на отдавшуюся ему страну самое жесто„кое посрамленіе, какое только можетъ испытать нація, „и былъ причиной возвращенія династіи, изгнанной „Франціею съ величайшимъ позоромъ“ (*Réforme intell. et mor.* pp. 235—254).

Затѣмъ Ренанъ разсматриваетъ всю послѣдующую исторію Франціи, показывая, какъ непрочность ея правительствъ и неудача новыхъ переворотовъ проистекали изъ положенія вещей, созданнаго первою революціею. Спасеніе Франціи Ренанъ видитъ въ устройствѣ государства на либеральныхъ началахъ, на подобіе Англіи, и онъ ищетъ, какіе элементы есть во Франціи для созданія истинно конституціонной монархіи. Во многомъ онъ видитъ благопріятные признаки для своихъ надеждъ и желаній; но, подъ конецъ, сознаніе безвыходности невольно овладѣваетъ имъ, и онъ выражается слѣдующимъ образомъ.

„Будущее Франціи есть тайна, ускользающая отъ „всякой проницательности. Конечно, задачи, занимаю„щія другія страны, очень важны: Англія, съ спокой„ствіемъ, достойнымъ величайшаго удивленія, разрѣ„шаетъ смѣлые вопросы, которые у насъ считаются „принадлежностью однихъ утопистовъ; но, повсюду борьба „имѣетъ опредѣленную область, повсюду есть ограни„ченная арена, законы битвы, герольды и судьи. У насъ, „безпрестанно подлежитъ вопросу самое устройство, „форма и, до извѣстной степени, существованіе обще„ства. Можетъ-ли страна выдержать такой ходъ вещей? „Вотъ вопросъ, который мы съ безпокойствомъ задаемъ „себѣ. Мы ободряемся, когда приводимъ себѣ на умъ,

„что большая нація, подобно человѣческому тѣлу, есть „удивительно разсчитанная и уравновѣшенная машина, „что она создаетъ себѣ органы, въ которыхъ имѣетъ „нужду, и что, когда она ихъ теряетъ, она снова ихъ „выращиваетъ. Можетъ быть, въ нашемъ революціон„номъ жару, мы зашли съ ампутаціями слишкомъ да„леко и, думая отсѣчь лишь болѣзненные наросты, кос„нулись какого-нибудь существеннаго органа жизни, „такъ что упорство, съ которымъ больной не возвращается „къ здоровью, зависитъ отъ какого-нибудь важнаго по„вреждения, сдѣланнаго нами въ его внутренностяхъ. „Въ такомъ случаѣ, слѣдуетъ быть въ отношеніи къ „нему очень осторожнымъ, слѣдуетъ дать этому тѣлу, „все еще сильному, хотя и глубоко пораженному, воз„можность заживить его внутреннія раны и возвратиться „къ нормальнымъ условіямъ жизни“.

„Поспѣшимъ, впрочемъ, прибавить: столь блестящіе „недостатки, каковы недостатки Франціи, въ своемъ „родѣ суть качества. Франція не лишилась скипетра „остроумія, вкуса, тонкаго искусства, аттицизма; еще „долго она будетъ привлекать вниманіе цивилизованнаго „человѣчества и будетъ распоряжаться ставками, о ко„торыхъ европейская публика будетъ держать свои пари. „Дѣла Франціи такого рода, что они ссорятъ и увле„каютъ иностранцевъ столько-же, и часто болѣе, чѣмъ „дѣла ихъ собственной страны. Самая затруднительная „особенность ея политическаго состоянія есть неожи„данность; но неожиданность имѣетъ двѣ стороны: ря„домъ съ дурными шансами есть шансы хорошіе, и „насъ нисколько не удивитъ, если, послѣ плачевныхъ „приключеній, Франція проживетъ годы необыкновен„наго блеска. Если-бы, утомясь, наконецъ, желаніемъ из-

„умлять міръ, она вздумала рѣшиться на нѣкотораго „рода политическое успокоеніе, какъ-бы широко и славно „она могла вознаградить себя на путяхъ частной дѣя„тельности! Какъ-бы она могла соперничать съ Англіею „въ мирномъ завоеваніи земнаго шара и въ подчине„ніи всѣхъ низшихъ племенъ! Франція все можетъ, не „можетъ только быть посредственною. То, что она тер„питъ, въ сущности она терпитъ за то, что слишкомъ „много дерзнула противъ боговъ. Каковы-бы ни были „несчастія, готовимыя ей будущимъ, и если даже, „участь француза, какъ участь грека, іудея, итальянца, „должна со временемъ возбуждать жалость міра и по„чти улыбку, міръ не забудетъ, что, если Франція „упала въ эту бездну несчастія, то потому, что сдѣ„лала смѣлые опыты, которыми всѣ пользуются, что лю„била справедливость до безумія, что допустила, въ бла„городномъ безразсудствѣ, возможность идеала, который „несовмѣстенъ съ жалкою участью человѣчества". (Ibid. p. 303—306).

Такъ говорилъ Ренанъ еще въ 1869 году, до войны съ Пруссіею и послѣдовавшихъ за нею событій. И тогда, и даже потомъ, онъ все еще не отказывался отъ надеждъ на блестящее будущее, хотя и смѣшанныхъ съ величайшими опасеніями. Но, какъ ясны и опредѣленны его опасенія, его анализъ зла, разъѣдающаго Францію, и какъ смутны и неопредѣленны его надежды! Эту разницу, какъ нельзя лучше подтвердили событія: опасенія Ренана сбываются одно за другимъ, а надежды все отодвигаются, все больше и больше тускнѣютъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Сужденія Ренана о современномъ состояніи Франціи.

Нравственное паденіе.—Племена кельтическое и германское.—Французскій славянофилъ. — Упадокъ патріотизма. — Матеріальное благосостояніе.—Собственность.—Выборы.—Всеобщая подача голосовъ.—Отсутствіе нравственнаго взгляда на вопросы.

Въ чемъ заключается существенная причина той блистательной побѣды, которую пруссаки одержали надъ французами?

„По словамъ Плутарха“, говоритъ Ренанъ, „народъ „болѣе добродѣтельный всегда одерживаетъ верхъ надъ „народомъ менѣе добродѣтельнымъ, и соревнованіе на„цій есть условіе общаго преуспѣянія“ (*Réforme intell. et mor.* p. 118).

„Преимущественно, возьмите въ разсчетъ нравствен„ныя качества, а въ особенности то качество, которое „всегда даетъ побѣду племени, обладающему имъ въ „бо́льшей степени, цѣломудріе (женщины имѣютъ во „Франціи огромное значеніе въ соціальномъ и полити„ческомъ движеніи; въ Пруссіи ихъ значеніе безконечно „слабѣе), и вы поймете, что всякій, кто сколько-нибудь „усвоилъ себѣ философію исторіи, всякій, читавшій два „прекрасные трактата Плутарха, *О добродѣтели и сча-*

„*стіи Александра, О добродѣтели и счастіи Римлянъ,* „никакъ не могъ сомнѣваться въ исходѣ дѣла. Легко „было видѣть, что французская революція, слабо за„держанная на нѣкоторое время событіями 1815 года, „во второй разъ увидитъ передъ собой своего вѣчнаго „врага, германское, или лучше сказать, сѣверное сла„вяно-германское племя, другими словами Пруссію, „оставшуюся страною стараго порядка и, такимъ обра„зомъ, предохранившуюся отъ *матеріализма промышлен„наго, экономическаго, соціалистическаго, революціоннаго,* „который ослабилъ доблесть всѣхъ другихъ народовъ. „Твердое рѣшеніе прусской аристократіи побѣдить фран„цузскую революцію имѣло, такимъ образомъ, два от„дѣльные фазиса, одинъ съ 1792 по 1815, другой съ „1848 по 1871, и тотъ и другой — побѣдоносные; и „такъ, вѣроятно, будетъ и впередъ, если только рево„люція не овладѣетъ и самымъ врагомъ своимъ, — для „чего большія удобства представитъ присоединеніе Гер„маніи къ Пруссіи, хотя еще и не тотчасъ“ (р. 53).

„Побѣда Германіи была побѣдою человѣка дисци„плинированнаго надъ недисциплинированнымъ, человѣка „почтительнаго, заботливаго, внимательнаго, методиче„скаго надъ человѣкомъ не имѣющимъ этихъ свойствъ; „это побѣда науки и разума; но, въ тоже время, это „побѣда стараго порядка, того принципа, который отвер„гаетъ *верховную власть народа и правъ населеній рас„полагать своею судьбою.* Идеи объ этой власти и этомъ „правѣ—не только не укрѣпляютъ племени, но обезо„руживаютъ его, дѣлаютъ неспособнымъ ко всякому „воинственному подвигу и, къ довершенію несчастія, ни„мало не препятствуютъ ему предать себя въ руки прави„тельства, способнаго къ величайшимъ ошибкамъ“ (р. 55).

Вотъ полный взглядъ Ренана. Источникъ зла есть ниспроверженіе стараго порядка, Революція и тѣ идеи, которыя ее породили и развились изъ нея. Слѣдствія Революціи—нравственное паденіе, исчезновеніе всякой доблести, матеріализмъ политическій, общественный, экономическій. Вторая имперія, это блестящее государство, почти заправлявшее міромъ, было, однакоже, такъ устроено, что, по словамъ Ренана, это было „государство безъ нравственной основы" (р. 35); не мудрено, что оно рухнуло такъ скоро.

Пруссаки побѣдили потому, что они обладали большею нравственною доблестью, что они сохранили старый порядокъ, поддерживающій эту доблесть, и остались пока чужды революціоннымъ идеямъ, разслабляющимъ племена и народы.

Мы видимъ отсюда, что самыя страшныя бѣдствія, какія только можетъ испытать народъ, не могли заставить даже мыслителя, подобнаго Ренану, пойти дальше ихъ ближайшей и непосредственной причины. Ему не приходитъ въ голову усумниться въ достоинствѣ всего нравственнаго склада и умственнаго просвѣщенія Европы, самыхъ началъ ея жизни; онъ отвергаетъ только Революцію, тогда какъ Революція есть лишь одно изъ проявленій общаго разложенія, уже поразившаго самый корень европейской цивилизаціи.

Впрочемъ, Ренанъ пытается подняться на болѣе высокую точку зрѣнія, но доходитъ только до представленія борьбы двухъ коренныхъ племенъ, лежащихъ въ основѣ европейскаго населенія, племени кельтическаго и племени германскаго. Въ войнѣ 1870 года, столкнулась Франція, представительница кельтическаго элемента, съ Пруссіею, представительницею элемента германскаго.

„Война“, говоритъ Ренанъ, „доказала до очевидно-„сти, что мы уже не обладаемъ прежними воинскими „способностями. И тутъ нѣтъ ничего удивительнаго для „того, кто составилъ себѣ правильное понятіе о фило-„софіи нашей исторіи. Франція среднихъ вѣковъ есть „германское зданіе, возведенное военною германскою „аристократіею изъ галло-романскихъ матеріаловъ. Мно-„го-вѣковое развитіе Франціи состояло въ томъ, что она „извергала изъ своихъ нѣдръ всѣ элементы, оставленные „въ ней германскимъ нашествіемъ, вплоть до Революціи, „составлявшей послѣднія судороги этихъ усилій. Воин-„скій духъ Франціи проистекалъ изъ того, что въ ней „было германскаго; насильственно извергнувъ германскіе „элементы и замѣнивъ ихъ философскимъ и равенствен-„нымъ представленіемъ общества, Франція тѣмъ самымъ „откинула свой воинскій духъ. Она превратилась въ „страну богатую, которая смотритъ на войну какъ на „глупую, очень недоходную карьеру. Франція, такимъ „образомъ, стала самою мирною страною въ свѣтѣ; вся „ея дѣятельность обратилась на соціальныя задачи, на „пріобрѣтеніе богатства и успѣхи промышленности“. (р. 24).

Далѣе Ренанъ обобщаетъ этотъ взглядъ:

„Подобно Франціи, и Англія готова, мнѣ кажется, „откинуть свой германскій элементъ, то упорное, гор-„дое, непреклонное дворянство, которое управляло ею „во времена Питта, Кэстльри, Веллингтона. Нынѣшняя „мирная и вполнѣ христіанская школа экономистовъ,— „какъ она далека отъ страстности тѣхъ желѣзныхъ „людей, которые заставили свою страну совершить столь „великія дѣла! Общественное мнѣніе Англіи, какъ оно „обнаруживается въ послѣднія тридцать лѣтъ, вовсе не

„имѣетъ германскаго характера; въ немъ слышится „кельтическій духъ, болѣе мягкій, болѣе симпатическій, „болѣе гуманный. Эти соображенія нужно принимать „въ самомъ широкомъ смыслѣ; можно, однако-же, сказать, что весь воинскій духъ, какой еще остается въ „мірѣ, имѣетъ германское происхожденіе. Вѣроятно, „германскому племени, какъ племени феодальному и „воинственному, суждено въ будущемъ укротить соціализмъ и равенственную демократію, которые у насъ, „кельтовъ, едва-ли бы остановились на какомъ-нибудь „предѣлѣ. Такое предположеніе согласно съ прошлою „исторіею; ибо одною изъ чертъ германскаго племени „всегда было то, что оно приписывало равное значеніе „идеѣ завоеванія и идеѣ ручательства, другими словами, „что у него матеріальный и грубый фактъ собственности, вытекающей изъ завоеванія, господствовалъ надъ „всѣми соображеніями о правахъ людей, надъ всѣми „отвлеченными теоріями объ общественномъ договорѣ. „Такимъ образомъ, отвѣтомъ на каждый шагъ впередъ „соціализма будетъ, можетъ быть, шагъ впередъ германизма, и можно предвидѣть время, когда всѣ страны „соціализма будутъ управляемы нѣмцами. Нашествіе IV „и V вѣка произошло въ силу подобныхъ причинъ, въ „силу того, что римскія области стали неспособны производить хорошихъ жандармовъ, хорошихъ блюстителей собственности“ (p. 27).

И такъ, вотъ что мы найдемъ у Ренана: онъ будетъ показывать зло, происшедшее отъ развитія кельтическаго духа, и показывать великія достоинства стараго порядка, разрушеннаго этимъ духомъ во Франціи. Мы видимъ, что Ренанъ разсуждаетъ не на основаніи общихъ началъ, отвлеченныхъ понятій; онъ не выхо-

дитъ изъ предѣловъ того, что̀ называется историческимъ взглядомъ на вещи. Онъ превосходно понимаетъ основы стараго порядка, смыслъ, заключавшійся въ его учрежденіяхъ; точно также, онъ ясно видитъ, что движеніе, начавшееся съ Революціи, имѣетъ чисто отрицательный характеръ, не заключаетъ началъ для положительнаго созиданія, для новой жизни, а потому и ведетъ къ одному злу. Если-бы у Ренана былъ свой собственный идеалъ, были начала, осуществленія которыхъ въ жизни онъ желалъ-бы, то онъ не могъ-бы жалѣть о старомъ порядкѣ и бояться его разрушенія; но, такъ какъ такого идеала у него нѣтъ, то ему остается одинъ выходъ—желать возвращенія стараго порядка, не создать новую жизнь, а возстановить исчезнувшую. Старая форма жизни представляется ему единственно возможною, единственно понятною,—по той причинѣ, что, не чувствуя въ себѣ самомъ и въ окружающемъ обществѣ никакого вполнѣ жизненнаго движенія, онъ способенъ цѣнить и признавать только чужую жизнь, только ту, которою еще живутъ другіе народы, или нѣкогда жила его собственная страна. Въ такомъ положеніи находится, въ сущности, вся Европа, вся ея разумная часть; она сознаетъ свою безжизненность; она способна только цѣнить и высоко ставить живые идеалы, дѣйствовавшіе въ прошломъ, но сама ихъ не имѣетъ.

Ренанъ есть нѣчто въ родѣ французскаго славянофила, съ тою разницею, что начала, признаваемыя нашими славянофилами, еще сохранились въ народѣ, еще крѣпко живутъ въ немъ, и что наши славянофилы сами искренно вѣрятъ въ эти начала. Ренанъ-же мечтаетъ о возстановленіи такой жизни, которая исчезла почти безъ слѣда, разрушена въ самомъ корнѣ; притомъ, какъ

ни ясно онъ понимаетъ эту жизнь, самъ онъ можетъ только уважать ея начала, но никакъ не вѣрить въ нихъ; онъ находится въ такомъ-же отношеніи къ старому порядку, въ какомъ находится къ религіи.

Приведемъ выписки, для поясненія и подтвержденія сказаннаго. Прежде всего Ренанъ указываетъ на господство во Франціи *политическаго матеріализма*; этотъ матеріализмъ ведетъ къ уничтоженію *патріотизма*, то есть, стремленій и доблестей, необходимыхъ для поддержанія и защиты государства.

„Франція, въ томъ видѣ, какой ей дала всеобщая „подача голосовъ, сдѣлалась страною глубоко матеріа„листическою; благородныя стремленія прежней Франціи, „патріотизмъ, энтузіазмъ къ прекрасному, жажда славы, „исчезли вмѣстѣ съ благородными классами, представ„лявшими собою душу Франціи. Рѣшеніе дѣлъ и управ„леніе ими было отдано массѣ; но масса тяжела, груба, „руководится самымъ поверхностнымъ пониманіемъ ин„тереса. Ея полюсы—работникъ и крестьянинъ. Ра„ботникъ непросвѣщенъ; крестьянинъ прежде всего хо„четъ купить землю, округлить свое поле. Начните го„ворить крестьянину, или соціалисту Интернаціонали, „о Франціи, о ея прошломъ, о ея геніи: онъ не пой„метъ этого языка. Воинская честь, съ этой ограни„ченной точки зрѣнія, — безуміе; стремленіе къ вели„кимъ дѣламъ, слава умственной жизни — фантазіи; „деньги, потраченныя на искусство и науку,—брошены „въ воду, безпутно истрачены, взяты изъ кармана лю„дей, ни мало не нуждающихся въ искусствѣ и наукѣ. „Вотъ тотъ провинціальный духъ, которому удивительно „угодилъ Наполеонъ III въ первые годы своего царство„ванія. Если-бы онъ остался послушнымъ и слѣпымъ

„слугою этой низменной реакціи, никакая оппозиція не „успѣла-бы его поколебать“ *) (p. 18).

„Съ 1848 года начались два движенія, которыя „должны были убить не только всякій воинскій духъ, „но и всякій патріотизмъ: я разумѣю необыкновенное „развитіе матеріальныхъ стремленій у рабочихъ и у „крестьянъ. Ясно, что соціализмъ рабочихъ есть пря„мая противоположность воинскому духу; это почти „отрицаніе отечества; доказательство—ученіе Интерна„ціонали. Съ другой стороны, крестьянинъ, съ тѣхъ „поръ, какъ ему открылась дорога къ богатству и по„казано было, что его промыслъ всего вѣрнѣе даетъ „доходъ, почувствовалъ удвоенное отвращеніе отъ кон„скрипціи. Я говорю по опыту. Я дѣлалъ избиратель„ную компанію въ маѣ 1869 въ департаментѣ Сены и „Марны; могу увѣрить, что, на своемъ пути среди де„ревенскаго населенія, я не нашелъ ни единаго эле„мента прежней воинской жизни. Правительство деше„вое, мало требующее, мало вмѣшивающееся, честное „желаніе свободы, большая жажда равенства, совер„шенное равнодушіе къ славѣ отечества, твердое на„мѣреніе ничѣмъ не жертвовать для интересовъ не„осязательныхъ,—вотъ духъ крестьянина, найденный

---

*) Эти отзывы о простомъ народѣ Франціи поразительны для насъ, русскихъ, привыкшихъ смотрѣть на свой простой народъ какъ на массу, въ которой живутъ еще всякія доблести, крѣпкій патріотизмъ, безграничное терпѣніе и самоотверженіе, когда дѣло касается *царя и вѣры*, то есть, высшихъ интересовъ народа и духа. Но печальныя слова Ренана едва-ли можно считать преувеличенными; отзывы другихъ писателей, напримѣръ, такого прогрессивнаго поэта, какъ Викторъ Гюго, тоже показываютъ, что во Франціи народъ, какъ духовная сила, почти не существуетъ, что жизнь въ немъ дѣйствительно изсякла.

„мною въ той части Франціи, гдѣ крестьянинъ, какъ „говорятъ, ушелъ всего дальше впередъ“ (р. 23).

„Желанье такого политическаго состоянія, при ко„торомъ центральное управленіе было-бы сколь воз„можно менѣе значительно, есть общее стремленіе про„винціи. Антипатія, которую она обнаруживаетъ къ „Парижу, происходитъ не отъ одного справедливаго не„годованія на покушенія мятежнаго меньшинства; Фран„ція не любитъ не только Парижа революціоннаго, но „и Парижа управляющаго. Парижъ для Франціи есть „синонимъ тяжелыхъ требованій. Парижъ беретъ людей, „поглощаетъ деньги, употребляетъ ихъ на тысячу цѣ„лей, которыхъ не понимаетъ провинція. Самый спо„собный изъ администраторовъ послѣдняго царствованія „говорилъ мнѣ, по поводу выборовъ 1869 года, что „наибольшая опасность угрожаетъ во Франціи системѣ „налоговъ, такъ какъ провинція, при каждыхъ выбо„рахъ, заставляетъ своихъ выборныхъ принимать обя„зательства, которыя, рано или поздно, нужно будетъ „въ нѣкоторой мѣрѣ сдержать и выполненіе которыхъ „было-бы разрушеніемъ финансовъ государства. Когда „я встрѣтилъ Прево-Парадоля по возвращеніи его изъ „избирательной кампаніи въ Нижней Луарѣ, я спро„силъ его о главномъ впечатлѣніи: *мы увидимъ скоро „конецъ государства*, сказалъ онъ мнѣ. Точно тоже „отвѣчалъ-бы и я, если-бы меня спросили о моихъ впе„чатлѣніяхъ въ Сенѣ-и-Марнѣ. Пусть префектъ вмѣ„шивается въ дѣла сколь возможно менѣе; пусть налогъ „и военная повинность будутъ уменьшены на сколько „возможно, и провинція будетъ удовлетворена. Бо̀льшая „часть людей требуютъ тамъ только одного: чтобы имъ „дали спокойно наживаться. Только въ бѣдныхъ мѣст-

„ностяхъ еще добиваются должностныхъ мѣстъ; въ бо-„гатыхъ департаментахъ служба не уважается и счи-„тается однимъ изъ наименѣе выгодныхъ употребленій „своей дѣятельности“.

„Таковъ духъ провинціальной демократіи. Подобный „духъ, очевидно, вовсе не похожъ на духъ республи-„канскій; онъ можетъ ужиться съ имперіею и съ кон-„ституціонною монархіею такъ-же хорошо, какъ съ „республикою, и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже „лучше, чѣмъ съ республикою. Равнодушный къ той „или другой династіи, ко всему, что можно назвать сла-„вою или блескомъ, онъ въ сущности предпочитаетъ „имѣть династію, какъ ручательство порядка; но онъ не „желаетъ ничѣмъ жертвовать для утвержденія этой ди-„настіи. Это чистый политическій матеріализмъ, прямая „противоположность тому идеализму, который есть душа „легитимистическихъ и республиканскихъ теорій. И въ „этой-то партіи принадлежитъ громадное большинство „французовъ“ (pp. 30, 31).

Вотъ тотъ духъ, которымъ воспользовался и держался Наполеонъ III. Вторая имперія не породила этотъ духъ, а была сама его порожденіемъ. „Франція“,—говоритъ Ренанъ,—„сама помогала Людовику Наполеону „въ его дерзкихъ предпріятіяхъ и была соумышленницей „его coups d'état“. Составилось, такимъ образомъ, государство, душою котораго были одни матеріальные интересы, государство безъ нравственной основы. Въ минуту испытанія оно рухнуло съ ужасающей быстротою, но, пока не настала эта минута, представляло зрѣлище удивительнаго процвѣтанія.

„Въ продолженіе почти двадцати лѣтъ“,—говоритъ Ренанъ, „виновники 10-го декабря могли думать, что

„они были правы. Франція изумительно развернула свои „внутреннія средства. Это было настоящее откровеніе. „Благодаря порядку, миру, торговымъ трактатамъ, Наполеонъ III открылъ Франціи ея собственное богатство. Внутренній политическій упадокъ возбуждалъ „недовольство въ мыслящихъ людяхъ, но всѣ остальные „нашли то, чего хотѣли, и нѣтъ сомнѣнія, что царствованіе Наполеона III останется для нѣкоторыхъ „классовъ нашей націи идеаломъ, въ полномъ смыслѣ „этого слова“ (p. 35).

Такимъ образомъ, отчасти были осуществлены мечты тѣхъ, которые полагаютъ, что вся цѣль жизни человѣка и народа состоитъ въ матеріальномъ благосостояніи. Но блестящее развитіе этого благосостоянія сопровождалось страшнымъ нравственнымъ упадкомъ, неизбѣжнымъ слѣдствіемъ отсутствія высшихъ интересовъ.

„Между тѣмъ, какъ общественное имущество возрастало въ неслыханныхъ размѣрахъ, между тѣмъ, „какъ крестьянинъ пріобрѣталъ отъ своихъ сбереженій „богатства, ни въ какомъ отношеніи не возвышавшія „его умственнаго уровня, его общежительности, его культуры, пониженіе всякаго рода аристократіи происходило въ ужасающей степени; умственный уровень общества падалъ поразительно. Число и достоинство отличныхъ людей, выходившихъ изъ среды націи, не умалялось, можетъ быть даже увеличивалось; во многихъ „областяхъ, вновь явившіеся не уступали ни въ чемъ „знаменитымъ именамъ поколѣній, созрѣвшихъ подъ „лучшимъ солнцемъ; но атмосфера оскудѣвала; становилось смертельно холодно... Парижъ былъ наполненъ „жуирующими иностранцами и провинціалами, которые

„поддерживали въ немъ смѣшную прессу низшаго сорта „и новый гаерскій родъ глупой литературы, не имѣю„щей въ себѣ ничего парижскаго. Страна погрязала въ „отвратительномъ матеріализмѣ. Разбогатѣвшій крестья„нинъ, не имѣя передъ глазами дворянства, которое „подавало-бы ему примѣръ, довольствовался своимъ тя„желымъ и тривіальнымъ достаткомъ, не умѣлъ жить, „оставался неуклюжимъ, чуждымъ всякихъ идей. Oves „non habent pastorem, такова была Франція: огонь безъ „пламени и свѣта; народъ безъ пророковъ, которые „умѣли-бы высказать, что онъ чувствуетъ; мертвая пла„нета, механически идущая по своей орбитѣ" (p. 37).

„Мы шли къ посредственности на полныхъ пару„сахъ. Съ одной стороны, успѣхи вещественнаго про„цвѣтанія поглощали буржуазію; съ другой, соціальные „вопросы совершенно заглушали вопросы національные „и патріотическіе. Эти два рода вопросовъ составляютъ „какъ будто противовѣсъ другъ другу; развитіе однихъ „есть признакъ ослабленія другихъ. Огромное улучше„ніе, совершившееся въ положеніи рабочихъ, не было „ни мало благопріятно для ихъ нравственнаго улучше„нія. Народъ гораздо менѣе, чѣмъ высшіе классы, спо„собенъ противустоять соблазну легкихъ удовольствій, „которыя безвредны только тогда, когда они пріѣлись „человѣку. Для того, чтобы благосостояніе не развра„щало, нужно быть къ нему привычнымъ: человѣкъ не„воспитанный быстро погрязаетъ въ удовольствіяхъ, „грубо принимаетъ ихъ за серьезное благо, не дѣлается „къ нимъ равнодушнымъ. Болѣе высокая нравствен„ность нѣмецкаго народа происходитъ отъ того, что „онъ до послѣднихъ дней былъ очень утѣсняемъ. Къ „величайшему сожалѣнію, не совсѣмъ неправы тѣ по-

„литики, которые говорятъ, что для того, чтобы народъ „былъ хорошъ, нужно, чтобы онъ страдалъ“ (р. 40).

Вотъ картина нравственнаго упадка, при которомъ государство не могло имѣть никакой силы. Стараясь указать самые глубокіе источники описываемаго имъ зла, Ренанъ, между прочимъ, находитъ, что самое понятіе о *собственности*, господствующее у французовъ, какъ и въ остальной Европѣ, невѣрно, искажено,— именно, что изъ понятія обладанія вещественными предметами выпускается самое необходимое условіе—воинская сила и самоотверженность, которая нужна, какъ для того, чтобы основать собственность, такъ и для того, чтобы ее сохранять, защищать.

„Есть правда“,—говоритъ Ренанъ, „въ томъ гер„манскомъ принципѣ, что общество только тогда имѣетъ „полное право на свое достояніе, когда можетъ его „охранять. Говоря вообще, *не хорошо, если обладающій „не способенъ защищать обладаемаго*... Право храбраго „основало собственность; человѣкъ меча есть, конечно, „настоящій творецъ всякаго богатства, такъ какъ, за„щищая то, что онъ завоевалъ, онъ охраняетъ имуще„ство лицъ, находящихся подъ его покровительствомъ. „Можно сказать, по крайней мѣрѣ, что государство, „подобное тому, о которомъ мечтала французская бур„жуазія, государство, въ которомъ человѣкъ обладающій „и пользующійся не держалъ въ дѣйствительности меча „(въ силу закона о замѣщеніи) для защиты своей соб„ственности, представляло въ полномъ смыслѣ *фальши„вую дверь* общественной архитектуры. Обладающій „классъ, который живетъ въ относительной праздности, „несетъ мало общественныхъ службъ и при этомъ, одна„ко-же, обнаруживаетъ надменность, какъ будто онъ

„имѣетъ прирожденное право обладать, а другіе при-„рожденную обязанность его защищать, подобный классъ, „говорю я, не долго остается обладающимъ. Наше об-„щество слишкомъ исключительно становится обществомъ „слабыхъ; такое общество защищается дурно; ему тру-„дно осуществить то, что составляетъ великій *критерій* „права и питаемаго союзомъ людей желанія жить вмѣ-„стѣ и взаимно охранять другъ друга, то есть могуще-„ственную вооруженную силу. Творецъ собственности „есть столько-же тотъ, кто обезпечиваетъ ее своимъ „оружіемъ, какъ и тотъ, кто создаетъ ее своимъ трудомъ. „Политическая экономія, обращая все свое вниманіе „только на созданіе собственности трудомъ, никогда не „понимала феодализма, который, въ сущности, имѣетъ „такую-же законность, какъ и устройство нынѣшней „арміи. Герцоги, маркизы, графы были въ сущности ге-„нералы, полковники, командиры нѣкотораго *ландвера*, „имѣвшіе, вмѣсто жалованья, земли и владѣльческія „права“ (p. 33).

„Политико-экономы ошибаются, думая, что трудъ „есть источникъ богатства. Источникъ богатства есть „завоеваніе и то обезпеченіе, которое завоеватель даетъ „плодамъ труда, вокругъ него совершающагося. Нор-„маны были въ Европѣ творцами собственности; ибо, „какъ только эти разбойники стали владѣльцами земель, „они учредили для себя и для всѣхъ людей своей обла-„сти общественный порядокъ и безопасность, которыхъ „до тѣхъ поръ не было“ (p. 94).

И такъ, идея собственности съузилась, сдѣлалась болѣе матеріальною и менѣе нравственною, такъ какъ изъ нея выкинуты понятія обязанности и самопожертвованія. Подобное-же искаженіе Ренанъ указываетъ во

всѣхъ идеяхъ, относящихся къ власти и управленію, къ основамъ государственной жизни. По понятіямъ, господствующимъ во Франціи, для власти существуетъ только одинъ законный источникъ—*выборы*, а выборы получаютъ полную законность только при одномъ условіи, при *всеобщей подачѣ голосовъ*. Вотъ критика, которой подвергаетъ Ренанъ эти начала:

„Несправедливо", говоритъ онъ, „сваливать всю вину „на послѣднее царствованіе, и одно изъ самыхъ опас„ныхъ направленій, какія можетъ принять наше на„родное самолюбіе, есть мнѣніе, будто-бы причина на„шихъ несчастій звключается въ Наполеонѣ III, такъ „что, какъ скоро не будетъ Наполеона III, то къ намъ „воротятся счастіе и побѣда. Въ дѣйствительности, вся „наша слабость имѣетъ болѣе глубокій корень, остаю„щійся въ полной силѣ,—дурно понимаемую нами демо„кратію. Демократическая страна не можетъ быть хо„рошо управляема, имѣть хорошую администрацію и „хорошую власть. Причина простая. Управленіе, адми„нистрація, власть являются въ обществѣ вслѣдствіе „того, что изъ массы выдѣляется нѣкоторое число лю„дей, которые управляютъ, администрируютъ, приказы„ваютъ. Это выдѣленіе можетъ совершаться только че„тырьмя способами, которые въ различныхъ обществахъ „прилагались то отдѣльно, то вмѣстѣ: 1) по рожденію; „2) по жребію; 3) по народному выбору; 4) по экза„мену и конкурсу".

„Жребій употреблялся только въ Аѳинахъ и во Фло„ренціи, то-есть, въ единственныхъ городахъ, гдѣ суще„ствовалъ народъ аристократовъ, народъ, исторія кото„раго, не смотря на самыя странныя уклоненія, пред„ставляетъ изящнѣйшее и очаровательнѣйшее зрѣлище.

„Ясно, что въ нашихъ обществахъ, подобныхъ обширнымъ Скиѳіямъ, среди которыхъ дворы, большіе города, „университеты представляютъ нѣчто въ родѣ греческихъ „колоній, такой способъ выдѣленія привелъ-бы къ нелѣпымъ результатамъ; на немъ нѣтъ нужды останавливаться“.

„Система экзаменовъ и конкурсовъ была приложена „въ большихъ размѣрахъ только въ Китаѣ. Она произвела тамъ общее и неизлечимое старчество. Мы сами „ушли довольно далеко по этому пути, и въ этомъ заключается не послѣдняя причина нашего упадка“.

„Система *выборовъ* не можетъ быть принята за единственное основаніе правительства. Выборы, въ особенности въ приложеніи къ военному начальству, представляютъ своего рода противорѣчіе, отрицаніе самаго „повелѣванія, такъ какъ въ военномъ дѣлѣ повелѣваніе „должно имѣть безусловную силу, а выборный никакъ не „можетъ безусловно повелѣвать своимъ избирателемъ. „Въ приложеніи къ избранію государя, выборы поощряютъ шарлатанство, заранѣе разрушаютъ обаяніе „избраннаго, заставляютъ его унижаться передъ тѣми, „которые должны ему повиноваться. Эти возраженія „имѣютъ еще бо̀льшую силу, если подача голосовъ всеобщая. Въ приложеніи къ выбору депутатовъ, всеобщая подача голосовъ, производимая прямо, можетъ „привести только къ выборамъ посредственнаго качества. Но вовсе невозможно добыть изъ нея верхнюю „палату, магистратуру и даже хорошій департаментскій, „или муниципальный совѣтъ. Будучи ограниченною по „самой своей сущности, общая подача не понимаетъ „необходимости науки, достоинствъ благороднаго происхожденія и учености“.

„Несомнѣнно, что если-бы требовалось держаться „лишь одного способа выдѣленія, то рожденіе слѣдовало„бы предпочесть выборамъ. Случайность при рожденіи „не такъ велика, какъ случайность при баллотировкѣ. „Рожденіе обыкновенно ведетъ за собою выгоды воспи„танія, а иногда нѣкоторое превосходство породы. Когда „дѣло идетъ о назначеніи государя и главныхъ воин„скихъ начальниковъ, *критерій* рожденія признается „почти невольно. Этотъ *критерій*, наконецъ, оскорбляетъ „одинъ лишь французскій предразсудокъ, видящій въ „мѣстѣ не столько общественную обязанность, сколько „доходъ, даваемый служащему. Предразсудокъ этотъ „противоположенъ истинному принципу правительства, „повелѣвающему имѣть въ виду при выборѣ должност„наго лица только благо государства, или, другими сло„вами, хорошее исполненіе должности. Никто не имѣетъ „права ни на какое мѣсто; всѣ имѣютъ право на то, „чтобы мѣста были заняты способными людьми. Если-бы „наслѣдственность какихъ-нибудь должностей была ру„чательствомъ хорошаго исполненія, я, не колеблясь, „посовѣтовалъ-бы для этихъ должностей наслѣдствен„ность".

„Отсюда понятно, какимъ образомъ выдѣленіе на„чальствующихъ лицъ, столь замѣчательно хорошо про„исходившее во Франціи до конца XVII вѣка, теперь „такъ упало и могло произвести тотъ подборъ прави„тельствующихъ лицъ, министровъ, депутатовъ, сената„ровъ, маршаловъ, генераловъ, администраторовъ, ко„торый мы видѣли въ іюлѣ 1870 г. и который можно „считать однимъ изъ жалчайшихъ собраній государствен„ныхъ людей, какое когда-либо дѣйствовало во Франціи. „Все это вышло изъ всеобщей подачи голосовъ, такъ

„какъ изъ нея вышелъ императоръ,—источникъ всякой „иниціативы, и законодательный корпусъ,—единственный „противовѣсъ иниціативамъ императора. Это жалкое „правительство было, конечно результатомъ демократіи; „Франція его хотѣла, Франція извлекла его изъ нѣдръ „своихъ. И Франція всеобщей подачи голосовъ никогда „не будетъ имѣть правительства значительно лучшаго. „Было-бы противно природѣ вещей, если-бы умственная „средняя величина, едва достигающая уровня человѣка „невѣжественнаго и ограниченнаго, могла представи„тельствовать себя въ видѣ просвѣщеннаго, блестящаго „и сильнаго правительства. Изъ такого способа выдѣ„ленія, изъ демократіи столь дурно понимаемой можетъ „выйти только полное помраченіе сознанія страны. Вы„борное собраніе, состоящее изъ всѣхъ на свѣтѣ, го„раздо хуже самаго посредственнаго государя былаго „времени; версальскій дворъ былъ больше годенъ для „выбора должностныхъ лицъ, чѣмъ нынѣшняя всеобщая „подача голосовъ; эта подача произведетъ правительство „худшее, чѣмъ правительство XVIII вѣка въ самые дур„ные его дни".

„Страна не есть простая сумма людей, ее соста„вляющихъ; она есть душа, сознаніе, личность, живая „равнодѣйствующая сила. Эта душа можетъ проявляться „въ очень небольшомъ числѣ людей; конечно, лучше „было-бы, если-бы всѣ могли въ ней участвовать; но, „необходимое состоитъ въ томъ, чтобы, посредствомъ нѣ„котораго выдѣленія, образовалась голова, которая бодр„ствовала-бы и мыслила въ то время, когда остальная „страна вовсе не мыслитъ и не чувствуетъ. И это-то „выдѣленіе во Франціи хуже, чѣмъ гдѣ-нибудь. Со своею „неорганизованною, предоставленною случаю всеобщею

„подачею голосовъ, Франція можетъ имѣть только та-„кую общественную голову, которая не обладаетъ ни „умомъ и знаніемъ, ни обаяніемъ и авторитетомъ. Фран-„ція хотѣла мира, а выбрала своихъ полномочныхъ такъ „глупо, что была ввергнута въ войну. Палата самой „миролюбивой страны съ энтузіазмомъ декретировала „самую гибельную войну. Нѣсколько уличныхъ крику-„новъ, нѣсколько безразсудныхъ журналистовъ успѣли „выдать себя за выраженіе мнѣнія націи. Во Франціи „есть столько-же доблестныхъ и умныхъ людей, какъ „и въ любой странѣ; но все это не употреблено въ „дѣло. Если страна не имѣетъ другаго органа, кромѣ „прямой всеобщей подачи голосовъ, то, каково-бы ни „было достоинство людей, которыми она обладаетъ, она „представляетъ въ своей совокупности существо невѣ-„жественное, глупое, неспособное разумно рѣшить ни-„какого вопроса. Демократы очень строго судятъ о ста-„ромъ порядкѣ, при которомъ часто получали власть „государи неспособные или злые. Конечно, государства, „дѣлающія органомъ народнаго сознанія королевское „семейство и близкихъ къ нему людей, подвергаются „повышеніямъ и пониженіямъ уровня; но возьмемъ въ „цѣломъ капетингскую династію, царствовавшую почти „девятьсотъ лѣтъ; были нѣкоторые періоды пониженія „въ XIV, XVI и XVIII вѣкахъ; но, зато, какіе бле-„стящіе ряды въ XII, XIII, XVII вѣкахъ, отъ Людо-„вика Юнаго до второй половины царствованія Филиппа „Прекраснаго, отъ Генриха IV до Людовика XIV! Нѣтъ „такой избирательной системы, которая могла-бы дать „подобное представительство. Самый посредственный че-„ловѣкъ выше собирательной равнодѣйствующей, кото-„рую даютъ тридцать шесть милліоновъ людей, прини-

„маемыхъ каждый за единицу. О, пусть будущее опро-„вергнетъ мои слова,—но можно опасаться, что, и при „своихъ безконечныхъ средствахъ храбрости, усердія и „даже ума, Франція задохнется, какъ огонь, который „дурно разложенъ. Эгоизмъ, источникъ соціализма, за-„висть, источникъ демократіи, могутъ породить только „слабое государство, неспособное противустоять могу-„щественнымъ сосѣдямъ. Общество бываетъ сильно только „подъ условіемъ, что оно признаетъ фактъ естествен-„ныхъ превосходствъ, которыя, въ сущности, сводятся „къ одному — къ превосходству рожденія, такъ какъ „само умственное и нравственное превосходство есть „лишь превосходство зачатка жизни, развившагося при „особенно благопріятныхъ условіяхъ" (pp. 43—49).

Вотъ мѣста изъ книги Ренана, которыя всего яснѣе показываютъ, какъ далеко онъ разошелся съ господствующими французскими идеями. Мы не скупимся на эти выписки, потому что находимъ въ нихъ много самой глубокой правды, при томъ выраженной съ удивительнымъ мастерствомъ, съ живостію и опредѣленностію. Въ сущности, однако-же, мысли Ренана требуютъ нѣкоторыхъ поправокъ; мы не можемъ сказать, чтобы онѣ вполнѣ согласовались съ нашими русскими понятіями. Взгляды Ренана, такъ сказать, густо окрашены французскимъ духомъ, французскою исторіею; этого обстоятельства не должно упускать изъ виду, и мы попробуемъ нѣсколько пояснить его.

Ренанъ, отрицая современныя понятія, прямо обращается къ старымъ, но такимъ-же французскимъ, какъ и новыя, съ которыми онъ борется. Такъ, мы видѣли, что, отвергая политико-экономическое понятіе о собственности, онъ признаетъ болѣе справедливымъ фео-

дальное понятіе, по которому собственность есть вещь завоеванная и защищаемая. Конечно, такъ; конечно, не слѣдуетъ понимать собственность чисто матеріалистически, какъ произведеніе вещественнаго труда. Но возможно, кажется, и такое понятіе, которое выше феодальнаго. Собственность не есть ни цѣль, ни источникъ общественнаго порядка, истиннаго человѣческаго общежитія. Она есть явленіе подчиненное; общество народа растетъ на другомъ корнѣ и живетъ другими цѣлями, нравственными, духовными, которымъ собственность служитъ какъ одно изъ средствъ. Она удерживается и защищается не ради ея самой, а ради другихъ цѣлей.

Ближайшимъ образомъ основатели и хранители собственности суть, конечно, тѣ, кто создалъ и охраняетъ государство, причемъ нѣтъ надобности предполагать, что государство можетъ быть основано только завоеваніемъ. Но далѣе—собственность освящается не одною силою государства, а тѣмъ, что содержитъ въ себѣ источникъ правъ самаго государства, то есть требованіемъ возможности самобытнаго развитія народа, независимой духовной жизни.

Ни собственность, ни право силы не суть коренныя, самобытныя начала.

Точно также, въ своихъ разсужденіяхъ о демократіи и о старомъ порядкѣ наслѣдственной монархіи и дворянскихъ привиллегій, Ренанъ не касается того начала, которое одно можетъ порѣшить споръ, именно, что участіе человѣка въ государственныхъ дѣлахъ не есть высшая и необходимая цѣль человѣка, живущаго въ государствѣ. Ренанъ только взвѣшиваетъ выгоды и невыгоды демократическаго и стараго порядка и доказываетъ, что, ради государственной пользы, нужно отка-

заться отъ демократіи. Главнымъ образомъ, онъ старается убѣдить французовъ, что въ массѣ они слишкомъ глупы и ограничены, чтобы имѣть право на управленіе своею страною. Конечно, это справедливо; но этотъ аргументъ едва-ли будетъ охотно принятъ тѣми, къ кому онъ обращенъ. Когда политическое честолюбіе овладѣло цѣлымъ народомъ, когда каждый человѣкъ ищетъ себѣ участія въ общихъ дѣлахъ, тогда масса уже не можетъ быть удержана отъ своихъ требованій тою печальною мыслью, что она неспособна къ тому, чего ей хочется. Очевидно, для устраненія демократическихъ золъ, необходимо, чтобы въ народѣ жилъ иной духъ, чтобы люди умѣли находить свое достоинство и видѣть лучшія цѣли жизни не въ однихъ политическихъ правахъ, а въ чемъ-то другомъ. Государственныя дѣла и политическая дѣятельность должны быть признаваемы средствомъ, а не цѣлью. Только въ такомъ случаѣ можетъ исчезнуть *зависть*, которую Ренанъ справедливо называетъ источникомъ демократіи.

Увлеченный желаніемъ убѣдить массу французовъ въ томъ, что она лишена хорошихъ качествъ, Ренанъ высказываетъ, какъ мы видѣли, даже такое положеніе, что, будто-бы, *нравственное превосходство* бываетъ лишь слѣдствіемъ благопріятныхъ условій, зависящихъ отъ *превосходства рожденія*. Въ этомъ случаѣ глубокій и честный мыслитель противорѣчитъ самому себѣ, какъ это иногда случается съ нимъ вслѣдствіе желанія обнять все многообразіе предмета. Нравственное превосходство менѣе всего другаго зависитъ отъ образованія, происхожденія и другихъ подобныхъ обстоятельствъ. Высшая степень его бываетъ доступна самымъ худороднымъ, бѣднымъ и необразованнымъ людямъ. Да, ка-

жется, о немъ вовсе не слѣдовало-бы говорить при разсужденіи о государственномъ устройствѣ и управленіи; это вовсе не сфера чистой нравственности, не такое поприще, гдѣ требуется и достигается самая высокая степень нравственныхъ качествъ. Тотъ-же Ренанъ въ другой книгѣ прекрасно сказалъ, что лучшія людскія души, вѣроятно, тѣ, которыя никому неизвѣстны, которыя сохранили свою красоту въ себѣ самихъ, чуждаясь желанія выставить ее на видъ и даже не подозрѣвая, какъ онѣ прекрасны.

Политическія страсти, такъ сильно волнующія нынѣ Европу, очевидно, заняли мѣсто другихъ стремленій, нѣкогда ее волновавшихъ. Когда пала религія, то весь жаръ, нѣкогда на нее устремленный, обратился на другіе предметы. Такъ, политическія дѣла получили у западныхъ европейцевъ совершенно религіозный характеръ; тотъ-же прозелитизмъ, тотъ-же фанатизмъ, тоже мученичесто, тоже раздѣленіе на святыхъ и коснѣющихъ во злѣ и мракѣ. Это неправильное перенесеніе стремленій и понятій изъ одной области въ другую породило множество уродливыхъ явленій; Ренанъ прекрасно показалъ то паденіе истинныхъ нравственныхъ понятій и пониженіе общаго уровня, которое произошло отъ демократической *зависти*, отъ возведенія въ идеалъ свободы и правъ каждаго отдѣльнаго человѣка. Но онъ не вполнѣ видитъ, что корень зла заключается въ болѣе глубокомъ извращеніи нравственныхъ понятій, въ томъ, что измѣнилось самое понятіе *о достоинствѣ человѣка*, о лучшихъ цѣляхъ и путяхъ жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Средства предлагаемыя Ренаномъ для спасенія Франціи.

Старый порядокъ и республика.—Невозможность республики.—Выгоды стараго порядка.—Историческое право и современная философія.

Средство спастись отъ золъ, производимыхъ разрушеніемъ стараго порядка, только одно — возстановить старый порядокъ. Такъ думаетъ Ренанъ, не видя и не имѣя возможности видѣть другаго выхода. Отказаться разомъ и отъ настоящаго и отъ прошедшаго Франціи онъ не можетъ, и чѣмъ больше онъ недоволенъ настоящимъ, тѣмъ сильнѣе въ немъ возрастаетъ любовь къ прошедшему, которое разрушается этимъ настоящимъ. Здѣсь мы видимъ дѣйствіе того роковаго закона, по которому падающая цивилизація не можетъ найти въ себѣ сѣмянъ для новой жизни, и новыя начала могутъ быть внесены въ нее только со стороны, не могутъ быть порождены ея разлагающимися элементами. Рэсужденія Ренана имѣютъ строго-логическій ходъ, но тѣмъ крѣпче держитъ его въ себѣ заколдованный кругъ. „Покаемся", говоритъ онъ; „а въ чемъ состоитъ истинное покаяніе?"

„Оно состоитъ въ исправленіи отъ своихъ недостат-„ковъ и между ними преимущественно отъ тѣхъ, ко-„торые намъ по душѣ, отъ того любимаго недостатка, „который почти всегда есть самое основное свойство „нашея натуры, тайное начало нашихъ дѣйствій. Въ „чемъ заключается нашъ любимый недостатокъ, отъ „котораго намъ нужно прежде всего исправиться? Въ „стремленіи къ демократіи поверхностнаго свойства. Де-„ократія есть причина нашей слабости воинской и „политической; она причина нашего невѣжества, на-„шего глупаго тщеславія; она, вмѣстѣ съ запоздалымъ „католицизмомъ, есть причина нашего дурнаго національ-„наго воспитанія".

„Исправимся-же отъ демократіи. Возстановимъ ко-„ролевскую власть, возстановимъ въ нѣкоторой мѣрѣ „дворянство; установимъ солидное первоначальное и „высшее образованіе; сдѣлаемъ воспитаніе болѣе суро-„вымъ, воинскую службу обязательною для всѣхъ; ста-„немъ серіозными, прилежными, покорными властямъ, „ревностными соблюдателями правилъ и дисциплины. „Пруссія употребила шестьдесятъ три года, чтобы от-„мстить за Іену; употребимъ по-крайней мѣрѣ двадцать, „чтобъ отомстить за Седанъ".

„Иначе мы не поправимся. Побѣда Пруссіи есть „побѣда королевской власти, основанной на такъ назы-„ваемомъ божественномъ правѣ (историческомъ правѣ); „нація не можетъ *преобразоваться по прусскому типу* „безъ исторической королевской пласти и безъ дворян-„ства. Демократія не развиваетъ дисциплины и нрав-„свенности. Нельзя дисциплинировать самихъ себя; дѣти, „оставленныя вмѣстѣ безъ наставника, не воспитываются; „они играютъ и теряютъ свое время" (pp. 64—66.

Чтобы понять, что такое Ренанъ разумѣетъ подъ *преобразованіемъ по типу Пруссіи*, и вполнѣ видѣть, какимъ образомъ Ренанъ вынужденъ считать этотъ выходъ единственно возможнымъ, приведемъ его общій взглядъ на современныя формы государства.

„Дѣвятнадцатый вѣкъ", говоритъ онъ, „обладаетъ „двумя типами общества, которые доказали свою годность и которые, несмотря на возможныя сомнѣнія „относительно ихъ будущаго, займутъ важное мѣсто въ „исторіи цивилизаціи. Одинъ типъ—американскій, основанный существеннымъ образомъ на свободѣ и собственности, безъ сословыхъ привилегій, безъ древнихъ „установленій, безъ исторіи, безъ аристократическаго „общества, безъ двора, безъ блестящей власти, безъ „серьозныхъ университетовъ и большихъ научныхъ учрежденій, безъ обязательной для гражданъ военной службы. „При этой системѣ, отдѣльный человѣкъ, будучи очень „мало покровительствуемъ государствомъ, въ тоже время „очень мало имъ и стѣсняется. Брошенный безъ защитника въ битву жизни, онъ выпутывается изъ нея „какъ умѣетъ, обогащается, разоряется, но никогда не „приходитъ ему въ голову жаловаться на правительство, „ниспровергать его, требовать отъ него чего-бы то ни „было, или-же декламировать противъ свободы и собственности. Для него достаточно той радости, съ которою онъ развертываетъ свою дѣятельность на всѣхъ „парахъ, даже когда шансы лотереи для него неблагопріятны. Эти общества лишены изящества, благородства; они не создаютъ оригинальныхъ произведеній въ „искусствахъ и наукахъ; но они могутъ достигнуть „большой степени могущества, и въ нихъ могутъ явиться „вещи превосходныя".

„Другой типъ общества, съ большимъ блескомъ „существующій въ нашъ вѣкъ, есть типъ, который я „назову старымъ порядкомъ, *развитымъ и исправлен-„нымъ*. Пруссія представляетъ лучшій его образецъ. „Здѣсь отдѣльный человѣкъ берется, воспитывается, „обдѣлывается, дрессируется, дисциплинируется, безпре-„станно требуется обществомъ, которое имѣетъ древнее „происхожденіе, отлилось въ формы стариныхъ учреж-„деній, приписываетъ себѣ главенство нравственности и „разума. Отдѣльный человѣкъ, при этой системѣ, от-„даетъ государству страшно много; взамѣнъ онъ полу-„чаетъ отъ государства огромную умственную и нрав-„ственную культуру, а также радость участія въ вели-„комъ дѣлѣ. Эти общества по преимуществу благородны; „они создаютъ науку, они даютъ направленіе человѣ-„ческому уму, они создаютъ исторію; но они постоянно „ослабляются притязаніями индивидуальнаго эгоизма, „который находитъ слишкомъ тяжкимъ иго государства. „Въ самомъ дѣлѣ, эти общества предполагаютъ цѣлыя „категоріи людей приносимыхъ въ жертву, такихъ, ко-„торые должны обречь себя на печальную жизнь безъ „надежды улучшенія. Пробужденіе народнаго сознанія „и до нѣкоторой степени образованіе народа подры-„ваютъ эти огромныя феодальныя зданія и угрожаютъ „имъ разрушеніемъ. Франція, бывшая нѣкогда такого „рода обществомъ, пала. Англія безпрестанно удаляется „отъ типа, который мы описали, и приближается къ „типу американскому. Германія сохраняетъ этотъ ве-„ликій строй, хотя и въ ней уже показываются при-„знаки возмущенія“ (p. 112).

И такъ, всякому европейскому народу приходится выбирать между этими двумя типами государства, между

старымъ порядкомъ и республикою. Франція, какъ извѣстно, питаетъ большое пристрастіе къ республикѣ; мысль о республиканской формѣ правленія постоянно увлекаетъ французовъ, и подъ этимъ знаменемъ совершаются ихъ перевороты. Но Ренанъ доказываетъ, что республика невозможна во Франціи, и по внѣшнимъ, и по внутреннимъ причинамъ.

„Дайте Франціи короля", говоритъ онъ. „Съ рес„публикою у насъ явится отсутствіе дисциплины, без„порядокъ, вольные стрѣлки, волонтеры, которые бу„дутъ увѣрять Францію, что готовы за нее на смерть, „а не будутъ имѣть столько самоотверженія, чтобы „подчиниться обыкновеннымъ условіямъ воинской жизни. „Эти условія, повиновеніе, іерархія и проч. составляютъ „противоположность всему тому, что проповѣдуетъ де„мократическій катихизисъ, и вотъ почему *никакая де„мократія не можетъ имѣть сильнаго военнаго сословія.* „При демократическомъ порядкѣ это сословіе не мо„жетъ развиться, а *если оно развивается, то погло„щаетъ демократію.* Мнѣ возразять, указавъ на Аме„рику; но кромѣ того, что будущее этой страны очень „темно, нужно сказать, что Америка, по своему гео„графическому положенію, находится относительно арміи „въ совершенно особомъ положеніи, съ которымъ не„возможно сравнивать положеніе Франціи" (p. 76).

И такъ, внѣшнее положеніе Франціи, необходимость имѣть сильную армію, быть крѣпко вооруженною для защиты законнаго честолюбія, для оплаты за обиды — требуютъ, чтобы Франція отказалась отъ республики. Но республика главнымъ образомъ невозможна не по этому, а по внутреннимъ причинамъ, по совершенной

неспособности французскаго народа удовлетвориться этою формою правленія и сохранить ее.

„Еслибы", говоритъ Ренанъ, „народы, жившіе подъ „старымъ порядкомъ, только переходили, по разрушеніи „своего древняго зданія, къ американской системѣ, то „положеніе было-бы очень просто; можно было-бы тогда „успокоиться на той философіи исторіи, которая при„нимается республиканскою школою и по которой аме„риканскій общественный типъ есть типъ будущаго, и „къ нему рано или поздно придутъ всѣ страны. Но „дѣло идетъ иначе. Дѣятельная часть демократической „партіи, болѣе или менѣе разъѣдающая теперь всѣ „европейскія государства, вовсе не признаетъ своимъ „идеаломъ американскую республику. За исключеніемъ „нѣкоторыхъ теоретиковъ, демократическая партія имѣ„етъ соціалистическія стремленія, которыя прямо про„тивоположны американскимъ идеямъ о собственности. „Свобода труда, свободная конкуренція, свободное упо„требленіе собственности, предоставленная каждому „возможность разбогатѣть по мѣрѣ его силъ — вотъ „чего именно не хочетъ европейская демократія. Не „выйдетъ-ли изъ этихъ стремленій третій общественный „типъ, въ которомъ государство будетъ вмѣшиваться въ „сдѣлки, въ промышленныя и торговыя отношенія, въ „вопросы собственности? Предполагать этого нельзя; ибо „ни одна соціалистическая система не могла до сихъ „поръ быть предложена такъ, чтобы казалась возмож„ною. Отсюда—жестокое сомнѣніе, которое во Франціи „достигаетъ размѣровъ величайшаго трагизма и у всѣхъ „у насъ туманитъ глаза: съ одной стороны, повидимому, „очень трудно сохранить въ какой-бы то ни было формѣ „учрежденія стараго порядка; съ другой стороны, же-

„ланія народа въ Европѣ вовсе не устремлены къ аме-„риканской системѣ. Рядъ неустойчивыхъ диктатуръ, „цезаризмъ временъ упадка, — вотъ все, на что есть „шансы въ будущемъ" (p. 115).

Слѣдовательно, единственное спасеніе, единственный желательный исходъ, на который человѣку разумному и любящему свое отечество можно употреблять свои силы,—есть возвращеніе къ старому порядку. Одно это возвращеніе можетъ дать Франціи то, чего не даютъ другіе исходы—силу внѣшнюю, возвышеніе умственнаго и нравственнаго уровня, противодѣйствіе внутреннимъ болѣзнямъ, демократіи, соціализму, политическому матеріализму.

Но мы видимъ, что Ренанъ сомнѣвается въ возможности успѣха. Дѣйствительно, онъ предлагаетъ свой планъ только какъ прекрасную мечту, онъ слишкомъ проницателенъ для того, чтобы не замѣчать, что выполненіе этой мечты встрѣтитъ величайшія трудности, что потокъ событій ведетъ въ другую сторону. Любопытно разобрать, почему-же именно старый порядокъ не имѣетъ вѣроятности успѣха? Гдѣ причина, въ немъ-ли самомъ, или въ постороннихъ обстоятельствахъ? Ренанъ, очевидно, видитъ причину въ томъ, что другія силы, дѣйствующія во французскомъ обществѣ, слишкомъ велики и должны увлечь его въ противоположную сторону. Соціализмъ не дастъ установиться не только монархіи, но и республикѣ на американскій ладъ. Но нельзя, кажется, не видѣть, что еще важнѣйшая причина заключается въ безсиліи самой идеи стараго порядка, проповѣдуемой Ренаномъ, въ томъ, что самъ Ренанъ можетъ признавать за старымъ порядкомъ только выгоду, только устраненіе извѣстныхъ золъ, а не законность, не

безусловное право на существованіе. „Счастливъ тотъ“, говоритъ онъ, „кто въ преданіяхъ семейства или въ „фанатизмѣ узкаго взгляда почерпаетъ увѣренность, раз„рѣшающую всякія сомнѣнія! Что до насъ, то мы слиш„комъ привыкли видѣть разныя стороны вещей, чтобы „вѣрить въ абсолютныя рѣшенія“ (p. 81). И такъ, увѣренности нѣтъ у Ренана; это его несчастіе, точно также какъ и несчастіе всей Франціи.

Въ сущности, въ чемъ состоитъ основаніе, на которомъ, по Ренану, долженъ опираться вновь возстановленный старый порядокъ? Въ *историческихъ воспоминаніяхъ*, и больше ни въ чемъ. Ренанъ желалъ-бы, чтобы связь съ прошедшимъ, разорванная Франціею, была вновь завязана; но это прошедшее онъ самъ признаетъ не вполнѣ, не съ тѣми принципами, которыми оно жило. Онъ только уважаетъ эти принципы, видитъ ихъ смыслъ, понимаетъ людей ихъ исповѣдующихъ, но самъ ихъ не раздѣляетъ. Онъ прямо заявляетъ, что признаетъ за старымъ порядкомъ и за его еще существующими остатками только *историческое право*. Въ одномъ мѣстѣ онъ проговаривается и, какъ будто противъ воли, высказываетъ всю слабость своихъ основаній.

„Сказать-ли прямо?“ говоритъ онъ. „Наша полити„ческая философія содѣйствовала нашему паденію. Глав„ный принципъ нашей морали—устранять темпераментъ, „давать какъ можно больше господства разуму надъ жи„вотною стороною; между тѣмъ, воинственный духъ тре„буетъ прямо противоположнаго. Чѣмъ мы могли руко„водствоваться, мы, либералы, не имѣющіе возможности „допустить божественное право въ политикѣ, какъ скоро „мы не допускаемъ сверхъестественнаго въ религіи? Про„стымъ человѣческимъ правомъ, компромиссомъ между

„безусловнымъ раціонализмомъ Кондорсе и XVIII вѣка „и между правами, проистекающими изъ исторіи. Не„удавшійся опытъ Революціи излечилъ насъ отъ покло„ненія разуму; но, при всей нашей доброй волѣ, при „всѣхъ усиліяхъ, мы не могли придти къ поклоненію „силѣ, или праву основанному на силѣ, — въ чемъ за„ключается вся нѣмецкая политика"... „Нѣмцы живутъ „еще суровыми ученіями стараго порядка, по которому „единство націи состоитъ въ правахъ государя, тогда „какъ мы воображали, что XIX вѣкъ основалъ новое „право, право націй"... „Принципы, которые я только„что назвалъ, суть настоящіе французскіе принципы, въ „томъ смыслѣ, что они логически проистекаютъ изъ „нашей философіи, изъ нашей Революціи, изъ нашего „національнаго характера со всѣми его достоинствами „и недостатками" (p. 40).

Но если такъ, то развѣ возможно какое-нибудь преобразованіе въ томъ смыслѣ, въ какомъ желаетъ Ренанъ? Если старый порядокъ основывался на божественномъ правѣ, или на правѣ силы (въ которомъ Ренанъ очевидно видитъ дѣйствительную, не-мечтательную основу такъ называемаго божественнаго права), то какъ-же можно отвергать самую основу стараго порядка, и въ тоже время стараться возстановить этотъ порядокъ? Если отрицаніе стараго порядка вытекаетъ изъ самой сущности французскаго духа и французской философіи, и если нѣтъ никакой философіи, изъ которой вытекалобы признаніе стараго порядка, то не напрасны-ли всякія разсужденія о его превосходствѣ надъ демократіею? Онъ былъ хорошъ, пока могъ существовать, т. е. пока въ него вѣрили. Теперь французы вѣрятъ въ демокра-

безусловное право на существованіе. „Счастливъ тотъ“, говоритъ онъ, „кто въ преданіяхъ семейства или въ „фанатизмѣ узкаго взгляда почерпаетъ увѣренность, раз„рѣшающую всякія сомнѣнія! Что до насъ, то мы слиш„комъ привыкли видѣть разныя стороны вещей, чтобы „вѣрить въ абсолютныя рѣшенія“ (p. 81). И такъ, увѣренности нѣтъ у Ренана; это его несчастіе, точно также какъ и несчастіе всей Франціи.

Въ сущности, въ чемъ состоитъ основаніе, на которомъ, по Ренану, долженъ опираться вновь возстановленный старый порядокъ? Въ *историческихъ воспоминаніяхъ*, и больше ни въ чемъ. Ренанъ желалъ-бы, чтобы связь съ прошедшимъ, разорванная Франціею, была вновь завязана; но это прошедшее онъ самъ признаетъ не вполнѣ, не съ тѣми принципами, которыми оно жило. Онъ только уважаетъ эти принципы, видитъ ихъ смыслъ, понимаетъ людей ихъ исповѣдующихъ, но самъ ихъ не раздѣляетъ. Онъ прямо заявляетъ, что признаетъ за старымъ порядкомъ и за его еще существующими остатками только *историческое право*. Въ одномъ мѣстѣ онъ проговаривается и, какъ будто противъ воли, высказываетъ всю слабость своихъ основаній.

„Сказать-ли прямо?“ говоритъ онъ. „Наша полити„ческая философія содѣйствовала нашему паденію. Глав„ный принципъ нашей морали—устранять темпераментъ, „давать какъ можно больше господства разуму надъ жи„вотною стороною; между тѣмъ, воинственный духъ тре„буетъ прямо противоположнаго. Чѣмъ мы могли руко„водствоваться, мы, либералы, не имѣющіе возможности „допустить божественное право въ политикѣ, какъ скоро „мы не допускаемъ сверхъестественнаго въ религіи? Про„стымъ человѣческимъ правомъ, компромиссомъ между

„безусловнымъ раціонализмомъ Кондорсе и XVIII вѣка „и между правами, проистекающими изъ исторіи. Не„удавшійся опытъ Революціи излечилъ насъ отъ покло„ненія разуму; но, при всей нашей доброй волѣ, при „всѣхъ усиліяхъ, мы не могли придти къ поклоненію „силѣ, или праву основанному на силѣ, — въ чемъ за„ключается вся нѣмецкая политика"... „Нѣмцы живутъ „еще суровыми ученіями стараго порядка, по которому „единство націи состоитъ въ правахъ государя, тогда „какъ мы воображали, что XIX вѣкъ основалъ новое „право, право націй"... „Принципы, которые я только„что назвалъ, суть настоящіе французскіе принципы, въ „томъ смыслѣ, что они логически проистекаютъ изъ „нашей философіи, изъ нашей Революціи, изъ нашего „національнаго характера со всѣми его достоинствами „и недостатками" (p. 40).

Но если такъ, то развѣ возможно какое-нибудь преобразованіе въ томъ смыслѣ, въ какомъ желаетъ Ренанъ? Если старый порядокъ основывался на божественномъ правѣ, или на правѣ силы (въ которомъ Ренанъ очевидно видитъ дѣйствительную, не-мечтательную основу такъ называемаго божественнаго права), то какъ-же можно отвергать самую основу стараго порядка, и въ тоже время стараться возстановить этотъ порядокъ? Если отрицаніе стараго порядка вытекаетъ изъ самой сущности французскаго духа и французской философіи, и если нѣтъ никакой философіи, изъ которой вытекалобы признаніе стараго порядка, то не напрасны-ли всякія разсужденія о его превосходствѣ надъ демократіею? Онъ былъ хорошъ, пока могъ существовать, т. е. пока въ него вѣрили. Теперь французы вѣрятъ въ демокра-

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Сужденія Ренана о внутреннемъ состояніи Европы.

Контрастъ между Франціею и Германіею.—Вопросъ о будущей судьбѣ Германіи.—Наиболѣе вѣроятное будущее Франціи.—Отчаяніе.—Взглядъ на Россію.

Мы видѣли, что Ренанъ находитъ во внутренней политической жизни Европы два различныхъ направленія: одни народы еще держатся стараго, феодальнаго порядка; другіе стремятся къ демократіи, и именно къ демократіи соціалистической. Интересно разсмотрѣть, въ какой степени вѣрно это дѣленіе, и въ какой мѣрѣ правъ Ренанъ, приписывая феодальному порядку такую живучесть и такую силу. Вообще о Европѣ онъ говоритъ слѣдующее:

„Между тѣмъ, какъ мы, французы, безпечно спус„кались по склону неразумнаго матеріализма и слиш„комъ великодушной философіи и теряли самую память „о національномъ духѣ (не подозрѣвая, что наше об„щественное состояніе до такой степени непрочно, что „капризъ нѣсколькихъ неблагоразумныхъ людей можетъ „все погубить), совершенно другой духъ, древній духъ

„того, что̀ мы называемъ старымъ порядкомъ, жилъ въ „Пруссіи и, *во многихъ отношеніяхъ, въ Россіи.* За „исключеніемъ этихъ двухъ странъ, Англія и остальная „часть Европы шли по тому-же пути, какъ и мы, по „пути мира, промышленности, торговли, признаваемому „школою экономистовъ и большею частію государствен„ныхъ людей *за самый путь цивилизаціи.* Но были двѣ „страны, въ которыхъ еще сохранялось честолюбіе въ „старомъ смыслѣ этого слова, стремленіе къ увеличе„нію, національная вѣра, племенная гордость. Россія, „вслѣдствіе своихъ глубокихъ инстинктовъ, вслѣдствіе „своего фанатизма, въ одно время и религіознаго, и по„литическаго, сохраняла священный огонь прежнихъ „временъ, сохраняла то, чего такъ мало у насъ, на„рода изношеннаго эгоизмомъ, то есть—быструю готов„ность идти на смерть за дѣло, съ которымъ не свя„зано никакого личнаго интереса. Въ Пруссіи, дворян„ство обладающее преимуществами, крестьяне управляе„мые почти феодальнымъ порядкомъ, воинственный и „національный духъ, доходящій до суровости, тяжелая „жизнь, нѣкоторая общая бѣдность, вмѣстѣ съ нѣкото„рою завистью къ народамъ ведущимъ жизнь болѣе „пріятную, сохраняли условія, составлявшія во всѣ вре„мена силу народовъ“.—„Это народъ—существенно мо„нархическій; онъ не чувствуетъ никакой нужды въ „свободѣ; у него есть добродѣтели, но добродѣтели клас„совъ. Между тѣмъ, какъ у насъ, одинъ и тотъ-же типъ „чести есть идеалъ для всѣхъ, въ Германіи дворянинъ, „бюргеръ, профессоръ, крестьянинъ, работникъ, имѣютъ „свою особую формулу обязанностей; обязанности че„ловѣка, права человѣка слабо понимаются; и въ этомъ „заключается великая сила, ибо нѣтъ болѣе сильной

„причины политическаго и военнаго упадка, какъ ра-„венство“ (p. 51, 52).

Многое другое говоритъ еще Ренанъ въ подтвержденіе своей мысли о Германіи вообще и въ особенности о Пруссіи. Но нельзя не видѣть въ этихъ характеристикахъ нѣкотораго преувеличенія. Подъ живымъ впечатлѣніемъ недавняго страшнаго пораженія, и увлекаясь мыслію о томъ, что всему виною разрушеніе стараго порядка, онъ щедро приписываетъ любимой имъ Германіи всѣ лучшія стороны, какія находитъ и какія дѣйствительно существовали въ этомъ порядкѣ. Между тѣмъ, едва-ли можно утверждать, что идеи стараго порядка сохранились въ Германіи въ такой мѣрѣ, какъ думаетъ Ренанъ. Бисмаркъ соединилъ Германію и повелъ ее на Францію не безъ противодѣйствія со стороны значительной партіи нѣмцевъ, и дѣйствовалъ не силою законныхъ правъ и древней власти, а скорѣе какъ революціонеръ, ниспровергающій всякія историческія права, и какъ диктаторъ, который получилъ власть по согласію народа, видѣвшаго въ немъ человѣка способнаго удовлетворить его стремленіямъ къ политическому могуществу и къ подавленію перевѣса Франціи.

Такъ-какъ цивилизація Германіи, по основамъ и по развитію, не отличается отъ цивилизаціи Франціи и Англіи, то существеннаго различія между этими странами предполагать невозможно. Разница должна быть только временная; Германія идетъ медленнѣе, но идетъ тѣмъже путемъ, какъ и Франція.

„Въ Германіи“,—говоритъ Ренанъ,—„есть также „демократическое движеніе; но это движеніе подчини-„лось движенію патріотически-національному“ (p. 54).

„Въ Германіи уже показались признаки возмущенія.

„До какой степени этотъ духъ возмущенія, который со-„стоитъ ни въ чемъ иномъ, какъ въ соціалистической „демократіи, овладѣетъ въ свою очередь германскими „странами? *Вотъ вопросъ, который всего болѣе долженъ „занимать мыслящаго человѣка.* Мы не можемъ отвѣчать „на него съ точностію, не имѣя нужныхъ для этого „элементовъ“ (p. 113).

Однако-же, нѣтъ никакихъ причинъ думать, что процессъ развитія соціалистической демократіи остановится въ Германіи, или вовсе исчезнетъ въ ней. Онъ можетъ быть задержанъ, замедленъ, но рано или поздно доведетъ свое дѣло до конца.

„Прусская военно-феодальная партія, всего больше „внушающая опасенія за миръ Европы, повидимому, „должна со временемъ уступить значительную долю сво-„его перевѣса берлинской буржуазіи, нѣмецкому духу, „столь широкому, столь свободному, духу, который ста-„нетъ глубоко либеральнымъ, какъ только будетъ осво-„божденъ отъ тисковъ прусскаго военнаго порядка. Я „знаю, что симптомовъ такого рода еще не показы-„вается, что Германія, всегда нѣсколько боязливая въ „дѣйствіяхъ, была завоевана Пруссіею такъ, что при „этомъ не обнаружилось никакого признака готовности „Пруссіи распуститься въ Германіи; но не пришло еще „время для такого развитія. Прусская гегемонія, при-„знанная какъ средство борьбы противъ Франціи, осла-„бѣетъ лишь тогда, когда подобная борьба не будетъ „уже имѣть основанія. Сила, съ которою происходитъ „нѣмецкое движеніе, должна породить очень быстрыя „развитія. Нужно отказаться отъ всѣхъ аналогій въ „исторіи, если завоеванная Германія, въ свою очередь, „не завоюетъ Пруссіи и не поглотитъ ея. Невозможно

„предполагать, чтобы нѣмецкое племя, какъ оно ни „мало революціонно, не восторжествовало надъ прус„скимъ ядромъ, какъ-бы твердо оно ни было. Прусскій „принципъ, по которому основа націи есть армія, а „основа арміи мелкое дворянство, не можетъ быть при„ложенъ къ Германіи. Германія, самый Берлинъ, имѣетъ „буржуазію. *Основою истинной нѣмецкой націи ста„нетъ то, что̀ составляетъ основу всѣхъ современныхъ „націй, богатая буржуазія.* Прусскій принципъ со„здалъ нѣчто очень крѣпкое, но не могущее сохраниться „послѣ того, какъ Пруссія окончитъ свое дѣло. Спарта „перестала-бы быть Спартою, если-бы она привела Гре„цію къ единству. Римское устройство и римскіе нравы „исчезли съ того времени, какъ Римъ сталъ владыкою „міра; начиная съ этого дня, Римомъ сталъ управ„лять міръ,—какъ это и слѣдовало по справедливости“ (р. 148).

„Вообще, огромное большинство человѣческаго рода „питаетъ ужасъ къ войнѣ. Истинно христіанскія идеи „кротости, справедливости, доброты—все больше и боль„ше пріобрѣтаютъ силы въ мірѣ. Воинственный духъ „живетъ только въ воинахъ по ремеслу, въ дворянскихъ „классахъ сѣверной Германіи и въ Россіи. *Демократія „не хочетъ, не понимаетъ войны.* Прогрессъ демократіи „разрушитъ царствованіе этихъ желѣзныхъ людей, вы„ходцевъ минувшаго времени, вдругъ появившихся, къ „ужасу нашего вѣка, изъ нѣдръ стараго германскаго „міра. Чѣмъ-бы ни кончилась настоящая война *), эта „партія будетъ побѣждена въ Германіи. *Ея дни сочтены „демократіею*“ (р. 163).

---

*) Статья писана во время войны.

Вотъ что предвидитъ Ренанъ, съ смѣшаннымъ чувствомъ желанія и отвращенія, злобной радости и неувѣренности. Ему и совѣстно, и весело видѣть, что врагъ долженъ погибнуть отъ того-же зла, отъ котораго гибнетъ Франція. Между тѣмъ, очевидно, этотъ исходъ дѣла самый вѣроятный; ничто ему не противорѣчитъ, и можно считать мечтою всякую попытку задержать Европу на этомъ пути, по которому ее ведутъ всѣ ея понятія, вся исторія, всѣ наиболѣе сильныя стремленія.

Ренанъ какъ-будто не хочетъ быть столь зловѣщимъ пророкомъ. Онъ совѣтуетъ французамъ сколько возможно вернуться къ старому порядку. Но, говоритъ онъ, нельзя порицать и того человѣка, который отвергъ-бы эти совѣты, а сказалъ-бы слѣдующее:

„Реформы, предполагающія, что Франція откажется „отъ своихъ демократическихъ предразсудковъ, суть чистыя фантазіи. Франція, повѣрьте, останется навсегда „страною людей любезныхъ, кроткихъ, честныхъ, прямодушныхъ, веселыхъ, поверхностныхъ, съ хорошимъ „сердцемъ, но съ слабымъ политическимъ смысломъ; „она удержитъ свою посредственную администрацію, „свои упрямые комитеты, свои рутинныя учрежденія и „будетъ увѣрена, что лучше ихъ нѣтъ ничего въ цѣломъ мірѣ; она все больше и больше будетъ погружаться въ этотъ матеріализмъ, грубый республиканизмъ, „къ которому, повидимому, идетъ все современное человѣчество, за исключеніемъ Пруссіи и Россіи. Значитъ-ли это, что для нея не наступитъ минута возмездія? „Но, можетъ быть, именно этимъ путемъ она его и достигнетъ. Ея возмездіе нѣкогда будетъ состоять въ „томъ, что она ушла дальше всѣхъ по той дорогѣ, которая ведетъ къ исчезновенію всякаго благородства,

„всякой добродѣтели. Мы останемся ниже народовъ гер-„манскихъ и славянскихъ, пока эти народы сохранятъ „иллюзіи, свойственныя молодымъ племенамъ; но эти „племена, въ свою очередь, состарятся; они пойдутъ по „пути всего рожденнаго. Это не будетъ такъ скоро, „какъ думаетъ соціалистическая школа, вѣчно увѣрен-„ная, что весь міръ въ той-же степени, какъ она, за-„нятъ ея вопросами. Вопросы соперничества между „племенами и расами, повидимому, на-долго еще будутъ „имѣть перевесъ надъ вопросами о поденной платѣ и „благосостояніи; но примѣръ Франціи заразителемъ. Не „было ни единой французской революціи, которая не „отражалась-бы за границей. Самое жестокое мщеніе, „какое Франція можетъ совершить надъ гордымъ дво-„рянствомъ, бывшимъ главною причиною ея пораженія, „состоитъ въ томъ, чтобы жить въ демократіи, доказать „фактомъ возможность республики. Тогда не долго при-„шлось-бы ждать той минуты, когда мы могли-бы ска-„зать нашимъ побѣдителямъ, какъ мертвецы пророка „Исаіи: Et tu vulneratus es sicut et nos; nostri similis „effectus es! (Ты раненъ, какъ и мы; ты сталъ намъ „подобенъ!)".

„И такъ, пусть Франція остается тѣмъ, что она „есть; пусть она неустанно держитъ знамя либерализма, „давшаго ей ея роль въ послѣдніе сто лѣтъ. Этотъ ли-„берализмъ часто бываетъ причиною слабости,—но, по „этому самому, міръ приметъ его; ибо міръ дряхлѣетъ и „теряетъ свою древнюю суровость. Франція, во всякомъ „случаѣ, гораздо вѣрнѣе достигнетъ возмездія, если бу-„детъ обязана имъ своимъ недостаткамъ, чѣмъ если-бы „была принуждена ожидать его отъ достоинствъ, кото-„рыхъ никогда не имѣла. Наши враги могутъ быть

„спокойны, если французы, чтобы одолѣть ихъ, должны „сперва обратиться въ пруссаковъ. Чѣмъ побѣждена „Франція? Тѣмъ остаткомъ нравственной силы, суровости, тяжести и самоотверженія, которыя еще устояли „въ глухомъ закоулкѣ міра противъ разъѣдающаго дѣйствія эгоизма. Пусть французской демократіи удастся „образовать государство способное къ жизни, и эта „старая закваска быстро изсчезнетъ отъ дѣйствія самаго энергическаго элемента, разлагающаго всякую „добродѣтель, какой только былъ извѣстенъ до сихъ „поръ міру" (pp. 82—84).

Вотъ наиболѣе искреннія и всего глубже захватывающія правду слова Ренана. Они выражаютъ жестокое отчаяніе; въ нихъ слышится невольное сознаніе, что всѣ совѣты и увѣщанія Ренанъ дѣлалъ и дѣлаетъ только *для очищенія своей совѣсти*, что онъ заранѣе увѣренъ въ ихъ безполезности и хорошо видитъ ту бездну, въ которую движется Франція, а за ней и остальная Европа.

Кончивши теперь весь этотъ анализъ взглядовъ Ренана на внутреннее развитіе Европы со времени Революціи, мы можемъ остановиться и попробовать выразить общее впечатлѣніе, производимое цѣлою картиною. Намъ кажется, что русскій читатель долженъ быть невольно пораженъ мыслью о томъ мракѣ и горѣ, которые нависли надъ образованнымъ міромъ. Какая тяжкая и какая безвыходная борьба! Блистательныя формы западной жизни, всѣ безъ исключенія, таятъ въ себѣ зародышъ гибели, всѣ грозятъ разрушеніемъ. И нѣтъ такихъ началъ, такихъ основъ, которыя можно было-бы считать незыблемыми, за которыя можно-бы схватиться среди крушенія. Европа потеряла руководящую нить

своего прогресса, нѣкогда обѣщавшаго ей безконечное развитіе, поприще безпредѣльное. Ренанъ, какъ мы видимъ, перебираетъ мысленно всѣ пути, всѣ выходы, и съ тоскою и ужасомъ видитъ, что всѣ они ведутъ къ смерти. Въ отчаяніи, онъ то предлагаетъ вернуться назадъ, задержать историческое движеніе своего народа, то, наоборотъ, совѣтуетъ дать полный ходъ этому движенію, ускорить его, чтобы поскорѣе увлечь своего врага на ту же дорогу и увидѣть, наконецъ, его погибель!

Но, вглядываясь въ эту картину, мы, русскіе, должны, кажется, испытать и другое чувство, именно, живо почувствовать, что передъ нами совершается чуждая исторія, что въ этой борьбѣ, во всѣхъ ея стремленіяхъ и столкновеніяхъ нѣтъ ничего вполнѣ нашего. Складъ русской жизни и нашъ государственный строй представляютъ совершенно иное сочетаніе элементовъ, совмѣщаютъ въ себѣ тѣ противорѣчія, которыя являются столь непримиримыми въ Европѣ. Россія представляетъ государство монархическое безъ *стараго порядка*, демократическое безъ соціализма, воинственное безъ феодализма и феодальнаго дворянства.

Политическое честолюбіе совершенно чуждо русскому народу; охотно жертвуя всѣмъ для государства, онъ не ищетъ непремѣннаго участія въ управленіи государствомъ; это участіе считается дѣломъ тяжелымъ, скорѣе повинностію, чѣмъ правомъ. Житейскій матеріализмъ, пониманіе собственности и удовольствій, какъ главныхъ вещей въ жизни, противны кореннымъ нравамъ русскаго народа, его нѣсколько аскетическому настроенію. Есть нѣкоторая высшая область, въ которой русскіе люди ищутъ и требуютъ равенства, свободы и

братства; но это не область вещественныхъ интересовъ и политическихъ правъ. Отсюда-же происходитъ особенный характеръ того, что̀ можно назвать „воинственнымъ духомъ“ русскихъ. Этотъ духъ, главнымъ образомъ, состоитъ въ стойкости и самоотверженіи. Мы видѣли, что Ренанъ считаетъ истиннымъ носителемъ воинскаго духа въ Европѣ феодальное дворянство; у насъ ничего подобнаго этому дворянству нѣтъ, и мы давно свыклись съ мыслью, что всегдашняя и неизмѣнная доблесть на войнѣ выказывается у насъ — именно людьми простаго народа.

Да и вообще, замѣчательно, что во всѣхъ своихъ разсужденіяхъ Ренанъ ничего не говоритъ о простомъ народѣ. Этого элемента, очевидно, вовсе нѣтъ въ Европѣ въ томъ видѣ, какъ онъ есть у насъ, то есть, въ видѣ нѣкоторой духовной силы, массы съ извѣстными стремленіями. Корабль Европы уже не имѣетъ этого тяжелаго балласта.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Значеніе франко-прусской войны и ея будущія послѣдствія.

Междоусобная война.—Опасность со стороны Россіи.—Принципъ народностей. — *Настанетъ день славянскаго завоеванія.* — Односторонность Ренана.

Взгляды Ренана на значеніе войны между Франціею и Германіею изложены имъ въ особой статьѣ, писанной во время самой войны *), и въ двухъ письмахъ къ Давиду Штраусу, составляющихъ отвѣты на два письма Штрауса къ Ренану **). Въ этой перепискѣ нѣмецкій и французскій писатели какъ будто состязались въ глубокомысліи и высотѣ взгляда на вещи; и французъ несомнѣнно одержалъ побѣду. Въ самомъ дѣлѣ, Ренанъ искренно сознается въ недостаткахъ своего народа, проповѣдуетъ миръ и указываетъ на несправедливость и

*) *Revue des D. M.*, 15 septembre 1870.

**) Письма Штрауса смотри въ брошюрѣ: *Krieg und Friede*, zwei Briefe an Ernst Renan von D. F. Strauss. Leipz. 1870. Письма Ренана въ *Réf. intell. et morale*, p. 167.

вредъ этой войны въ тѣхъ страшныхъ размѣрахъ, которые ей дали нѣмцы. Шраусъ-же съ тевтонскою грубостію восхваляетъ свой народъ и всѣми средствами оправдываетъ войну.

Существенная мысль Ренана состоитъ въ томъ, что онъ смотритъ на Европу, какъ на одно цѣлое, и потому готовъ употребить извѣстное выраженіе, что всякая европейская война есть въ сущности война *междоусобная*. Такъ-какъ интересы Европы страдаютъ отъ этихъ междоусобій, такъ-какъ у Европы есть свои враги и опасности, то Ренанъ находитъ франко-прусскую войну событіемъ глубоко-плачевнымъ для европейской цивилизаціи.

Мы видѣли выше, что Ренанъ считалъ главною задачею своей жизни—содѣйствовать умственному, нравственному и политическому союзу между Германіею и Франціею, союзу, къ которому уже легко пристала-бы Англія (См. выше, стр. 298). Почему такъ необходимъ и важенъ этотъ союзъ? Почему цивилизація не можетъ развиваться среди борьбы и соперничества этихъ странъ?

„Нашею мечтою былъ“ пишетъ Ренанъ, „политическій и умственный союзъ Германіи, Англіи и Франціи, которыя втроемъ могли-бы составить силу управляющую міромъ и *образовать плотину противъ Россіи*, „или лучше, направить Россію на свой-же путь“. (Réf. intell. et mor. p. 42). Вотъ существенное дѣло и существенная опасность для союза. Въ другомъ мѣстѣ повторяется таже общая мысль: „Соединенная Германія, „если бы она достигла своего единства, находясь въ полной дружбѣ съ Франціею, сдѣлалась-бы существенною „частью Европы и составила-бы вмѣстѣ съ Франціею „и Англіею неодолимую троицу, способную увлечь осталь-

„ной міръ, *въ особенности Россію*, на путь прогресса“ (р. 143).

Такимъ образомъ, Россія выставляется какъ главный поводъ, по которому Европѣ слѣдуетъ быть единодушною и сильною. Еще прежде, до войны, Ренанъ, разсуждая о томъ, какъ расшатывается демократіею и соціализмомъ внутренняя сила европейскихъ обществъ, говорилъ, что, въ случаѣ дальнѣйшаго ослабленія, Европѣ грозитъ вещественная опасность именно отъ Россіи. Вотъ его слова:

„На первый взглядъ кажется невозможнымъ новое „нашествіе варваровъ, то-есть, чтобы менѣе сознатель„ныя и менѣе цивилизованныя части человѣчества опять „побѣдили части болѣе сознательныя и болѣе цивили„зованныя. Но разберемъ дѣло хорошенько. Въ мірѣ „еще существуетъ запасъ варварскихъ силъ, *которыя „почти всѣ находятся подъ рукою Россіи*. Пока циви„лизованныя націи будутъ сохранять свою крѣпкую ор„ганизацію, роль этихъ варваровъ будетъ почти ничтожна; но, безъ сомнѣнія, если (чего Боже сохрани!) „зараза эгоизма и анархіи приведетъ къ гибели наши „западныя государства, то варвары *совершатъ свою обя„занность*, состоящую въ томъ, чтобы поднять муже„скую силу въ испорченныхъ цивилизаціяхъ, произвести „живительный притокъ инстинкта, когда размышленіе „уничтожило субординацію, показать, что готовность „жертвовать своею жизнію изъ вѣрности своему госу„дарю (дѣло, которое демократъ считаетъ низкимъ и „безмысленнымъ) есть источникъ силы и ведетъ къ об„ладанію міромъ. Не нужно, въ самомъ дѣлѣ, скры„вать отъ себя, что окончательнымъ слѣдствіемъ соціа„листически-демократическихъ теорій было-бы совершен-

„ное ослабленіе. Нація, которая пошла-бы по этой про-„граммѣ, отвергая всякую идею славы, общественнаго „блеска, индивидуальнаго превосходства, сводя все къ „одному удовлетворенію матеріалистическихъ желаній „массъ, то-есть, къ доставленію удовольствій возможно „большему числу людей, была-бы совершенно открыта „для завоеванія, и ея существованіе подвергалось-бы ве-„личайшимъ опасностямъ“ (p. 293).

Когда началась война, то главный вредъ, который увидѣлъ въ ней Ренанъ, было раздѣленіе и уменьшеніе силъ Европы, необходимыхъ ей, опять-таки, для того, чтобы противустоять Россіи.

„Я всегда считалъ“, говорилъ онъ, „войну между „Франціею и Германіею за величайшее несчастіе, какое „только можетъ случиться *съ цивилизаціею*“.

„Она посѣетъ жестокую ненависть между двумя от-„дѣлами европейскаго племени, союзъ которыхъ всего „нужнѣе для прогресса человѣческаго ума“.

„Въ самомъ дѣлѣ, оставляя въ сторонѣ Соединен-„ные Штаты, будущее которыхъ, безъ сомнѣнія бле-„стящее, еще темно, и которые во всякомъ случаѣ *за-„нимаютъ второстепенное мѣсто въ самобытной* (*origi-„nale*) *работѣ человѣческаго духа*, умственное и нрав-„ственное величіе Европы основывается на тройствен-„номъ союзѣ, разрушеніе котораго есть смертельное „горе для прогресса, союзѣ между Франціею, Герма-„ніею и Англіею. Эти три великія силы, будучи соеди-„нены, стали-бы руководить міромъ и руководили-бы „имъ хорошо, увлекая за собою другіе, еще значитель-„ные элементы, входящіе въ составъ Европы; *въ осо-„бенности, они повелительнымъ образомъ указали-бы путь „другой силѣ, которую не слѣдуетъ ни слишкомъ пре-*

„*увеличивать, ни слишкомъ умалять, Россіи.* Россія „опасна только въ томъ случаѣ, если остальная Европа „допуститъ ее *предаться ложной мысли о духовной самобытности* (originalité), которою она, *можетъ быть,* „не обладаетъ, и дозволитъ ей соединить въ одной рукѣ „варварскія племена центральной Азіи, племена совершенно безсильныя сами по себѣ, но способныя въ „дисциплинѣ и весьма расположенныя, если не будутъ „приняты мѣры, сгруппироваться вокругъ какого-нибудь „московитскаго Чингисъ-Хана. Соединенные Штаты „опасны только въ томъ случаѣ, если раздоры Европы „позволятъ имъ увлечься мечтами заносчивой юности и „старою злобою къ странѣ, бывшей ихъ матерью. При „союзѣ Франціи, Англіи и Германіи, старый континентъ „сохранялъ-бы свое равновѣсіе, могущественно господствовалъ-бы надъ новымъ, держалъ-бы въ опекѣ этотъ „обширный восточный міръ, которому вредно давать возможность *увлекаться преувеличенными надеждами.* Все „это была одна мечта. Довольно было одного дня, чтобы „разрушить зданіе нашихъ надеждъ и открыть міръ для „всѣхъ опасностей, для всѣхъ вожделеній, для всѣхъ „звѣрскихъ страстей“ (pp. 125, 126).

Вотъ высшая точка зрѣнія Ренана на дѣла Европы. Сила духа и духовное господство у него занимаютъ первое мѣсто. Въ этомъ отношеніи онъ находитъ, что ни Америка, ни Россія *не опасны* для Европы; Америка потому, что она не имѣетъ дѣйствительной самобытности, и только по заносчивости молодости возстаетъ противъ стараго континента; Россія потому, что, можетъ быть, она и обладаетъ самобытностью, но отъ Европы зависѣло-бы подавить эти вредныя для человѣчества мечты: Европа могла-бы своимъ вліяніемъ направить Россію по

тому-же пути, по которому сама идетъ, и, въ такомъ случаѣ, вѣчно держать ее въ духовномъ подчиненіи. И такъ, нѣтъ никого на свѣтѣ, кто могъ-бы вырвать изъ рукъ Европы скипетръ умственной жизни, если-бы только Европа не предавалась внутреннимъ раздорамъ. Теперь-же легко можетъ быть, что вмѣстѣ съ вещественною силою Европы, упадетъ и ея нравственное вліяніе; Америка и Россія сбросятъ съ себя то нравственное господство, подъ которымъ были до сихъ поръ, и тогда могутъ быть опасны для Европы и вещественно. Опасность особенно сильна со стороны Россіи, которая ближе, и духовной самобытности которой Ренанъ не рѣшается прямо отрицать.

Если такъ, то какой-же ходъ можетъ получить будущая исторія? Что̀ ожидаетъ Европу? Мы видѣли, что и внутреннее состояніе Европы внушаетъ Ренану величайшія опасенія. Согласно со всѣмъ этимъ, онъ въ одномъ мѣстѣ разсуждаетъ такъ:

„Франція, и до нѣкоторой степени Англія, уже *до-„стигли своего предѣла.* Пруссія и Россія еще не дошли „до той минуты, когда люди обладаютъ тѣмъ, чего хо-„тѣли, когда они холодно смотрятъ на то, изъ-за чего „нѣкогда потрясали міръ, когда является мысль, что „это вздоръ, что все здѣсь на землѣ есть только эпи-„зодъ вѣчнаго сновидѣнія, рябь на поверхности безко-„нечнаго, попеременно насъ порождающаго и погло-„щающаго. Эти новыя и пылкія сѣверныя племена го-„раздо наивнѣе насъ; они обманываются своими жела-„ніями; увлекаясь своею цѣлью, они подобны юношѣ, „воображающему, что, овладѣвши предметомъ своей „страсти, онъ будетъ вполнѣ счастливъ. Къ этому при-„соединяется еще особая черта характера, чувство, ко-

„торое, повидимому, всегда внушали песчаныя равнины „германскаго сѣвера, чувство цѣломудренныхъ ванда„ловъ передъ зрѣлищемъ нравовъ и роскоши римской „имперіи, родъ пуританскаго бѣшенства, зависти и злобы „къ легкой жизни людей наслаждающихся. Это мрач„ное и фанатическое настроеніе существуетъ еще въ „наше время. Подобные *меланхолическіе умы*, какъ нѣ„когда ихъ называли, считаютъ своимъ назначеніемъ „мстить за добродѣтель, исправлять испорченные народы. „Для этихъ восторженныхъ людей, идея германской им„періи не есть идея націи, имѣющей извѣстныя гра„ницы, свободной у себя, не занимающейся остальнымъ „міромъ; нѣтъ, *они хотятъ всеобщаго вліянія герман„скаго племени, долженствующаго обновить Европу и „господствовать въ ней*. Это очень мечтательное бѣсно„ваніе; ибо, предположимъ, чтобы сдѣлать удовольствіе „этимъ мрачнымъ умамъ, что Франція уничтожена, „Бельгія, Голландія, Швейцарія раздавлены, что Англія „остается пассивною и сохраняетъ молчаніе; что же мы „скажемъ о великомъ страшилищѣ германскаго буду„щаго, о Славянахъ, которые тѣмъ больше будутъ стре„миться отдѣлиться отъ общаго германскаго тѣла, чѣмъ „больше будетъ это тѣло индивидуализироваться? Сла„вянское сознаніе возрастаетъ въ томъ-же размѣрѣ, „какъ возрастаетъ германское, и противопоставляется „ему какъ противолежащій полюсъ; одно создается дру„гимъ“ (pp. 159, 160).

Вотъ совершенно новая постановка дѣла. Война между Франціею и Германіею, можетъ быть, не есть война междоусобная, нарушающая духовную гармонію Европы и ослабляющая ея силы; эта война, напротивъ, отнимаетъ господство у отжившихъ и испорченныхъ на-

родовъ и передаетъ его народу полному свѣжихъ силъ, слѣдовательно, въ сущности, обновляетъ Европу, молодитъ ее и укрѣпляетъ. Но, и въ такомъ случаѣ, будущее Европы все-таки не ограждено отъ опасностей. Главная опасность — Славяне, которые не подчинятся нѣмцамъ, и стремленіе которыхъ къ самостоятельности будетъ возрастать тѣмъ больше, чѣмъ больше будетъ возрастать германское владычество.

Подробно и съ большою тонкостію Ренанъ развиваетъ эту мысль во второмъ письмѣ къ Штраусу. Онъ указываетъ на то, что Германія, присоединивъ къ себѣ Эльзасъ и Лотарингію, хотя справедливо основывалась на принципѣ народностей, но поступила *противъ желанія населенія*. По этому случаю, онъ вотъ что говоритъ Штраусу:

„Наша политика есть политика правъ націй; ваша— „политика племенъ: мы думаемъ, что наша лучше. Слиш„комъ рѣзкое раздѣленіе человѣчества на племена, не „говоря о томъ, что оно основано на научной ошибкѣ, „такъ-какъ очень мало странъ, имѣющихъ дѣйствительно „чистое племя, можетъ повести только къ войнамъ истре„бленія, къ войнамъ, позвольте такъ выразиться, *зоологи„ческимъ* *), такимъ, какія ведутъ между собою разные „виды грызуновъ, или хищныхъ. Это значило-бы поло„жить конецъ тому плодотворному смѣшенію различныхъ, „но необходимыхъ другъ для друга элементовъ, которое „называется человѣчествомъ. Вы, нѣмцы, подняли въ „мірѣ знамя этнографической и археологической поли-

*) Гораздо раньше, чѣмъ у Ренана, мы встрѣтили это мѣткое выраженіе у Герцена, который, разсуждая о паденіи идеаловъ въ Европѣ, говоритъ, что теперь войны ведутся изъ-за «зоологическихъ различій».

„тики, намѣсто политики либеральной; эта политика „будетъ вашимъ злымъ рокомъ. Сравнительная филологія, которую вы создали и которую вы несправедливо „перенесли на поприще политики, съиграетъ съ вами „злую шутку. Къ ней пристращаются славяне; каждый „школьный учитель въ славянскихъ земляхъ есть врагъ „для васъ, термитъ, разрушающій вашъ домъ. Какимъ „образомъ вы можете думать, что славяне не сдѣлаютъ „съ вами того, что́ вы дѣлаете съ другими, они, во „всемъ идущіе по вашимъ слѣдамъ, не отстающіе отъ „васъ ни на шагъ? Каждое утвержденіе германизма „есть утвержденіе славизма; каждое движеніе сосредоточенія съ вашей стороны есть движеніе, которое „*осаждаетъ* славянина, выдѣляетъ его, даетъ ему особое существованіе. Стоитъ взглянуть на дѣла Австріи, „чтобы ясно увидѣть это. Славянинъ, спустя пятьдесятъ „лѣтъ, будетъ знать, что вы сдѣлали его имя синонимомъ *раба* (Sclave); онъ уразумѣетъ долгое историческое эксплуатированіе его племени вашимъ племенемъ; „а вѣдь число славянъ вдвое больше числа нѣмцевъ, и „славянинъ, какъ драконъ Апокалипсиса, хвостъ котораго можетъ смести третью часть звѣздъ, повлечетъ „нѣкогда за собою паству центральной Азіи, древнихъ „подданныхъ Чингисхана и Тамерлана. Не лучше-ли „было-бы поберечь на этотъ день право взывать къ разуму, къ нравственности, къ дружбѣ, основанной на „принципахъ? Подумайте, какая тяжесть положится на „вѣсы міра, когда Богемія, Моравія, Кроатія, Сербія, „всѣ славянскія населенія турецкой имперіи, навѣрное „предназначенныя къ освобожденію, племена еще героическія, совершенно воинственныя и нуждающіяся „только въ предводительствѣ, сгруппируются вокругъ гро-

„маднаго русскаго конгломерата, уже включившаго столь-„ко различныхъ элементовъ въ свою славянскую горную „породу и, повидимому, предназначеннаго быть ядромъ „будущаго славянскаго единства, точно такъ, какъ Ма-„кедонія, страна лишь слабо-греческая, Сардинія — „слабо-итальянская, Пруссія — слабо-нѣмецкая были „центрами греческаго единства, единства итальянскаго, „единства германскаго. И вы слишкомъ разсудительны, „чтобы разсчитывать на благодарность, которую должна „питать къ вамъ Россія. Одна изъ тайныхъ причинъ „озлобленія Пруссіи противъ насъ состоитъ въ томъ, „что она обязана намъ частію своей культуры. Одною „изъ язвъ станетъ нѣкогда для русскихъ то, что они „были цивилизованы нѣмцами. Они будутъ это отрицать, „но, отрицая, все-таки будутъ сознавать, и это воспо-„минаніе будетъ приводить ихъ въ отчаяніе. За то, что „Петербургская Академія Наукъ была когда-то вполнѣ „нѣмецкою, она будетъ такъ-же злобствовать на Бер-„линскую Академію, какъ Берлинская злобствуетъ на „насъ за то, что была когда-то на-половину француз-„скою. Нашъ вѣкъ есть вѣкъ торжества рабовъ надъ „своими господами: а славянинъ былъ и, въ нѣкоторыхъ „отношеніяхъ, и до сихъ поръ есть вашъ рабъ".

„Если-же такъ, то, *когда настанетъ день славян-„скаго завоеванія*, мы будемъ стоять выше васъ, подобно „Аѳинамъ, еще имѣвшимъ блестящую роль подъ рим-„скимъ владычествомъ, тогда какъ Спарта уже не имѣла „никакой".

„И такъ, берегитесь-же этнографіи, или лучше ска-„зать, не слишкомъ усердно прилагайте ее къ политикѣ (pp. 199—201).

Эти краснорѣчивыя слова не нуждаются въ поясне-

ніяхъ, особенно для насъ, русскихъ. Читая ихъ, иногда думаешь, что Ренанъ только-что прочиталъ *Россію и Европу* Н. Я. Данилевскаго. Совершенно ясно, что, если права нѣмцевъ на преобладаніе въ мірѣ заключаются только въ большей свѣжести племени, которому, поэтому, должны уступить одряхлѣвшія племена латинской Европы, то за нѣмецкимъ племенемъ должна наступить очередь славянскаго племени. Ренанъ съ горькимъ и негодующимъ чувствомъ говоритъ объ этой *зоологической* борьбѣ и смѣнѣ племенъ; это чувство объясняется тѣмъ, что онъ вѣритъ въ *единую всемірную цивилизацію*, которой интересы должны-бы стоять выше всякихъ другихъ интересовъ. Вотъ почему, въ глазахъ Ренана, самостоятельная духовная жизнь Америки и Россіи составляетъ главную опасность для цивилизаціи, и принципъ народностей, если онъ ставится выше всѣхъ другихъ принциповъ, препятствуетъ общему прогрессу рода человѣческаго.

Такъ это и было-бы, если-бы мы могли твердо вѣрить въ достоинства и будущность той цивилизаціи, лучшею представительницею которой нужно считать Францію. Между тѣмъ мы видѣли, что самъ Ренанъ уже не вѣритъ въ эту цивилизацію, что сомнѣніе и отчаяніе въ немъ сильнѣе, чѣмъ всякія надежды и мечты объ исправленіяхъ и реформахъ. А если такъ, то, кажется, принципъ народностей, завладѣвшій ходомъ всемірной исторіи, имѣетъ за себя не одни зоологическія, но и нравственныя основанія. Ренанъ сознается, что преобладаніе германскаго племени проистекло изъ нравственнаго превосходства нѣмцевъ надъ латинскою Европою. Точно также, если славянамъ суждено занять въ будущемъ первое мѣсто въ мірѣ, то это будетъ призна-

комъ, что ихъ духовная жизнь превосходитъ своею высотою и силою жизнь одряхлѣвшей Европы.

Нѣкоторыя черты этого будущаго очень ясно видятся уже Ренану. Въ заключеніе всѣхъ своихъ разсужденій о *болѣзни* Франціи и о *средствахъ* противъ нея, онъ приходитъ къ невольному чувству, что всѣ планы и хлопоты безполезны и говоритъ:

„Часто мы начинаемъ со страхомъ думать, что Франція и даже Англія, въ сущности, пораженныя одною „и тою-же болѣзнію (ослабленіемъ воинскаго духа, преобладаніемъ торговыхъ и промышленныхъ стремленій), „будутъ вскорѣ низведены на второстепенную роль, и „что сцена европейскаго міра будетъ исключительно „занята двумя колоссами, племенемъ германскимъ и племенемъ славянскимъ, которыя сохранили въ силѣ воинскій и монархическій принципъ, и *борьба которыхъ „наполнитъ собою будущее*" (p. 119).

Всѣ приведенныя нами слова и мнѣнія Ренана доказываютъ, по нашему мнѣнію, его глубокомысліе, обширный и тонкій взглядъ на вещи, превосходное пониманіе исторіи и вмѣстѣ чудесное безпристрастіе, искреннюю любовь къ правдѣ, дѣйствительное желаніе добра. Одно, чего не понимаетъ и, кажется вовсе не можетъ понять Ренанъ, есть духовный и политическій складъ Россіи, ея, такъ сказать, нравственное право на существованіе. Правда, онъ никогда не смѣшиваетъ ея съ Европою, съ Пруссіею, онъ ставитъ ее на одну линію только какъ государство монархическое и воинственное, а во всѣхъ другихъ отношеніяхъ тщательно отдѣляетъ ее отъ Пруссіи; но этими отрицательными чертами и

ограничивается пониманіе Ренана; для положительной характеристики Россіи у него нѣтъ ни одной черты.

Конечно, причиною этому то общее невѣдѣніе, въ которомъ Европа находится относительно Россіи, невѣдѣніе, происходящее отчасти отъ презрѣнія, а еще болѣе отъ внутренней трудности, отъ невозможности понять слишкомъ чуждый складъ жизни. Есть, однако-же, область, въ которой Ренанъ могъ-бы хотя нѣсколько понимать Россію; какъ человѣкъ постоянно занятый исторіею религіи, онъ могъ-бы кажется понимать *православіе*. Но, къ величайшему изумленію и поученію нашему, мы находимъ, что здѣсь Ренана оставляетъ все его глубокомысліе, вся его проницательность. Во многихъ своихъ сочиненіяхъ, онъ, по самому ихъ предмету, долженъ былъ касаться Греческой церкви; но вездѣ онъ находилъ для нея только слова презрительныя и осуждающія, такъ-какъ вездѣ онъ, очевидно, не въ силахъ проникнуть въ истинный смыслъ православнаго ученія. Въ этомъ отношеніи, Ренанъ есть заклятый католикъ, не смотря на всѣ свои вольнодумства и открытое отрицаніе вѣрованій, въ которыхъ онъ родился.

Не удивительное-ли это явленіе? Онъ съ величайшею тонкостію объясняетъ вѣрованія древнихъ грековъ и римлянъ, указываетъ смыслъ не только правовѣрнаго язычества, но и всѣхъ его искаженій и суевѣрій; точно такъ, онъ превосходно понимаетъ Лютерову реформу и умѣетъ оцѣнить духъ каждой изъ безчисленныхъ сектъ, явившихся въ католицизмѣ и въ лютеранствѣ; но, какъ только дѣло дойдетъ до православія, онъ видитъ въ немъ только грубость, неразвитость, отсталость отъ католическаго движенія, а живаго духа не находитъ. На лучшія черты нашей церкви, на ея, такъ-сказать, народный

характеръ, на отсутствіе въ ней папы, онъ смотритъ какъ на явные недостатки, какъ на проявленія тупости извѣстныхъ народовъ, не умѣвшихъ послѣдовательно развить данную имъ идею.

Ренанъ — еще разъ повторимъ — не можетъ выйти изъ сферы понятій своей цивилизаціи; высшій образецъ религіи для него католичество; высшій образецъ политическаго устройства—*старый порядокъ* Европы. Намъ-же то и другое чуждо, наша жизнь сложилась на иныхъ началахъ, и вотъ почему мы такъ мало понятны для Европы.

1872.

ИСТОРИКИ БЕЗЪ ПРИНЦИПОВЪ.

(Замѣтки объ Ренанѣ и Тэнѣ).

I.

Превосходство французовъ въ литературѣ.

Французы по прежнему господствуютъ во всемірной литературѣ, то есть больше всего читаются и обладаютъ самыми громкими именами. Политическое значеніе Франціи упало, и *французскія дѣла* уже не имѣютъ такого первенствующаго интереса для всего міра, какъ прежде; но въ литературѣ *великая нація* удержала и, вѣроятно, еще очень долго сохранитъ свое первое мѣсто. Въ этомъ отношеніи правъ Ренанъ, когда сравнивалъ роль Франціи съ ролью Греціи въ древнемъ мірѣ, съ тогдашнимъ долгимъ преобладаніемъ греческой культуры.

Писанія французовъ прежде всего отличаются высокими достоинствами своей формы, внѣшнихъ пріемовъ. „Нигдѣ не пишутъ лучше, чѣмъ во Франціи", говоритъ Эдмондъ Шереръ, и даже „только во Франціи хорошо пишутъ". И дѣйствительно, эти писанія представляютъ

безъ сомнѣнія самую зрѣлую форму, какая выработана европейскою литературою. Дѣло тутъ не въ одномъ языкѣ, точномъ, ясномъ и гибкомъ, не въ одной легкости, живости и быстротѣ разсказа или изложенія; дѣло въ томъ, что хорошій французскій писатель всегда вполнѣ владѣетъ своимъ предметомъ, знаетъ съ чего начать, чѣмъ продолжать и чѣмъ кончить, и даетъ читателю свою мысль въ порядкѣ и полнотѣ, избѣгая всего лишняго и никогда не упуская изъ виду своей опредѣленной цѣли. Отсюда происходятъ та простота и краткость (разумѣется относительная), которыя такъ любезны каждому читателю.

Какая разница съ нѣмцами и англичанами! Нѣмецкая мысль расплывается въ своей многосторонности и въ той безконечной эрудиціи, которая составляетъ ея неизбѣжную принадлежность, ея стихію. Поэтому, нѣмецъ, чтобы написать книгу, принужденъ такъ-сказать *прессовать* свои мысли и свѣдѣнія. Часто наивные авторы занимаются не собственно писаніемъ, а только компиляціею чужихъ писаній, и доходятъ до замѣчательнаго искусства въ дѣлѣ прессованія; тогда книга представляетъ удивительно вѣрный и полный экстрактъ изъ сотни другихъ книгъ, но въ такомъ сухомъ и сжатомъ видѣ, что ее могутъ взять только очень крѣпкіе зубы. Если-же авторъ излагаетъ и свои мысли, то однако-же считаетъ долгомъ ссылаться на все, что онъ прочиталъ, и даже на все, что онъ только желалъ-бы прочитать. При этомъ забывается, что плохая и ненужная ссылка есть настоящій грѣхъ передъ читателемъ, и что хороши только ссылки, которыя основаны на строгомъ выборѣ и глубокомъ пониманіи чужихъ писаній, и которыхъ поэтому много быть не можетъ. Какъ-бы то ни было,

множество нѣмецкихъ книгъ не годятся для чтенія, а годятся только для справокъ.

Англичане пишутъ лучше нѣмцевъ, проще, естественнѣе. За то у нихъ нѣтъ ни порядка, ни живости; мысль чаще всего узка и изменна, но авторъ развиваетъ ее настойчиво и многословно. Такъ писали Бокль, Милль, Дарвинъ; все это скептики и эмпирики, холодные и пространные. Если-же авторъ обладаетъ воображеніемъ и жаромъ, то онъ вдается въ англійскую *блестящую манеру*. Являются непрерывныя гиперболы, неожиданныя сближенія и скачки; всему дается видъ яркій и поразительный; словомъ—это та манера, которая такъ насъ восхищаетъ въ Шекспирѣ и Карлейлѣ, но которая приводитъ читателя къ большому разочарованію, когда у автора недостаетъ для нея внутренняго содержанія.

Одни французы отличаются тактомъ, мѣрою; умѣютъ быть простыми, не впадая въ монотонное бормотанье, и краснорѣчивыми безъ напряженія и напыщенности.

II.

Англичане и Нѣмцы.

Но иное будетъ дѣло, если мы станемъ судить о писателяхъ не по формѣ, а по внутренней силѣ ихъ писаній. Тогда окажется, что нѣмцы и англичане имѣютъ большой перевѣсъ надъ французами. Англійская мысль упорно работаетъ въ одномъ направленіи, скептически разлагая явленія, сводя всѣ высокіе предметы къ самому простому и низкому уровню. Въ послѣднія деся-

тилѣтія достигнуты на этомъ пути огромные результаты. Несомнѣнно доказано, что наша планета получила свой нынѣшній видъ медленно и постепенно, что все ея устройство совершено тѣми самыми силами и дѣйствіями, среди которыхъ мы живемъ теперь. Доказано также, что древность человѣка теряется въ сотняхъ тысячелѣтій, предшествовавшихъ тому, что̀ мы называемъ историческими временами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, зачатки нашей культуры разысканы въ ихъ простѣйшей формѣ, и ихъ возникновеніе отнесено къ незапамятной жизни еще вполнѣ дикихъ человѣческихъ племенъ. Но, если вѣрить приверженцамъ англійской науки, которыхъ такое множество между континентальными учеными, то англичане сдѣлали еще больше. Если слѣдовать Боклю, то весь ходъ исторіи объясняется будто-бы однимъ нарастаніемъ знаній, то все развитіе человѣчества вполнѣ заправляется постепеннымъ накопленіемъ опытовъ и наблюденій. Если признать Дарвина, то организмы будто-бы возникли какъ игра случайностей, то ихъ удивительное устройство доказываетъ не присутствіе внутренняго закона, а только то, что все нелѣпое и дурно устроенное погибло и погибаетъ. Если наконецъ вѣрить Бэну, Миллю, то наша душевная жизнь есть нѣкоторая механика ощущеній, и самое мышленіе—не болѣе какъ аббревіатура, сокращенное обозначеніе испытываемыхъ нами внутреннихъ и внѣшнихъ воспріятій.

Эти мысли имѣютъ нынѣ огромное вліяніе, и Германія, учительница Европы, не нашла въ себѣ силъ, чтобы противостать этому потоку эмпиризма и анализа. Между нѣмцами нашлись даже писатели, которые далеко превзошли въ этомъ направленіи осторожныхъ и сдержанныхъ англичанъ и, съ чисто-нѣмецкою наивностію,

до конца и наголо высказали слѣдствія принятыхъ ими идей. Но эти крайности свидѣтельствуютъ намъ только о томъ, что въ Германіи мыслящіе привыкли искренно отдаваться своей мысли, и что тамъ мысль дѣйствительно свободна, дѣйствительно уважается. Нѣмецкіе писатели сами не сомнѣваются въ своемъ дѣлѣ, и нужно согласиться, что они вполнѣ заслужили, чтобы и со стороны никто не сомнѣвался въ важности ихъ трудовъ. Какія-бы безобразныя явленія ни попадались въ нѣмецкой умственной жизни, какія-бы колебанія и пониженія духовнаго уровня ни случались въ ней по мѣстамъ и по временамъ, никогда нельзя забывать, что все-таки тутъ, въ Германіи, центръ внутренняго развитія Европы, что германскій духъ уже успѣлъ глубоко и широко раскрыть свои силы, и потому его стремленія едва-ли могутъ заглохнуть отъ частныхъ вліяній и обстоятельствъ. Лѣтъ двадцать, или нѣсколько болѣе, назадъ, Тэнъ выставилъ относительно Германіи формулу, съ которою слѣдуетъ и теперь согласиться. Тэнъ говоритъ:

„Съ 1780 по 1830 Германія породила всѣ идеи той исторической эпохи, въ которую мы живемъ, и теперь, въ продолженіи полувѣка, или пожалуй цѣлаго вѣка, наше главное дѣло будетъ состоять въ томъ, чтобы перемыслить эти идеи.

„Нѣмецкій философскій геній, проявившійся въ концѣ прошлаго столѣтія, породилъ новую метафизику, новую теологію, поэзію, литературу, лингвистику, экзегезу, эрудицію, и въ настоящую минуту проникаетъ въ науки и продолжаетъ свое развитіе. Въ послѣднія три столѣтія не показывалось еще духа болѣе оригинальнаго, болѣе общаго, болѣе обильнаго слѣдствіями всякаго рода и значенія, болѣе способнаго все преобразовать и все

пересоздать. Духъ этотъ такого-же разряда, какъ духъ Возрожденія и духъ классической эпохи". (Histoire de la littérature Anglaise, t. iv, p. 277, 279).

Слова эти вообще очень справедливы, и развѣ въ частностяхъ требуютъ можетъ-быть поправки. Сдѣлаемъ только одно замѣчаніе. Сто-ли, или меньше лѣтъ суждено господствовать этому духу, но для насъ всего важнѣе думать, что онъ представляетъ раскрытіе и такихъ человѣческихъ силъ, которыя уже не перестанутъ проявляться, что въ немъ есть нѣкоторый всегдашній, вѣчный элементъ. Тэнъ, по складу своихъ убѣжденій, не обращаетъ вниманія на эту сторону дѣла. Для него жизнь человѣка есть собственно не развитіе, а простая цѣпь *смѣняющихся* состояній.

III.

Ренанъ и Тэнъ.

Если теперь обратимся къ Франціи, то увидимъ, что она въ настоящее время не можетъ похвалиться своими успѣхами на поприщѣ ума. Ренанъ и Тэнъ конечно теперь лучшіе французскіе писатели, и мастерство, съ которымъ они владѣютъ мыслію и словомъ, таково, что никогда, кажется, подобные имъ серьозные ученые не имѣли еще столько читателей. Между тѣмъ, если взять главное направленіе ихъ мыслей, то мы не много найдемъ оригинальнаго. Тэнъ, не смотря на всѣ его попытки расширить свой взглядъ, въ сущности держится началъ англійской психологіи, на которыхъ прямо построена его книга De l'intelligence; а Ренанъ есть по-

слѣдователь и проповѣдникъ тѣхъ экзегетическихъ изысканій, которыя занимали въ Германіи не одно поколѣніе и образовали тамъ цѣлыя школы.

Но, разумѣется, нельзя говорить, что въ нихъ вовсе нѣтъ оригинальности. Все, что они пишутъ, блещетъ такою свѣжестію, такою живостью мысли, что здѣсь произошло очевидно не простое усвоеніе, а полное претвореніе чужихъ мыслей. Всякое глубокое воззрѣніе измѣняетъ свою форму и направленіе, когда переходитъ въ чужую страну, когда привилось и развивается въ умахъ другой народности. И такъ, что же вышло? Что намъ представляютъ Тэнъ и Ренанъ? Не беремъ вопроса во всей ширинѣ, но представимъ читателямъ нѣсколько замѣтокъ. Теперь, кажется, уже ясно, что эти два писателя, возбуждавшіе такія надежды, высказались вполнѣ, и можетъ-быть не мы одни испытываемъ чувство разочарованія. Но дѣло не въ однихъ несбывшихся надеждахъ. Нѣкоторыя мысли, нѣкоторыя направленія этихъ двухъ лучшихъ писателей Франціи могутъ внушить, какъ мы думаемъ, болѣе горькія чувства, иногда даже ужасъ передъ паденіемъ человѣческихъ понятій.

IV.

Прелесть Ренана.

Ренанъ есть, конечно, одинъ изъ превосходнѣйшихъ писателей, и трудно защититься отъ очарованія, которое онъ производитъ. Въ изложеніи его удивительно соединяется художественная живость и яркость съ чисто ученою точностью языка. Вы постоянно чувствуете оду-

шевленіе, съ которымъ онъ пишетъ, и вмѣстѣ стараніе выразить это одушевленіе какъ можно проще и отчетливѣе,—такъ, какъ излагаютъ свой предметъ ученые. Притомъ, искренность слышится въ каждомъ словѣ, и иногда можно подумать, что передъ вами писатель достигшій совершенства. Совершенный писатель, вѣдь, не значитъ непремѣнно тотъ, кто въ высшей степени глубокъ, остроуменъ, чувствителенъ и т. п. Тутъ трудно поставить предѣлъ, и люди съ подобными качествами иногда дурно пишутъ, или вовсе не пишутъ. Но, если кто пишетъ не по подражанію, а по внутреннему влеченію, если говоритъ только то, что думаетъ, если не употребляетъ ни трафаретовъ, ни бѣлыхъ нитокъ, никакихъ готовыхъ пріемовъ, чтобы ослѣпить и провести читателя, а старается только объ одномъ, объ ясномъ и полномъ выраженіи своихъ мыслей, то такого писателя можно назвать совершеннымъ. Ренанъ, какъ отлично образованный человѣкъ, хорошо знаетъ всякую реторику и всякія общія мѣста, и никогда въ нихъ не впадаетъ. Онъ старательно выдерживаетъ индивидуальное свойство своихъ мыслей, и это одно уже даетъ его писаніямъ чрезвычайную прелесть, не говоря объ обиліи и важности самыхъ мыслей.

По кругозору, по ширинѣ области, въ которой движется его мысль, Ренанъ тоже необыкновенно привлекателенъ. Тутъ отразилось, кажется намъ, его религіозное обученіе и воспитаніе. Въ самомъ дѣлѣ, богословская литература имѣетъ, очевидно, захватъ несравненно болѣе широкій, чѣмъ чисто свѣтская. Богословіе стремится разсматривать міръ и человѣка со всѣхъ сторонъ, отъ глубочайшихъ вопросовъ до послѣднихъ житейскихъ мелочей. Поэтому, Ренану привычны самыя разнообраз-

ныя категоріи; онъ умѣетъ носиться мыслью между небомъ и землею, тогда какъ обыкновенные прозаики или вовсе не подымаются высоко, или, когда вздумаютъ подняться, теряютъ способность сказать что̀ нибудь опредѣленное. Кто-то замѣтилъ, что и самые предметы, постоянно занимающіе Ренана, указываютъ на его духовное воспитаніе. То, чему онъ учился, навсегда приковало къ себѣ его вниманіе, и, такъ-какъ онъ учился вещамъ, имѣющимъ для человѣка высочайшій интересъ, то и съ этой стороны онъ необыкновенно занимателенъ. Онъ хорошо понимаетъ важность того, о чемъ пишетъ, и только потому и выбираетъ постоянно этотъ предметъ; не такъ, какъ ординарные вольнодумцы, которые говорятъ о религіи только для того, чтобы обстоятельно показать, что они ея не понимаютъ, а имѣютъ совершенно другія влеченія и вкусы.

V.

Исторія христіанства.

Главную книгу Ренана, семь томовъ подъ названіемъ „Les origines du Christianisme“, *можно* читать съ большою пользою, съ большимъ поученіемъ. Если вы представите себѣ, что авторъ съ чрезвычайнымъ стараніемъ и напряженіемъ мысли вникаетъ въ свой предметъ, то, хотя-бы вы были недовольны тѣмъ, что онъ не довольно глубоко въ него проникаетъ, вы все-таки съ великимъ интересомъ будете слѣдить за его работою. Передъ вами художникъ, который со всею зоркостію, какая ему только дана, старается уловить картину, за-

крытую туманомъ древности. Онъ осторожно проводитъ каждую черту, которую успѣлъ разглядѣть; неясное, неуловимое онъ и означаетъ неясными, расплывающимися чертами. Мало по малу выступаютъ образы, показываются формы предметовъ. Но тутъ онъ принужденъ остановить работу; у него нѣтъ больше средствъ, нѣтъ силъ дать картинѣ полную живость.

Очевидно, какого-бы понятія о христіанствѣ мы сами ни держались, подобная работа будетъ для насъ все-таки чрезвычайно интересна; когда она производится совершенно добросовѣстно, то будетъ служить только для уясненія и повѣрки предмета; истинѣ-же она повредить не можетъ.

Такое впечатлѣніе часто производитъ книга Ренана; онъ вѣрно понялъ, что исторія въ сущности требуетъ художественныхъ пріемовъ; онъ это называетъ—класть оттѣнки, nuances, а это, вѣдь, и значитъ—стремиться къ конкретнымъ, индивидуальнымъ образамъ, какъ это дѣлаютъ художники.

Къ несчастію, есть что-то, что̀ портитъ всѣ эти достоинства Ренанова сочиненія. Читатель, безпрестанно чувствующій жадное любопытство, мало по малу начинаетъ вмѣстѣ чувствовать раздраженіе и досаду, которая къ концу седьмаго тома можетъ возрасти до очень большой степени. Дѣло въ томъ, что авторъ слишкомъ догматиченъ и самоувѣренъ; въ немъ нѣтъ тоски по недостижимой цѣли, нѣтъ сознанія незначительности полученныхъ результатовъ. Никогда онъ не скажетъ: этого я не знаю, этого не могу понять; никогда не укажетъ на глубину предмета, превосходящую его силы. Онъ кладетъ свои нюансы почти играя и забавляясь. Очень скоро читатель начинаетъ видѣть, въ чемъ со-

стоитъ существенный пріемъ этой забавы. Краски свои Ренанъ беретъ изъ современной жизни, что конечно и слѣдуетъ дѣлать, такъ-какъ только эти краски находятся въ нашемъ дѣйствительномъ распоряженіи. Но тутъ-то онъ и не выдерживаетъ того искусства нюансовъ, которымъ самъ столько хвалится. Онъ безпрестанно увлекается тѣмъ контрастомъ, который получается, когда на традиціонные предметы мы наложимъ современныя краски. Пикантность этого контраста заставляетъ его постоянно фальшивить въ эту сторону; можетъ быть, онъ это дѣлаетъ безсознательно, но дѣлаетъ, очевидно, съ наслажденіемъ, которое читатель мало-по-малу находитъ непростительнымъ. Назвать Іисуса Христа charmant docteur, une personne supérieure—на первый взглядъ не значитъ ничего особеннаго, но въ сущности есть глубочайшая фальшь, даже и для того, кто разсматриваетъ Христа только какъ человѣка. А Ренанъ доходитъ даже до того, что приписываетъ ему возможность думать о jeunes filles qui auraient peut-être consenti à l'aimer! Эти пріемы,—въ силу которыхъ древніе предметы получаютъ слишкомъ опредѣленный и слишкомъ современный видъ и священное дѣлается не только свѣтскимъ, но и пошлымъ,—чрезвычайно странны у такого ученаго и многопонимающаго человѣка, какъ Ренанъ. Они указываютъ на глубокій недостатокъ въ этомъ умѣ, недостатокъ, испортившій его историческіе труды и проистекающій изъ самой его натуры и всего его развитія.

VI.

Два элемента.

Въ Souvenirs d'enfance et de jeunesse Ренанъ много говоритъ о томъ, какъ въ немъ отразились свойства племени, къ которому онъ принадлежитъ по рожденію. Его отецъ былъ Бретонецъ, а „характеристическая „черта бретонской расы, во всѣхъ ея степеняхъ, есть „идеализмъ, стремленіе къ какой нибудь нравственной „или умственной цѣли, часто ошибочной, но всегда без„корыстной" (p. 75). При такихъ свойствахъ, какъ онъ самъ даетъ понять, онъ могъ-бы навсегда сохранить религіозность, внушенную ему съ дѣтства, и остаться въ званіи, къ которому готовился. Но въ его натурѣ были еще другіе элементы, именно—въ матери его была часть гасконской крови. Что̀ такое Гасконцы и гасконады, всѣмъ извѣстно. И вотъ, „вслѣдствіе моего происхожде„нія", пишетъ Ренанъ, „я былъ раздѣленъ и какъ-бы „разорванъ между противоположными силами". „Гаско„нецъ, безъ моего вѣдома игралъ во мнѣ невѣроятныя „штуки съ Бретонцемъ и строилъ ему обезьяньи гри„масы"... (p. 141). Такъ объясняетъ самъ Ренанъ колебаніе своихъ мыслей, тотъ внутренній разладъ, который такъ замѣтенъ въ его писаніяхъ и не есть лишь одинъ отвлеченный скептицизмъ. „Это сложное проис„хожденіе", говоритъ онъ, „составляетъ, я думаю, глав„ную причину моихъ видимыхъ противорѣчій. Я двойное „существо; иногда одна моя часть смѣется, когда дру„гая плачетъ" (p. 145).

Но еще яснѣе и опредѣленнѣе тѣ два разнородные

элемента въ умственномъ мірѣ Ренана, которые зависѣли не отъ прирожденныхъ свойствъ, а отъ двухъ различныхъ сферъ, въ которыхъ совершилось его развитіе. Первая и начальная сфера было клерикальное воспитаніе и обученіе, сперва на родинѣ въ Трегье, а потомъ подъ Парижемъ, въ семинаріяхъ Исси и Святаго Сульпиція. Ренанъ подробно описываетъ духъ и пріемы этихъ школъ; въ нихъ сохранилась очень давняя, почти схоластическая наука, и Ренанъ точно и картинно изображаетъ, какъ онѣ были совершенно разобщены отъ современнаго умственнаго движенія. „Уже послѣ того, „какъ совершилась революція 1830 года", пишетъ онъ, „я получилъ то самое воспитаніе, какое давалось *двѣсти „лѣтъ тому назадъ* въ самыхъ строгихъ религіозныхъ „обществахъ" (p. 122). Съ очень теплымъ чувствомъ вспоминаетъ онъ о добросовѣстныхъ, любящихъ, добродѣтельныхъ и даже чрезвычайно ученыхъ своихъ наставникахъ и имъ приписываетъ главное развитіе своихъ силъ.

Но онъ, по неодолимому теченію своихъ мыслей, вышелъ изъ этой умственной сферы. Первый толчекъ къ выходу дало изученіе нѣмецкаго языка, за которое онъ, по своей чрезвычайной жаждѣ къ познаніямъ, принялся ради экзегезы и семитической филологіи. „Я почуялъ", говоритъ онъ, „какой-то новый геній, далеко не по„хожій на геній нашего XVII вѣка. Своеобразный духъ „Германіи, въ концѣ прошлаго вѣка и въ началѣ ны„нѣшняго, поразилъ меня; мнѣ казалось, что я вхожу „въ какой-то храмъ. Тутъ было то самое, чего я искалъ, „соглашеніе высокаго религіознаго духа съ духомъ кри„тическимъ. По временамъ я жалѣлъ, что я не про„тестантъ, такъ что не могу быть философомъ, не пе„реставши быть христіаниномъ" (p. 203).

Мы не станемъ слѣдить за всею борьбою, которая совершалась въ Ренанѣ. Скажемъ только вообще, что онъ не просто поколебался въ старыхъ своихъ убѣжденіяхъ, а былъ, очевидно, покоренъ, плѣненъ умственнымъ строемъ новаго времени. Онъ какъ будто вдругъ перескочилъ черезъ два столѣтія, и новое зрѣлище ослѣпило его своимъ блескомъ и перетянуло на свою сторону.

Но, такъ-какъ скачекъ былъ слишкомъ великъ и такъ-какъ только поверхностные люди выбрасываютъ за бортъ цѣликомъ свои старыя мысли, въ умахъ-же глубокихъ всѣ элементы развитія сохраняются, то умъ Ренана, можно сказать, навсегда лишился цѣльности и потерялъ возможность крѣпко держаться за что-нибудь, все равно за старое, или за новое. Онъ находится въ безпрестанномъ колебаніи и часто выражаетъ это колебаніе съ чрезвычайной живостью и искренностью.

Для насъ здѣсь важно то, что мы можемъ видѣть, съ одной стороны, какого свойства тотъ старый католическій духъ, которымъ съ дѣтства былъ проникнутъ Ренанъ, а съ другой, въ чемъ сила той новой мудрости, которая впослѣдствіи увлекла его. Едва-ли есть вольнодумецъ-писатель, который былъ-бы, поэтому, интереснѣе Ренана. Но, въ то же время, ничего нѣтъ досаднѣе писателя, который какъ будто любуется своимъ внутреннимъ раздвоеніемъ, всячески имъ пользуется, чтобы дразнить и забавлять читателя, кокетничаетъ своими гасконадами, хорошо понимая, что говоритъ о предметахъ, къ которымъ ни одинъ человѣкъ съ умомъ и чувствомъ не можетъ относиться равнодушно.

VII.

Реторика.

Всякій писатель долженъ избѣгать реторики, то есть не подражать чужимъ мыслямъ, чужимъ теченіямъ рѣчи, не писать того, чего нѣтъ въ немъ самомъ. Но есть въ писательствѣ опасность болѣе тонкая и требованіе болѣе трудное. Не подражая другимъ, можно однако легко и незамѣтно впасть въ подражаніе самому себѣ. У каждаго писателя со временемъ можетъ образоваться своя реторика; не имѣя новой мысли, онъ станетъ дѣлать варіаціи своихъ старыхъ мыслей; не имѣя чувства, будетъ поддѣлываться подъ свои бывалыя чувства.

У писателей очень высокаго разряда этого самоподражанія иногда вовсе не бываетъ. Таковъ былъ нашъ Гоголь, безподобно оригинальный въ каждомъ своемъ новомъ произведеніи. Но не таковъ былъ, напримѣръ, Викторъ Гюго, безъ конца повторявшійся со всѣми своими характерными достоинствами и недостатками. У насъ, какъ на крупный образчикъ, можно указать на г. Щедрина, очень плодовитаго, но вовсе не обновляющагося. Обыкновенно думаютъ, что реторика вообще заключается въ фальшивой высокопарности, въ напыщенности; но и рутинный цинизмъ, безсодержательное зубоскальство есть также несомнѣнная реторика.

Ренанъ, особенно въ послѣдніе годы, очень провинился въ подражаніи. То, что̀ сначала было искренно, полно чувства и сдержанности, онъ повторяетъ теперь съ холоднымъ разсчетомъ и съ преувеличенной рѣз-

костію, ради эффекта. Таково, напримѣръ, его предисловіе къ Nouvelles études d'histoire religieuse.

Для привычныхъ читателей, своеобразная реторика хорошаго писателя можетъ быть очень любезна; ибо, читатели еще менѣе, чѣмъ авторы, развиваются, и потому любятъ повтореніе одного и того-же. Но есть писанія, задающіяся такими предметами и цѣлями, при которыхъ требованія неминуемо возвышаются. Можно долго писать безпритязательные фельетоны, не обновляя своихъ мыслей и не углубляя своихъ пріемовъ. Но Ренанъ взялся за важнѣйшіе предметы и имѣетъ великія притязанія. „Въ моемъ вѣкѣ", говоритъ онъ, „одинъ я могъ понять Іисуса и Франциска Ассизскаго" (Souvenirs, p. 146). Онъ написалъ исторію первоначальнаго христіанства и употребилъ на ея писаніе двадцать лѣтъ. Что̀ же оказывается? Мысль автора не только не углублялась, а мелѣла по мѣрѣ писанія. Читатель, плѣнившійся остроумными сближеніями, кажущеюся шириною чувства и взгляда въ первомъ томѣ, съ каждымъ новымъ томомъ все больше обманывался въ своихъ надеждахъ. Седьмой и послѣдній томъ, при всей наружной яркости, отзывается уже очень сильно фразою и реторикою, хотя и самобытною. А въ концѣ концовъ, читатель ясно видѣлъ, что эти семь томовъ очень мало подвинули его въ пониманіи сущности христіанства и того великаго переворота, который оно произвело въ человѣчествѣ.

VIII.

Требованія исторіи.

Для своей неустановившейся мысли, для оправданія игры своего ума и чувства, Ренанъ придумалъ нѣкоторыя формулы, какъ-бы правила своей особенной реторики. „Нужно имѣть извѣстную философію“, говоритъ онъ, „но никогда не слѣдуетъ ее прямо высказывать“. „Истина заключается въ оттѣнкѣ“. „Тонкость ума со„стоитъ въ томъ, чтобы воздерживаться отъ окончатель„наго вывода“. „Несчастный тотъ человѣкъ, кто хоть „разъ въ день самъ себѣ не противорѣчитъ“. И такъ далѣе.

Все это прекрасно. При такихъ правилахъ рѣчь становится заманчивою и капризною. Дается полная воля движенію мысли, дается способъ затронуть у читателя самыя чуткія струны, и, если все это дѣлать умно и выражать точнымъ и легкимъ языкомъ, то можно очень успѣшно и другихъ забавлять, и самому забавляться.

Но нельзя такимъ образомъ писать исторіи. Нельзя писать исторіи, не имѣя ясныхъ принциповъ, не становясь на совершенно опредѣленныя точки зрѣнія. Такъ называемая объективная исторія, мечта о которой очевидно очень нравится Ренану, есть дѣло совершенно пустое, потому что невозможное. Исторія открывается намъ лишь настолько, насколько мы способны ее понять, насколько успѣемъ углубить и расширить тѣ основанія, на которыхъ опираются наши сужденія. Если мы питаемъ извѣстное чувство, проникнуты извѣстнымъ убѣжденіемъ, то въ исторіи мы можемъ найти это чув-

ство и убѣжденіе, и по ней можемъ изучать его правильную сторону, его дѣйствительный корень и силу, и понять сторону неправильную, которую оно въ насъ, можетъ быть, имѣетъ. Мы можемъ посредствомъ исторіи безъ конца работать надъ своими мыслями, очищая и развивая ихъ до бо̀льшей и бо̀льшей свободы и полноты. И, насколько въ насъ созрѣетъ мысль, настолько и озарится передъ нами исторія; ибо объ ней конечно гораздо вѣрнѣе, чѣмъ объ Гомерѣ, можно сказать, что она дастъ всякому столько, сколько кто можетъ взять.

Но, если мы ничего взять не можемъ и не хотимъ, то есть, если мы не вѣримъ ни въ разумъ, ни въ человѣка, ни въ религію,—вообще не имѣемъ никакихъ точекъ опоры для сужденій, никакого зерна для развитія убѣжденій, если мы приступаемъ къ исторіи, такъ сказать, съ пустыми руками, то мы съ пустыми руками и отойдемъ. Мы можемъ написать какую-нибудь хронологію, перечень событій, собраніе замѣтокъ, но исторіи у насъ не выйдетъ. Или, если мы очень будемъ стараться, то у насъ пожалуй выйдетъ исторія, но только такая, которая, какъ въ зеркалѣ, отразитъ насъ самихъ, то есть будетъ доказывать, что вѣрованія людей всегда были забаужденіями, что цѣпь событій не имѣетъ смысла, что въ человѣчествѣ вѣчно происходитъ безплодное вращеніе тѣхъ-же страстей и увлеченій, словомъ, что вся исторія пустяки, и поучительна только потому, что доказываетъ справедливость нашего равнодушія и сомнѣнія, нашей пустоты.

Этотъ результатъ можетъ быть высказанъ конечно въ различномъ тонѣ. Онъ можетъ быть выраженъ съ горечью, показывающею, что человѣкъ жадно искалъ истины, томился по ней, но не успѣлъ ея найти. Та-

кое чувство естественно и правильно. Но, когда въ тонѣ подобной исторіи мы слышимъ самодовольство ученаго, думающаго, что онъ исполняетъ прекрасный научный трудъ, то это будетъ уродливость, въ сущности весьма печальная.

IX.

Сентъ-Бёвъ.

Взгляды Ренана на дѣло исторіи очевидно вполнѣ совпадаютъ съ мыслями Сентъ-Бёва о томъ-же дѣлѣ. Сентъ-Бёвъ написалъ исторію французскихъ янсенистовъ, которыхъ называетъ людьми благочестивыми, „святымъ племенемъ". Кончивъ эту исторію (пять томовъ, подъ заглавіемъ Port Royal), онъ оглянулся на свой двадцатилѣтній трудъ и искренно высказалъ нѣсколько мыслей, которыя съ радостію приводитъ Ренанъ.

„Какъ я ни старался", говоритъ Сентъ-Бёвъ, „я „былъ и остаюсь только изслѣдователемъ, только искрен„нимъ, внимательнымъ и взыскательнымъ наблюдателемъ. „И даже, по мѣрѣ того, какъ я подвигался впередъ, „когда очарованіе исчезло, я и не хотѣлъ быть ничѣмъ „инымъ. Мнѣ казалось, что за отсутствіемъ поэтиче„скаго пламени, которое раскрашиваетъ, но и оболь„щаетъ, нѣтъ болѣе законнаго и болѣе почтеннаго упо„требленія ума, какъ видѣть вещи и людей какъ они „есть, и изображать ихъ такъ, какъ ихъ видишь, опи„сывать вокругъ себя, по долгу служителя науки, разно„видности рода человѣческаго, различныя формы чело„вѣческой организаціи, странно видоизмѣняемой, съ нрав-

„ственной стороны, въ обществѣ и въ искусственномъ „дедалѣ ученій. А какое ученіе болѣе искусственно, „чѣмъ ваше! Вы (*т. е. янсенисты*) вѣчно говорили объ „истинѣ и вы всѣмъ пожертвовали тому, что̀ явилось „вамъ подъ этимъ именемъ: я былъ на свой ладъ че„ловѣкомъ истины, былъ такъ далеко, какъ только могъ „ея достигнуть".

„Но вѣдь и это—какъ это мало! Какъ нашъ взглядъ „ограниченъ! какъ скоро останавливается! какъ онъ по„хожъ на свѣточъ, зажженный на минуту среди без„мѣрной ночи! И какъ тотъ, кто всего ближе прини„малъ къ сердцу познаніе своего предмета, для кого „было высшею наградою—уловить его, и высшею гор„достью—изобразить его, чувствуетъ себя безсильнымъ „и ниже своей задачи въ тотъ день, когда, видя ее почти „оконченною и результатъ добытымъ, онъ сознаетъ, что „въ немъ затихаетъ охмѣленіе силы, и что имъ овла„дѣваетъ окончательная слабость и неизбѣжное отвра„щеніе, и когда онъ замѣчаетъ въ свою очередь, что и „самъ онъ есть лишь одна изъ мимолетнѣйшихъ иллю„зій въ нѣдрахъ безконечной иллюзіи".

Слова эти прекрасны по чувству боли, глубокой тоски, которыми проникнуты. Вотъ умное и точное выраженіе того душевнаго состоянія, въ которое необходимо придетъ историкъ безъ всякихъ принциповъ, если онъ не риторъ, а серьезный человѣкъ.

Но Ренанъ нимало не думаетъ тосковать. Выписавши это грустное размышленіе, онъ весело выражаетъ свое сочувствіе Сентъ-Бёву.

„Можно-ли быть", говоритъ онъ, „лучшаго свойства „мудрецомъ изъ этой милой и кроткой школы Экклезіаста, который, не по скептицизму, а въ силу опыта

„и зрѣлости, любилъ повторять безпрестанно: *все суета*?“ (Nouvelles études, p. 498).

Справедливо замѣтилъ какъ-то Шеллингъ, что для того, чтобы быть скептикомъ, нужно обладать легконравностію, хорошимъ настроеніемъ духа; таковы и были Юмъ и Кантъ. Можетъ быть, веселый Ренанъ есть новое подтвержденіе этого замѣчанія. Но очень дурно и вредно, когда скептицизмъ выдается за глубину и истинную науку.

X.

Истина въ исторіи.

Ложное понятіе объ исторіи происходитъ отъ того-же, отъ чего вообще міръ человѣческій есть поприще всякаго рода лжи. Человѣкъ живетъ двойною жизнью, потому что, кромѣ дѣйствительности, у него есть область мысли, допускающая всевозможныя искаженія. Такъ, напримѣръ, дѣйствительное знаніе, какой-бы степени и вида оно ни было, всегда содержитъ въ себѣ истину. Но, такъ-какъ мы, въ нашей мысли, можемъ принимать неполное знаніе за полное, частное за общее, внѣшнее за внутреннее, то и раждаются безконечныя заблужденія.

Если я понялъ какую-нибудь теорему геометріи, убѣдился въ ея истинѣ, то я уже не могу смотрѣть на нее иначе, какъ на истину, не могу говорить, что это было только мнѣніе нѣкотораго Эвклида, жившаго за триста лѣтъ до Р. Х. Эту точку зрѣнія, столь ясную для математики, необходимо прилагать и во всякимъ

другимъ, когда-либо высказаннымъ мыслямъ и ученіямъ, хотя такое приложеніе и несравненно труднѣе, чѣмъ для геометріи. Въ сущности, понимать исторію, которая вѣдь, прежде всего, есть изложеніе чувствъ, образа мыслей и дѣйствій минувшихъ поколѣній, есть самая трудная и высокая задача для ума. Тутъ требуется безграничное расширеніе нашихъ понятій; при полной строгости пріемовъ, тутъ, очевидно, должно оказаться неизмѣримо больше вопросовъ, чѣмъ понятыхъ явленій.

Возьмемъ нравственныя ученія, которыя обыкновенно считаются дѣломъ самымъ простымъ, не требующимъ усилій и подготовленій для своего постиженія. Въ дѣйствительности, только тотъ можетъ нѣсколько понимать ихъ силу и различныя степени, кто самъ высоко поднялся въ нравственной жизни; иначе они останутся въ его глазахъ мертвою буквою. Дана, положимъ, заповѣдь: „любите враговъ своихъ". Тогда одно изъ двухъ. Или мы ее уразумѣемъ въ ея истинномъ смыслѣ и истинныхъ основаніяхъ, и тогда непремѣнно признаемъ ее и своею заповѣдью, будемъ всею душею стремиться исполнять ее, и не будемъ говорить, что это есть лишь историческій фактъ, что такъ училъ двѣ тысячи лѣтъ назадъ нѣкоторый раввинъ. Или-же мы не уразумѣемъ заповѣди, найденной нами въ древней книгѣ, и тогда, что̀ бы мы объ ней не говорили, мы напишемъ такую-же исторію, какъ тотъ, кто сталъ-бы писать исторію математики, не понимая математическихъ теоремъ.

Каждый человѣкъ судитъ о другихъ по себѣ; каждый поэтъ создаетъ образы по своему образу и подобію. И если гибкость ума и таланта даетъ возможность постигать жизнь далеко не похожую на нашу, то, во всякомъ случаѣ, высота общаго уровня, до котораго мы

можемъ подняться въ пониманіи чужой жизни, опредѣляется нашею собственною высотою.

И такъ, изучая столь высокую жизнь, какъ жизнь основателей христіанства, стремясь истолковать новый духъ и новое ученіе, нѣкогда возродившее міръ, мы, насколько поймемъ христіанство, настолько станемъ его ревностными исповѣдниками, и наше изслѣдованіе будетъ мѣриломъ нашей нравственности и нашего пониманія религіи.

Не будемъ несправедливы къ Ренану. Несмотря на отсутствіе ясныхъ принциповъ и вопреки дурнымъ правиламъ, ясно имъ выставляемымъ, онъ на дѣлѣ, какъ человѣкъ съ чуткимъ умомъ и сердцемъ, менѣе многихъ другихъ ушелъ отъ положительныхъ требованій, лежащихъ на историкѣ. Знаменитый профессоръ-богословъ старикъ Газе пишетъ объ этомъ слѣдующее: „меня увѣ„ряли, что именно эта книга (т. е. Vie de Jésus Ре„нана), которая въ глазахъ строго настроенныхъ хри„стіанъ является легкомысленною, пробудила христіан„скіе интересы въ другихъ людяхъ, бывшихъ дотолѣ „равнодушными. Да въ ней и есть поэзія, есть благо„говѣніе“ (Geschichte Jesu. Leipz. 1876, S. 154).

Вотъ то дѣйствіе, которое должна производить исторія; и если Ренанъ, воображая себя какимъ-то научно безстрастнымъ изслѣдователемъ, достигъ однако нѣкоторой доли этого дѣйствія, то онъ, значитъ, на дѣлѣ впалъ въ противорѣчіе съ самимъ собою. Впрочемъ, какъ мы видѣли, онъ лично ничуть не боится упрековъ въ противорѣчіи; но для утѣшенія другихъ, менѣе безстрашныхъ, необходимо твердо заявить, что и впадать въ противорѣчіе иногда вѣдь вовсе не бываетъ надобности.

XI.

Философія Ренана.

Какъ-бы ни противорѣчилъ самъ себѣ писатель, какіе-бы виды ни принималъ на себя, прикидываясь и пуская пыль въ глаза, дѣйствительная его душа, истинный образъ мыслей и чувствъ не можетъ вполнѣ укрыться, а только яснѣе обнаружится для того, кто умѣетъ понимать душевныя проявленія. Такъ и относительно Ренана нужно сказать, что, какъ ни усердно онъ забавляетъ читателей и себя самого, какъ ни искусно онъ прячется за блестящей мыльной пѣной, которую взбиваетъ вокругъ себя, но для спокойнаго и пристальнаго взгляда никакъ не могутъ остаться тайною его основные вкусы и понятія. Кто сумѣетъ осадить эту пѣну, для того въ остаткѣ иногда получится только немножко мутной и малосодержательной жидкости.

Въ отношеніи къ философіи, очевидно, что у Ренана нѣтъ ничего твердаго и яснаго, а что всего хуже,— нѣтъ сознанія этого недостатка, нѣтъ тоски по твердомъ и ясномъ. Его разсужденія о томъ, почему онъ отвергаетъ чудеса, его исповѣданіе эмпиризма, опредѣленіе сверхъестественнаго и пр.,—словомъ, всѣ случаи, гдѣ онъ пытается логически опредѣлить и связать свои мысли,—ниже всякой критики. Совершенно ясно, что въ своихъ взглядахъ онъ руководится не послѣдовательнымъ развитіемъ извѣстныхъ началъ, а смутными и перекрещивающимися симпатіями. Симпатіи эти указать вовсе не трудно. Въ Ренанѣ, какъ онъ самъ признается, очень сильно говоритъ чувство человѣка, вышедшаго

изъ подземелья на свѣтъ яркаго дня. Отсюда у него то, что̀ Пушкинъ однажды назвалъ „слабоумнымъ изумленіемъ передъ своимъ вѣкомъ". Мы говоримъ здѣсь объ умственномъ движеніи, а не о нравственности. Въ нравственномъ и политическомъ отношеніи Ренанъ судитъ о современности самостоятельно, и часто строго и вѣрно. Но умственными явленіями нашего времени онъ совершенно ослѣпленъ и старается только не отстать отъ просвѣщенія. Онъ раздѣляетъ обыкновенное предубѣжденіе въ пользу естественныхъ наукъ, ожидаетъ отъ нихъ познанія самой сущности вещей, видитъ въ нихъ всю силу и все спасеніе. Свои общія философскія убѣжденія онъ однажды выразилъ слѣдующимъ образомъ:

„Живое увлеченіе, которое я питалъ къ философіи, „не ослѣпляло меня относительно достовѣрности ея ре„зультатовъ. Я очень скоро потерялъ всякое довѣріе къ „этой отвлеченной метафизикѣ, имѣющей притязаніе „быть наукою внѣ другихъ наукъ и независимо разрѣ„шать высочайшія проблемы человѣчества. Положитель„ная наука осталась для меня единымъ источникомъ „истины. Впослѣдствіи, я испытывалъ нѣкоторое раз„драженіе при видѣ преувеличенной репутаціи Огюста „Конта, возведеннаго на степень перворазряднаго вели„каго человѣка за то, что онъ сказалъ, дурнымъ сло„гомъ, то, что̀ всѣ научные умы, въ теченіе двухъ сотъ „лѣтъ, видѣли такъ-же ясно, какъ и онъ. Научный „духъ лежалъ въ самой основѣ моей природы" (Souvenirs, p. 250).

Изъ этого исповѣданія всего скорѣе видно, что Ренанъ влюбленъ въ научный духъ чисто платонически. Контъ высказалъ интересную мысль, что положитель-

ныя науки (оставимъ имъ это названіе) не разрѣшаютъ высочайшихъ проблемъ человѣчества. Ренанъ, очевидно, не въ силахъ сообразить эту точку зрѣнія; для него познаніе все сливается въ одно общее поприще. Поэтому, онъ не видитъ своеобразія Конта, приписываетъ всякимъ научнымъ умамъ стремленіе и надежду разрѣшать высочайшіе вопросы и отвергаетъ философію лишь потому, что она независимо (à elle seule) берется за ихъ разрѣшеніе. Во всемъ этомъ нѣтъ яснаго понятія ни о философіи, ни о наукахъ, и видно только одно—слѣпая вѣра въ какія-то познанія, которыя должны восполнить и замѣнить философію и, вообще, удовлетворить всякимъ запросамъ ума. Если мы вспомнимъ, что этотъ несознательный позитивистъ есть въ то же время поклонникъ нѣмецкаго идеализма, что онъ съ любовью ссылается на Канта и Гегеля, что онъ пишетъ исторію христіанства, руководясь духомъ и трудами нѣмецкихъ экзегетовъ, то мы увидимъ, какую разнообразную и несвязную смѣсь образуютъ взгляды Ренана.

Противорѣчія, въ которыя попалъ человѣкъ, не составляютъ для него укора, если онъ сознаетъ ихъ и старается изъ нихъ выбиться. Обыкновенно, очень разнородныя симпатіи живутъ въ душѣ человѣка, не находя себѣ примиренія и высшаго единства. Но нехорошо, если эти противорѣчія выдаются за какую-то мудрость, если непослѣдовательность и несообразность признаются за тонкость и глубину мысли. Ренанъ пишетъ всегда такъ, какъ будто не вполнѣ открываетъ свою мысль, какъ будто у него въ запасѣ, про себя, имѣется особая философія, разрѣшающая всѣ его загадки и капризы. Такъ пишетъ онъ конечно для обольщенія читателей; но вѣроятно тутъ есть доля и самообольщенія. Въ дѣйстви-

тельности, у него нѣтъ никакой философіи, и даже, говоря по-французски, нѣтъ того, изъ чего дѣлается философія.

XII.

Пониманіе христіанства и буддизма.

Пониманіе религіи—вотъ главный вопросъ въ отношеніи къ Ренану. Тутъ онъ имѣетъ безъ сомнѣнія большія заслуги, и, если-бы не портилъ самъ своего дѣла, если-бы не писалъ, ради ослѣпленія читателей, такимъ догматическимъ тономъ, какъ будто онъ насквозь понимаетъ всякій предметъ, о которомъ пишетъ, то поворотъ къ лучшему, произведенный его писаніями о религіи, имѣлъ-бы очень серьезное значеніе. Извѣстно, что на фанатизмъ защитниковъ религіи противники ея отвѣчаютъ не меньшимъ фанатизмомъ. До Ренана, во французской литературѣ, значитъ отчасти и въ литературѣ всего міра, люди, отказывавшіеся отъ религіи, были ярыми ея порицателями. Ренанъ первый заговорилъ тономъ не только чуждымъ фанатизма, но уважительнымъ; его живое и пристальное любопытство дышало чувствомъ высокой важности, которую онъ придаетъ предметамъ своего изслѣдованія. Стоитъ сравнить въ этомъ отношеніи Ренана не только съ вольнодумными французами, но и съ нѣмцами, его учителями. Онъ сталъ, напримѣръ, неизмѣримо выше Штрауса, потому что, какъ ни слабы и неправильны его очерки, все-таки онъ уловилъ иныя живыя черты лицъ и событій первобытной исторіи христіанства, онъ даетъ намъ если не ясную картину,

то какое-то мерцаніе той дѣйствительности, на которую устремлялъ свое жадное вниманіе. Между тѣмъ Штраусъ съ своими тяжелыми и сухими пріемами приходилъ все больше и больше къ однимъ отрицательнымъ результатамъ; онъ все хотѣлъ быть строго научнымъ и кончилъ совершеннымъ непониманіемъ христіанства и его исторіи.

Настоящаго пониманія религіи нельзя однако-же приписать Ренану. Многое онъ чувствуетъ вѣрно, вслѣдствіе своего церковнаго воспитанія, но цѣлаго онъ обнять не можетъ, и корень всего дѣла ему не доступенъ.

Какъ образчикъ неясности его мыслей, мы приведемъ здѣсь сужденіе о буддизмѣ, о той религіи, которая, конечно, представляетъ односторонній, но за то самый поразительный и отчетливый примѣръ религіознаго стремленія.

Ренанъ не находитъ словъ для порицанія буддистской философіи, ея нигилизма, и затѣмъ продолжаетъ:

„Говоря о буддизмѣ, все кажется, будто мы умышленно подыскиваемъ парадоксы, тогда какъ мы только „сближаемъ самые несомнѣнные тексты. Этотъ ужасный „нигилизмъ, который у насъ показался-бы верхомъ нечестія,—завершается очень возвышенною моралью“.

„Апостолы Сакья-Муни были убѣждены, что весь „міръ долженъ стать буддистскимъ. И они ошиблись „только на-половину. Самое неудовлетворительное ученіе, „какое только когда нибудь грезилось человѣку, увлекло „весьма различныя страны. Религія, созданная казалось-„бы лишь для утонченныхъ скептиковъ, наименѣе ясная, „наименѣе утѣшительная изъ всѣхъ религій, сдѣлалась „культомъ племенъ до того времени очень грубыхъ. Кро„тость нравовъ этихъ благочестивыхъ безбожниковъ, и „общій характеръ благодушія ихъ проповѣди—вотъ что „сдѣлало ихъ популярными. Веды, строгія и аристокра-

„тическія, никакъ не могли-бы сдѣлать подобныхъ чу-„десъ. Народъ принимаетъ религію только съ внѣшней „ея стороны. Не отъ религіозной метафизики пропа-„ганда получаетъ свою силу. Умиленіе, благожелатель-„ность этихъ добрыхъ монаховъ набросили покровъ на „ихъ философію, о которой сами они можетъ быть вовсе „и не думали“ (Nouv. ét. p. 85—87).

Какое неясное и, очевидно, превратное пониманіе дѣла! Ренанъ не только не задумывается надъ вопросомъ, но даже всячески старается выставить его неразрѣшимымъ парадоксомъ, и въ этомъ стараніи находитъ свое полное удовлетвореніе. По его словамъ, самая возвышенная мораль, ни съ того ни съ сего, соединилась неразрывно съ самымъ несостоятельнымъ и неутѣшительнымъ метафизическимъ ученіемъ. Онъ не только не желаетъ объяснить связь между нравственностію и философіею данной религіи, а даже прямо утверждаетъ, что тутъ этой связи нѣтъ, что существуетъ даже непримиримое противорѣчіе, на которое набросила покровъ лишь кротость добрыхъ монаховъ. Отчего они стали такими добрыми, неизвѣстно; но для этого имъ непремѣнно нужно было даже не думать о метафизическомъ ученіи, которое они исповѣдывали.

Вотъ образчикъ Ренановскаго пониманія. Въ предисловіи онъ съ насмѣшкою разсказываетъ, что Бюлозъ отказался напечатать эту его статью въ „Revue de deux mondes“, потому что не могъ повѣрить въ существованіе такихъ буддистовъ. Бюлозъ былъ правъ, отказываясь вѣрить, что фактъ, обнимающій если не половину, то навѣрно треть рода человѣческаго, въ сущности есть безсмысленный парадоксъ.

XIII.

Коренной недостатокъ.

Обо всей „Исторіи происхожденія христіанства“ можно сказать, что она страдаетъ непониманіемъ самой сущности предмета, и потому, въ цѣломъ, есть произведеніе неудачное. Внутреннее развитіе христіанскаго духа и христіанской мысли представляетъ самую слабую, сухую и безсвязную сторону въ этой книгѣ. За то внѣшнія подробности, побочные предметы изображены иногда съ истиннымъ мастерствомъ, со всею тонкостію нюансовъ. Лучшія главы, конечно, не тѣ, гдѣ говорится о христіанахъ, а тѣ, гдѣ разсказывается о языческомъ мірѣ и о римскихъ императорахъ. Тутъ авторъ замѣтно оживляется и становится интересенъ необыкновенно-проницательными замѣчаніями. Какъ монахъ, глядящій съ жадностью и любопытствомъ на свѣтскую жизнь, онъ видитъ блескъ и прелесть въ томъ, что̀ уже ускользаетъ отъ притупленнаго вниманія свѣтскихъ людей. Такъ, онъ тонко цѣнитъ удовольствія Нерона и чуть не таетъ, когда говоритъ о женщинахъ, и даже объ ихъ притираньяхъ и перчаткахъ.

Между тѣмъ, внутренній ходъ всей исторіи, глубокій переворотъ, совершившійся въ умахъ и сердцахъ человѣчества, изображенъ и не ясно и не полно. Часто съ чудесною отчетливостью указываются отдѣльныя черты того контраста, который обнаружился между нравами и понятіями античнаго міра и новымъ духомъ христіанства; но цѣлости нѣтъ въ этой картинѣ, и нѣтъ той послѣдовательности и ясности, при которой видно было-бы,

какъ этотъ контрастъ становился рѣзче и опредѣленнѣе, и какъ сила жизни все больше и больше покидала язычество и переходила на сторону христіанства. Мало того, что этого не показано; Ренанъ кончилъ тѣмъ, что чуть не утверждаетъ противоположнаго. Въ послѣднемъ томѣ, чтобы позабавить и поразить читателей, онъ изображаетъ дѣло такъ, какъ будто побѣда христіанства есть совершенная загадка. Онъ противополагаетъ христіанству стоицизмъ и знаменитаго его представителя Марка-Аврелія. Міръ тогда нуждался въ возрожденіи и искалъ возрожденія. Въ отвѣтъ на такое исканіе явилось два пути, христіанство и стоическая философія, этотъ цвѣтъ всей древней мудрости; но, удивительнымъ образомъ, стоицизмъ, не смотря на всѣ благопріятныя обстоятельства, не имѣлъ успѣха, тогда какъ „религія, „имѣвшая цѣлью внутреннее утѣшеніе маленькой кучки „людей, по неслыханной удачѣ (par une fortune inouie), „стала религіею милліоновъ, составляющихъ самую дѣя„тельную часть человѣчества *).

Мысль, которая тутъ сказывается, конечно, очень проста, именно, что мудрость и наука не имѣютъ въ человѣческомъ мірѣ и его исторіи той роли, какую имъ слѣдовало-бы имѣть. Къ несчастію, очень ужъ трудны тѣ натяжки, къ которымъ пришлось прибѣгать Ренану, чтобы доказать такую, казалось-бы, не трудную тему. Онъ превозноситъ Марка-Аврелія сколько можетъ, и какъ мыслителя, и какъ человѣка и дѣятеля. Напрасныя усилія! Христіанскіе писатели и читатели всегда любили книгу Марка-Аврелія, еще больше любили Сенеку, и еще больше Эпиктета. Немножко поздно и хва-

*) Marc-Aurèle, p. 626.

лить этихъ философовъ, и обращать самаго слабаго изъ нихъ въ какое-то диво. Но, пока дѣло идетъ о книгахъ, невѣрность въ оцѣнкѣ еще не бросается въ глаза. Всего яснѣе преувеличеніе Ренана видно изъ самаго его разсказа о жизни и царствованіи Марка-Аврелія. Гдѣ тутъ плоды стоической мудрости? Этотъ всесильный кесарь не только не внесъ въ жизнь людей никакого новаго принципа, но не сдѣлалъ и никакого существеннаго преобразованія въ своей имперіи; онъ даже ни на кого не имѣлъ вліянія, не пріобрѣлъ ни приверженцевъ, ни послѣдователей, и подчинялся всѣмъ нравственнымъ и религіознымъ движеніямъ языческой среды своего времени. Какъ-же можно въ такомъ человѣкѣ, хотя и очень добромъ и добросовѣстномъ, видѣть одного изъ людей, способныхъ возрождать человѣчество?

Вотъ какимъ парадоксомъ, искажающимъ смыслъ всего дѣла, кончилъ Ренанъ свое сочиненіе. Онъ хотѣлъ быть безпристрастнымъ, а потому и поддался большому пристрастію въ противную сторону.

Эта шаткость ума представляетъ нѣчто поразительное. Она, можетъ быть, свидѣтельствуетъ намъ о какомъ-то глубокомъ недостаткѣ, свойственномъ тому клерикальному образованію, которое получилъ Ренанъ. Онъ потомъ отказался отъ вѣрованій, но у него, кажется, остались всѣ прежнія привычки мышленія, недовѣріе къ уму, предъубѣжденіе противъ твердости и ясности знанія, расположеніе подкапываться подъ самую очевидность и умѣнье изъ однихъ и тѣхъ-же посылокъ выводить неодинаковыя заключенія. Ученые, которые трудятся съ нимъ на одномъ поприщѣ экзегетики, часто изумлялись,

что, при чрезвычайномъ обиліи и остроуміи своихъ соображеній, Ренанъ выработалъ себѣ такъ мало какихъ-нибудь цѣльныхъ и ясныхъ взглядовъ. Тутъ, можетъ быть, дѣйствуетъ правило: ignoti nulla cupido. Кто никогда въ юности не испытывалъ твердаго умственнаго убѣжденія, для кого строгое научное познаніе никогда не открывалось въ полной своей силѣ и прелести, тотъ и не имѣетъ понятія объ этихъ вещахъ, тотъ и не чувствуетъ къ нимъ живаго стремленія, для того умъ и мышленіе навсегда останутся не серіознымъ дѣломъ души, а лишь какою-то забавою. Нельзя безнаказанно проходить школу вражды противъ разума и долгіе годы упражняться въ софистикѣ, какъ въ полезномъ умственномъ трудѣ. Говорятъ обыкновенно, что Ренанъ увлекается краснорѣчіемъ, фразою; но возможность этихъ увлеченій имѣетъ, конечно, причину болѣе глубокую и истинно печальную.

(„Русь" 1885, № 8 и 9).

ШТРАУСЪ *).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Оправданіе существующаго. — Катихизисъ новой вѣры. — Монархія. — Превосходство монархіи надъ республикою. — Выгоды наслѣдственной монархіи.

Вотъ очень странная небольшая книга, написанная всесвѣтно-знаменитымъ богословомъ и имѣвшая огромный успѣхъ въ Германіи, какъ это видно и изъ того, что уже въ 1872 году, когда она явилась, она выдержала три изданія. Съ перваго раза очень трудно опредѣлить ея цѣль и предметъ. Чѣмъ она вызвана? Повидимому ничѣмъ, а если хотите, то множествомъ различнѣйшихъ вещей. О чемъ она говоритъ? Ни о чемъ въ особенности, но по немножку обо всемъ на свѣтѣ. Такъ-какъ, однако-же, книги суть созданія органическія, то мы старались найти общую мысль и главное желаніе автора. Кажется, мы не ошибемся, если скажемъ, что главная цѣль книги есть *оправданіе существующаго*, то

*) Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniss von David Friedrich Strauss. Dritte Auflage. *Leipzig*, 1872. (Старая и новая вѣра. Исповѣданіе Давида Штрауса. 3-е изд. *Лейпцигъ* 1872).

есть нынѣшняго состоянія и образа дѣйствій Германіи. Ближайшимъ поводомъ едва-ли не была та борьба съ католицизмомъ, которую подняла нынѣшняя германская имперія. Штраусъ, подобно всѣмъ нынѣшнимъ нѣмцамъ, исполненъ самаго пламеннаго германофильства, и вотъ онъ пожелалъ не только сказать свое слово въ пользу борьбы, но и вообще прославить нынѣшній духъ Германіи. Онъ сталъ на самую высокую точку зрѣнія и, иногда просто восхищаясь, а чаще всего какъ будто обороняясь отъ чьихъ-то тяжкихъ обвиненій, доказываетъ, что все хорошо въ Германіи. Нѣмцы нынче утратили всякую вѣру, они уже не христіане: такъ и слѣдуетъ, говоритъ Штраусъ. Они не вѣрятъ ни въ личнаго Бога, ни въ безсмертіе души: такъ и слѣдуетъ, по мнѣнію Штрауса. Они признаютъ теорію Дарвина — такъ и нужно. Они живутъ въ монархіи, исполнены народнаго самолюбія, оказались жестоко-воинственными — такъ все это и должно быть. Бисмаркъ и Мольтке — геніальнѣйшіе люди, и вообще прогрессъ во всемъ идетъ прекрасно и достигъ нынче точки, которая выше всѣхъ предъидущихъ точекъ. Вотъ смыслъ книги, объясняющій и ея пестроту, и горячій, иногда болѣзненно-раздражительный тонъ.

Можно, пожалуй, видѣть въ книгѣ и больше; можно отчасти считать ее за дѣйствительное *исповѣданіе*, за *катихизисъ новой вѣры*, объясняющій всѣ члены ея символа. Старый ученый, обрадованный успѣхами Германіи, какъ будто задумался и задалъ самому себѣ вопросъ: ну во что-же ты вѣришь? Имѣешь-ли ты право радоваться, если взглянешь не только на политическіе и военные успѣхи, а и на духовную жизнь своего народа, на его науку, религію, на его нравственный духъ?

И Штраусъ смѣло и даже дерзко отвѣчалъ, что онъ признаетъ исповѣданіе современныхъ нѣмцевъ, что онъ радуется духовному развитію своего народа.

Какъ-бы то ни было, въ книгѣ много интереснаго; мало связи, нѣтъ согласія между частями, но прекрасно рисуется современное положеніе вещей, многія стремленія, одушевляющія Германію, и взгляды, которые тамъ господствуютъ. Мы извлечемъ нѣкоторыя, наиболѣе поучительныя мѣста.

Приведемъ сперва политическія мнѣнія Штрауса. Намъ, русскимъ, которые вѣчно всѣмъ недовольны, можно поучиться у нынѣшнихъ нѣмцевъ умѣнью уважать существующее и понимать его смыслъ. Вотъ какъ разсуждаетъ Штраусъ о *монархіи*:

„Что̀ касается до различныхъ формъ правленія, то, „конечно, нынче нужно считать господствующимъ въ „Германіи тотъ взглядъ, что сама по себѣ лучшая форма „есть республика, но что для нея, въ силу разныхъ обстоятельствъ и отношеній, еще не пришло время для „большихъ европейскихъ государствъ; и потому, въ ожиданіи имѣющаго наступить, но неизвѣстнаго точно срока, „слѣдуетъ довольствоваться монархіею, устраивая ее по „возможности лучше. Такой взглядъ—все-таки есть шагъ „къ лучшему въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ было 24 года „назадъ, когда у насъ существовала многочисленная партія, смотрѣвшая на монархію, какъ на побѣжденную „точку зрѣнія, и думавшая, что можно прямо добиваться „республики“.

„А между тѣмъ, вопросъ, какая форма правленія „сама по себѣ наилучшая, все-таки по прежнему дурно „поставленъ. Онъ подобенъ вопросу: какая одежда всего „лучше? — вопросу, на который вовсе нельзя отвѣчать,

„если не принять въ соображеніе съ одной стороны климата и времени года, съ другой возраста, пола и состоянія здоровья. Абсолютно-наилучшей государственной „формы нѣтъ, такъ какъ государственная форма по самому существу есть нѣчто относительное. Республика „можетъ быть превосходна для Соединенныхъ Штатовъ „въ неизмѣримыхъ пространствахъ Сѣверной Америки, „которымъ не угрожаетъ никакой сосѣдъ, а опасны развѣ „только собственныя внутреннія партіи; она можетъ быть „хороша для Швейцаріи въ ея горахъ, нейтралитетъ которой сверхъ того гарантированъ собственнымъ интересомъ сосѣднихъ государствъ,—и вмѣстѣ съ тѣмъ она „можетъ быть гибельна для Германіи, ущемленной между расширяющейся Россіей и безпокойной, да еще „сверхъ того питающей мстительные замыслы, Франціею".

„Но, даже если дѣло идетъ о томъ, которая изъ „различныхъ государственныхъ формъ всего сообразнѣе „съ достоинствомъ, или лучше сказать (т. е. говоря „безъ предзаятій), съ природой и назначеніемъ человѣка, то и въ этомъ смыслѣ еще многое препятствуетъ „рѣшить вопросъ въ пользу республики. Исторія и опытъ „до сихъ поръ вовсе не показываютъ намъ, чтобы человѣчество въ республиканскихъ государствахъ ближе „подходило или надежнѣе шло къ своему назначенію „(которое, конечно, слѣдуетъ понимать какъ гармоническое развитіе его даровъ и способностей), чѣмъ въ „монархическихъ. Что республики древности здѣсь не „должны быть принимаемы въ соображеніе, признано „всѣми, такъ какъ онѣ, въ силу обусловлившаго ихъ „рабства, были скорѣе весьма исключительными аристократіями. Въ средніе вѣка республика является намъ „только въ маленькихъ общинахъ, главнымъ образомъ

„въ городахъ и въ городскихъ областяхъ, и опять, если „и безъ настоящаго рабства, то большею частію въ „очень строгихъ аристократическихъ формахъ. Въ но„вѣйшее время она является намъ или преходящею, „какъ во Франціи, гдѣ она составляетъ переходную точку „между страшными политическими кризисами, или-же „постоянною формою—въ большомъ масштабѣ въ Сѣ„верной Америкѣ, въ маленькомъ—въ Швейцаріи".

„И, безъ сомнѣнія, есть извѣстныя преимущества, ко„торыя, очевидно, общи этимъ двумъ единственно проч„нымъ республикамъ. Прежде всего то, чѣмъ въ осо„бенности эти государственныя формы расположили къ „себѣ толпу: при маломъ обремененіи гражданъ, боль„шею частію хорошее состояніе финансовъ. Затѣмъ— „не только страдательное, но и дѣятельное, вліятельное „отношеніе гражданина къ правительству. Съ этимъ „связанъ большій просторъ, который, вообще, дается „отдѣльному лицу для его дѣятельности и его желаній. „Но это самое тотчасъ-же представляетъ и темную сто„рону, такъ какъ вмѣстѣ дается полная воля полити„ческимъ проискамъ, государство поддерживается въ „состояніи непрерывнаго броженія и ставится на на„клонную плоскость, по которой оно почти неизбѣжно „движется къ грубѣйшей и грубѣйшей демократіи,—то „есть, къ несомнѣнно наихудшей изъ всѣхъ государ„ственныхъ формъ".

„И, между тѣмъ какъ мы не оставляемъ надежды „ввести и въ монархію участіе гражданъ въ управленіи „и болѣе свободное движеніе—на сколько это согласно „съ твердостію государства,—мы не находимъ въ двухъ „названныхъ республикахъ того процвѣтанія высшихъ „духовныхъ интересовъ, которое видимъ въ монархиче-

„ской Германіи и сравнительно также въ Англіи. Не „то, чтобы тамъ недоставало школъ, высшихъ или низ„шихъ учебныхъ заведеній, отчасти даже богато снаб„женныхъ и прекрасно устроенныхъ. Но мы не нахо„димъ высшихъ результатовъ. Въ Швейцаріи задаютъ „тонъ нѣмецкіе кантоны, въ Соединенныхъ Штатахъ „господствующимъ элементомъ нужно считать послѣ ан„гличанъ тоже нѣмцевъ: и однако-же, наука и искус„ство въ Швейцаріи или въ Сѣверной Америкѣ далеко „не производятъ тѣхъ самостоятельныхъ плодовъ, какіе „онѣ приносятъ въ Германіи или Англіи. Швейцарія „вовсе не имѣетъ своей классической литературы, а жи„вится ею именно у насъ; и точно также, каѳедры въ „своихъ университетахъ она все еще должна замѣщать „нѣмцами, или людьми учившимися въ Германіи. Въ „подобномъ отношеніи находится сѣверо-американская „литература къ англійской; если-же иногда дѣло идетъ „иначе, то мы находимъ, что какъ наука, такъ и обу„ченіе въ Сѣверной Америкѣ имѣютъ преимущественно „направленіе къ точному и практическому, къ пригод„ности и пользѣ. Однимъ словомъ, на насъ, нѣмцевъ, „умственное развитіе этихъ республикъ производитъ впе„чатлѣніе чего-то грубо-реалистическаго и прозаически„тощаго; попадая въ ихъ атмосферу, мы чувствуемъ, „что намъ недостаетъ того тончайшаго духовнаго воз„духа, которымъ мы дышемъ въ нашемъ отечествѣ; да „сверхъ того мы находимъ, что въ Сѣверной Америкѣ „воздухъ зараженъ такимъ гніеніемъ господствующихъ „классовъ, которому подобное встрѣчается только въ „самыхъ запущенныхъ частяхъ Европы. И такъ-какъ „мы убѣждены, что эти недостатки находятся въ тѣс„ной связи, кромѣ отсутствія національности, съ сущ-

„ностію республиканской государственной формы, то мы „далеко не можемъ признать за нею несомнѣнное пре„восходство надъ монархическою“.

„Нельзя не признать, конечно, одного: устройство „республики, даже большой, проще, понятнѣе, чѣмъ „устройство хорошо организованной монархіи. Союзное „управленіе Швейцаріи, не говоря уже объ отдѣльныхъ „кантонахъ, относится къ англійскому управленію, какъ „рѣчная мельница къ наровой машинѣ, какъ вальсъ „или пѣсня къ фугѣ или симфоніи. Въ монархіи есть „что-то загадочное, даже, повидимому, несообразное; но „именно въ этомъ и заключается тайна ея превосход„ства. Всякое таинство кажется нелѣпостью; и однако„же таинство непремѣнно есть во всѣмъ, что̀ глубоко, „и въ жизни, и въ наукѣ и въ государствѣ“.

„То, что слѣпой случай рожденія долженъ возвы„шать одного человѣка надъ всѣми другими, дѣлать его „распорядителемъ судьбы милліоновъ, что этотъ одинъ, „не смотря на возможную случайность ограниченныхъ „умственныхъ силъ или дурнаго характера, долженъ „быть владыкою, а множество другихъ, гораздо луч„шихъ и разумнѣйшихъ—его подданными, что его семья „и его дѣти должны стать высоко надъ всѣми другими,— „для того, чтобы все это находить страннымъ, неспра„ведливымъ, несогласнымъ съ кореннымъ равенствомъ „всѣхъ людей, не нужно большаго ума; почему рѣчи „такого рода и составляли всегда любимое поприще де„мократической глупости. Гораздо больше терпѣнія, са„моотреченія, глубокаго вниманія и проницательности „требуется, чтобы понять, что именно въ положеніи „одного человѣка съ его семьею на такой высотѣ, на „которой его не захватываетъ борьба интересовъ и пар-

„тій, на которой онъ изъятъ отъ всякаго сомнѣнія въ „своемъ полномочіи, отъ всякой смѣны, кромѣ естественной, производимой смертью, но и въ этомъ случаѣ замѣняется безъ выбора и борьбы преемникомъ, „напередъ опредѣляемымъ тоже естественными отношеніями,—менѣе видимо съ перваго взгляда, говорю я, „что именно на этомъ основывается крѣпость, благотворность, несравненное превосходство монархіи. И „однако-же, только это учрежденіе предохраняетъ государство отъ потрясеній и язвъ, неразлучныхъ съ повторяющеюся черезъ два-три года смѣною верховныхъ „лицъ въ государствѣ. Въ особенности, ходъ дѣла при „выборѣ сѣверо-американскаго президента, неизбѣжные „подкупы, необходимость награждать потомъ своихъ пособниковъ мѣстами и затѣмъ смотрѣть сквозь пальцы „на ихъ службу, проистекающая отсюда продажность „и испорченность именно управляющихъ классовъ— „всѣ эти глубоко коренящіяся болѣзни прославленной „образцовой республики такъ рѣзко выступили на свѣтъ „въ послѣдніе годы, что стремленіе нѣмецкихъ клубныхъ ораторовъ, публицистовъ и поэтовъ искать поэтическихъ и даже нравственныхъ идеаловъ по ту сторону Атлантическаго океана, нѣсколько охладѣло“.

„Искать ихъ по ту сторону канала—тоже неправильно; но, конечно, отъ англичанъ мы можемъ, все-таки, научиться большему и лучшему, чѣмъ отъ американцевъ. Въ особенности тому, какое значеніе для „народа заключается въ прирожденной монархіи и династіи. Въ послѣдніе годы, можно было нѣсколько пугаться и опасаться за политическое здоровье Англіи, „вслѣдствіе республиканской агитаціи, которая въ ней „происходила; ибо, что республика была-бы finis Bri-

„tanniae, это ясно всякому, даже мало понимающему дѣло. „Но вотъ заболѣваетъ опасно принцъ Валлійскій, и хотя „нація имѣла право многое не одобрять и въ личности „и въ поведеніи наслѣдника престола, однако же общее „участіе подымается до такой высоты, что даже сами „республиканскіе коноводы считаютъ нужнымъ подать „королевѣ адресъ соболѣзнованія. Какой здравый поли„тическій инстинктъ въ англійскомъ народѣ! Какъ должны „завидовать ему французы, которые искоренили свою ди„настію съ дерзкой поспѣшностью и теперь, колеблясь „между деспотизмомъ и анархіею, не умѣютъ ни жить, „ни умереть. И какимъ счастіемъ мы, нѣмцы, должны „считать для себя то, что, вслѣдствіе подвиговъ и собы„тій послѣднихъ лѣтъ, династія Гогенцоллерновъ пустила „глубокіе корни и за предѣлами Пруссіи, во всѣхъ нѣ„мецкихъ земляхъ, во всѣхъ нѣмецкихъ сердцахъ".

„Что монархіи слѣдуетъ окружить себя республи„канскими учрежденіями,—это французская фраза, и „можно надѣяться, что мы стоимъ выше ея; да и вы„ставить парламентаризмъ какъ главное знамя—значило „бы все-таки гоняться за иностранными идеалами: на„противъ, изъ характера самаго нѣмецкаго народа и изъ „отношеній нѣмецкаго государства, должны развиться и „разовьются учрежденія, которыя способны соединить „крѣпость государства съ свободою движенія, умственные „и нравственные успѣхи съ матеріальнымъ процвѣта„ніемъ" (стр. 265—273).

Это мѣсто вполнѣ характерно для книги Штрауса; тутъ видны и руководящее стремленіе книги, и ея пріемы. Пріемы эти очень разнообразны; очень нерѣдко Штраусъ прибѣгаетъ къ тончайшей гегелевской діалектикѣ, на которой онъ былъ воспитанъ; но тутъ же, если

нужно, онъ спускается до грубѣйшаго эмпиризма. Когда онъ стоитъ за правое дѣло, какъ въ настоящемъ случаѣ, все идетъ прекрасно; но онъ жалокъ, когда берется защищать заблужденія и недостатки. А къ этому его непремѣнно приводитъ его главная тема—доказать, что Германія совершаетъ нынче удивительный прогрессъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Противъ космополитизма.—Четвертое сословіе. — Религія. — Счастливая жизнь.—Утѣшеніе въ не-безсмертіи души.

Благополучіе Германіи очень велико въ настоящее время; но ему враждебны разныя современныя ученія и стремленія, изъ которыхъ одни отрицаютъ самыя средства и основы совершившагося объединенія Германіи, другія угрожаютъ разрушить въ будущемъ весь нынѣшній порядокъ вещей. Штраусъ съ большимъ жаромъ вооружается за этотъ порядокъ; онъ защищаетъ въ самомъ принципѣ войну, начало народности, монархію, дворянство, необходимость смертной казни; онъ возстаетъ противъ космополитизма, интернаціоналки, рабочаго движенія, соціальной демократіи, общей подачи голосовъ. Читая все это, ясно видишь, какая горячая борьба идетъ нынче въ Европѣ, и невольно чувствуешь, что едва ли въ этой борьбѣ побѣда останется на той сторонѣ, на которой стоитъ Штраусъ. Конечно, упоеніе, овладѣвшее Германіею, дастъ ей на долго силу держаться въ нынѣшнемъ положеніи; но рано или поздно это упоеніе пройдетъ, и тогда — что̀ бы не говорилъ Штраусъ, —

она не найдетъ опоръ для сопротивленія разлагающимъ вліяніямъ.

Вотъ мѣсто, въ которомъ Штраусъ вооружается противъ *космополитизма:*

„Ученіе, противное началу народности, именуетъ себя „нерѣдко космополитизмомъ, выдаетъ себя за выходъ „изъ ограниченной національной точки зрѣнія и за восхожденіе на универсальную точку зрѣнія человѣчества. „Но мы знаемъ: при всякой аппеляціи нужно держаться „порядка инстанцій. Посредствующая же инстанція между „отдѣльнымъ человѣкомъ и человѣчествомъ есть нація. „Кто знать не хочетъ о своей націи, тотъ отъ этого „еще не станетъ космополитомъ, а будетъ только эгоистомъ. Добраться до любви къ человѣчеству можно „только посредствомъ любви къ націи. Народы съ своими „особенностями суть богожеланныя, т. е. сообразныя съ „природою формы, въ которыхъ человѣчество доходитъ „до своего бытія, которыхъ не можетъ упускать изъ „виду никакой разумный человѣкъ, отъ которыхъ не можетъ отрекаться никакой человѣкъ съ сердцемъ. Между „язвами, которыми болѣетъ народъ Сѣверо-американскихъ „Соединенныхъ Штатовъ, одна изъ глубочайшихъ есть „недостатокъ національнаго характера. И наши европейскія націи суть смѣшанные народы: въ Германіи, Франціи, Англіи, разныя составныя части, кельтскія, германскія, романскія, славянскія, были многократно передвинуты и пестро перемѣшаны. Но наконецъ онѣ „проникли́сь взаимно и, исключая нѣкоторыя пограничныя „полосы, нейтрализировались въ главномъ веществѣ націи, „образовавши новый продуктъ, именно теперешнюю національность этихъ народовъ. Напротивъ, въ Соединенныхъ „Штатахъ котелъ постоянно кипитъ и бродитъ вслѣд-

„ствіе подсыпки новыхъ ингредіенцій; составъ остается „смѣсью и не обращается въ живое цѣлое. Интересъ къ „общему государству не можетъ замѣнить національнаго „интереса; онъ, какъ дознано фактически, не имѣетъ „силы вырвать отдѣльныя лица изъ узкихъ предѣловъ „ихъ себялюбія, ихъ погони за деньгами, и возвысить „ихъ до идеальныхъ стремленій; гдѣ нѣтъ національнаго „чувства, тамъ нѣтъ и ничего душевнаго".

„Мы не забываемъ, что и для нашихъ великихъ „умовъ прошлаго столѣтія, для Лессинга, Гёте, Шил„лера, національныя границы были иногда слишкомъ „тѣсны. Такъ какъ они чувствовали себя гражданами „міра, а не гражданами нѣмецкаго государства, еще ме„нѣе конечно саксонцами или швабами, то для нихъ и „было слишкомъ мало мыслить и творить только въ духѣ „одного народа; Клопштокъ со своимъ восторгомъ отъ „нѣмецкой народности и нѣмецкаго языка казался оди„нокимъ чудакомъ. Однако же, Шиллеръ хорошо зналъ, „и высказалъ со всею силою своего крѣпкаго чувства, „что отдѣльный человѣкъ долженъ „примкнуть къ своему „дорогому отечеству", ибо только „здѣсь крѣпкіе корни „его силы"; и точно также, у двухъ остальныхъ великихъ „людей мы находимъ много изреченій, которыя свидѣ„тельствуютъ, что у нихъ космополитизмъ никакъ не „исключалъ патріотизма. Но далѣе, въ чемъ состоялъ „ихъ космополитизмъ? Они обнимали своимъ сочувствіемъ „все человѣчество; они желали, чтобы ихъ идеи прекрас„ной нравственности и разумной свободы мало-по-малу „было существлены у всѣхъ народовъ. Напротивъ того, „чего хотятъ нынѣшніе проповѣдники братства народовъ? „*Они хотятъ прежде всего уравненія вещественныхъ „условій человѣческаго существованія, средствъ для жизни*

„*и наслажденія; духовное стоитъ у нихъ на второмъ*
„*планѣ* и должно главнымъ образомъ способствовать до
„бываніи этихъ средствъ для наслажденія; и въ духов-
„номъ отношеніи они добиваются нѣкотораго уравненія,
„общей посредственности, вслѣдствіе чего на все высшее
„смотрятъ равнодушно, или даже подозрительно. Нѣтъ,
„такого рода всемірные граждане не смѣютъ ссылаться
„на Гёте и Шиллера!"

„Если съ кѣмъ они идутъ рука въ руку, то именно,
„какъ давно уже обнаруживается фактически, только съ
„тѣми людьми, для которыхъ (все равно, живутъ ли они
„въ Германіи или въ Италіи, въ Англіи или Америкѣ,)
„истинное отечество есть Ватиканъ. Эти люди не хотятъ
„національнаго государства, такъ какъ оно ограничи-
„ваетъ ихъ универсальное духовенство; точно такъ, какъ
„первые не хотятъ его потому, что оно препятствуетъ
„ихъ индивидуальному государству, распаденію человѣче-
„ства на слабо организованныя и лишь слегка связан-
„ныя между собою демократіи. Если ультрамонтаны, не
„рѣдко ссылаясь для вида на политическія права свобо-
„ды, хлопочутъ только объ духовномъ порабощеніи, то и
„у интернаціоналовъ, вслѣдствіе именно того,что выше
„всего ставится недѣлимое съ его матеріальными потреб-
„ностями и притязаніями, высшіе духовные интересы на-
„ходятся въ опасности. Только въ своемъ естественномъ
„національномъ расчлененіи можетъ человѣчество при-
„ближаться къ цѣли своего назначенія; кто пренебре-
„гаетъ этимъ расчлененіемъ, кто чуждъ благоговѣнія пе-
„редъ національнымъ, о томъ мы должны сказать: hic
„niger est, все равно носитъ-ли онъ черный клобукъ, или
„красную шапку" (стр. 261—265).

Такъ отстаиваетъ Штраусъ начало народности. Но

его доказательства на этотъ разъ не имѣютъ особенной силы. Въ самомъ дѣлѣ, народность у него во всякомъ случаѣ является началомъ подчиненнымъ, выше котораго и можно и даже должно становиться. Ультрамонтаны и интернаціоналы можетъ быть ошибаются въ своихъ цѣляхъ, но они совершенно правы въ томъ, что заботятся объ общечеловѣческихъ, а не объ частныхъ интересахъ. И всякій отдѣльный человѣкъ имѣетъ, повидимому, право, когда найдетъ нужнымъ, аппелировать къ высшей инстанціи и становиться на точку зрѣнія Лессинга, Гёте и Шиллера.

Вотъ почему болѣе послѣдовательные націоналы всегда приходили къ мысли, что, вообще, способствовать развитію и процвѣтанію народностей есть *наибольшая* услуга, какую можно оказать человѣчеству; чаще же всего націоналы приписываютъ *своей* народности какое-нибудь единственное и незамѣнимое значеніе, говорятъ, что она одна можетъ направить человѣчество на истинный путь. Такая вѣра совершенно естественна для человѣка, который не отвлеченно признаетъ принципъ національности, а дѣйствительно преданъ началамъ своего народа. Въ этой вѣрѣ космополитизмъ сливается во едино съ народностію.

Горе Европы заключается въ томъ, что идеаловъ, которые можно бы признать космополитическими, въ ней уже нѣтъ никакихъ, кромѣ идеала ультрамонтановъ и идеала интернаціоналовъ. Космополитизмъ, какъ свидѣтельствуетъ Штраусъ, выродился въ такія формы, отъ которыхъ нужно всячески защищаться и, уже поэтому, какъ можно крѣпче держаться за національность. Какую силу имѣетъ самый новый видъ европейскаго космополитизма, видно изъ слѣдующихъ разсужденій Штрауса о рабочемъ вопросѣ:

„Съ тяжелымъ чувствомъ приступаемъ къ рѣчи о „такъ называемомъ четвертомъ сословіи, такъ какъ здѣсь „мы касаемся самаго больнаго мѣста нынѣшняго общества. И извѣстно, что каждую рану или болѣзнь тѣмъ „труднѣе лѣчить, чѣмъ больше испорченъ ея ходъ предидущимъ лѣченіемъ. Что такъ именно случилось съ „такъ называемымъ рабочимъ вопросомъ, этого невозможно оспаривать. И въ томъ случаѣ уже требовалась „бы помощь, если бы паціентъ допускалъ себѣ помогать, „или же хотѣлъ бы самъ себѣ помочь надлежащими „средствами. Но крикуны, и преимущественно французскіе крикуны, вбили ему въ голову безумнѣйшія вещи. „Можно бы думать, что соціалистическій нарывъ, налившійся во Франціи многія десятилѣтія, наконецъ, теперь вполнѣ опорожнился въ ужасахъ парижской коммуны; что зарево ратуши и Тюильри довольно ясно показало обществу всѣхъ странъ, къ чему приводять извѣстные принципы; въ особенности, люди, раздѣлявшіе „эти мнѣнія въ Германіи, должны бы себя чувствовать „отчасти пристыженными, отчасти обезкураженными. Но „ничуть ни бывало. Въ собраніяхъ, въ ежедневныхъ газетахъ, въ самомъ нашемъ имперскомъ сеймѣ, осмѣливаются одобрять, даже превозносить то, отъ чего съ „ужасомъ отвращается всякій здравый человѣческій и „гражданскій смыслъ, и тѣмъ показывать, на что были „бы сами способны при удобныхъ обстоятельствахъ. При „этомъ, не только высказывается обычная зависть къ „имуществу, но и грубѣйшая ненависть къ искусству и „наукѣ, какъ къ роскоши, порождаемой имуществомъ. „Это Гунны и Вандалы нашей современной культуры, „которые тѣмъ опаснѣе, что они не нападаютъ на насъ „извнѣ, а находятся среди насъ самихъ“.

„Прежде всего сознаемся: одна сторона много по-„грѣшила, въ особенности многаго не сдѣлала; человѣ-„ческія силы были иногда безпощадно эксплуатируемы, „при чемъ не было надлежащей заботы ни о тѣлесномъ, „ни о нравственномъ благосостояніи работника. Затѣмъ „явились хорошіе люди, которые указали работникамъ „путь къ мирному самовспомоществованію; благонамѣ-„ренные фабриканты усердно пошли на встрѣчу этимъ „усиліямъ, устраивая жилища, съѣстные дома, способ-„ствуя учрежденію кассъ для больныхъ и умирающихъ. „Уже мы видимъ, что въ промышленныхъ городахъ со-„ставляются общеполезныя общества, которыя дѣлаютъ „своею задачею въ особенности устройство рабочихъ жи-„лищъ. Но, противъ истинныхъ пророковъ выступили лож-„ные и, какъ это обыкновенно бываетъ, нашли больше „преверженцевъ въ толпѣ. Рѣчи въ родѣ поговорки о „войнѣ между капиталомъ и трудомъ, насмѣшки и по-„рицанія, направленныя противъ буржуазіи, какъ-будто „она есть какое-то особое сословіе, а не открыта каж-„дую минуту для всякаго умнаго и прилежнаго работ-„ника,—все это легко повторять за другими, и все это „такъ рѣдко подвергается точному изслѣдованію. Загра-„ничное общество, которое предположило себѣ цѣлью ни-„что иное, какъ извращеніе всѣхъ существующихъ обще-„ственныхъ отношеній, протягиваетъ свои нити по всѣмъ „странамъ, поджигаетъ нашихъ рабочихъ, и изъ ихъ со-„юзовъ,первоначально основанныхъ для взаимнаго вспо-„моженія, дѣлаетъ арсеналы противодѣйствія нанимате-„лямъ. Стачки рабочихъ, безпрестанно происходящія во „всѣхъ концахъ и мѣстахъ, въ особенности же въ сто-„лицѣ новой Германской Имперіи, составляютъ явленіе „анархіи среди государства, войны среди мира, заговора,

„который совершается среди бѣлаго дня и безпрепят-„ственное существованіе котораго не дѣлаетъ чести пра-„вительству и законодательству, ничего противъ него не „дѣлающимъ и не желающимъ дѣлать“ (стр. 277—279).

Вотъ картина очень мрачная. Штраусъ, однако же, указывая всѣ эти факты, ничего не говоритъ о глубокой причинѣ зла, о томъ, почему идеи интернаціоналки нашли себѣ въ Германіи такую благопріятную почву, и вообще, отчего зависитъ это преобладаніе матеріальныхъ интересовъ, эта зависть къ богатству, эта ненависть къ наукѣ и искуству. Поэтому онъ не указываетъ и никакого выхода изъ положенія, никакого средства излѣчить или ослабить опаснѣйшую изъ болѣзней современнаго общества. Онъ возлагаетъ надежду только на силу государства. „По истинѣ“, говоритъ онъ, „до-„статочно поводовъ для того, чтобы новая германская „государственная власть прилежала къ своей должности „и береглась, какъ бы не было нанесено вреда обще-„ству“ (стр. 281).

Между тѣмъ дѣйствительно противодѣйствовать этимъ идеямъ могли бы только другія идеи, которыя стояли бы выше стремленія къ матеріальному благополучію и ставили бы это стремленіе на его надлежащее мѣсто въ человѣческой жизни. Такую господствующую роль имѣли до сихъ поръ идеи религіозныя, бывшія для людей и высшимъ руководствомъ, и неизмѣняющею опорою, и утѣшеніемъ въ несчастіи. Посмотримъ же, чѣмъ, по мнѣнію Штрауса, должны быть замѣнены эти идеи. Онъ утверждаетъ, что религія окончательно разрушена у образованныхъ нѣмцевъ (отчасти, вспомнимъ, при его собственныхъ усиліяхъ); но мы, говоритъ онъ, и безъ нея можемъ жить счастливо, и знаемъ, что̀ дѣлать. Вотъ

интересное описаніе этой жизни, описаніе того, какъ слѣдуетъ человѣку выполнять свои высшіе идеалы:

„Сверхъ нашихъ занятій по профессіи, — ибо мы „(*то-есть невѣрующіе*) принадлежимъ къ различнѣйшимъ „профессіямъ, мы не только ученые или художники, а „и чиновники, и военные, промышленники и собствен„ники; да и женскій полъ между нами не безъ предста„вителей; и еще повторяю, что насъ не малое число, а „цѣлыя тысячи,и п ритомъ не изъ худшихъ людей всѣхъ „странъ,—и такъ, сверхъ нашихъ занятій и жизни въ „семействѣ и въ кругу друзей, мы стараемся сохранить „въ нашей душѣ по возможности воспріимчивость ко „всѣмъ высшимъ интересамъ человѣчества; въ послѣдніе „годы мы принимали живое участіе и, каждый по сво„ему, дѣйствовали въ великой національной войнѣ и воз„веденіи германскаго государства, и мы чувствуемъ себя „возвышенными въ самой глубинѣ души такимъ неожи„даннымъ и торжественнымъ поворотомъ судебъ нашей „многоиспытанной націи. Пониманіе этихъ вещей мы „оживляемъ историческими изученіями, которыя теперь „облегчены и неученымъ посредствомъ цѣлаго ряда при„влекательно и популярно написанныхъ историческихъ „трудовъ; при этомъ, мы стараемся расширить наши по„знанія природы, для чего тоже нѣтъ недостатка въ обще„понятныхъ пособіяхъ; и наконецъ, въ сочиненіяхъ на„шихъ великихъ поэтовъ, при исполненіи созданій на„шихъ великихъ музыкантовъ, мы находимъ такое воз„бужденіе ума и сердца, фантазіи и юмора, которое не „оставляетъ больше ничего жалать“.

„So leben wir, so wandeln wir beglückt“.

(Такъ мы живемъ, такъ счастливо мы ведемъ свое время) (стр. 298—9).

Вотъ полное изображеніе того счастливаго состоянія, въ которомъ чувствуютъ себя нѣмцы въ настоящее время. Они такъ довольны нынѣшнею минутою, что за нее готовы, какъ говорится, отдать царство небесное.

Въ другомъ мѣстѣ туже идею совершеннаго удовлетворенія жизнью Штраусъ выражаетъ общѣе и опредѣленнѣе.

„Что касается", говоритъ онъ, „до того, чѣмъ за„мѣняетъ наше міровоззрѣніе вѣру въ безсмертіе души, „то я ограничусь самымъ короткимъ изложеніемъ. Кто „въ этомъ случаѣ не умѣетъ самъ себѣ помочь, тому „вообще ничѣмъ не поможешь, тотъ еще не созрѣлъ для „нашей точки зрѣнія. Для кого, съ одной стороны, не„достаточно имѣть возможность оживлять въ себѣ *вѣчныя „мысли мірозданія, развитія и назначенія человѣчества;* „кто не умѣетъ дѣлать такъ, чтобы милые и почитаемые „усопшіе въ его собственной душѣ продолжали жить и „дѣйствовать прекраснѣе прежняго; въ комъ, среди дѣя„тельности для своихъ близкихъ, работы въ сферѣ своего „призванія, содѣйствія процвѣтанію своего народа и благу „всѣхъ собратій по человѣчеству, и наслажденія пре„краснымъ въ природѣ и искусствѣ,—въ комъ среди этого, „съ другой стороны, не пробуждается сознаніе, что самъ „онъ можетъ быть только временнымъ участникомъ всего „этого; кто не приведетъ себя въ настроеніе, при кото„ромъ будетъ наконецъ покидать жизнь съ благодарностью „за то, что долженъ былъ нѣкоторый срокъ во всемъ „этомъ дѣйствовать, наслаждаться и также страдать, но „вмѣстѣ и съ радостнымъ чувствомъ освобожденія отъ „утомительнаго при долгомъ срокѣ ежедневнаго труда „жизни: ну, того мы должны отослать назадъ къ Моисею „и пророкамъ" (стр. 372).

Пониманіе жизни, выражающееся въ этихъ двухъ отрывкахъ, едва-ли можно назвать высокимъ. Тутъ недостаетъ главнаго, именно указанія на такой пунктъ человѣческой жизни, который можно было бы назвать *единымъ на потребу*, къ которому можно было бы обращаться при всѣхъ обстоятельствахъ и который могъ бы господствовать надъ всѣми остальными. Что жизнь представляетъ много разнообразныхъ и пріятныхъ занятій, не дающихъ намъ скучать,—это, конечно, справедливо; но всѣ эти радости могутъ намъ измѣнить, и тогда, что̀ мы станемъ дѣлать? Тогда намъ останется развѣ одно—*оживлять въ себѣ вѣчныя мысли мірозданія, развитія и назначенія человѣчества*—фраза, которая, если судить по смыслу книжки Штрауса, не имѣетъ большаго содержанія, и которую, по ея шаткости и безжизненности, нельзя предлагать людямъ, какъ настоящую опору для души.

А что̀ мы скажемъ о тѣхъ, кто, очевидно, не подходитъ подъ описаніе счастливыхъ людей, сдѣланное Штраусомъ? О тѣхъ, кто не ученый, не художникъ, не чиновникъ, не военный, не собственникъ, а простой рабочій, не могущій видѣть въ своей работѣ ничего, кромѣ тяжелой необходимости? Кто не имѣетъ ни средствъ, ни развитія для того, чтобы наслаждаться науками и произведеніями великихъ поэтовъ и музыкантовъ? О тѣхъ, для кого семья—невыполнимая роскошь или тяжелая обуза? Такимъ людямъ нельзя же предложить въ видѣ утѣшенія мысль, что они способствуютъ общему благу и необходимы для того, чтобы другая, меньшая половина человѣчества вела счастливую жизнь. Они сами хотятъ счастья, и вотъ почему у нихъ является зависть къ имуществу, ненависть къ наукамъ и искусствамъ,

вотъ почему, вообще, между ними имѣютъ такой успѣхъ и ультрамонтаны и интернаціоналы. Въ особенности ясно, что ученіе интернаціоналовъ есть прямой отвѣтъ на міровоззрѣніе Штрауса; одно другимъ вызвано, и развитіе одного усиливаетъ развитіе другаго.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Отрицаніе Провидѣнія.—Ужасное чувство. — Поклоненіе вселенной.— Христосъ.—Матеріальность души.—Происхожденіе организмовъ.

Вопросъ о религіи—вотъ существенный вопросъ этой книги. Очевидно, Штраусъ на столько религіозенъ, что понималъ, что здѣсь главный узелъ всего дѣла, что безъ рѣшенія этого вопроса невозможно человѣку успокоиться и считать свою дорогу твердою и ясною. Но, къ величайшему удивленію, мы находимъ въ тоже время, что Штраусъ не на столько понимаетъ религію, чтобы видѣть ея глубочайшія основы; онъ касается этихъ основъ слишкомъ легко, или проходитъ мимо ихъ, не замѣчая ихъ значенія. Протестантъ сказался въ немъ точно такъ же, какъ сказался гегельянецъ.

Въ самомъ концѣ книги Штраусъ пишетъ:

„Уничтоженіе вѣры въ Провидѣніе принадлежитъ „къ самымъ чувствительнымъ потерямъ, какія соединены „съ отреченіемъ отъ христіанскихъ вѣрованій. Человѣкъ „видитъ себя среди громадной міровой машины, въ ко„торой свистя вертятся желѣзныя зубчатыя колеса, оглу„шительно падаютъ тяжелыя молоты и песты,—человѣкъ

„видитъ, что онъ брошенъ безъ защиты и помощи въ „круговоротъ всей этой страшной работы, и каждую ми„нуту долженъ бояться, что при неосторожномъ движе„ніи его схватитъ и разорветъ какое-нибудь колесо, раз„давитъ и сотретъ какой-нибудь молотъ. Это чувство без„защитности дѣйствительно есть ужасное чувство. Но „развѣ поможетъ, если мы станемъ обманывать себя? „Наше желаніе не передѣлаетъ міръ, а нашъ разумъ „показываетъ намъ, что *онъ есть дѣйствительно такая „матина.* Но не *только* такая машина. Въ немъ не дви„жутся лишь безжалостныя колеса, а льется и успокои„тельный елей. Нашъ богъ *(такъ называетъ Штраусъ „вселенную)* не беретъ насъ въ свою руку извнѣ, но онъ „открываетъ намъ источники утѣшенія внутри насъ са„михъ. Онъ показываетъ намъ, что случай былъ бы „дѣйствительно неразумнымъ владыкою міра, тогда какъ „необходимость, т. е. сцѣпленіе причинъ въ мірѣ, есть „самъ разумъ. Онъ учитъ насъ понимать, что желать „нарушенія въ дѣйствіи малѣйшаго изъ законовъ при„роды, значило бы желать разрушенія всего существую„щаго. Наконецъ, незамѣтно, ласковою властью при„вычки, онъ приводитъ насъ къ тому, что мы уживаемся и съ менѣе совершеннымъ положеніемъ, въ кото„рое попали, и наконецъ, уразумѣваемъ, что наше благо„получіе извнѣ получаетъ лишь форму, а свое содержа„ніе счастья и несчастья почерпаетъ только изъ на„шей собственной внутренней жизни“ (стр. 371).

Плохія утѣшенія! Тутъ очень ясно и правильно изображено *ужасное чувство*, подъ которымъ живетъ родъ человѣческій, и очень смутно и несвязно указано, чѣмъ можно освободиться отъ этого чувство. Старинная мысль о томъ, что наше счастье зависитъ только отъ внут-

ренней нашей жизни, указана Штраусомъ только мелькомъ и нигдѣ не развивается вполнѣ и какъ слѣдуетъ. Штраусъ, вообще, совершенно чуждъ пониманія, что человѣкъ и въ нравственномъ мірѣ подлежитъ такому же ужасному чувству, какъ въ мірѣ физическомъ. Отъ бѣдствій міра физическаго мы уходимъ въ міръ нравственный, но и тутъ оказываемся беззащитными и безпомощными. Ни наша собственная душевная жизнь, ни жизнь другихъ людей не могутъ насъ удовлетворить и составляютъ источникъ страданій, безпрестанно доводящихъ насъ почти до отчаянія. Мы окружены нравственнымъ безобразіемъ, мы сами ежеминутно боремся и падаемъ, и если часто не замѣчаемъ всей бѣдственности нашего положенія въ нравственномъ мірѣ, то лишь вслѣдствіе такого же обмана, по которому человѣкъ въ цвѣтѣ силъ и здоровья не думаетъ о смерти и безпечно движется среди страшной міровой машины. Вотъ главнѣйшее основаніе потребности религіозныхъ вѣрованій, и Штраусъ въ другомъ мѣстѣ самъ очень вѣрно, хотя опять мелькомъ, указываетъ на это основаніе

„При всей работѣ надъ самимъ собою“, говоритъ онъ, и при всей борьбѣ съ своею чувственностію и своимъ эгоизмомъ, человѣкъ все-таки никогда не удовлетворяетъ своихъ собственныхъ нравственныхъ стремленій: онъ желаетъ себѣ такой чистоты, такого совершенства, которыхъ самъ себѣ доставить не можетъ, которыхъ онъ надѣется достигнуть только кровью Спасителя, перенесеніемъ на него своего оправданія“ (стр. 138).

Вотъ глубочайшая точка дѣла, и весьма удивительно, почему Штраусъ не остановился на ней, почему онъ не съ нея судитъ о религіи вообще и о христіанствѣ

въ частности. Намъ, возросшимъ среди православія, эта точка зрѣнія знакома какъ нельзя лучше; у насъ стало поговоркою, что люди счастливые и гордые (т. е. довольные собою) забываютъ Бога, и что о немъ вспоминаютъ несчастные и кающіеся. При томъ, мы не такъ грубо, какъ Штраусъ, понимаемъ дѣйствіе религіи; подъ ея вліяніемъ чистота и совершенство могутъ быть отчасти достигаемы людьми въ здѣшней жизни, а не составляютъ какого-то внѣшняго дара, получаемаго ими по смерти.

Какъ бы то нибыло, побужденіе къ религіи заключается въ томъ, какъ понимаетъ человѣкъ міръ физическій и міръ нравственный. Если и тотъ и другой міръ таковы, что возбуждаютъ *ужасное чувство*, то религія имѣетъ свое оправданіе. Слѣдовательно, кто говоритъ противъ религіи, тотъ естественно становится на точку зрѣнія *оптимизма*, тотъ чувствуетъ желаніе доказать, что и міръ физическій очень хорошъ, и міръ нравственный не долженъ пугать человѣка. Такъ поступаетъ и Штраусъ: о мірѣ нравственномъ онъ, какъ мы уже замѣтили, почти ничего не говоритъ, едва его касается (нѣмцы нынче, очевидно, такъ горды, что забываютъ Бога); но за міръ физическій онъ вооружается всѣми силами, онъ дѣлаетъ изъ него новаго бога, *вселенную*, Universum, и возвеличиваетъ его пышными похвалами.

„Мы видимъ въ мірѣ", говоритъ онъ, „непрестанныя перемѣны; но скоро въ этихъ перемѣнахъ мы открываемъ неизмѣнное, *порядокъ* и *законъ*. Мы видимъ „въ природѣ рѣзкія противоположности, страшную борьбу; „но находимъ, что всѣмъ этимъ *строй и гармонія цѣлаго* не нарушаются, а напротивъ поддерживаются. Мы „видимъ, далѣе, нѣкоторый постепенный ходъ, образованіе

„*высшаго изъ низшаго*, изящнаго изъ грубаго, нѣжнаго „изъ суроваго. И сами мы тѣмъ больше преуспѣваемъ „какъ въ личной, такъ и въ нашей общественной жизни, „чѣмъ больше намъ удается въ себѣ и вокругъ себя „тоже подчинить закону то, что произвольно измѣняется, „развить высшее изъ низшаго, нѣжное изъ грубаго".

„Подобныя вещи, когда мы встрѣчаемъ ихъ въ сферѣ „человѣческой жизни, мы называемъ *разумными и добрыми*. Слѣдовательно, мы не можемъ не называть такъ „и того, что соотвѣтствуетъ имъ въ мірѣ насъ окружающемъ. И, такъ-какъ мы чувствуемъ себя безусловно „зависящими отъ этого міра, такъ-какъ только изъ него „можемъ выводить и бытіе и устроеніе нашего существа, „то мы должны разсматривать міръ, и притомъ въ его „полномъ понятіи, въ смыслѣ *вселенной* (Universum), какъ „*источникъ всего разумнаго и добраго*".

„И такъ, то, отъ чего мы чувствуемъ себя въ безусловной зависимости, никакъ не есть только *грубая „сила, передъ которою мы преклоняемся съ нѣмою покорностію*, а вмѣстѣ и порядокъ и законъ, разумъ и доброта, которымъ мы вручаемъ себя *съ любовью и довѣріемъ*. И еще болѣе, такъ-какъ мы способность къ разумному и доброму, признаваемую нами въ мірѣ, находимъ въ самихъ себѣ, и находимъ себя существами, „которыми это доброе и разумное чувствуется, познается, „въ которыхъ оно должно сдѣлаться личнымъ, то мы „вмѣстѣ чувствуемъ въ себѣ тѣснѣйшее сродство съ „тѣмъ, отъ чего зависимъ, мы находимъ себя *при зависимости свободными*, и въ нашемъ чувствѣ къ вселенной смѣшивается *гордость со смиреніемъ, радость съ „преданностію*" (стр. 142—4).

Это называется пантеизмомъ. Но пантеизмъ, взятый

въ своемъ чистомъ видѣ, какъ логическое требованіе привести все существующее къ единству и поставить связь и зависимость между всѣми формами бытія, есть ученіе очень общее, совершенно неопредѣленное, и, можно сказать, ничему не противорѣчащее. У Штрауса же пантеизмъ является въ очень сильной и странной окраскѣ. Штраусъ говоритъ о *любви*, *преданности*, *смиреніи*, *довѣріи*... То-есть, онъ взялъ религіозныя чувства, которыя возможны только по отношенію къ личному Богу, и съ величайшей наивностью утверждаетъ, что мы можемъ перенести ихъ на вселенную, что мы можемъ не вѣрить въ Бога, и однако же вполнѣ сохранить въ себѣ обыкновенное религіозное настроеніе. Какая поразительная непослѣдовательность! Можетъ быть, въ душѣ Штрауса она какъ нибудь и уживается; но вольнодумцы всѣхъ странъ посмѣются надъ нею, какъ надъ нелѣпостію. *Преданность*, *смиреніе*! Кому и передъ кѣмъ, когда мы сами владыки своей судьбы, когда въ насъ заключается лучшій цвѣтъ вселенной?

Можетъ быть, однако же, для языка, употребляемаго Штраусомъ, можно бы было еще пріискать какой-нибудь смыслъ (во всякомъ случаѣ не прямой), если бы Штраусъ въ своей книгѣ являлся дѣйствительно пантеистомъ, если бы онъ вѣрилъ въ связь вещей и ихъ внутреннее развитіе. Но онъ, какъ оказывается, не имѣетъ ни малѣйшаго права выдавать себя за пантеиста. Во всей своей книгѣ онъ настойчиво заявляетъ, что принимаетъ выводы матеріалистовъ и нынѣшнихъ модныхъ естествоиспытателей. Онъ духъ считаетъ порожденіемъ матеріи, восхищается теоріею Дарвина, и вообще, явно признаетъ общераспространенный взглядъ, что міръ, и все, что въ немъ, произведены игрою *слѣпыхъ*, *меха-*

ническихъ силъ. Онъ не сдѣлалъ ни шагу для того, чтобы одухотворить и связать міръ; когда же явилась надобность, то онъ вдругъ сталъ проповѣдывать *любовь* и *преданность* къ тому міру, въ которомъ, по его же увѣреніямъ, все слѣпо и глухо.

Натуралисты, на которыхъ такъ усердно ссылается Штраусъ, жестоко посмѣются надъ его заключеніемъ, что *порядокъ*, *законъ*, *гармонія* въ мірѣ доказываютъ присутствіе въ немъ разума и благости. Они ему скажутъ, что это лишь неправильное перенесеніе человѣческихъ понятій на міръ сущностей, что законы міра произведены не разумомъ, а необходимостію, гармонія не порождена благостію, а установилась сама собою, да сверхъ того, что вообще, въ мірѣ нельзя различать совершенное отъ несовершеннаго, что всѣ вещи одинаково совершенны, и самого человѣка нелѣпо считать выше другихъ явленій природы.

Очевидно, Штраусъ попалъ въ глубоко-фальшивое положеніе, желая въ одно время и признать современное исповѣданіе Германіи, ея господствующія идеи, и сохранить существенныя черты другаго міра идей, которымъ долго жилъ. Ни того, ни другаго онъ не могъ сдѣлать, какъ слѣдуетъ; у него нѣтъ единства взгляда, нѣтъ мысли, которая бы твердо имъ руководила, и потому онъ впадаетъ въ грубыя противорѣчія относительно важнѣйшихъ вопросовъ. Говоря противъ христіанства, онъ такъ увлекается, что теряетъ всякое историческое пониманіе. Трудно повѣрить, чтобы ученая Германія дошла до такой тупости въ воззрѣніяхъ на прошлыя времена. Говоря объ успѣхахъ естественныхъ наукъ, Штраусъ увлекается въ противоположную сторону и воображаетъ яснымъ и доказаннымъ то, что никому не ясно и ничѣмъ не доказано. Приведемъ примѣры.

Разсуждая о Христѣ какъ объ нравственномъ идеалѣ, Штраусъ приходитъ къ слѣдующему заключенію:

„О томъ, въ кого я долженъ вѣровать, на кого должен смотрѣть какъ на нравственный прообразъ, о томъ „мнѣ нужно прежде всего имѣть опредѣленное, точное „представленіе. Существо, которое я вижу только въ „колебающихся очеркахъ, которое неясно для меня „въ существенныхъ отношеніяхъ, хотя можетъ интересовать меня какъ задача для научнаго изслѣдованія, „но не можетъ имѣть для моей жизни практическаго „значенія. Между тѣмъ, существо съ опредѣленными чертами, котораго можно держаться, есть лишь Христосъ „вѣры; Христосъ же исторіи, науки, есть только проблема, а проблема не можетъ быть предметомъ вѣры, не „можетъ быть идеаломъ жизни“ (стр. 79).

Не забудемъ, что дѣло идетъ о нравственномъ образѣ Христа, то есть о томъ образѣ, который понятенъ для простѣйшихъ изъ людей, который съ неотразимой силой и сіяніемъ выступаетъ передъ всякимъ читающимъ Евангеліе. Но Штраусъ въ этомъ случаѣ принимаетъ на себя видъ величайшей научной строгости; онъ не видитъ ничего опредѣленнаго, находитъ здѣсь только труднѣйшую проблему для науки. Бѣдный XIX вѣкъ! Тотъ образъ, которымъ восемнадцать вѣковъ жило человѣчество, совершенно потускнѣлъ въ твоихъ глазахъ, сдѣлался неразрѣшимою загадкою. Странный прогрессъ! Жизнь минувшихъ людей понемногу дѣлается непонятною для потомковъ: та несравненная нравственная красота, передъ которою столько поколѣній умилялись и благоговѣли, обратилась для Штрауса въ темную проблему.

Но посмотрите на того же Штрауса, когда онъ говоритъ о естественныхъ наукахъ; тутъ онъ уже не

скептикъ, не строгій ученый, а обращается въ пламеннаго неофита, которому нипочемъ всякія проблемы. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ разсуждаетъ о матеріальности души:

„Множество трудностей, окружающихъ проблему „ощущенія и мышленія у человѣка, коренятся только „въ предположеніи существа души отличнаго отъ тѣ„лесныхъ органовъ. Какимъ образомъ впечатлѣнія пе„реходятъ отъ протяженнаго немыслящаго существа, „каково человѣческое тѣло, на непротяженное мысля„щее существо, какова душа; какимъ образомъ пере„ходитъ дѣйствіе отъ души на тѣло,—вообще, какимъ „образомъ между ними возможно какое бы то ни было „общеніе, этого еще не объяснила никакая философія, „и никогда не объяснитъ. Во всякомъ случаѣ, это не„премѣнно *должно стать понятнѣе*, если мы будемъ „имѣть дѣло съ однимъ и тѣмъ же существомъ, *которое „на одномъ концѣ есть протяженное, а на другомъ мы„слящее*. Намъ скажутъ конечно: *подобное существо не„возможно*. Но мы скажемъ противъ этого: *оно есть въ „дѣйствительности;* всѣ мы сами — такія существа“ (стр. 209—211).

Вотъ какъ легко разрѣшаются для нашего скептика труднѣйшія задачи! Онъ не останавливается даже предъ *невозможнымъ* и находитъ, что оно понятнѣе, чѣмъ прежнія представленія о душѣ.

Можно подумать однакоже, что Штраусъ здѣсь хочетъ одухотворить матерію, что онъ готовъ, какъ Лейбницъ, вообразить міръ состоящимъ изъ *представляющихъ* монадъ. Но нѣтъ; онъ просто становится на сторону матеріалистовъ; свои разсужденія о душѣ онъ заканчиваетъ такъ:

„Съ одной стороны раздражается нервъ, въ немъ „возбуждается внутреннее движеніе; съ другой стороны „является ощущеніе, воспріятіе, выскакиваетъ мысль. „И наоборотъ, ощущеніе и мысль превращаются въ дви„женіе членовъ. Когда Гельмгольцъ говоритъ: „при „происхожденіи теплоты изъ тренія и удара, движеніе „цѣлыхъ массъ переходитъ въ движеніе ихъ малѣйшихъ „частей; наоборотъ, при происхожденіи движущей силы „изъ теплоты, движеніе малѣйшихъ частей переходитъ „въ движеніе цѣлыхъ массъ“,—то я спрашиваю: *развѣ „это что-нибудь существенно другое?* Развѣ предъиду„щее превращеніе не есть необходимое продолженіе „этого превращенія?“

„Мнѣ скажутъ, что я говорю о вещахъ, которыхъ не „понимаю. Положимъ; но найдутся другіе, которые ихъ „понимаютъ и которые и меня поняли“ (стр. 210—211).

Какое легкомысліе въ трактованіи важной задачи, и какая дѣтская вѣра въ чужой авторитетъ! Въ дѣйствительности, между переходомъ движенія въ теплоту и появленіемъ ощущенія вслѣдствіе впечатлѣнія нѣтъ ни малѣйшаго сходства, кромѣ того, что и тамъ и тутъ два явленія связаны между собою. Штраусъ разсуждаетъ ни чѣмъ не лучше того, какъ если бы кто вздумалъ пояснять происхожденіе въ насъ мыслей и ощущеній примѣромъ звонка у дверей: дернешь за ручку съ одной стороны, и съ другой стороны звонитъ колокольчикъ. Какое искаженіе предмета, какая невообразимо-грубая постановка вопроса!

Точно такъ, разсуждая о происхожденіи органическаго міра, Штраусъ предается самому дѣтскому увлеченію; онъ наивно вѣритъ, что естественныя науки уже все порѣшили.

„Кантъ утверждалъ“, пишетъ онъ, „что можно ска-„зать: *дайте мнѣ вещество. я покажу вамъ, какъ дол-„женъ изъ него возникнуть міръ;* но нельзя сказать: „*дайте мнѣ вещество, я покажу вамъ, какъ долженъ „родиться изъ него червякъ*“ (стр. 171).

Штраусъ, изложивши теорію Дарвина, съ гордостію замѣчаетъ, что новѣйшіе успѣхи наукъ будто бы опровергли это мнѣніе Канта.

„Объясненіе происхожденія міра изъ вещества могло „быть сдѣлано, по утвержденію Канта, относительно не-„органическихъ массъ, но должно было остановиться „даже передъ *червякомъ*. Нынѣшняя наука, если еще не „достигла этого объясненія, то нашла вѣрный путь къ „достиженію его въ будущемъ, не только относительно „червяка, но и относительно самого человѣка“ (стр. 220).

Какая это наука? Какой это путь? Неужели Дарвинова теорія? Но если такъ, то эти слова Штрауса свидѣтельствуютъ только о коренномъ непониманіи Дарвиновой теоріи, которое впрочемъ раздѣляютъ со Штраусомъ множество людей.

Нѣтъ, Кантъ остается правъ до сихъ поръ. Дарвинъ не только не *объяснилъ изъ силъ вещества*, а и не думалъ объяснять, ни человѣка, ни даже червяка.

Читая разсужденія Штрауса, невольно подумаешь: блаженъ кто вѣруетъ!

По своему предмету и по всему внутреннемъ смыслу, книга Штрауса есть безъ сомнѣнія одно изъ характернѣйшихъ и одно изъ печальнѣйшихъ явленій во всемірной литературѣ. Замыселъ автора очевидно былъ— представить намъ всю мудрость, до которой достигла

Европа, всѣ послѣдніе результаты ея умственнаго движенія. Онъ взялся за это съ увѣренностію первостепеннаго ученаго и писателя; онъ говоритъ развязнымъ тономъ, съ явнымъ сознаніемъ, что ему по силамъ такая задача, что всѣ глубины человѣческой жизни и мысли ему доступны и что его слушаютъ, какъ великій авторитетъ. Приэтомъ онъ напрягъ всю дерзость своего ума, чтобы ни передъ чѣмъ не останавливаться въ выраженіи своихъ мнѣній, чтобы превзойти вольнодумствомъ, если можно, и Вольтера и Ренана. И что же вышло? Въ этой книгѣ нѣтъ ни пониманія религіи, ни пониманія исторіи, ни пониманія философіи и естественныхъ наукъ, и наконецъ нѣтъ никакого нравственнаго ученія, а выражено только одно грубое довольство современной жизнью. Это довольство, въ нашъ грустный, страдающій вѣкъ, подавленный опасеніями и внутреннимъ разладомъ, поражаетъ своею тупостію.

И вотъ вамъ просвѣщеніе Европы! Вотъ его краткое изложеніе! Если подобныя мысли составляютъ исповѣданіе первѣйшихъ европейскихъ умовъ, то что̀ должно твориться въ головахъ безконечной толпы такъ называемыхъ образованныхъ людей, которые видятъ въ Штраусѣ своего великаго писателя и которые во всякомъ случаѣ увлекаются тѣмъ же общимъ потокомъ?

1873.

ПОМИНКИ ПО И. С. АКСАКОВѢ

(*Новое Время*, 7 Марта 1886 г. *)

Вовремя умеръ И. С. Аксаковъ. Разумѣется, вовремя для себя, а не для насъ, не для русской литературы, не для Россіи. Мы должны, безъ сомнѣнія, горько пожалѣть о себѣ, о томъ, что лишились такого человѣка. Но нужно же намъ пожалѣть и о немъ. Много ли ему было отъ насъ радости? Много ли радости ждало его впереди? Если этому бодрому дѣятелю, этому богатырю по тѣлу и духу, предстояли разочарованія, если ему суждено было впереди переходить отъ унынія къ унынію, то нельзя развѣ сказать, что смерть вовремя избавила его отъ неминуемыхъ горестей?

Можетъ быть, найдутся люди, которые замѣнятъ его въ нашихъ славянскихъ дѣлахъ; но какъ писатель, какъ русскій публицистъ, онъ не имѣлъ себѣ равнаго, и его никто не замѣнитъ. Мы говоримъ здѣсь о *внутреннемъ* значеніи Аксакова, о нравственномъ складѣ, въ немъ

---

*) Въ это число исполнился сороковой день по смерти И. С. Аксаковѣ.

воплощавшемся, о томъ чувствѣ, которое подсказывало его рѣчи и свѣтилось въ нихъ, о томъ несравненномъ тонѣ, которымъ онѣ произносились. Какое безукоризненное благородство! Какая искренняя чистота! А въ силу этого, какая смѣлость и твердость!

Въ публицистикѣ, на этой аренѣ, гдѣ такъ непрерывно и такъ жестоко оскорбляется наше нравственное чувство, явленіе подобное Аксакову есть нѣчто изумительное, и еще больше мы должны удивляться, если подумаемъ, гдѣ и какъ возникло это явленіе. Когда наши потомки будутъ судить о нашемъ времени, то они конечно строго осудятъ насъ не только за дурное состояніе нашей литературы, за нашу безвыходную умственную лѣнь и распущенность, но также за отсутствіе у насъ истинныхъ гражданскихъ чувствъ, за то, что мы, когда не имѣли власти, вели себя какъ рабы, а когда имѣли власть, то смотрѣли на другихъ какъ на рабовъ. И тогда имя Аксакова удивитъ историка и можетъ быть спасетъ насъ отъ полнаго осужденія.

Онъ былъ вполнѣ гражданинъ своего государства. Понимаемъ ли мы какъ слѣдуетъ смыслъ этихъ словъ? Онъ искренно и вполнѣ признавалъ самый принципъ той власти, подъ которою жилъ. Всякая власть обращается въ насиліе для тѣхъ, кто не признаетъ ее, и никакая власть не лишаетъ насъ свободы, если признается нами, если внутри насъ есть согласіе на нее. Но для этого необходимо гораздо больше, чѣмъ для простаго подчиненія власти. Для этого нужно видѣть во власти извѣстный смыслъ, имѣть ясную ея идею; только тогда у насъ будетъ согласіе на ея осуществленіе. И у Аксакова это было. Мы не будемъ излагать здѣсь эту его идею; мы указываемъ только тѣ общія условія, ко-

торыя давали ему возможность быть у насъ истиннымъ гражданиномъ.

Между управляющими и управляемыми всегда и вездѣ существуетъ нѣкоторый антагонизмъ. И какъ не быть здѣсь антагонизму, когда онъ неизбѣжно появляется во всякихъ отношеніяхъ, даже между отцами и дѣтьми, между мужьями и женами? Это зло, однако же, легко переносится, когда выше и крѣпче антагонизма стоитъ связующее, объединяющее начало, надъ которымъ онъ никогда не можетъ взять верхъ. Въ этомъ отношеніи, свойства нашего государства всѣмъ извѣстны и не ясны развѣ только ослѣпленнымъ. Глубокое внутреннее единство проникаетъ всю массу огромнаго тѣла и даетъ ему крѣпость несокрушимую. Но, въ то же время, частныя проявленія антагонизма, его дѣйствія въ наружномъ вывѣтрившемся слоѣ, достигаютъ иногда остроты почти безпримѣрной. Благодаря имъ, Россія сдѣлалась позоромъ всего міра; на нее указываютъ, какъ на поучительный примѣръ извращенія человѣческой природы; злорадные иностранцы убѣждены, что нигилизмъ разъѣдаетъ нашу силу и что скоро рухнетъ эта громада, наводящая на нихъ страхъ и заботу. Они не видятъ, что это — частныя явленія, всплески, подымаемые вихрями на поверхности, и что невозмутимый покой царитъ въ глубинѣ народнаго моря.

Какъ же Аксаковъ стоялъ въ этихъ сферахъ внутренней политики? Отношеніе его къ правительственному строю и дѣйствію есть для насъ примѣръ и поученіе. Имѣя опредѣленную идею власти, онъ желалъ и полнаго воплощенія этой идеи, осуществленія ея въ дѣйствительныхъ формахъ государственной жизни. И здѣсь, мы не хотимъ и не будемъ излагать его воззрѣній; мы

хотимъ лишь указать, что они у него были, что у него была такая формула отношеній между властью и всею массою людей управляемыхъ, при которой власть не только сохраняла всю свою силу, но, по его убѣжденію, все больше проникалась животворнымъ духомъ ее создавшимъ. Въ человѣческомъ мірѣ—такъ онъ вѣрилъ и такъ должно вѣрить — только то сильно и растетъ, что̀ живетъ нѣкоторою идеею.

Вотъ въ какомъ духѣ велъ свою публицистику Аксаковъ. Онъ стоялъ почти въ постоянномъ антагонизмѣ къ управляющимъ сферамъ, но именно потому, что ратовалъ противъ искаженія идеи воплощаемой властью. И, такъ какъ онъ твердо сознавалъ свою *высшую* благонамѣренность, то и говорилъ смѣло, считалъ свою рѣчь и ея смѣлость своимъ долгомъ. Теперь, когда мы плачемъ объ этой умолкнувшей рѣчи, намъ яснѣе прежняго ея несравненно благородный характеръ. Эта была не лукавая дерзость человѣка, который дышетъ враждою, но укрывается за формы закона, или лицемѣрно показываетъ видъ, что онъ самъ не замѣчаетъ, къ чему клонятся его слова. Это была и не поддѣльная храбрость человѣка, который самъ такъ или иначе прикосновенъ къ власти и лишь потому можетъ давать много воли своимъ рѣчамъ, но дѣлаетъ видъ, что его увлекаетъ за положенные предѣлы одна горячность къ общимъ интересамъ. Нѣтъ, рѣчь Аксакова была прямая, искренняя рѣчь русскаго гражданина, не имѣющаго никакихъ заднихъ мыслей, опирающагося въ своей смѣлости только и единственно на чистоту своего чувства, на ясное сознаніе правъ этого чувства. Вотъ откуда та неотразимая прелесть, которую имѣла эта рѣчь для всѣхъ чуткихъ сердецъ. Лукавство и ложь есть самое обыкно-

венное явленіе въ политической печати, и можно сказать, что вся наша литература, все больше и больше проникаясь политическими идеями, вмѣстѣ съ тѣмъ проникласъ и ложью. Для многихъ и многихъ лукавство стало естественнымъ дѣломъ; лавировать между препятствіями, изворачиваться и отводить глаза—для многихъ это занятіе стало пріятнымъ и привычнымъ упражненіемъ ихъ ловкости, и они даже забыли, что̀ значитъ говорить прямо и искренно.

Среди этой атмосферы лжи, среди всеобщаго лукавства разныхъ видовъ и степеней, какъ отрадно было слышать откровенную, чистую рѣчь Аксакова! Онъ имѣлъ даръ краснорѣчія, говорилъ красиво и обильно, но эта блестящая форма не закрывала, а только яснѣе выказывала сердечную теплоту его мыслей. Много было такихъ минутъ, когда, казалось, въ цѣлой Россіи онъ одинъ говорилъ, одинъ подавалъ голосъ, потому что всѣмъ другимъ голосамъ нельзя было придавать никакого дѣйствительнаго значенія, такъ-что они равнялись молчанію, или даже были хуже молчанія.

И ко всѣмъ тѣмъ предметамъ, за которые онъ стоялъ, у него было одинаково прямое, чистое отношеніе. Если онъ говорилъ о церкви и православіи, то не такъ, какъ люди только уважающіе церковь, или только считающіе нужнымъ показывать уваженіе къ церкви, даже радѣющіе объ ней, но не для себя, а для другихъ, для людей низшаго разбора. Аксаковъ говорилъ какъ истинный сынъ церкви, благоговѣйно почитавщій ее своею духовною матерью, жившій дѣйствительно въ ея лонѣ и подъ ея покровомъ. Понятно, почему въ его рѣчахъ не было и не могло быть и тѣни рабскаго лукавства.

Если онъ заявлялъ любовь къ Россіи, то это не

была полуживотная привязанность къ мѣсту, не ревнивая забота о домѣ, гдѣ мы живемъ и подъ кровомъ котораго можемъ имѣть удобства, выгоды и наслажденія; нѣтъ, это была преданность глубочайшимъ началамъ русской жизни, осмысленное, сознательное исповѣданіе этихъ началъ. Безсознательнаго патріотизма, живущаго въ массахъ, Аксаковъ никогда не употреблялъ какъ орудіе, какъ средство, которое отбрасывается, когда миновала въ немъ надобность. Онъ говорилъ всегда въ смыслѣ *высшаго* патріотизма, въ которомъ государственная мощь и государственные интересы получаютъ свое освященіе отъ духовной жизни народа. Для истиннаго поэта, какъ говорилъ Шиллеръ, муза должна быть не дойною коровою, а богинею. То же самое нужно сказать и объ истинномъ патріотѣ въ его отношеніи къ отечеству.

Точно то же и въ славянскомъ вопросѣ, въ нашихъ отношеніяхъ къ родственнымъ племенамъ. Эти темныя массы, тяготѣющія къ Россіи, не потому были предметомъ мыслей и дѣйствій Аксакова, что ихъ тяготѣніе имѣетъ важность во внѣшнихъ государственныхъ дѣлахъ, можетъ повредить или помочь этимъ дѣламъ, а потому, что въ основѣ его лежитъ духовное родство съ Россіею, что истинная жизнь Славянъ неразрывна съ этимъ глубокимъ тяготѣніемъ и что способствовать этой жизни значитъ способствовать тому духу, который ищетъ себѣ воплощенія и въ этихъ племенахъ такъ же, какъ въ Россіи. Если бы мы отвергали заботы о славянахъ, то мы, значитъ, отрицались бы отъ того духа, которымъ сами живемъ. И вотъ отчего рѣчи Аксакова о славянахъ имѣли полную задушевность и, такъ сказать, чистоту звука.

Возьмите теперь все это вмѣстѣ, представьте публициста, который, такимъ образомъ, имѣлъ возможность вести свою рѣчь съ совершенною прямотою, съ отсутствіемъ малѣйшаго лицемѣрія, и вы поймете, отчего никто не могъ равняться съ Аксаковымъ и отчего для многихъ его писанія были незамѣнимою отрадой и утѣшеніемъ. Когда, послѣ большихъ или малыхъ перерывовъ, являлся вновь нумеръ его изданія, то иному казалось, что онъ изъ мрачнаго и гнилаго погреба вдругъ выходилъ на широкія поля, гдѣ свѣтитъ солнце. Люди, страдающіе отъ зрѣлища нашей смутной и больной общественной жизни, измученные тѣмъ нестерпимымъ диссонансомъ, который непрерывно звучитъ въ ней, отдыхали душою на строкахъ Аксакова. Чувство бодрости, великихъ надеждъ, кровной любви къ Россіи опять теплою струею приливало къ сердцу. Читатель становился лучше, видѣлъ яснѣе свое положеніе и сознавалъ, что онъ и долженъ и можетъ быть гражданиномъ вмѣстѣ съ этимъ богатыремъ, такъ бодро несущимъ тягости дня.

Можетъ быть, мы слабо и невполнѣ очертили здѣсь особенныя свойства дѣятельности Аксакова; пусть читатели сами постараются дополнить и исправить этотъ очеркъ. Мы же хотимъ здѣсь настаивать лишь на томъ, что эти свойства были возможны и осуществлялись только подъ условіемъ *идей* Аксакова; если бы онъ не былъ исповѣдникомъ нѣкоторыхъ идей, то онъ не могъ бы быть ни прямымъ, ни смѣлымъ, ни твердымъ и одушевленнымъ, не заслужилъ бы того имени *истиннаго гражданина*, которое невольно пришло и приходитъ на мысль самымъ разнообразнымъ его почитателямъ. Въ статьѣ К. П. вѣрно и прекрасно сказано, что Аксаковъ принадлежалъ къ „подвижникамъ великой идеи“ (см. Гражданинъ“, № 12).

Какъ мы видѣли, къ идеямъ такого рода мы должны устремляться всею душою. Если въ насъ не заглохло нравственное чувство, если мы не хотимъ жить во лжи и двусмысліи, то намъ должно быть безконечно дорого ученіе, которое осмысливаетъ нашу жизнь, указываетъ намъ въ ней нѣкоторый правильный и ясный путь. Когда мы плачемъ объ Аксаковѣ, то плачемъ о человѣкѣ, который высоко держалъ знамя такого ученія, былъ чистымъ и прекраснымъ его воплощеніемъ.

Но, если такъ, то нужно же намъ взять дѣло и съ другой стороны и добросовѣстно спросить себя: что̀ же мы сдѣлали и дѣлаемъ съ этимъ ученіемъ? Какъ приняла и принимаетъ его публика? Какіе оно имѣло успѣхи, и можемъ ли мы думать, что Аксаковъ сошелъ въ могилу не безъ радостныхъ мыслей о плодахъ своего подвига?

Увы! Въ исторіи нашего литературнаго и умственнаго движенія нѣтъ ничего печальнѣе судьбы славянофильства, и такой долговременный опытъ невольно приводитъ къ заключенію, что и впереди этому ученію предстоятъ одни горькія неудачи. Наша неисцѣлимая умственная зыбкость, та самая, которая извѣстна подъ именемъ живости и бойкости русскаго ума, дѣлаетъ насъ неспособными къ усвоенію широкихъ и глубокихъ идей, и не только къ усвоенію, но и къ простому пониманію. Можно очень опасаться, что Аксаковъ будетъ большинствомъ занесенъ въ исторію литературы, какъ писатель совершенно честный, но и совершенно ошибавшійся въ своемъ направленіи, мало того,—имѣвшій очень вредное вліяніе. Такою враждою постоянно отзывалась наша образованность на проповѣдь славянофильства, отзывается и теперь, и будетъ отзываться впереди. Тому,

что̀ называется нашею образованностію. эта проповѣдь не нужна, всегда была антипатична и, безъ сомнѣнія, всегда будетъ. И тутъ нѣтъ ничего удивительнаго и страннаго, если мы подумаемъ, какъ глубоко лежитъ основаніе этого антагонизма.

Не будемъ же обманывать себя и, прославляя Аксакова, забывать, какъ мало плода мы принесли, несмотря на всю работу славянофильскихъ подвижниковъ, забывать, что, можетъ быть, никогда не было болѣе трудной минуты для того дѣла, которому была посвящена эта работа.

Въ одномъ изъ некрологовъ сказано такъ: „Было „время, когда эти идеи (славянофильскія) казались чѣмъ„то не только страннымъ, но и враждебнымъ просвѣ„щенію; теперь основныя начала этого ученія стали „очевидной истиной для всѣхъ истинно-просвѣщенныхъ „русскихъ людей“. И далѣе: „Онъ (Иванъ Сергѣевичъ) „имѣлъ счастливую долю видѣть, какъ широко разрос„лось доброе сѣмя, брошенное имъ и его друзьями на „нашу умственную ниву“. („Журналъ Мин. Нар. Просв.“, февраль, стр. 102).

О, если бы такъ! Какъ утѣшительно это было бы для насъ, и какъ сладко было бы думать, что Иванъ Сергѣевичъ могъ передъ смертью повторить слова: „Нынѣ отпущаеши раба Твоего“! Но, къ несчастью, трудно такъ думать; къ несчастію едва ли не вѣрнѣе будетъ сказать, что наша умственная нива и теперь больше всего раститъ бурьянъ и крапиву, среди которыхъ легко могутъ заглохнуть добрыя сѣмена, и что кружокъ *истинно-просвѣщенныхъ* людей можетъ быть иногда бывалъ и больше нынѣшняго. Не забудемъ, что славянофильство было провозглашено почти полвѣка

тому назадъ и что Иванъ Сергѣевичъ былъ *тридцать* лѣтъ его проповѣдникомъ. Сколько времени! Представимъ себѣ юношу, проникнутаго и одушевленнаго этими прекрасными идеями; не имѣлъ ли онъ права далеко заноситься своими надеждами, ожидать великихъ успѣховъ отъ своихъ силъ, отъ тѣхъ началъ, въ которыя твердо и ясно вѣрилъ? Если такъ, то жизнь Ивана Сергѣевича должна намъ представиться цѣлымъ рядомъ разочарованій, рядомъ тщетныхъ усилій и несбывшихся надеждъ; и, можетъ быть, горькое чувство этого разочарованія никогда не было горше, чѣмъ передъ смертью.

Прошлое царствованіе было временемъ шумнаго движенія, почти непрерывныхъ преобразованій. Но принципы, которыми руководилось и поддерживалось это движеніе, были мало похожи на славянофильскіе. Была, однако же, доля, и притомъ значительная доля въ преобразованіяхъ, которая совпадала съ стремленіями славянофильства, и Аксаковъ сочувствовалъ ей всею душою. Все доброе, что̀ принесло намъ минувшее царствованіе, освобожденіе крестьянъ, расширеніе печати, облегченіе всякихъ административныхъ узъ и всеобщее смягченіе нравовъ—все это было вполнѣ въ духѣ ученія, наслѣдованнаго и проповѣдываемаго Аксаковымъ. Но все это лишь мѣры отрицательныя, а не зиждительныя; все это входитъ въ программу того общаго либерализма, который есть правило всякаго хорошаго правительства, которому слѣдуетъ даже военная диктатура во всемъ, что̀ не касается ея прямаго дѣла. И что же вышло? Въ умахъ большинства, очевидно, тогда не было ничего, что̀ составило бы противовѣсъ чисто отвлеченнымъ, чисто отрицательнымъ понятіямъ, ничего подобнаго тѣмъ положительнымъ и живымъ понятіямъ, къ которымъ стре-

мились славянофилы. Потому и не было въ умахъ отпора разнымъ уродливымъ и крайнимъ порожденіямъ либерализма, неожиданно созрѣли идеи смутъ и покушеній, и Тотъ, Кто такъ любилъ освобождать и въ этомъ полагалъ свою заслугу, былъ убитъ безумцами, одурѣвшими отъ дѣтской мысли, что убивая Его, они убьютъ самую власть. Государство и его внутренняя объединяющая сила, недоступная никакому динамиту, остались незыблемыми, не потерпѣли и самомалѣйшаго ущерба. Но на умы наши этотъ ударъ произвелъ неизгладимое впечатлѣніе. Общественное сознаніе почувствовало, что въ путяхъ прежнихъ прекрасныхъ реформъ былъ какой-то существенный недостатокъ, что ихъ слѣдовало бы чѣмъ-то восполнять. И движеніе остановилось, потому что прежніе пути оказались опасными, а новаго пути никакого не видно; онъ, конечно, существуетъ, но совершенно намъ неизвѣстенъ. Такимъ образомъ, кажется, что мы какъ будто вернулись назадъ, къ той точкѣ, съ которой начались преобразованія. Этотъ опытъ, продолжавшійся четверть вѣка, какъ будто ничему не научилъ насъ; по крайней мѣрѣ, мы не умѣемъ извлечь изъ него поученія. Растерянность общественной мысли очевидна; эта мысль нисколько не созрѣла, потому что вовсе и не работала надъ вопросами объ основахъ нашей государственной жизни, и хотя прошлое царствованіе, казалось бы, давало сильнѣйшіе поводы къ занятію этими вопросами, наши понятія о такомъ существенномъ дѣлѣ не подвинулись впередъ ни на шагъ. Зачѣмъ же мы жалуемся иногда на ретроградство, когда сами не двигаемся съ мѣста?

Въ доказательство сказаннаго можно сослаться на одинъ знаменательный фактъ. Недавно министерство

народнаго просвѣщенія предложило нашимъ университетамъ задачу создать „науку русскаго государственнаго права“, въ которой бы было представлено „существо русскаго монархическаго начала“. А чтобы показать основательность и необходимость этой задачи, министерство опирается на такое общее соображеніе: „У „нѣмцевъ есть изобиліе философскихъ ученій; у фран„цузовъ, англичанъ и другихъ народовъ есть также „свои воззрѣнія на міръ. Почему бы не взглянуть на „міръ и съ точки зрѣнія русскаго народа“? *)

Нельзя не привѣтствовать всею душой такихъ приглашеній къ самостоятельной работѣ мысли, такихъ указаній на то, что слѣдуетъ намъ быть самобытными, если желаемъ стать рядомъ съ иностранцами. Будемъ философствовать, какъ нѣмцы, т. е. по своему; будемъ консерваторами, какъ англичане, но только по своему; будемъ и прогрессистами, но по своему, а не какъ французы. Только тогда у насъ будетъ настоящая умственная и общественная жизнь.

Но вѣдь этого самаго и желали и требовали славянофилы; это есть только общая и отвлеченная формула, которую они не только давно заявили, но которую поддерживали живымъ и глубокимъ сочувствіемъ къ русскимъ началамъ. Они не только искали этихъ началъ, а уже нашли ихъ въ своей душѣ и много трудились надъ тѣмъ, чтобы довести ихъ до логической формулировки и до яснаго выраженія въ словѣ. Эта попытка на самостоятельную мысль, это стремленіе къ сознательной самобытности уже больше сорока лѣтъ тому назадъ выступило у насъ во всеоружіи научныхъ

*) Журн. Мин. Нар. Просв. 1885. Октябрь, стр. 64.

и литературныхъ достоинствъ. Поэтому, намъ слѣдуетъ предположить, что университеты теперь, конечно, прежде всего займутся славянофильствомъ; можетъ быть, они его расширятъ, углубятъ, или даже совершенно измѣнятъ; но, во всякомъ случаѣ, оно должно быть примѣромъ и основаніемъ всякихъ новыхъ попытокъ.

Выводы эти ясны, но, безъ сомнѣнія, было бы великимъ легковѣріемъ надѣяться на ихъ осуществленіе. Какъ можно думать, что получитъ свой вѣсъ ученіе, которое сорокъ лѣтъ было заглушаемо и подавляемо невниманіемъ и враждою? Развѣ измѣнились обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ живетъ нашъ умственный міръ? Развѣ всемогущее вліяніе Запада и наша рабская ему подражательность ослабѣли? Развѣ мы прозрѣли, поумнѣли, почувствовали въ себѣ больше нравственной крѣпости, больше желанія жить руководясь опредѣленными идеями, а не случайностями дня? Совершенно ясно, что все у насъ обстоитъ по прежнему, потому что недоумѣніе, въ которое мы попали, не побуждаетъ насъ искать выхода въ новыхъ началахъ, а только ослабило вѣру въ какія бы то ни было начала.

Ни одна изъ надеждъ, ни одно изъ задушевныхъ желаній Аксакова не имѣетъ впереди себя яснаго будущаго. Церковь осталась въ томъ же своемъ положеніи; укрѣпленіе и развитіе ея внутренней жизни по прежнему идетъ шатко и медленно, и невозможно предвидѣть, откуда явится поворотъ къ лучшему. Славянскія дѣла ясно свидѣтельствуютъ, что духовное значеніе Россіи не развилось. Послѣ подвиговъ, достойныхъ Аннибала или Александра Македонскаго, мы вдругъ съ сокрушеніемъ видимъ, чта старанія иностранцевъ и ихъ политическое и культурное вліяніе берутъ верхъ надъ

тою связью по крови, по вѣрѣ и по исторіи, которая соединяетъ насъ со славянами. Но вѣдь весь узелъ славянскаго вопроса заключается, именно, въ нашей культурѣ, и если самобытныя духовныя и историческія силы наши не развиваются, если наша религіозная, политическая, умственная и художественная жизнь не растетъ такъ, чтобы соперничать съ развитіемъ западной культуры, то мы неизбѣжно должны отступить для славянъ на задній планъ, сколько бы мы крови ни проливали. Какая же для насъ надежда въ этой борьбѣ? Становясь грудью за единовѣрцевъ, мы должны спрашивать себя: не убываетъ ли и въ насъ, и въ нихъ та вѣра, въ которой весь смыслъ дѣла и внѣ которой безплодны всякіе подвиги? Такъ точно мы должны спросить себя и о всякой другой чертѣ нашей духовной связи со славянами. И если такъ, то развѣ возможно теперь глядѣть впередъ безъ унынія и боязни?

Все это, и лучше и яснѣе всякаго, видѣлъ и чувствовалъ Аксаковъ. Поэтому больше, чѣмъ когда-нибудь, ему стало тяжело передъ смертью. Не могу выразить, какъ изумили, какъ больно поразили меня нѣсколько унылыхъ словъ, вырвавшихся у него въ послѣднихъ письмахъ, и тѣмъ сильнѣе поражавшихъ, что выходили изъ устъ такого богатыря. „Чувствуешь“,—писалъ онъ между прочимъ,—„что настоящій переживаемый нами періодъ—долгій періодъ, и что его ничѣмъ не сократишь“. И вотъ, ему не довелось переживать этотъ періодъ; смерть избавила его отъ этого страданія. Онъ такъ долго ждалъ, такъ долго обманывался въ своихъ надеждахъ, и вдругъ убѣдился, что еще долго, долго ждать минуты, когда онъ могъ бы сказать свое *нынѣ отпущаеши*. Въ этомъ смыслѣ, смерть была для него

милостью. Въ самомъ дѣлѣ, при такомъ ходѣ дѣла, когда мы оказываемся такъ мало способными къ воспріятію и развитію внутренней, духовной жизни Россіи, когда для возбужденія нашихъ умовъ и сердецъ потребуются можетъ быть новыя бѣдствія, новыя тяжкія испытанія, когда всякій призывъ къ сознанію, къ уясненію смысла нашей жизни, къ пониманію и развитію ея идеи, неизбѣжно глохнетъ въ нашихъ умахъ, и уроки исторіи не выводятъ насъ изъ слѣпоты, а только наводятъ на насъ недоумѣніе,—при такомъ ходѣ вещей, какая судьба предстояла Аксакову? Что̀ долженъ былъ чувствовать этотъ Сизифъ, столько разъ подымавшій камень на гору и подъ конецъ увидавшій, что камень опять скатился, но гораздо ниже прежняго?

Нѣтъ, для себя онъ во-время умеръ. Благочестивые люди вѣрятъ, что смерть всякаго человѣка совершается не безъ соизволенія Божія. И на этотъ разъ, мы какъ-будто можемъ понять смыслъ этого соизволенія. Аксаковъ довольно потрудился, и вѣрный рабъ былъ, наконецъ, отпущенъ отъ своей работы.

Что̀ же съ нами будетъ? Конечно, то, чего мы заслуживаемъ.

3-го марта 1886.

КОНЕЦЪ.

БИБЛИОТЕКА
Инв. № 77140
ВАИУ

НАХОДЯТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

Н. Страховъ. О вѣчныхъ истинахъ (мой споръ о спиритизмѣ). Спб. 1887. Ц. 1 р.

Н. Страховъ. Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физіологіи. Спб. 1886. Ц. 1 р. 50 к.

Н. Страховъ. Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ. (1862—1885). Спб. 1885. Ц. 1 р. 50 к.

Н. Страховъ. Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка вторая. (Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова. — Фейербахъ. — Дарвинъ. — Целлеръ. — Спиритизмъ. — Нигилизмъ). Спб. 1883. Ц. 1 р.

Н. Страховъ. Міръ какъ цѣлое. Черты изъ науки о природѣ. Спб. 1872. Ц. 2 р.

Бѣдность нашей литературы. Критическій и историческій очеркъ. Н. Страхова. Спб. 1867. Ц. 40 к.

О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ общемъ образованіи. Н. Страхова. Спб. 1865. Ц. 1 р.

Сочиненія Аполлона Григорьева. Т. I. Спб. 1876. Цѣна 3 р.

Стихотворенія А. А. Фета. 2 части. Москва. 1863. Цѣна 2 р.

Вечерніе огни. Собраніе неизданныхъ стихотвореній А. Фета. Москва. 1883. Ц. 2 р.

Вечерніе огни. Выпускъ второй неизданныхъ стихотвореній А. Фета. Москва. 1885. Ц. 1 р.

Сочиненія Д. И. Стахѣева. Домашній очагъ.—Законный бракъ.—Походы на доходы. 703 стр. Спб. 1881. Ц. 2 р. 50 к.

К. Горацій Флаккъ. Въ переводѣ и съ объясненіями А. Фета. Москва. 1883. Ц. 3 р.

Овидія XV книгъ превращеній. Въ переводѣ и съ объясненіями А. Фета. Москва. 1887. Ц. 2 р.

Stanford University Libraries
3 6105 010 710 619

PG
2975
S75
1887
v. 1

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

JUN 30 1996
FEB 1 8 1998